ISSN 0130-7673

НОВЫЙ МИР

11

1987

11 НОВЫЙ МИР 1987

НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1925 г. № 11 Ноябрь 1987 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

ОЛЕГ ДМИТРИЕВ — **Зрелый возраст,** стихи 3

Е. ДРАБКИНА — **Раздумья в Горках** 5

БУДНИ И ПРАЗДНИКИ — **Александр Медведев; Николай Новиков; Михаил Яснов; Евгений Храмов; Юрий Кашук; Илья Фоняков; Вячеслав Баширов; Виталий Славутинский; Валерий Малышев; Борис Сиротин; Леонид Григорьян,** стихи 46

АНДРЕЙ БИТОВ — **Пушкинский дом,** роман. Продолжение 55

ЮРИЙ КУЗНЕЦОВ — **Вестник,** стихи 92

ЛЕОНИД ЗОРИН — **Крапивница,** рассказ 95

ЕВГЕНИЙ ЕВТУШЕНКО — **Суд,** стихи 114

ГЕНРИХ БЁЛЛЬ — **Женщины у берега Рейна,** роман в диалогах и монологах. Перевели с немецкого Н. Бунин и Е. Григорьев 116

ПУБЛИЦИСТИКА

ИГОРЬ КЛЯМКИН — **Какая улица ведет к храму?** 150

ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ОКТЯБРЯ. Предисловие и подготовка текстов доктора исторических наук В. Т. Логинова и доктора исторических наук Г. З. Иоффе. 189

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ВЛАДИМИР КОСТРОВ — **Литература как деяние** 223

МАРК СОБОЛЬ — **Мои дорогие** 230

(См на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

Стр.

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Литература и искусство 241

Евг. Канчуков. Ветер века.
Микола Рябчук. Собор в строительных лесах.
В. Камянов. Таежный пейзаж с медведем.
С. Вайман. Душа, не знающая меры.

Политика и наука 257

Константин Кедров. Обновленная утопия.
Сергей Яковлев. В объятиях левиафана.
М. Вашкевич. Теоретик, публицист, издатель.

КОРОТКО О КНИГАХ:

Борис Багаряцкий.— Юрий Помпеев. Февральский вихрь. Эти великие полгода. Дилогия о революционных событиях 1917 года. ✦

Э. Ефремова.— Михаил Яснов. В ритме прибоя. Стихи. ✦

К. Константинов.— Илья Ильф, Евгений Петров. Двенадцать стульев. Золотой теленок. ✦

Д. Урнов.— Нина Буденная. Старые истории. Рассказы. Повесть. ✦

Галина Голубкова.— Кирилл Разлогов. Конвейер грез и психологическая война. Кино и общественно-политическая борьба на Западе. 70—80-е годы. ✦

Л. Пустильник.— А. Чернобаев. В вихре века. ✦

А. Хузангай.— П. Денисов. Никифор Охотников. Очерк жизни и творческой деятельности. ✦

Марк Григорьев.— Гарри Маурер. Без работы. Устная история безработных. ✦

А. Устинов.— Г. Г. Граник, С. М. Бондаренко. Секреты пунктуации 264

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ 272

© Журнал «Новый мир», 1987.

ОЛЕГ ДМИТРИЕВ

★

ЗРЕЛЫЙ ВОЗРАСТ

Поступок

Заслонилась рукою от ветра
И шагнула с крыльца в полутьму.
Если что рассудила неверно,
То теперь и жалеть ни к чему.
Укрепила потуже заколку
В перекрученной долгой косе
И пошла через поле к проселку,
Выводящему прямо к шоссе.
На попутке потом — до вокзала.
К полукружью окошка склонясь,
Что-то тихо кассирше сказала
И не знала —
В природе тотчас
Пробудилась великая сила:
Смерч прошел, вырывая дубы,
Вьюга белая заголосила,
Встала в море волна на дыбы,
И вулкан, отдыхавший дотоле,
Бросил в небо слепящую гроздь!
Так стремление женщины к воле
Неожиданно отозвалось
В нашем мире,
Где к воле стремится,
Все сметая с пути иногда,
Как из клетки плененная птица,—
Ветер, лава, огонь и вода!

Последняя чаша

Уходят леса,
Но глядит из дали́
Любимая наша
Последняя чаша терпенья земли —
Последняя чаща.

Еще нас пленяет ее красота
Богатым узором,
И чаша сия до краев налита
Зеленым озоном.

Нетрудно ее на куски расколоть
И сделать щербатой.
Гляди, уж сегодня болит ее плоть,
Помечена тратой:

Береза упала на землю ничком
У самой опушки,
А метрах в пяти, за крутым бугорком,
Чернеют гнилушки.

Да мелочи это: придем, уберем —
И станет, как прежде,
Рассветная роща гореть серебром
В богатой одежде.

Хоть что-то останется в нашем краю,
Как в древности было!
Последнюю чашу терпенья свою
Земля не испила.

Ближняя память

Льется в глаза к завершению дня
Темная камедь.
Что-то все чаще подводит меня
Ближняя память.

То, что случилось в недавние дни,
Вспомнишь не сразу —
Трудно выходит на свет из тени,
Лишь по приказу.

Льет по стеклу запотевшему дождь,
Темень густая.
Новых знакомых не вмиг узнаешь,
Память терзая.

Надобно лгать, притворяться порой
Или лукавить —
Ты близорукости стала сестрой,
Ближняя память!

Тащатся следом, сливаясь в одно,
Дни и недели.
Время разорвано, искажено
В ближнем пределе.

Сетуя горько, что память не та,
Думать я мог ли —
Ярче далекие видно лета,
Словно в бинокле...

Ближняя память, дорогой одной
Нощно и денно
Шли мы, и старишься вместе со мной
Ты постепенно.

Чу́дно одно — не стареет пока
Дальняя память,
Ибо дорога не столь далека,
Хоть не легка ведь.

Зрелый возраст

Я за волю тебе благодарен,
Зрелый возраст, обитель моя,
Ведь теперь сам себе я хозяин:
Ни любимые и ни друзья
Мое сердце не ранят до боли
Вероломством недавних измен!
Дав мне столько свободы и воли,
Ничего ты не просишь взамен.
Научил ты возню у корыта
Отличать от идейной борьбы
И еще: подзатыльники быта —
От суровых ударов судьбы.
Сколько в юности было терзаний,
Часто шепот срывался на крик —

О, тогда бы хоть чуточку знаний
Тех, которые нынче постиг...
Стой! Быть может, из юных сомнений,
Слез, бессонниц, блужданий впотьмах
И родился тот разум осенний,
Отрицающий страсти и страх?
Зрелый возраст! В холодных глубинах
Необузданной воли моей
Что́ мне тени неверных любимых,
Силуэты предавших друзей?!

Е. ДРАБКИНА

★

РАЗДУМЬЯ В ГОРКАХ*

I

1

Врачи требовали, чтобы Владимир Ильич немедленно прекратил работу и уехал отдыхать. Он соглашался, но откладывал отъезд «на денек», «еще на денек», «еще на два денька» — вот только распределит обязанности между своими заместителями и договорится о том, как они будут работать, да напишет телеграмму Чичерину, который ведет переговоры в Генуе, и письмо Сокольникову по вопросам финансовой политики, и дополнения к вводной части Уголовного кодекса, и подготовит решения о мерах для развития радиотехники, и приведет в порядок свои бумаги, и даст последние распоряжения секретарям. О чем? Да о присылке ему в Горки книг и газет. «Но вы же обещали, что совершенно не будете работать».— «А разве чтение — работа?»

Уже миновала середина мая, а Владимир Ильич все еще был в городе. Настал, однако, день, когда откладывать дальше было невозможно, и он уехал в Горки.

Впервые он провел несколько дней в Горках осенью 1918 года, после совершенного на его жизнь покушения.

Близкие товарищи считали, что только начинавшего оправляться от ран Владимира Ильича следует увезти из Москвы. Но куда? Сначала предполагали поступить примерно так же, как за год до того, когда Владимиру Ильичу угрожала расправа со стороны Временного правительства: поселить под видом приезжего родственника в деревне у какого-нибудь надежного крестьянина или же в семье рабочего в одном из подмосковных рабочих поселков. Зная спартанские привычки и неприхотливость Владимира Ильича, товарищи были уверены, что это ему понравится. Но беспокоил связанный с таким решением риск: Владимир Ильич много раз выступал на массовых митингах, его знали в лицо и могли опознать. После долгих поисков и раздумий план был изменен: решено было подыскать бывшее помещичье имение, устроить в нем совхоз или сельскохозяйственную коммуну, обеспечить охрану и поселить там Владимира Ильича.

Выбор пал на Горки. Дом привели в порядок, убрали. Но когда Владимиру Ильичу предложили туда переехать, он наотрез отказался и заявил, что, во-первых, он вообще не собирается уезжать из Москвы, во-вторых, он не желает жить в барском доме, в-третьих...

Переубедить его стоило большого труда. Решил довод, к которому прибег Свердлов: в 1905 году в Горках, которые тогда принадлежали

* Журнальный вариант. Начало под названием «Зимний перевал» (часть I) было напечатано в «Новом мире» (1968, № 10). Полностью публикуется в Политиздате.

Савве Морозову, скрывался одно время Николай Эрнестович Бауман. Владимир Ильич дал согласие на переезд, но при условии, что будет жить не в самом доме, а в боковом флигеле. Только много времени спустя он уступил настояниям и стал жить в главном здании, которое было прозвано Большим домом.

Этот Большой дом он не любил, особенно комнаты второго этажа с их купеческой претенциозной роскошью. А парк и окрестности ему полюбились. Быть может, высокая гора, холмы и волнистая равнина, чувство пространства и открытого воздуха, развернутые дали, уходящие за край небес, запущенный парк, крутые, заросшие кустарником склоны — все это напоминало ему Симбирск.

Ленин привязался к Горкам. Много раз приезжал сюда поработать, побродить среди полей и лесов.

В этот раз Владимир Ильич приехал в Горки на все лето. Его приезд совпал с тридцать пятой годовщиной со дня казни его старшего брата Александра Ильича Ульянова.

Сколько прошло уже лет, а рана не зарубцовывалась: слишком она была глубока, слишком велика была утрата, трагичны ее обстоятельства, невозвратен и неповторим тот, кого потеряли.

В ряду годовщин со дня казни Александра Ильича тридцать пятая была одной из самых тяжких, так как в канун ее семья Ульяновых впервые познакомилась с подлинными судебными и жандармскими документами по делу погибшего брата.

Эти документы были доставлены в Москву в только что созданный или только еще создававшийся Архив Октябрьской революции. Года три спустя я слышала рассказ Михаила Степановича Ольминского о том, как Владимир Ильич вместе с сестрами и с Надеждой Константиновной пришел в этот архив, помещавшийся в старинном доме, на месте которого высится теперь новое здание Библиотеки имени Ленина. Владимир Ильич вошел очень бледный, в каждом движении его чувствовалась сдерживаемая тревога. Заранее приготовленные документы лежали на столе. Хотя Владимир Ильич знал о том, что́ его ожидает, он вздрогнул, увидев переплетенный том, на котором писарским почерком с завитушками было выведено: «Дело 1 марта 1887 года»,— и не мог сразу раскрыть этот том, помедлил, подержал в руках, видимо, сделал над собой усилие, чтоб подавить волнение, и лишь потом раскрыл его. И по мере того как он вчитывался в страницы этого дела, он бледнел и бледнел, и, как выразился Ольминский, стоявшие рядом буквально физически чувствовали, как у него перехватывает дыхание.

В семье Ульяновых об Александре Ильиче старались не говорить. «Все мы держались после нашего несчастья тем, что щадили друг друга,— писала Анна Ильинична.— А потом я совсем не могла первые годы говорить о Саше, разве только с матерью...»

Но как ни сдержанны были мать и сестра, кое-что они рассказали. Кроме того, Владимир Ильич знал о деле брата и не от них.

Еще до того, как Мария Александровна вернулась в Симбирск после казни Александра Ильича, было опубликовано «правительственное сообщение», в котором говорилось об «обнаруженном 1 марта злоумышлении на жизнь Священной Особы Государя Императора» и об арестованных по этому делу, «кои, принадлежа к преступному сообществу, стремящему ниспровергнуть путем насильственного переворота существующий государственный и общественный строй... согласились между собой посягнуть.... на жизнь.... Священной Особы... Оные злоумышленники, из числа коих Ульянов принимал самое деятельное участие как в злоумышлении, так и в приготовительных действиях к его осуществлению...». И страшные заключительные строки: «Приговор Особого Присутствия Правительствующего Сената о смерт-

ной казни через повешение над осужденными... приведен в исполнение 8 сего мая 1887 года».

Несмотря на полицейские рогатки, в общество просочились подробности суда. Присутствовавшие на нем рассказывали про то, что видели. Рассказывали об Александре Ульянове, речь которого по силе приравнивали к речи Желябова на судебном процессе по делу 1 марта 1881 года. Потом с далекой сибирской каторги пришло несколько писем однодельцев Александра Ильича. А в 1905 году из Шлиссельбурга вышли узники, осужденные по этому делу, и рассказали новые его подробности.

Но все это — одно, а подлинные документы, подлинные протоколы допросов, подлинные, посмертно прочтенные показания, написанные родной рукой,— иное. Одно дело знать об аресте брата, другое — увидеть воочию, каким образом чудовищное легкомыслие одного из участников тайного общества позволило полиции напасть на его след и обрекло на гибель и самого виновника провала и его сотоварищей. Одно — сознавать умом, что брат прошел, должен был пройти следствие, был судим, казнен, другое — читать страницу за страницей изложенные жандармским слогом бумаги и собственными глазами видеть, как пришла в действие полицейская машина, как захватила она любимого брата, втолкнула его в каземат Петропавловской крепости, дотащила до эшафота и затянула петлю на его шее.

Все больше и больше бледнея, Владимир Ильич вчитывался в страницы, исписанные порыжевшими от времени чернилами. Департамент полиции перехватил подозрительное письмо... За участниками тайного общества установлено неусыпное наблюдение... Среди подозрительных лиц департамент полиции называет Александра Ульянова. На Невском проспекте арестованы метальщики... При них обнаружены бомбы...

И показания двух трусов, в первый же день предавших всех, кого они знали, в том числе Александра Ульянова.

И протокол первого допроса Александра Ильича: «1887 года, Марта 3 дня, я, Отдельного Корпуса Жандармов Ротмистр Лютов... расспрашивал нижепоименованного, который показал: зовут меня Александр Ильич Ульянов, от роду имею 20 лет 11 месяцев... холост, отец мой умер; мать моя Мария Александровна Ульянова проживает в г. Симбирске; имею двух братьев: Владимира, ученика Симбирской классической гимназии VIII класса...»

Таковы трагические обстоятельства, при которых имя Владимира Ильича впервые попало на страницы жандармских дел. Заметим в скобках, что впоследствии, когда Владимир Ильич вступил на путь революционной борьбы, жандармы в течение нескольких лет сопровождали каждое упоминание его имени пояснением «брат казненного» или «брат повешенного». Но в какой-то момент перестали: видать, до их понимания дошло, что Владимир Ильич — самостоятельная революционная величина.

Но вот «Отдельного Корпуса Жандармов Ротмистр Лютов» заполнил анкетные данные и приступил к самому допросу. Мы не знаем, что именно он спрашивал, в протокол занесены лишь записанные Лютовым слова Александра Ильича: «На предложенные мне вопросы о виновности моей в замысле на жизнь Государя Императора я в настоящее время давать ответы не могу, потому что чувствую себя нездоровым и прошу отложить допрос до другого дня...»

Владимиру Ильичу, разумеется, сразу стала ясна скрытая за этими скупыми строками трагедия, которую пережил на первом же допросе его брат: по вопросам жандармского ротмистра Александр Ульянов понял, что кто-то, находившийся близко к центру тайной организации, оказался предателем. И он решил оттянуть время, чтоб обдумать и определить линию своего поведения.

А дальше лист за листом перед глазами Владимира Ильича разворачивалась эта трагедия: героическое поведение одних, предательство других, уклончивая осторожность третьих.

Александр Ульянов среди героев. О нем можно сказать словами его же речи на суде: он принадлежит к тем, для кого «не составляет жертвы умереть за свою родину».

Какую боль должен был испытать Владимир Ильич, когда, перелистывая страницы дела, он дошел до показаний, написанных знакомым почерком брата, когда прочел эти показания, в которых Александр Ильич, чтобы спасти тех, чье участие в подготовке покушения на царя выплыло только из-за показаний двух предателей, взял на себя все, что им инкриминировалось. И непреклонные слова Александра Ильича: «Ни о каких лицах, а равно о называемых мне теперь Андреюшкине, Генералове, Осипанове и Лукашевиче, никаких объяснений в настоящее время давать не желаю...» И последние строки последних показаний на последнем допросе Александра Ильича, последние в его короткой жизни строки, в которых он, прекрасно понимая, что подписывает этим себе смертный приговор, твердым почерком написал:

«В заключение я хочу более точно определить свое участие во всем настоящем деле...

Мне, одному из первых, принадлежит мысль образовать террористическую группу, и я принимал самое деятельное участие в ее организации в смысле доставления денег, подыскания людей, квартир и прочее.

Что же касается до моего нравственного и интеллектуального участия в этом деле, то оно было полное, то есть все то, которое доставляли мне мои способности и сила моих знаний и убеждений...»

А потом — суд, обвинительный акт, отказ Александра Ульянова от защитника, его допрос, его речь на суде, слова, которые он шепнул сидевшему рядом с ним на скамье подсудимых Лукашевичу: «Если вам что-нибудь надо, говорите на меня...» И приговор. И завершающая дело очередная казенная бумага, страшная и омерзительная, как все, ей подобные:

«Сегодня в Шлиссельбургской тюрьме, согласно приговору Особого Присутствия Правительствующего Сената, 15/19 минувшего Апреля состоявшемуся, подвергнуты смертной казни государственные преступники... При объявлении им за полчаса до совершения казни, а именно в $3^1/_2$ часа утра, о предстоящем приведении приговора в исполнение все они сохранили полное спокойствие и отказались от исповеди и принятия Св. Тайн... Первоначально выведены для свершения казни Генералов, Андреюшкин и Осипанов... По снятии трупов вышеозначенных казненных преступников были выведены Шевырев и Ульянов, которые так же бодро и спокойно вошли на эшафот...»

В семье Ульяновых дети росли и дружили близкими по возрасту парами. Анна и Александр, Ольга и Владимир, Мария и Дмитрий. Естественно, что выполнение долга перед памятью брата взяла на себя старшая сестра. Анна Ильинична писала о нем и собирала воспоминания тех, кто его знал; первой в семье ознакомилась она со следственным и судебным делом: к тридцатипятилетию гибели брата она хотела выпустить в свет его биографию.

Сделать это не удалось. Задуманная книга вышла лишь в 1927 году. Поэтому в годовщину казни одна страница «Правды» была посвящена делу 1 марта 1887 года и Александру Ульянову, каким он запомнился встретившим его в последний раз Чеботареву и Бартеневу — с вдохновенным лицом, освещенным каким-то внутренним светом, лицом человека, обрекшего себя на смерть. В ней рассказывалось о последней ночи, проведенной Александром Ульяновым в каземате Петропавловской крепости, где чадила небольшая керосиновая лампа,

с трудом разгонявшая мрак, и одноделец Александра Ульянова Новорусский, прислушиваясь к доносившемуся через стену лязгу железа, вдруг услыхал гулко и глухо отозвавшиеся под сводами шаги и звон кандалов. Провели первого закованного, за ним второго, третьего, затем четвертого и пятого: их вели, как показалось Новорусскому, в том же порядке, в каком они были перечислены в смертном приговоре: сначала — Шевырева, потом — Ульянова...

Звон кандалов был последним звуком, донесшимся до слуха друзей Александра Ильича Ульянова. Когда осужденных на смерть доставили в Шлиссельбург, как ни вслушивались другие шлиссельбургские узники, они ничего не услышали: эшафот был сооружен за пределами тюремного двора и доставлен к месту казни в разобранном виде. Там во дворе, у входа в старое здание, его установили без рубки и стука и на рассвете, когда тюрьма спала, вывели осужденных и также без звука лишили их жизни.

Все эти страшные подробности Владимир Ильич узнал накануне тридцать пятой годовщины казни старшего брата.

Годовщина эта была 21 мая.

В Горки Владимир Ильич переехал 23 мая.

А 25 мая у него произошел первый удар.

2

Больной оставался в тяжелом состоянии около недели. Врачи предписали ему абсолютный покой.

Он лежал на втором этаже северного флигеля, в маленькой угловой комнате, одно окно которой выходит на запад, а другое — на север. Даже в солнечные дни в этой комнате полутемно: свет затеняют сетки от комаров и большие деревья, растущие под окнами. В ней очень тихо; лишь иногда тишину нарушают какие-то неопределенные звуки, чьи-то голоса, стук колес на дальней дороге, мычание коровы за лесом, кваканье лягушек у пруда. Какими длинными должны были быть бессонные ночи!

Постепенно Владимир Ильич стал чувствовать себя физически лучше. Но пришло понимание истинного характера болезни. Именно в эти дни он, постаравшись остаться наедине с приехавшим осмотреть его глаза профессором Авербахом, задал столь мучавший его вопрос: паралич ли это, пойдет ли он дальше?

Вспоминая уже после смерти Владимира Ильича этот разговор, профессор Авербах говорил:

— Я уехал с тяжелым чувством, сопровождаемый всяческими проявлениями внимания к касающимся меня мелочам со стороны этого большого человека, который, чувствуя уже возможность своего конца, ощущал с невыносимой болью невозможность видеть дальнейший рост своего великого дела, выстраданного всей жизнью.

Ночь, долгая ночь. Окно, слабо вырисовывающееся на фоне чуть подрумяненного закатом неба. Дежурившая ночи напролет Надежда Константиновна.

Если бы я умела писать о любви, я написала бы об э т о й любви. Любви, которая зародилась во время встреч на нелегальных собраниях, первые слова которой и решающее объяснение с предложением стать мужем и женой были написаны химией — невидимыми чернилами, проступающими, когда их нагревают над лампой или свечой. Любви, озаренной романтикой поднимающейся рабочей революции, счастьем совместной борьбы, взаимным пониманием по одному слову, вздоху, молчанию. Именно л ю б в и!

Как рассердилась Надежда Константиновна, когда некий бумагомаратель прислал ей свое сочинение, в котором, описывая ее приезд

в Шушенское, изображал дело так, что, едва она приехала, они с Владимиром Ильичем уселись за перевод книги Веббов по истории английских тред-юнионов и все время только и делали что корпели над этим переводом:

— Ведь мы же молодожены были, была поэзия, молодая страсть, а он заладил одно: Вебб! Вебб!..

Зная, как хорошо Владимиру Ильичу работается при мягком зеленом вечернем свете, Надежда Константиновна привезла ему в далекую сибирскую ссылку зеленую лампу.

Представьте себе Россию прошлого века, вымощенные булыжником улицы Петербурга, дребезжащую извозчичью пролетку, такие же дребезжащие, подпрыгивающие вагоны железной дороги, бесконечный путь в Сибирь по не достроенной еще транссибирской магистрали, пересадки с поезда на поезд, с поезда на паром, с парома на поезд, на извозчичью пролетку, пароход, крестьянскую телегу — все это в пыли, бестолковщине, сутолоке. И представьте себе молодую женщину, которая совершает этот многодневный путь, не выпуская почти ни на минуту из рук тяжелую медную лампу с зеленым стеклянным абажуром,— и благополучно довозит эту лампу до далекого Шушенского!

И так вся жизнь: долгий путь, бесконечные препятствия, борьба за нелегальную партию, за революцию — и проходящая через все любовь...

Мой друг Ваня Троицкий, который в восемнадцатом или девятнадцатом году был курсантом Кремлевских курсов, рассказал мне, что однажды, когда он поздно вечером дежурил на посту у квартиры Ленина в Кремле, Владимир Ильич попросил его, как только он услышит внизу на лестнице шаги Надежды Константиновны, задержавшейся на каком-то заседании, постучать в дверь и позвать его. Ваня вслушивался в ночную тишину. Все были тихо. Но вдруг отворилась дверь квартиры и быстро вышел Владимир Ильич.

— Никого нет,— сказал Ваня.

Владимир Ильич сделал ему знак.

— Идет,— прошептал он заговорщически и сбежал вниз по лестнице, чтоб встретить Надежду Константиновну; она шла, ступая совсем тихо, но он все же услыхал.

Бывают в жизни человека события, которые словно бы и необязательны, но, раз случившись, входят в нее, приобретая особый смысл. Так первым самостоятельным шагом Надежды Константиновны было письмо Льву Николаевичу Толстому.

Ей было тогда восемнадцать лет. Письмо ее было откликом на обращенный к молодежи призыв Толстого помочь изданию книг для народа. Она подготовила для печати одну книгу, это был «Граф Монте-Кристо».

На этом участие Надежды Константиновны в издательских начинаниях Толстого кончилось: ее влекли иные пути, иные формы действия, чем те, к которым звал яснополянский мудрец. Но даже в ноябре 1917 года она писала Ивану Ивановичу Горбунову-Посадову: «Теперь, когда живешь с массой, часто переживаешь такое чувство, точно присутствуешь при тайне одухотворения, очеловечения жизни масс. И мне ужасно жалко, что нет художника настоящего, который мог бы в художественном произведении отразить этот процесс. И так жалеешь, что нет в живых Льва Николаевича».

Не случайно после Октября Надежда Константиновна взялась за труднейшее и столь близкое идеалам Толстого дело — ликвидацию неграмотности. Плакаты ликбеза, которые издавались под ее руководством, учили народ читать языком революции: «Мы не бары. Мы не рабы... Заводы у бар — сила у бар. Заводы у нас — сила у нас». В бук-

варях и азбуках для деревни был повседневный быт, каким тогда жила деревня, но и здесь мы легко узнаем тот язык, тот метод, который Толстой считал правильным для первоначального обучения: «Соха — Тараса. Параша сушит сухари. Параша, суши сухари. Сушу, сушу сухари... На телеге Гаврила. Телегу везет Гнедко... Купил бы Гаврила сала, да денег мало...»

По выражению, подхваченному ею от одной работницы, Надежда Константиновна «с великоторжественным аппетитом» вглядывалась, вслушивалась в жизнь, чтоб рассказать обо всем Владимиру Ильичу. Даже когда его уже не стало, она ловила себя на том, что обдумывает про себя то, что надо бы, хотелось бы рассказать ему.

Слушать ее всегда было наслаждением. О чем бы она ни говорила, всегда говорила не книжными, а своими словами. Мне запомнились в ее устах выражения «силешки», «дитюша», «пролетарий достоподлинный». Часто подтрунивала над собою: «Вид у меня селедочный», «Я тогда была совсем непишучая».

Помню, на одном заседании скучный и нудный докладчик долго тянул скучную и нудную канитель. Потом начались пустопорожние прения. Надежда Константиновна слушала-слушала и сказала:

— Товарищи, да ведь вопрос этот ясен даже титечному ребенку.

Больше четверти века прожили они вместе, почти не расставаясь. «Я крепко любила Ильича,— писала Надежда Константиновна.— То, что его волновало,— волновало и меня, я старалась в меру своих сил и уменья помогать ему...»

Так было всегда. И в самое тяжкое для него время два самых близких ему человека — жена и сестра — неотступно были с ним. Надежда Константиновна дежурила у его постели, Мария Ильинична взяла на себя все хозяйственные заботы.

«Они беззаветно отдавали на служение Владимиру Ильичу все, что только у них было, все свои силы,— писал доктор Елистратов, лечивший Владимира Ильича.— Они предупреждали, угадывали все малейшие желания больного, старались всячески облегчить, скрасить и разнообразить его однообразную жизнь и много облегчили Владимиру Ильичу борьбу с его тяжелым недугом и с угнетавшим его сознание вынужденным прекращением его деятельности».

3

Вскоре после того как у Владимира Ильича произошел первый тяжелый приступ болезни, в его жизнь вошел новый человек — крупный ученый, врач, виднейший в то время специалист по болезням сосудов профессор Отфрид Ферстер.

Получив приглашение Советского правительства, которое просило его взять на себя руководство лечением Владимира Ильича, профессор Ферстер, возглавлявший клинику в Бреславле (нынешний Вроцлав), тотчас дал согласие приехать в Россию и около двух лет почти неотлучно находился при Владимире Ильиче, до самой его смерти. Он познакомился с Владимиром Ильичем, когда тот был тяжело болен, но узнал его так интимно-близко, как может знать человека лечащий его врач. С наблюдательностью врача он следил за каждым его жестом, за каждой переменой настроения или выражения лица. Тем ценнее портрет Владимира Ильича, нарисованный Ферстером в его воспоминаниях, опубликованных год спустя после смерти Владимира Ильича:

«Он стоит передо мной как живой, со своей коренастой фигурой, со своими эластичными движениями, со своим великолепным, закругленным, как своды мощного здания черепом; из его глаз, которые то широко раскрыты и глядят спокойно и ясно, то полупри-

щурены как будто бы для того, чтобы лучше и точнее взять прицел на мир, всегда лился искрящийся поток ума... Его мимика отличалась сказочной живостью, всякая его черта выдавала постоянную и интенсивную умственную деятельность, глубокие внутренние переживания...»

Когда профессор Ферстер приехал в Горки, Владимир Ильич лежал в маленькой темной комнате северного флигеля. Ферстер решительно потребовал, чтоб он немедленно же перешел в Большой дом. Владимир Ильич упорно отказывался и дал согласие лишь тогда, когда профессор Ферстер убедил его, что в комнате, полной света и воздуха, выздоровление пойдет быстрее.

Сначала он лежал в большой комнате на втором этаже, но, как рассказывала Надежда Константиновна, эту комнату он невзлюбил. Слишком чуждой она ему была, и он потребовал, чтоб его перевели в соседнюю, небольшую. Но и в этой комнате ему было не по себе, и профессор Ферстер рассказывает, что несколько раз в особо серьезные периоды болезни, когда Владимир Ильич следовал глубоко скрытым бессознательным внутренним влечениям своей натуры, он уходил в северный флигель, мужественно преодолевая, несмотря на свой паралич, ступеньки лестницы.

«На первый взгляд это может показаться незначительным,— говорит Ферстер, анализируя поведение Владимира Ильича.— Однако это имеет глубокое психологическое значение. В последнее время выработано понятие коммунистической этики. Эта этика не только олицетворялась в Ленине, она была в нем автоматизирована. В те моменты его болезни, когда спокойный рассудок, противившийся вредному и нецелесообразному бегству в маленькую, темную комнату, умолкал, инстинкт, на время освобожденный от оков, брал верх в этой автоматической тяге к простоте, соответствующей самому внутреннему существу Ленина, и определял его поступки».

Одно из наиболее выраженных и характерных свойств Владимира Ильича профессор Ферстер видел в его беспримерной энергии и силе воли. Не считая себя вправе судить, в какой мере эти черты были важнейшим условием его политических успехов, Ферстер отмечал железную волю, с какой вел Владимир Ильич борьбу против своей болезни, против вызванного ею паралича, утери речи, способности писать: «Восстановление речи, чтения и письма в последние месяцы его жизни было его главной целью, и на пути к этой цели он достиг таких успехов, которые трудно согласовать с точки зрения всех бывших до сих пор научных исследований с теми тяжелыми разрушениями, которые были обнаружены при вскрытии в его мозгу. Это было возможно только благодаря воле Ленина...»

Владимир Ильич и профессор Ферстер разговаривали между собой на немецком языке. Владимир Ильич говорил по-немецки бегло, и Ферстер часто удивлялся, с какою легкостью и меткостью он находил слова для выражения своих мыслей. В простоте и ясности, отличавших язык Владимира Ильича, Ферстер видел одну из ярких черт его внутренней сущности. Между тем сам Владимир Ильич в анкете всероссийской переписи членов партии, которую он заполнил за три месяца до встречи с профессором Ферстером, на вопрос, на каких языках, кроме русского, он свободно говорит, ответил: «Свободно ни на одном».

С первого же мгновения своего знакомства с Владимиром Ильичем профессор Ферстер, по его собственному признанию, подпал под влияние его личности. Главным в Ленине он считал его гений, который «в противоположность рассудку, способному только повторять уже пройденное, возвышается над природой, обогащая в природе природу,— непостижимый, свободный и неуловимый в своем творчестве...».

В раскрытые окна врывался горячий запах земли и прогретой солнцем травы. Побывав в поле, Мария Ильинична рассказала, что рожь начала колоситься, и принесла букет белых ромашек и цветущего шиповника.

К началу июня 1922 года в болезни Владимира Ильича наступило улучшение; восстановилась свобода движений, исчезла затрудненность речи.

Во второй половине июня врачи разрешили ему ходить и принимать близких товарищей, но поставили условие: никаких разговоров о политике и о делах.

— При таком условии не надо и разрешения,— сказал Владимир Ильич, помрачнев.

В эти дни в его настроении произошел глубокий перелом: раньше он примирялся с тем, что нужно устроить себе длительный отдых, теперь он хотел как можно скорее вернуться к работе. Уже 18 июня, то есть через три недели после того, как он заболел, в бюллетене о состоянии его здоровья говорилось, что он тяготится предписанным ему бездействием.

Неделю спустя состоялся врачебный консилиум. Владимир Ильич сильно волновался. Консилиум подтвердил необходимость длительного отдыха при соблюдении строгого режима и полном отказе от какой бы то ни было умственной работы и политических забот. «Ильич режиму подчинялся, но относился к требованиям врачей скептически»,— писала потом Н. К. Крупская.

— Не могут они сделать так, чтобы я не думал,— сказал он как-то.

Постоянно находившемуся при нем доктору А. М. Кожевникову он сказал:

— Надо, чтобы мне дали возможность чем-нибудь заняться, так как, если у меня не будет занятий, я, конечно, буду думать о политике. Политика — вещь, захватывающая сильнее всего, отвлечь от нее могло бы еще более захватывающее дело, а его нет...

Он покорно выполнял предписания врачей, лежал на террасе, бродил по парку. С течением времени прогулки становились все более дальними, он уходил в лес или на Пахру. И, разумеется, думал — и когда лежал, и когда гулял, и даже когда вел какой-нибудь житейский разговор.

Лето в тот год выдалось переменчивое, с частыми, но короткими дождями. В июле настала жара, пронеслись грозы и ливни. Прошел сенокос, поспела рожь, началась жатва.

Владимир Ильич уже свободно двигался, стал хорошо спать, головные боли почти исчезли. 13 июля он радостно писал своему секретарю Л. А. Фотиевой: «Можете поздравить меня с выздоровлением. Доказательство: почерк, который начинает становиться человеческим...» Письмо это действительно было написано твердым, четким почерком. Тут же Владимир Ильич просил подготовить ему книги и составить списки того, что вышло,— «научной литературы, беллетристики, политической». И добавил в скобках: «Последнюю позже всех, ибо она еще не разрешена».

Но пришел черед и политике: 19 июля профессор Ферстер разрешил ему читать газеты — сперва старые, за май, июнь и первую половину июля, а потом и свежие.

Владимир Ильич этому бесконечно обрадовался. Надежда Константиновна рассказывала, что, когда он брал приготовленные для него газеты, у него дрожали руки. Хотел прочесть все залпом. Увидев ее встревоженный взгляд, пообещал растянуть чтение на три дня.

4

Но вернемся к лету 1922 года.

Уже миновал июль, наступил август. Владимир Ильич окреп, чувствовал себя хорошо. Часто уходил на дальние прогулки. Много читал: в списках книг, которые он просил ему прислать, около полутораста названий русских, немецких, французских, английских и итальянских газет и журналов, два тома Маркса и Энгельса, «Феноменология духа» и «Наука логики» Гегеля.

Врачи разрешили ему встречаться с товарищами. В датах его жизни и деятельности, приложенных к последнему изданию его сочинений, последовательно названы следующие его посетители за время с 11 июля по 29 сентября: И. В. Сталин, Л. Б. Каменев, Н. И. Бухарин, Г. Е. Зиновьев, Л. Д. Троцкий, Г. И. Петровский, Н. Н. Крестинский, Г. К. Орджоникидзе, С. А. Агамали Оглы, А. С. Енукидзе, М. К. Владимиров, Л. Б. Красин, Н. Л. Мещеряков, Е. А. Преображенский, А. И. Рыков, Х. Г. Раковский, И. И. Скворцов-Степанов, А. И. Свидерский, Д. З. Мануильский, Ф. Э. Дзержинский, М. И. Калинин, Л. М. Хинчук, М. Н. Томский, Я. Э. Рудзутак, Г. Л. Пятаков, Г. Я. Сокольников, П. Г. Мдивани, М. С. Окуджава, Л. Е. Думбадзе, К. М. Цинцадзе, А. Ф. Мясников.

В этом списке есть человек, который бывал в Горках почти ежедневно: это Авель Сафронович Енукидзе, секретарь ВЦИК, несший все заботы о жизни Горок в эти месяцы.

Выступая перед членами Общества старых большевиков, перед людьми того поколения нашей партии, которое ближе всех других знало Владимира Ильича, Енукидзе с огромной болью говорил о том, что Владимир Ильич великолепно отдавал себе отчет в том, как тяжело его положение, и больше всего боялся стать инвалидом. Он не боялся смерти, но не мыслил себе существования вне кипучей работы.

Енукидзе знал Ленина давно, еще с 1905 года. Видел его и в подполье, и в бурные дни октября 1917 года, и в годы гражданской войны и перехода к новой экономической политике. Но в те месяцы, когда он наблюдал его в Горках, он увидел его по-новому, и как никогда Ленин раскрылся перед ним как человек со всеми присущими ему духовными качествами.

И тут, говорил Енукидзе, «развернулась необычайная глубина его характера... Такого необычайного человека мы не предполагали во Владимире Ильиче. Мне бы хотелось, чтобы эта эпоха его жизни была наиболее подробно описана, тогда поняли бы, что этот в высшей степени твердый, необычайно энергичный, с совершенно железной, беспощадной силой воли человек в принципиальных вопросах в отношении к людям был в высшей степени мягок, деликатен, благороден. И действительно, когда берешь все эти различные стороны его характера и соединяешь вместе, то поражаешься, как может человек совместить в себе так много качеств».

К сожалению, об этом периоде жизни Ленина мы знаем меньше, чем о любом другом. О нем почти нет воспоминаний, а лишь отрывочные рассказы тех, кто видел его тогда. Все говорят, что Владимир Ильич был бодр, оживлен, жадно расспрашивал обо всем на свете, весело хохотал, ругал врачей за режим, который они для него установили. Побывавшему у него 5 сентября М. И. Калинину сказал, что надеется вернуться к работе в октябре, хотя опасается, как бы врачи не запретили. Решит консилиум, назначенный через неделю.

После тщательного осмотра больного и долгого обсуждения консилиум разрешил Владимиру Ильичу вернуться к работе с 1 октября.

«Я никогда не забуду,— писал профессор Ферстер,— с какой благодарностью и счастьем в конце сентября двадцать второго года,

когда его страдания значительно уменьшились, он принял мое заявление, что он, хотя и в сильно сокращенном масштабе, к началу октября может снова приняться за свою работу».

Легко представить нетерпение, с которым ждал Владимир Ильич наступления заветной даты.

Живший в то время в Горках доктор А. М. Кожевников отмечал в своем дневнике, что во второй половине сентября Владимир Ильич чувствовал себя хорошо, бывал очень весел, много смеялся, шутил.

В последние дни перед возвращением в Москву он посылал работникам секретариата Совнаркома записку за запиской, просил в с е подготовить — так, чтоб он мог сразу включиться в работу.

1 октября — это было воскресенье — написал: «Я завтра приеду, приготовьте все, протоколы, книги...»

2 октября Владимир Ильич вернулся в Москву. Если бы его спросили, какие чувства он испытывает, наверно, он мог бы ответить словами так любимого им Бетховена: «Я вновь зазеленел! Weiter... Weiter...» [1].

II

1

4 октября 1922 года в «Правде» появилась небольшая заметка, напечатанная где-то посередине четвертой страницы: «Т о в. Л е н и н п р и с т у п и л к р а б о т е. Вчерашнее заседание Большого Совнаркома происходило под непосредственным председательством Владимира Ильича Ленина. В. И. Ленин фактически вернулся к исполнению обязанностей Председателя Совнаркома».

Как рассказывает Л. А. Фотиева, заседание Совнаркома было многолюдным, присутствовало 54 человека. Пришли не только члены Совнаркома, но все, кто имел хотя бы отдаленное право присутствовать на его заседаниях. Товарищи предполагали сделать это заседание особо торжественным. Пригласили фотографа, заготовили приветственные речи. Но все получилось иначе. Владимир Ильич незаметно вошел в зал, сел на председательское место, объявил заседание открытым и сразу же приступил к деловому обсуждению повестки дня, не дав никому произнести заготовленных речей.

В перерыве Владимир Ильич вышел в канцелярию и увидел там Ольгу Равич, которую знал еще по Женеве, подошел к ней, стал расспрашивать, как она живет. От волнения она не могла говорить, плохо понимала, о чем он спрашивает. Потом, справившись с собой, сказала:

— Владимир Ильич! Вы здоровы... Как это хорошо!

Он наклонился, тихо, почти шепотом произнес:

— Назло врагам...

По Москве весть о возвращении Владимира Ильича разнеслась мгновенно. Какой восторг она вызвала! С тех пор как он заболел, вся страна, притаив дыхание, прислушивалась к тому, что происходит в Горках. На собраниях еще задолго до начала стол президиума бывал завален записками, в которых на разные лады задавался один и тот же вопрос: «Как здоровье товарища Ленина? Скоро ли Ильич вернется к работе?» Почта ежедневно приносила в Совнарком пачки писем, авторы которых посылали Владимиру Ильичу «пролетарское слово привета» и желали поскорее выздороветь и вернуться «на пост рулевого Советской России и грядущей мировой рабочей революции».

И вот он вернулся!

Никаких манифестаций по этому поводу не устраивали, но как-то само собой получилось, что к вечеру толпы народа заполнили

[1] Дальше... Дальше... (Гёте.)

Красную площадь. Никто не произносил речей, просто было всем очень радостно.

В тот же день, 4 октября, в «Известиях» была напечатана снятая после заседания Совнаркома фотография Владимира Ильича: он сидит за письменным столом, держит в руках газету; слегка наклонив голову, глядит перед собой. Даже сквозь грубую сетку газетного клише проступает затаившаяся в его взоре печаль. Чувствовал ли он, что уход его близок?

Как раз в эти дни его посетил приехавший из Баку А. Н. Серебровский. Он шел к нему уверенный, что Владимир Ильич совершенно здоров, но, едва взглянув в его лицо, понял правду. Напрягая все силы, чтобы не выдать себя, А. Н. Серебровский старался быть поживее, рассказывал Владимиру Ильичу что-то вроде как веселое, но слезы были у него на глазах.

Это была последняя встреча А. Н. Серебровского с Владимиром Ильичем. Когда он уходил, Владимир Ильич, прощаясь, поцеловал его в лоб.

— Я был тогда крепким, здоровым парнем, но чуть не упал,— рассказывал потом Серебровский.

Кое-как, держась за стенку, добрался он до двери. Свои бумаги забыл в комнате. Их вынесла Мария Ильинична и толкнула его легонько в спину, чтобы он не плакал тут, под дверью, а шел бы домой...

Нам не дано увидеть изнутри, о чем думал, что переживал Владимир Ильич в те месяцы, что прошли между его приездом в Москву и приступом болезни, после которого он больше не вернулся к работе. Судить об этом мы можем только по дошедшим до нас стенограммам его речей, его статьям, его письмам, по документам, вошедшим в сорок пятый и пятьдесят четвертый тома Полного собрания его сочинений.

Ни об одном периоде жизни Ленина мы не знали раньше так мало и не узнали в последние годы так много, как об этом. Обнародованы статьи и письма, в том числе письма Ленина к партийному съезду, известные партии как «Завещание Ленина». Восстановлены целые фразы, а то и абзацы и даже страницы, опускавшиеся в прежних изданиях. Исправлены сознательно делавшиеся искажения. Помимо основного ленинского текста, иным стал справочный аппарат, примечания, указатели, даты жизни и деятельности В. И. Ленина. Гораздо шире показан круг людей, с которыми общался Ленин. Названы не упоминавшиеся ранее имена. Приведены неизвестные раньше документы. Впервые опубликован ценнейший исторический источник — «Дневник дежурных секретарей В. И. Ленина», который велся с 21 ноября 1922 по 6 марта 1923 года. Расшифрована стенограмма последней записи этого дневника, сделанная дежурившей 6 марта Марией Акимовной Володичевой и остававшаяся нерасшифрованной вплоть до 1956 года.

Вся эта сложная и ответственная работа, выполненная после XX съезда партии Институтом марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, дает нам возможность хотя и не полностью, с большими пропусками, но все же с относительно большой степенью точности восстановить картину жизни Владимира Ильича в этот трагический период, когда каждый день был полон предчувствия близкой разлуки.

О многом, конечно, мы можем только догадываться. Многое читатель должен понять и продумать сам. Справедливо говорил Бертольд Брехт: единственная форма, в которой мы можем выразить свое уважение к читателю,— вера в его ум и душевное благородство.

2

Пять месяцев, отделяющих возвращение Владимира Ильича в Москву от приступа болезни, окончательно оторвавшего его от работы, делятся на два равных периода.

Первый — со 2 октября до 16 декабря — заполнен напряженнейшей работой, потоком дел. По подсчету, сделанному секретарями, за это так быстро пролетевшее время Владимир Ильич написал 224 деловых письма, принял 171 человека, председательствовал на 32 заседаниях и совещаниях — Совнаркома, Совета Труда и Обороны, Политбюро ЦК, различных комиссий. К этому надо добавить 3 больших выступления — на сессии ВЦИК, на 4-м конгрессе Коминтерна и на заседании Московского Совета.

Второй период — от 16 декабря по 6 марта — Владимир Ильич был тяжело болен, лежал в постели, но по его категорическому требованию к нему приходили секретари, и он диктовал им свои последние статьи — свое политическое завещание.

Начнем с первого периода. Не будем ставить себе целью охватить его целиком: как он ни короток — всего семьдесят четыре дня,— для его описания понадобилась бы целая книга.

Среди вопросов, которыми занимался Владимир Ильич в эти месяцы, были и мелкие (в семье Ульяновых их шутливо прозвали вопросами «о мелких кожах») и крупные — такие, как денежная реформа, ей посвящены первые постановления правительства, подписанные Владимиром Ильичем после его возвращения к работе. Были вопросы, которые его особенно волновали: об образовании Союза Советских Социалистических Республик и о монополии внешней торговли. Но мы начнем не с них, а с проблемы, о которой он в то время почти не писал, но, как это можно увидеть, сопоставив ряд фактов, к которой относился с сугубым вниманием. Я говорю о проблеме культуры.

3

События развивались следующим образом: в последние дни сентября, когда Владимир Ильич жил еще в Горках и собирался вернуться в Москву, в «Правде» появилась статья председателя ЦК Пролеткульта Валериана Федоровича Плетнева. В сгущенной, а потому особо выпуклой форме Плетнев изложил в ней программные воззрения руководителей Пролеткульта.

«Цель и задача Пролеткульта,— писал Плетнев,— состоит в творчестве новой, пролетарской культуры, не имеющей ничего общего с культурой буржуазной. Разрешить эту задачу можно только силами самого пролетариата, ибо классовая психология пролетариата является коллективно-классовой и сознательно-творческой. Пролетарий обладает совершенно ясным отношением к внешней природе: он знает, что удар кайла в шахте даст известное количество руды или угля, руда и уголь дадут в домне чугун, из домны не потечет молоко или вода; чугун даст железо, сталь; последние претворятся в машину, машина даст возможность победить сопротивление материи, а в субботу будет получка.

Пролеткульт и является той лабораторией, в которой пролетарий должен творить собственную культуру и науку, принципиально противоположные культуре и науке всех других классов (которые, видимо, считают, что из домен текут молоко и вода?! — *Е. Д.*). Проведение четкой демаркационной линии между пролетариатом и другими классами особенно важно в такой некультурной, полубезграмотной стране, как Россия. Сколько бы ни было у нас пришельцев из буржуазного лагеря, классовое сознание пролетариата останется чуждо крестьянину, буржуа, интеллигенту. Отрицая с исторической и научной точки зрения все старые системы наук, пролетариат создает свою классовую науку, новую науку пролетариата...»

Читая эту статью Плетнева, Ленин испещрил ее замечаниями и в тот же день послал вырезку из газеты со своими пометками редактору «Правды» Бухарину.

«Посылаю Вам сегодняшнюю «Правду»,— писал Владимир Ильич в сопроводительном письме.— Ну зачем печатать глупости под видом важничающего всеми учеными и модными словами фельетона Плетнева? Отметил 2 глупости и поставил ряд знаков вопроса. Учиться надо автору не «пролетарской» науке, а просто учиться. Неужели редакция «Правды» не разъяснит автору его ошибки? Ведь это же ф а л ь с и ф и к а ц и я исторического материализма! Игра в исторический материализм!»

Несколько дней спустя Владимир Ильич переехал в Москву и отдался решению острейших политических вопросов, не терпящих отлагательства. С ответом Плетневу выступила Н. К. Крупская, ее статья была напечатана на первой странице «Правды» 9 октября.

Видимо, Владимир Ильич считал, что одной статьи для такого важного вопроса мало. Два дня спустя он имел беседу о деятельности Пролеткульта с работниками Агитпропотдела ЦК Я. А. Яковлевым и К. А. Поповым. Было решено, что Яков Аркадьевич Яковлев должен выступить на страницах «Правды» с большой статьей «О пролетарской культуре и Пролеткульте». Какое большое значение придавал Владимир Ильич этой статье, видно по тому, что накануне ее публикации в «Правде» он обсуждал ее совместно с Я. А. Яковлевым, Н. И. Бухариным и И. В. Сталиным.

Таким образом, статья Яковлева была апробирована Лениным. В том, что взгляды Н. К. Крупской совпадали со взглядами Ленина, не может быть никакого сомнения. Следовательно, обе эти статьи мы можем рассматривать как выражение взглядов Ленина по этой важнейшей проблеме социалистической революции.

Спор шел по длинному ряду взаимосвязанных вопросов.

Первый из них — отношение пролетариата, взявшего власть, к другим классам. Руководители Пролеткульта считали, что пролетариат должен противопоставить себя всем другим классам, хотя бы это были и трудящиеся, изолировать себя как высший класс общества и создавать свою белоснежно-пролетарскую культуру.

«Мы считаем такие взгляды сектантскими, непролетарскими и потому боремся с ними»,— отвечала на это Н. К. Крупская. «Для чего пролетариат брал власть? — спрашивала она.— Чтоб угнетать другие классы? Конечно, нет. Он взял власть, чтобы уничтожить всякую эксплуатацию, всякое угнетение, перестроить общество по-своему, уничтожить деление общества на классы и тогда перестать существовать как класс. Пролетариат думает не о том, как бы ему обособленно устроиться в классовом обществе, выработать свое обособленное мировоззрение, свое обособленное искусство. Пролетариат видит свою миссию не в этом, а в уничтожении классового общества, в организации разумной, счастливой жизни для всех и каждого, в такой организации общества, в которой не будет пролетариата и буржуазии».

Формально полемика шла вокруг теорий и практики Пролеткульта, но по сути своей это был спор между мнимореволюционным догматизмом, узостью, сектантством и исполненной духом свободы, творчества, гуманизма философией марксизма. И не случайно Надежда Константиновна, которая видела миссию пролетариата в организации разумной, счастливой жизни для всех и каждого, решительно выступала против классового принципа приема в школу. «Или вы полагаете, что сын попа что-то уже проклятое и из сына попа ничего не может быть доброго?..— спрашивала она.— В первую очередь повсюду должны приниматься дети тех родителей, которые при старом

строе были загнаны во тьму. Но чтобы пролетарское государство когда-нибудь провозглашало, что часть населения оно всегда будет держать во тьме, этого лозунга Интернационал еще не слыхал». И, напоминая, как преклонялся Ленин перед Чернышевским, в котором видел великого революционера и у которого очень многому научился, добавляла: «..ведь этот Чернышевский был сын попа...»

Это мнение не одной только Надежды Константиновны... «У меня щемит сердце, когда я слышу о том, как детям помещиков и буржуев отказывают в приеме в школы,— писал тогда же, в 1922 году, замечательный большевик И. И. Скворцов-Степанов.— Не скрою, что для меня бесконечно привлекательна практика 1918—1920 гг., которая в детском питании не проводила классового пайка... Пролетариат, в особенности в эпоху далеко не законченной борьбы, должен создать единую школу, обязательную для всех... Только близорукая политика стала бы устранять детей буржуазии из такой школы. Напротив, надо постараться провести через нее всех детей, чтобы до последней степени сократить возможные молодые пополнения лагеря наших противников».

Вторым узлом полемики с Пролеткультом была проблема отношения пролетариата к буржуазной культуре. «Пролетариат начисто отвергает всякую буржуазную культуру!» — утверждали пролеткультовцы.

«Вы говорите вздор! — писал по этому поводу Я. А. Яковлев.— В нашей отсталой стране мы должны бороться за «буржуазную культуру», за то, чтоб аккуратно исполнять свои обязанности, выходить вовремя на службу, не класть под сукно приносимые бумаги, не отписываться бюрократическими отговорками; разъяснять посетителю, что он должен сделать для решения своего дела; приучить граждан РСФСР, в том числе коммунистов, не относиться к взятке как к неизбежному слабительному при запоре в нашем аппарате; работать так, чтоб коммунист не превращался в удобное прикрытие для вороватого служащего,— словом, работать не по разгильдяйски-советскому образцу, а хотя бы по буржуазно-европейскому или американскому образцу, уменьшить безграмотность, научить крестьянина культурному хозяйничанью...»

И третий, и последний, «узел» — наука.

По убеждению пролеткультовцев, определяющим принципом любой науки является классовый, даже физическая культура не составляет исключения, а посему пролетариат «должен создать свою пролетарскую физическую культуру».

Нетрудно предугадать, как отнеслись к подобным утверждениям противники идей Пролеткульта.

«Точные науки покоятся на многовековом опыте человечества в области овладения силами природы,— писала Н. К. Крупская.— Данные этих наук проверены опытом, ежедневно подтверждаются практикой и дают человеку громадную, по сравнению с прошлыми веками, власть над природой. Выбрасывать за борт эти достижения науки было бы смешно и дико».

И словно поднимая свой голос в споре против тех, кто нанес впоследствии тяжелейшие удары нашей науке, Я. А. Яковлев продолжал мысль Надежды Константиновны:

«Имеются на Западе огромные группы ученых, подлинных материалистов по тому делу, которое они делают, людей, обогащающих человеческое знание крупнейшими открытиями,— в то же время искренно верующих в бога. Мы были бы слепышами, если бы из-за буржуазных кликуш, продающих свои перья буржуазии, просмотрели ту огромную работу в области естествознания, которая идет на Западе, часто вопреки корыстным целям и интересам буржуазии».

4

Может показаться, что изложение дискуссии с Пролеткультом увело нас в сторону от основной линии нашего повествования. Но это не так. И не только потому, что Ленин принимал непосредственное участие в подготовке статей Н. К. Крупской и Я. А. Яковлева, но прежде всего потому, что идеи, высказанные в этих статьях, полностью выражают самую сущность ленинского мировоззрения. Мы могли бы привести этому множество примеров и доказательств. Самые яркие из них, самые выразительные — те, о которых мы узнали из ленинских документов, опубликованных после XX съезда партии: в XXXVI Ленинском сборнике, в пятом издании сочинений Ленина. Например, впервые опубликованное письмо Ленина С. С. Данилову. Старый большевик, работник дореволюционной «Правды», Степан Степанович Данилов обратился к Ленину с письмом, в котором говорил о необходимости развивать чувство «любви, сострадания, взаимной помощи в н у т р и к л а с с а, внутри лагеря трудящихся». Ленин ответил: «И «внутри класса» и к т р у д я щ и м с я и н ы х классов развивать чувство «взаимной помощи» и т. д. безусловно н е о б х о д и м о».

Но кто же эти «трудящиеся иных классов», о которых писал в своей записке Ленин? Это прежде всего крестьянство, техническая интеллигенция, учителя, врачи, художественная интеллигенция.

Отсюда, из такого взгляда на отношение пролетариата к другим классам, закономерно вырастали партийные решения, образцом которых является резолюция по вопросу «Об антисоветских партиях и течениях», принятая 12-й всероссийской партийной конференцией — последней партийной конференцией, в подготовке которой непосредственно участвовал Ленин.

«Более чем когда бы то ни было,— говорилось в этой резолюции,— партийным организациям в настоящее время необходимо проявить дифференцированное отношение к каждой отдельной группе (или даже отдельному лицу) представителей науки, техники, медицины, педагогики и пр. и т. п... По отношению к действительно беспартийным элементам из среды представителей техники, науки, учительства, писателей, поэтов и т. д., которые хотя бы в основных чертах поняли действительный смысл совершившегося великого переворота, необходима систематическая поддержка и деловое сотрудничество».

И шестидесятилетние, и пятидесятилетние, и сорокалетние о многом подумают, многое вспомнят, когда прочтут эти строки, когда узнают, что Ленин требовал, чтобы партия «делала все, что от нее зависит, чтобы помочь кристаллизации тех течений и групп, которые обнаруживают желание помочь рабоче-крестьянскому государству. Начиная от столицы и кончая уездным городом, партия должна терпеливо, систематически и настойчиво проводить эту линию...».

Разумеется, это относилось к людям, которые не вели активной борьбы против советской власти. Тем, кто эту борьбу продолжал, пролетарская диктатура не могла не давать отпор. Но если человек честно сложил оружие, ему должны были, если бы осуществлялись указания Ленина, давать спокойно жить, работать, не преследовать его, не корить прошлым.

Даже о тех, кто так недавно поднял опаснейший для советской власти мятеж, Ленин сказал: «Несчастные кронштадтцы весны 1921 года...»

5

Когда год за годом, месяц за месяцем я перебираю прошлое, осень 1922 года встает в моей памяти как один из самых светлых и счастливых периодов во всей моей жизни. И это не потому, что мне

или окружающим жилось легко и спокойно. Трудностей всяческих оставалось до черта. По-прежнему дома отапливались в основном буржуйками. По-прежнему важнейшую часть пищевого рациона составляла жареная H_2O. По-прежнему в зимние холода мы одевались по принципу капусты: кофта на кофту, рубашка на рубашку, сорок одежек — и все без застежек. По-прежнему существовали «язвы нэпа», и в Москве и в других городах имелись «улицы человеческого горя», где на биржах труда тысячи и тысячи безработных месяцами ждали хоть какой-нибудь работы.

Жизнь, как всегда, шла в сталкивающихся и набегающих друг на друга противоречиях. Но над всем этим господствовала та глубокая уверенность в будущем, которая составляет один из важнейших компонентов человеческого счастья. И огромнейшую роль в таком настроении играло, конечно, то, что Владимир Ильич вернулся к работе: мы ведь не знали и не понимали характера его болезни и нам казалось, что он будет с нами если и не вечно, то необозримо долго.

Тем удивительнее, что одним из самых глубоких впечатлений этого года был для меня впервые услышанный «Реквием» Моцарта.

Я слушала «Реквием» вместе с моей мамой. Нам не удалось достать билеты на первое исполнение, мы попали лишь на второе. Оно происходило в помещении лютеранской церкви. Это было 15 октября 1922 года. Дирижировал Вячеслав Сук, партию органа исполнял профессор Гедике.

Мы пришли примерно за полчаса до начала. Мама погрузилась в чтение программы, я с интересом рассматривала московскую артистическую элиту, для которой и было устроено это исполнение. Среди пришедших были также люди, которых я никак не ждала здесь увидеть: нарком иностранных дел Георгий Васильевич Чичерин (я не знала, что он был крупным знатоком Моцарта и даже написал о нем монографическое исследование), одетый в штатское Михаил Николаевич Тухачевский.

Оркестр настроил инструменты. Профессор Гедике занял свое место у органа. Появился Вячеслав Сук. По залу пробежал легкий шум. Сук поднял дирижерскую палочку. Все стихло. Раздалось медленное адажио вступления «Requiem aeternam» — «Дай им вечный покой...». Его сменили картины Страшного суда, просветленная тема «Tuba mirum» — «Труба предвечного». А потом из борьбы и отчаяния, из скорби, тоски и надежды родились исполненные глубочайшей человечностью звуки «Lacrymosa».

Билеты на «Реквием» нам дал Леонид Борисович Красин. Мама работала с ним в 1905 — 1906 годах в первой большевистской боевой организации, они были очень дружны, во время своих приездов из Лондона он всегда приходил к нам — веселый, необыкновенно красивый, изящный, элегантный.

Заехал он к нам за два дня до концерта. Был на этот раз не такой, как всегда, а сумрачный, озабоченный. Сказал:

— Я прямо от Ильича.

— Как он?

— Не знаю,— сказал Леонид Борисович.— То словно бы совсем здоров, а то меняется в лице, и глядеть на него больно.

И, обернувшись ко мне, неожиданно спросил, есть ли у нас пушкинский «Моцарт и Сальери». Я сказала, что книги нет, но я помню его наизусть.

— Тогда прочти мне монолог Сальери.

— «Все говорят...»,— начала я.

— Нет,— сказал Леонид Борисович.— Начни дальше: «Отверг я рано...».

Отверг я рано праздные забавы,
Науки, чуждые музыке, были
Постылы мне; упрямо и надменно
От них отрекся я и предался
Одной музыке. Труден первый шаг
И скучен первый путь. Преодолел
Я ранние невзгоды. Ремесло
Поставил я подножием искусству;
Я сделался ремесленник: перстам
Придал послушную, сухую беглость
И верность уху. Звуки умертвив,
Музыку я разъял, как труп...

Леонид Борисович слушал хмуро. Потом сказал, что Владимир Ильич очень нервничает, его крайне тревожит один вопрос, вызвавший в ЦК партии острые разногласия. Тревожит настолько, что его снова одолевают бессонница и головные боли. Вдруг прервав себя, Леонид Борисович попросил меня прочесть еще один монолог Сальери — «...Я избран, чтоб его остановить...».

— Почему вы все время вспоминаете Сальери? — не удержалась я.

— Просто так,— ответил он, думая о чем-то другом.— Просто так...

— А вы считаете, что Сальери и вправду отравил Моцарта?

— Ты плоско, убого поняла Пушкина,— сказал Леонид Борисович.— Для Пушкина убийство Моцарта — лишь переведенные на язык драмы слова Сальери: «Звуки умертвив, музыку я разъял, как труп...»

Я точно знаю дату этого разговора — 12 октября, знаю точно потому, что, как я хорошо запомнила, в этот же день в «Известиях» появилась большая статья о музыке, в которой говорилось о Моцарте: это был подвал Ф. Капелюша «Музыка для рабочего класса». Однако лишь после выхода пятого издания сочинений Ленина я поняла, что вопрос, о котором говорил Л. Б. Красин, вопрос, который так тревожил Владимира Ильича, был вопрос о монополии внешней торговли.

Раскроем «Даты жизни и деятельности В. И. Ленина» на 12 октября 1922 года. Читаем:

«О к т я б р ь. 12. Ленин участвует в заседании Политбюро ЦК РКП(б), на котором обсуждаются вопросы о заместителях наркома просвещения, о решении пленума ЦК по вопросу о внешней торговле, о демобилизации моряков и укреплении боеспособности флота, о Дальневосточной республике, о прокурорском надзоре, о строительстве Земо-Авчальской ГЭС в Грузии, финансовые вопросы и др.

Ленин беседует с И. В. Сталиным о решении, принятом пленумом ЦК РКП(б) 6 октября 1922 года по вопросу о монополии внешней торговли.

Ленин беседует с Л. Б. Красиным о монополии внешней торговли; затем пишет проект письма в ЦК РКП(б) по этому вопросу и направляет его Красину для ознакомления».

6

При переходе к новой экономической политике Ленин определил те командные высоты, утерю которых он считал гибельной для дела революции. Одной из этих командных высот являлась монополия внешней торговли.

Между тем ряд руководящих деятелей партии не разделял этого мнения Ленина. Разногласия существовали уже давно, к моменту возвращения Ленина к работе осенью 1922 года они приняли весьма острый характер.

Монополия внешней торговли была установлена декретом Советов Народных Комиссаров в апреле 1918 года. Но в условиях граж-

данской войны и блокады этот декрет не привлекал к себе особого внимания. С переходом к нэпу положение резко изменилось. Как рассказывает И. И. Радченко, который с июля 1921 года был заместителем наркома внешней торговли, многие хозяйственные работники, в том числе коммунисты, «не понимая значения монополии внешней торговли, стремились к самостоятельной купле-продаже за границей для представляемых ими учреждений или организаций... добивались права самостоятельного выхода на внешний рынок...».

Узнав об этом, Ленин предложил самым резким образом подтвердить незыблемость монополии внешней торговли и в то же время уточнить и дополнить действующее законодательство, приспособив его к новой экономической политике и расширению торговых связей с заграницей.

Против сохранения монополии внешней торговли выступили Г. Я. Сокольников, Н. И. Бухарин, Г. Л. Пятаков. Сокольников предложил отменить монополию внешней торговли, заменив ее режимом торговых концессий. И. В. Сталин, Г. Е. Зиновьев и Л. Б. Каменев высказались за ослабление монополии. Народный комиссар внешней торговли Л. Б. Красин был «ярым монополистом». Г. М. Кржижановский даже называл его рыцарем монополии внешней торговли.

Ленин всячески старался убедить товарищей в своей правоте. В письме Л. Б. Каменеву от 3 марта 1922 года он писал:

«Т. Каменев! Я довольно долго размышлял о нашем разговоре (с Вами, Сталиным и Зиновьевым) насчет Внешторга и линии Красина и Сокольникова.

Мой вывод — безусловно прав Красин. Нельзя нам теперь дальше отступать от монополии внешней торговли... Иностранцы иначе скупят и вывезут все ценное...»

Основным доводом противников монополии внешней торговли были бюрократизм и волокита органов Наркомвнешторга. «Если хозяйственные организации получат право непосредственного выхода на внешний рынок,— утверждали они,— это придаст нашей торговле необходимую оперативность, эластичность, быстроту». «Нет,— возражал на эти доводы Ленин.— Принять подобное решение означало бы лишь «дублировать» плохой Внешторг плохими внешторгиками, из коих 90% к у п я т капиталисты».

Из недостатков работы Внешторга надо сделать другой вывод — «проверять практику и ш к о л и т ь за волокиту». Школить жестко и беспощадно.

Если, как это случилось незадолго до того, Московский Губэкосо предложил закупить за границей консервы, а Внешторг две недели тянул и дотянул до того, что сделка была сорвана, то надо поручить прессе «высмеять и тех и других и о п л е в а т ь их. Ибо позор тут именно в том, что москвичи (в Москве!) не умели бороться с волокитой».

А посему Ленин предлагал: «Москвичей за глупость на 6 часов клоповника. Внешторговцев за глупость плюс «центрответственность» на 36 часов клоповника».

Что же касается монополии внешней торговли, то «ни в коем случае не подрывать монополии внешней торговли... опубликовать тотчас же (потеряли мы тьму времени) от имени Президиума ВЦИКа твердое, холодное, свирепое заявление, что мы дальше не отступаем в экономике и что покушающиеся нас надуть (или обойти монополию и т. п.) встретят террор; этого слова не употреблять, но «тонко и вежливо намекнуть» на сие».

Одновременно с этим Ленин направил в ЦК письмо (И. В. С т а л и н у и М. И. Ф р у м к и н у), в котором указывал, что надо «*ф о р м а л ь н о з а п р е т и т ь* все разговоры и переговоры... об ослаблении монополии внешней торговли».

На письме Ленина Сталин написал: «Против «формального запрещения» шагов в сторону о с л а б л е н и я монополии внешней торговли на д а н н о й стадии не возражаю. Думаю все же, что о с л а б л е н и е становится неизбежным».

22 мая проект постановления, предложенный Лениным, был утвержден Политбюро. Только после этого Ленин счел возможным уехать на отдых в Горки.

Однако на этом борьба не прекратилась. Противники сохранения монополии внешней торговли настаивали на своем. 6 октября этот вопрос был вновь поставлен на Пленуме ЦК. Ленин к этому времени уже вернулся из Горок, но из-за болезни на Пленуме не присутствовал. По предложению Г. Е. Зиновьева Пленум принял постановление, в основе которого лежали тезисы Сокольникова о разрешении свободы ввоза и вывоза отдельных категорий товаров или в применении к отдельным границам.

Таким образом, Пленум ЦК отверг линию Ленина в вопросе, который Ленин считал имеющим «самое коренное, принципиальное значение», в вопросе, неправильная политика в котором «нас погубит», ибо отмена монополии внешней торговли приведет к тому, что у нас «вырвут из рук торговлю»; в деревню, как это правильно указывает Красин, «будет искусственно введен самый злостный эксплуататор, скупщик, спекулянт, агент заграничного капитала, орудующий долларом, фунтом, шведской кроной». И все это обратится против пролетариата, который без сохранения монополии внешней торговли «абсолютно не в состоянии воссоздать своей промышленности, сделать Россию промышленной страной». Вместе с тем открытие границы «несет с собою серьезнейшие опасности в отношении валюты, ибо мы попадем практически в положение Германии».

«Это такой коренной вопрос, из-за которого можно и должно побороться на партийном съезде»,— писал Ленин в письме, которое направил И. В. Сталину для Пленума ЦК.

В политической жизни Ленина не раз уже случалось, что он оставался в ЦК в меньшинстве: вспомним первую стадию профсоюзной дискуссии или дискуссии по поводу Брестского мира.

Когда спор шел не о принципиальных проблемах, Ленин беспрекословно подчинялся партийной дисциплине. Когда дело касалось коренных вопросов, от правильного или неправильного решения которых зависели судьбы революции, он считал своим долгом бороться до конца, снова и снова апеллируя к ЦК, к партийному съезду, ко всей партии.

Так поступил он в период брестских переговоров, когда он и его единомышленники остались в ЦК в меньшинстве. Пока была надежда переубедить сторонников революционной фразы, пока не были исчерпаны все возможности внутри ЦК, Ленин подчинялся партийной дисциплине и ни словом не проговорился о своих разногласиях с большинством ЦК. Но когда в результате гибельной политики Троцкого и «левых» германо-кайзеровские войска двинулись на революционный Петроград и на карту была поставлена судьба советской власти и социалистической революции, Ленин открыто пошел против большинства ЦК. На бурном заседании ЦК он в ультимативной форме потребовал принять германские условия мира. Иначе он выйдет и из правительства и из ЦК, ибо отвергнуть сейчас мир значит подписать советской власти смертный приговор.

Так вел борьбу Ленин в дни Бреста, когда был крепок, здоров, полон сил. Так же готов был вести ее теперь, когда был болен, и, мы знаем, болен смертельно.

В вопросе о монополии внешней торговли Ленин уступить не мог. Еще и еще раз пытался он переубедить членов ЦК. Разговаривал с ними. Писал им письма. Вновь и вновь разъяснял свою точку зрения.

Добился того, что принятие окончательного решения было перенесено на два месяца, до следующего Пленума ЦК, назначенного на 15 декабря.

К этому Пленуму Ленин провел большую работу: организовал сбор материалов о состоянии внешней торговли и создал комиссию для их изучения, предложил обследовать деятельность торговых представительств за границей. Много раз он беседовал с членами ЦК, с партийными, хозяйственными и советскими работниками, договаривался со сторонниками его точки зрения об их выступлении на Пленуме. Через все это проходила мысль, высказанная им в одном из его писем того времени: «Я буду воевать на пленуме за монополию...».

7

Вскоре после возвращения Владимира Ильича в Москву его болезнь снова стала напоминать о себе. Он старался скрыть это даже от самых близких ему людей, внешне был ровен, весел, бодр. Шутливо спросил Г. М. Кржижановского, какой порок тот считает самым скверным на свете. А когда Кржижановский не нашел ответа и пробормотал, что есть, мол, много скверных пороков,— сказал, что прав был Тургенев, утверждавший, что самый скверный порок — быть старше пятидесяти пяти лет.

Теперь мы знаем, как болен был тогда Владимир Ильич. Тем больше поражает его неослабевающая душевная энергия. Весь октябрь он напряженно работал, а 31 октября впервые выступил на большом собрании. Об этом его выступлении сохранилась следующая запись секретаря Совнаркома Л. А. Фотиевой: «В 12 часов доклад Владимира Ильича на сессии ВЦИКа. Продолжался двадцать минут. Впечатление на всех произвел очень хорошее. Сам он тоже очень доволен, так как сказал все, что хотел сказать».

Этого первого после болезни публичного выступления Владимира Ильича все очень ждали. Сам он, видимо, был озабочен и волновался, удастся ли, как выйдет. И был очень рад, когда вышло хорошо.

Однако несколько дней спустя он заболел и не смог прийти на Красную площадь в торжественный день пятой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции.

Накануне с вечера Москву заволокло туманом, но утро встало светлое, прихваченное легким морозом. Красная площадь была убрана по-новому: в центре ее установлена каменная трибуна, рядом с ней — огромная статуя рабочего у наковальни с молотом в руке.

Сначала состоялся парад, потом на площадь вступили районы. Они шли с портретами своих героев: Рогожско-Симоновский нес портрет замечательного рабочего Сафонова; Хамовнический — портрет слесаря Брянской железной дороги Шлемина, в дни Октября перевозившего оружие из Хамовнических казарм и расстрелянного юнкерами; Красная Пресня несла мемориальную доску с надписью: «Вечная память борцам за революцию».

Было нечто особенное, необыкновенное в этой демонстрации, которую наша печать тогда же назвала «седьмое ноября пред лицом нэпа». На плакатах было написано: «Не сдадим крупную промышленность акулам капитала!», «Нэп-то нэп, да не будь слеп!», «Плечом к плечу с крестьянином — к победе коммунизма!», «Да здравствует смычка рабочих и крестьян!».

Только что был взят Владивосток и завершена гражданская война. Деревня начала оправляться от голода. Помгол (Комиссия помощи голодающим) был ликвидирован и вместо него создан Последгол (Комиссия по борьбе с последствиями голода). Урожай позволил во многих районах, голодавших в 1921 году, свести концы с концами.

Все это было достигнуто героической борьбой и героическим трудом людей, многие из которых не дожили до нового хлеба, посеянно-

го их иссохшими от голода руками. И недаром на лентах, опоясывавших пышные золотые снопы нового урожая, были начертаны призывы помнить о тех, кто «бросал свои озимые семена в землю будущего урожая и не дождался его весеннего всхода».

Каждое предприятие, каждый завод — и это тоже было новым, необычным — несли эмблемы своего производства: торфяные машины, модель дирижабля, мельницу с вертящимися крыльями, паровоз, пускавший дым, вагоны, белые булки, огромные карандаши. А над всем этим возвышались два парохода с надписями: «Привет штурману мировой революции — товарищу Ленину».

Так грустно, что Владимир Ильич в этот день лежал в своей комнате в Кремле, куда с Красной площади доносился праздничный гул, а у него не было сил, чтоб встать и пойти туда, где ему так хотелось быть!

8

Уже на другой день, 8 ноября, Ленин снова весь в работе: он готовится к докладу на 4-м конгрессе Коммунистического Интернационала.

Подготовка эта сопряжена с особыми трудностями: Владимир Ильич собирался выступать по-немецки. Поэтому он затребовал немецкое издание стенограмм 3-го конгресса Коминтерна и своей брошюры о продовольственном налоге, встретился с германскими коммунистами, побывал у Клары Цеткин в общежитии работников Коминтерна, где она тогда жила.

Клара забросала Владимира Ильича вопросами по поводу его здоровья. Он коротко ответил, что чувствует себя вполне хорошо, болеть больше не хочет, да и некогда болеть, и перешел к разговору о германских делах. Потом со своим прежним веселым смехом, в котором звучало так много доброты, рассказал Кларе про письмо, которое ему прислали ребята из какого-то далекого детского дома: они прилежно учатся, каждое утро умываются и моют руки перед едой.

— Вот видите, милая Клара, мы делаем успехи во всех областях, серьезные успехи. Мы учимся культуре, мы умываемся, и каждый день. У нас даже дети в деревнях участвуют в возрождении Советской России. Можем ли мы бояться, что победа будет не на нашей стороне?

Несколько дней спустя Клара слушала доклад Ленина о русской революции, доклад, который запечатлелся в ее памяти как доклад человека, проникнутого железной волей к жизни и творческому созиданию.

Ленин сказал, что после долгой болезни он не в состоянии сделать большого доклада, и из обширной темы «Пять лет российской революции и перспективы мировой революции» берет только небольшую ее часть — вопрос о новой экономической политике, который является важнейшим теперь вопросом («...важнейшим, по крайней мере, для меня,— сказал он,— ибо я над ним сейчас работаю»). Принесла ли новая экономическая политика хорошие результаты, или плохие, или же неопределенные?

«Мы одни, без чужой помощи вылезаем»,— формулирует ответ Ленин и с обычной своей прямотой подчеркивает:

«Трудности очень велики, еще несколько лет.

Глупостей масса. Да. Новость пути.

Никакой помощи, напротив.

Аппарат чужой».

Но тут же показал то положительное, что достигнуто благодаря новой экономической политике, и прежде всего упрочение союза между рабочим классом и крестьянством.

«Крестьянство довольно своим настоящим положением,— говорил он.— Крестьянство за один год не только справилось с голодом, но и

сдало государству без всякого принуждения больше хлеба, чем когда-либо... Нам не приходится опасаться с его стороны какого-нибудь движения против нас...»

Общий же вывод, к которому приходил Ленин после полутора лет новой экономической политики, состоял в том, что первый успех н а л и ц о. А отсюда следовало:

«...значит, успех возможен...
Система не произвольна, не путаная,
практически испытана...
Поэтому
перспективы превосходны
и б у д у т е щ е л у ч ш е, если
и мы следующее пятилетие возьмемся г л а в н ы м
о б р а з о м за учение...»

Утром 13 ноября, когда должен был выступать Ленин, зал заседаний конгресса был переполнен. Между высокими колоннами Андреевского зала собрались представители 58 коммунистических партий и международных профсоюзных, женских и молодежных организаций.

«Да, мы будем помнить день, когда Ленин говорил с нами!» — восклицает присутствовавший на конгрессе немецкий писатель Артур Голичер.

Ленин вошел через боковой вход и пробрался к трибуне. «Поспешно поднявшись на трибуну,— вспоминает Голичер,— он вынул свои записи, вытащил платок, отер лоб, с нетерпением посмотрел на зал, ожидая, когда кончится овация».

Германские делегаты, недвижимые, бледные, стояли стеной. Потом запели «Интернационал».

«Я никогда не слышал подобного исполнения нашей старой боевой песни,— пишет Голичер.— Слова, много раз слышанные, много раз петые, неожиданно наполнились новым смыслом...»

Мгновение спустя пел уже весь зал на всех языках мира.

Наконец Ленин смог начать говорить.

«Во всей полноте ощущали мы непреодолимую мощь его слов,— вспоминает Франсиско Пинтос, делегат конгресса от Уругвая.— Несмотря на усталость и общее физическое недомогание, подчеркиваемое всем его видом, его голос и жесты были полны необычайной силы и бодрости».

Ленин говорил легко, свободно. Лишь изредка ему не хватало нужного немецкого слова, тогда он быстро спрашивал его у товарища, стоявшего у подножья трибуны. Порой ему подсказывали из первых рядов зала, но он почти не пользовался посторонней помощью и сам искал и находил острые выражения, ясно и точно формулировавшие его мысли.

«У него нет привычки некоторых знаменитых ораторов говорить словно в воздух, не обращаясь ни к кому,— писал Голичер.— Он говорит для каждого отдельного человека, будто он хочет получить дружеский отклик от каждого в отдельности... Отсвет радости, довольства хорошими сторонами жизни внезапно пробегает по его лицу. Это веселое выражение лица знакомо каждому, кому приходилось слушать Ленина».

Неделю спустя Владимир Ильич выступил с речью на пленуме Моссовета. С последней своей речью.

В корреспондентском отчете, напечатанном в «Правде», говорится, что В. И. Ленина, который приехал на заседание, когда повестка дня была исчерпана, встретили горячими аплодисментами, перешедшими в долго не смолкавшую овацию. Со всех сторон снова и снова неслись восклицания: «Да здравствует вождь мировой революции!», «Да здравствует товарищ Ленин!»

В зале присутствовала Екатерина Михайловна Ямпольская, работавшая в то время в Московском комитете партии. Ей досталось место в оркестре, как раз напротив трибуны, с которой выступал Ленин, так что она видела его совсем близко и могла следить за каждым его движением, за каждым изменением в выражении лица. Много раз уже она его слушала — и сейчас ее поразило, что Владимир Ильич, так не любивший оваций, в этот раз был счастлив. Не перелистывал, как обычно это делал, свои бумаги, не поглядывал на часы, не выражал всем своим существом нетерпения. Нет, он с радостью смотрел на зал блестящими глазами глубоко счастливого человека. А потом заговорил — страстно, сильно, убежденно. Это была та самая речь, которую Ленин закончил пророческими словами: «Из России нэповской будет Россия социалистическая!»

О, если б воспоминания товарищей, слышавших тогда речи Ленина, были бы только рассказом о проявленном им величии ума, духа, воли!

Увы, это не так! М. В. Кобецкий, знавший Ленина еще по годам революционной эмиграции, в тот же день написал в своем дневнике: «Ум прежний, но человек уже не тот». Человек, к которому, как писала Клара, «смерть уже беспощадно простирала свои костлявые руки».

Франсиско Пинтос, чьи слова мы уже приводили, рассказывал, что Ленин производил впечатление человека, только что оправившегося от длительной болезни, но не выздоровевшего окончательно. Можно было заметить признаки усталости, тяжелые капли пота покрывали его лоб, он то и дело проводил по нему платком...

И в таком состоянии он произнес речь, о которой слышавшие ее в один голос говорят, что она была исключительно жизнерадостной, воодушевляющей, оптимистичной!

Впрочем, тут не нужны ничьи свидетельства — достаточно самому перечитать последние речи Ленина.

9

Мы видели глазами современников, каким был Ленин во время выступлений 13 и 20 ноября; видели, как он устал, как был болен. Но, несмотря на это, он продолжал работать: председательствовал на заседаниях СТО и Совнаркома, провел совещание бюро делегации нашей партии на конгрессе Коминтерна, имел множество встреч и бесед с товарищами по самым разным вопросам, принял уполномоченного АРА полковника В. Хаскеля, уезжавшего в США, передал через него благодарность американскому народу за помощь голодающим.

В эти дни его в последний раз видел В. П. Милютин. Было это то ли на заседании Совнаркома 21 ноября, то ли на заседании СТО 24 ноября. Владимир Ильич председательствовал, но чувствовал себя нехорошо и передал председательствование кому-то из товарищей, а сам отошел к окну, около которого стоял Милютин. Продолжая следить за ходом прений, Владимир Ильич несколько раз повторил:

— Weiter... Weiter... («Дальше... Дальше...»)

Милютину казалось, что эти его слова относятся к вопросам, которые стоят на обсуждении. Но вот заседание закончилось, участники его стали расходиться. Владимир Ильич по-прежнему стоял у окна, смотрел в небо. Снова несколько раз повторил:

— Weiter...Weiter...

Только теперь Милютин понял, что Владимир Ильич думает не о том, кому передать десять тракторов, не о повышении железнодорожного тарифа. Он думает о жизни, которая идет weiter... weiter... (дальше... дальше...).

К концу ноября Владимир Ильич настолько переутомился, что врачи предписали ему неделю абсолютного отдыха. Это предписание он не выполнил. Не выполнил потому, что как раз в это время подготавливались к окончательному решению два вопроса, которым он придавал исключительное значение для всей дальнейшей судьбы страны. И уехать в такое время он не мог.

Первым из них был уже известный нам вопрос о монополии внешней торговли, который должен был быть рассмотрен Пленумом ЦК, назначенным на 15 декабря. Вторым — так называемый грузинский вопрос, непосредственно связанный с вопросом об автономизации. О том, насколько сильно волновал этот вопрос Ленина, можно судить по следующим его словам:

«Я, кажется, сильно виноват перед рабочими России за то, что не вмешался достаточно энергично и достаточно резко в пресловутый вопрос об автономизации, официально называемый, кажется, вопросом о союзе советских социалистических республик.

Летом, когда этот вопрос возникал, я был болен, а затем, осенью, я возложил чрезмерные надежды на свое выздоровление и на то, что октябрьский и декабрьский пленумы дадут мне возможность вмешаться в этот вопрос. Но между тем ни на октябрьском пленуме (по этому вопросу), ни на декабрьском мне не удалось быть, и таким образом вопрос миновал меня почти совершенно».

Как и всякий вопрос, вопрос об автономизации имел свою историю.

Весной 1921 года Ленин обратился к коммунистам Советских республик Кавказа с письмом, в котором выражал надежду, что их тесный союз «создаст образец национального мира, невиданного при буржуазии и невозможного в буржуазном строе».

Подчеркивая всю необходимость установления на Кавказе национального мира, Ленин в то же время писал: «Как ни важен национальный мир между рабочими и крестьянами национальностей Кавказа, а еще несравненно важнее удержать и развить Советскую власть как переход к социализму». И так как кавказские республики — страны еще более крестьянские, чем Россия, то коммунисты этих республик обязаны проявлять особую мягкость, осторожность, уступчивость по отношению к мелкой буржуазии, интеллигенции и особенно к крестьянству.

Снова и снова писал Ленин в этом письме об особой осмотрительности и осторожности, которые требуются от коммунистов Кавказа для успешного перехода к социализму, о том, что они не должны копировать тактику русских коммунистов, а самостоятельно продумывать причины ее своеобразия, применять у себя не букву, а дух, смысл, извлекать для себя уроки. Только так можно похоронить прошлое, возродить край, добиться национального мира, укрепить переход к социализму.

И такой же, пожалуй еще большей, обдуманности каждого шага требовал Ленин от центрального советского и партийного аппарата, когда дело шло о национальных республиках.

10

Ленин стремился найти такое решение национального вопроса, при котором создавалось прочное единство, сплочение, содружество наций.

«Мы хотим добровольного союза наций,— подчеркивал он,— такого союза, который не допускал бы никакого насилия одной нации над другой,— такого союза, который был бы основан на полнейшем доверии, на ясном сознании братского единства, на вполне добровольном согласии».

Такой союз, говорил он, нельзя осуществить сразу, «до него надо доработаться», действуя с величайшим терпением и осторожностью, чтобы не разжечь недоверие, оставленное веками национального гнета. Налет, наскок, нажим в подобном вопросе не могут принести ничего, кроме тяжкого вреда.

Между тем Сталин, который и как генеральный секретарь ЦК партии, и по традиции, сохранившейся с тех времен, когда он был наркомом по делам национальностей, больше чем кто-либо другой был причастен к национальной политике партии, вел в этом вопросе линию, которую Ленин охарактеризовал как «торопливость» и «администраторское увлечение».

Трещины, разделявшие Ленина и Сталина в этом вопросе, пролегли уже давно. В конце 1921 года, когда возникла идея федерации закавказских республик и Сталин всячески форсировал ее претворение в жизнь, Ленин, считая эту федерацию «принципиально абсолютно правильной» и «безусловно подлежащей осуществлению», в то же время полагал ее «в смысле практического осуществления преждевременной», требующей «известного периода времени для обсуждения, пропаганды и советского проведения снизу». Практике административных решений Ленин противопоставлял пропаганду идеи федерации и вынесение вопроса на широкое обсуждение рабочих и крестьянских масс и советского проведения снизу.

Сталин написал Ленину, что он с ним согласен. Предложил только внести в написанный Лениным проект резолюции изменение формулировки: вместо «нескольких недель» написать «известного периода времени». Но, излагая историю этого вопроса в своем докладе на XII съезде партии — первом в годы советской власти съезде партии, в работах которого не участвовал Ленин,— Сталин представил дело так, будто именно он, а не Ленин предлагал «не торопиться с этим, подождать». Будто ему, а не Ленину принадлежит мысль о необходимости проявлять в деле создания Закавказской федерации больше мягкости, осторожности.

В августе 1922 года, когда Ленин находился в Горках, комиссия, созданная Политбюро для разработки вопроса о взаимоотношениях РСФСР и независимых национальных республик, приняла предложенный Сталиным проект, в основе которого лежала идея автономизации независимых национальных республик, то есть превращения их из независимых в автономные, входящие в состав Российской Федерации.

Этот проект вызвал протесты со стороны ЦК компартии Украины и Грузии. Но комиссия Политбюро ЦК, заседавшая под председательством В. М. Молотова, приняла проект автономизации.

Хотя Сталин на протяжении августа и сентября не раз бывал у Ленина, он не счел нужным поставить Ленина в известность об этом важнейшем вопросе. Лишь после того как Ленин прислал ему записку с просьбой сообщить, как в ЦК решается вопрос о взаимоотношениях между советскими республиками, и после решения комиссии, принявшей проект Сталина об автономизации, Ленину были посланы материалы по этому делу.

Ленин увидел в идее автономизации грубое попрание интересов и прав независимых национальных республик и проявление великодержавного шовинизма. Получив материалы комиссии, он провел ряд бесед со сторонниками и противниками идеи автономизации. Итогом этих бесед и размышлений было письмо, которое Ленин направил Л. Б. Каменеву для членов Политбюро.

«По-моему, вопрос архиважный,— писал он в этом письме.— Сталин немного имеет устремление торопиться... Одну уступку Сталин уже согласился сделать. В § 1 сказать вместо „вступления" в РСФСР — „Формальное объединение с РСФСР в союз советских республик Европы и Азии".

Дух этой уступки, надеюсь, понятен: мы признаем себя равноправными с Украинской ССР и др. и вместе и наравне с ними входим в новый Союз, новую федерацию, „Союз Советских Республик Европы и Азии"».

Как видно из этого письма, Ленин надеялся, что со Сталиным можно будет договориться. Однако Сталин на следующий же день после встречи с Лениным разослал членам Политбюро ЦК письмо, в котором квалифицировал позицию Ленина как «национальный либерализм» и возражал против образования союзного Центрального Исполнительного Комитета. Понимая, что ЦК партии поддержит Ленина, он все же переработал проект комиссии, внес в него поправки в духе предложений Ленина, но тут же оговорил, что этот новый проект представляет собой лишь «несколько измененную, более точную формулировку» старого.

К этим дням относится следующий обмен записками.

Каменев — Сталину: «Ильич собрался на войну в защиту независимости».

Сталин — Каменеву: «Нужна, по-моему, твердость против Ильича».

Ленин чувствовал продолжающееся сопротивление Сталина и предполагал, что на Пленуме ЦК вопрос будет рассмотрен, как он любил говорить, «до самого донышка». Но он не смог присутствовать на Пленуме, у него страшно разболелся зуб. О том, каково было его настроение в эти дни, говорит его записка на имя Л. Б. Каменева:

«Т. Каменев! Великорусскому шовинизму объявляю бой, и не на жизнь, а на смерть. Как только избавлюсь от проклятого зуба, съем его всеми здоровыми зубами...»

Пленум ЦК полностью поддержал позицию Ленина, и в конце декабря на I Всесоюзном съезде Советов был образован Союз Советских Социалистических Республик, в который независимые республики вошли на суверенных началах.

Идея автономизации была похоронена. Но, как и всякое проявление великодержавного шовинизма, она вызвала обострение местного национализма. Особенно резкие формы это обострение приняло в Грузии и привело к возникновению так называемого грузинского вопроса.

Размышляя о том, как и почему «грузинский вопрос» приобрел чрезвычайную остроту, Ленин писал: «Видимо, вся эта затея «автономизации» в корне была неверна и несвоевременна. Я думаю, что тут сыграли роковую роль торопливость и администраторское увлечение Сталина, а также его озлобление против пресловутого «социал-национализма». Озлобление вообще играет в политике обычно самую худую роль».

Положение осложнялось тем, что в споре были не правы обе стороны — и Сталин и грузинские коммунисты,— что обе стороны проявляли озлобление и взаимное ожесточение.

После советизации Грузии Ленин в письме грузинским коммунистам предупредил их о необходимости особо осторожной политики в условиях — и внутренних и международных,— в которых им приходится действовать.

Некоторые грузинские коммунисты поняли эту осторожность весьма расширительно. Так, например, таможенная граница в Грузии проходила не там, где государственная, то есть не на линии, отделяющей Советскую Грузию от капиталистического мира, а на границах между Грузией и другими советскими республиками. В грузинских же портах был объявлен порто-франко, то есть право свободного ввоза иностранных товаров с пониженной таможенной пошлиной. В итоге в Советской Грузии свободно действовали иностранные коммерческие

фирмы типа «Сосифрос» («Sosiété Franco-Russe»), название которой острословы расшифровывали так: «Соси, Франция, Россию».

Политика тогдашнего грузинского партийного руководства, возглавлявшегося Мдивани, способствовала развитию сепаратистских и антисоветских настроений. Противовес этой политике Ленин видел в создании Закавказской Федерации.

«Важно, чтобы мы не давали пищи «независимцам»,— писал Ленин,— не уничтожали их независимости, а создавали еще новый этаж, федерацию равноправных республик».

Однако после Пленума ЦК, на котором было принято решение о создании СССР, сторонники Мдивани потребовали, чтобы Грузия входила в СССР не через Закавказскую Федерацию, а непосредственно. Ленин в телеграмме в Заккрайком и ЦК КП Грузии решительно выступил против этой позиции. «Я был убежден,— писал он,— что все разногласия исчерпаны решениями пленума ЦК при моем косвенном участии, при прямом участии Мдивани».

Как и всегда в таких случаях, политические разногласия сопровождались резким обострением личных отношений — прежде всего между сторонниками Мдивани и тогдашним секретарем Заккрайкома Г. К. Орджоникидзе. Ленин самым резким образом осудил «брань против Орджоникидзе» и назвал весь тон, которым разговаривала группа Мдивани, неприличным.

В то же время Орджоникидзе — человек горячий, пылкий, темпераментный,— сталкиваясь с националистическими искажениями линии партии, не проявил должной гибкости, тактичности, осторожности в проведении национальной политики партии в Грузии. А Сталин, который как секретарь ЦК обязан был поправить Орджоникидзе, наоборот, еще больше его подогревал. В итоге дошло до того, что Орджоникидзе, оскорбленный одним из сторонников Мдивани, ударил его; в ответ на это большинство ЦК КП Грузии, поддерживавшее Мдивани, подало в отставку. Отставка эта была принята Заккрайкомом. Дело перешло в ЦК партии. ЦК решил создать комиссию под председательством Ф. Э. Дзержинского для разбора заявления членов ЦК КП Грузии. При голосовании вопроса о создании комиссии Владимир Ильич не проголосовал, воздержался.

На следующий день дежурный секретарь Н. С. Аллилуева записала в дневнике:

«Владимир Ильич нездоров... Мария Ильинична сказала, чтобы его ничем не беспокоить — если сам запросит об ответах, то запросить кого следует. Приема никакого, поручений пока никаких. Есть два пакета от Сталина и Зиновьева — об них ни гу-гу, пока не будет особого распоряжения и разрешения...»

11

Утром 13 декабря к Владимиру Ильичу были вызваны врачи, которые категорически потребовали, чтоб он немедленно же бросил всякую работу. Он никак с ними не соглашался, спорил.

«С большим трудом,— записано в истории болезни Ленина,— удалось уговорить Владимира Ильича не выступать ни в каких заседаниях и на время совершенно отказаться от работы.

Владимир Ильич в конце концов на это согласился и сказал, что сегодня же начнет ликвидировать свои дела».

Но, дав такое обещание, он в этот день, в который у него были два приступа болезни, продиктовал несколько писем, главное место в которых занимал вопрос о монополизации внешней торговли.

Как мы помним, после октябрьского Пленума ЦК Ленин предложил отсрочить окончательное решение этого вопроса до следующего Пленума. Н. И. Бухарин продолжал настаивать на отмене монополии. Г. Е. Зиновьев заявил, что он «решительно против пересмот-

ра решения, принятого пленумом», и голосует «против всякого пересмотра». И. В. Сталин писал членам ЦК: «Письмо тов. Ленина не разубедило меня в правильности решения пленума ЦК от 6/X о внешней торговле... Тем не менее ввиду настоятельного предложения т. Ленина об отсрочке решения пленума Цека исполнением я голосую за отсрочку с тем, чтобы вопрос был поставлен на обсуждение следующего пленума с участием т. Ленина».

В итоге опросом членов ЦК решено было отложить вопрос до следующего Пленума.

«Я буду воевать на пленуме за монополию»,— писал Ленин в одном из своих писем того времени. Вследствие болезни, трагически совпавшей с кануном Пленума ЦК, Ленин лишился возможности принять участие в его работе. Но как ни настаивали врачи на немедленном и полном отдыхе, отказаться от борьбы Ленин не мог. Преодолевая мучительную головную боль, он продиктовал 13 декабря большое письмо для Пленума ЦК. Пункт за пунктом опроверг доводы, выдвигавшиеся Н. И. Бухариным против монополии, и показал как практическую, так и теоретическую несостоятельность тезиса, предлагающего заменить монополию внешней торговли режимом таможенных тарифов.

Посылая на следующий день это письмо В. А. Аванесову, Ленин просил его обдумать, «как поставить борьбу».

13 декабря у Ленина был двухчасовой разговор со Сталиным. Как видно из писем Ленина Аванесову и Троцкому, Сталин держался прежней своей точки зрения. Но два дня спустя Сталин написал членам ЦК письмо, в котором сообщил об изменении своих взглядов: «Ввиду накопившихся за последние два месяца новых материалов... говорящих в пользу сохранения монополии внешней торговли, считаю своим долгом заявить, что снимаю свои возражения против монополии внешней торговли, письменно сообщенные мною членам Цека два месяца назад».

Однако Ленин, видимо, не был уверен, что его мнение восторжествовало, ибо уже после заявления Сталина он послал ему письмо для членов ЦК, в котором снова подчеркивал, что он, Ленин, «решительно против оттяжки вопроса о монополии внешней торговли... Дальнейшие колебания по этому важному вопросу абсолютно недопустимы и будут срывать всякую работу».

Так кончился день 15 декабря, третий день болезни Владимира Ильича.

Он делал все, что было в его силах, чтоб окружающие не замечали его состояния. Л. А. Фотиева в эти дни дважды записала в «Дневнике дежурных секретарей», что настроение Владимира Ильича «по внешности хорошее, шутит и смеется».

Но это было только «по внешности». Его мучили ужасные головные боли. Не помогали ни лед, ни холодные компрессы. После бессонных ночей ему бывало особенно плохо. Чтоб скрасить себе тяжелые утренние часы, он попросил приводить ирландского сеттера Айду — веселого лохматого рыжего щенка, которого он очень любил.

Врачи настаивали на отъезде в Горки. Он уезжать не хотел. Ссылался на то, что дорога на аэросанях утомительна, а на автомобиле проехать нельзя. Но действительной причиной было другое: он писал членам ЦК, что его «в чрезвычайно сильной мере» волнует невозможность выступить на съезде Советов, и хотел обсудить с врачами, имеется ли «хоть небольшой шанс» на такое выступление. Это выступление, писал он, будет полезно и политически и «в смысле личном», ибо устранит «повод для большого волнения».

Владимир Ильич кончил диктовать это письмо в девять часов вечера и отпустил секретаря. Ночью у него произошел новый при-

ступ болезни. Но и после этого Владимир Ильич использовал утро до прихода врачей, чтобы продиктовать Надежде Константиновне письмо своим заместителям в Совнаркоме и в СТО, в котором рекомендовал вести краткую стенографическую запись всех решений, чтобы обеспечить согласованность работы и возможность позже продумывать решения, принятые на ходу.

Потом пришли врачи. А вечером этого дня Надежда Константиновна позвонила Л. А. Фотиевой и попросила сообщить И. В. Сталину, что выступить на съезде Советов Владимир Ильич не сможет. Л. А. Фотиева спросила, как чувствует себя Владимир Ильич. Надежда Константиновна ответила, что по виду средне, но вообще сказать трудно.

18 декабря состоялся Пленум ЦК. Он признал незыблемость принципа монополии внешней торговли и решил довести свое постановление до сведения Ленина, если это разрешат врачи.

Но и после Пленума ЦК что-то в этом вопросе, видимо, тревожило Ленина, ибо 21 декабря он продиктовал Надежде Константиновне письмо Троцкому. Выражая свое удовлетворение тем, что «удалось взять позицию без единого выстрела, простым маневренным движением», он предлагал «не останавливаться и продолжать наступление», поставив вопрос на партийном съезде.

XII съезд партии, как то предлагал Ленин, подтвердил незыблемость монополии внешней торговли.

12

Так Ленин приступил к одному из величайших подвигов в своей жизни: он начал диктовать свое политическое завещание.

Попробуем представить себе, как это было. Четыре стены, в которых он был заперт. Медленная смена зимних дней и ночей. Узкая кровать. Запах лекарств. Затененная тишина. И мертвенная неподвижность правой руки, той руки, которая всю жизнь делала вместе с ним его работу, умела все — и быстро, размашисто проноситься по листам бумаги, набрасывая планы и записывая речи, и необычайно четко нанизывать буковку за буковкой, цифру за цифрой, составлять таблицы, шифровать письма, идущие подпольной почтой; движения этой руки так точно и верно продолжали мысль, высказанную им вслух, то подчеркивая ее отрывистым, рубящим взмахом, то завершая стремительным, зовущим вперед броском. А сейчас эта рука лежала холодная, неподвижная, и лишь слабое биение пульса и легкое покалывание напоминали, что она жива.

В сером, свинцовом потоке времени было лишь несколько минут, в которые он мог диктовать. Ради этих минут он теперь жил. Все его силы были напряжены во имя того, чтоб не потерять ни единого драгоценного мгновения, найти самые точные слова и сказать именно то, что необходимо.

Все это требовало от него особого усилия еще и потому, что он никогда не диктовал свои статьи, а писал их сам. После одной из диктовок, пробегая взглядом расшифрованный текст, он сказал Володичевой, что стенографы никогда его не удовлетворяли, он привык видеть рукопись перед глазами, останавливаться, додумывать место, где он «увяз», привык ходить по комнате, даже просто убегать куда-нибудь погулять. Ему и теперь часто хочется схватить карандаш и писать самому или вносить исправления.

Записи «Дневника дежурных секретарей» велись в делопроизводственной книге для регистрации исходящих бумаг. В ней были сделаны четыре графы: число и время, чье дежурство, поручения, отметки об исполнении.

И сама книга, и расчерчивающие ее графы, и записи, сделанные разными почерками, и сдержанный, порой даже суховатый стиль этих записей — все выглядит сугубо обыденно, даже канцелярски. Но когда вчитываешься в эти записи, то словно слышишь, как Ленин говорит врачам, что не сможет заснуть, пока не запишет свою мысль — мысль о мерах, которые увеличат прочность и устойчивость нашей партии и предохранят ее от раскола.

Для этого Владимир Ильич считал необходимым расширить состав ЦК до ста человек, введя в него рабочих-коммунистов, непосредственно связанных с рабочей массой в настоящее время. «Я думаю,— говорил он, диктуя первую часть «Письма к съезду»,— что такая вещь нужна и для поднятия авторитета ЦК, и для серьезной работы по улучшению нашего аппарата, и для предотвращения того, чтобы конфликты небольших частей ЦК могли получить слишком непомерное значение для всех судеб партии».

На следующий же день после первой диктовки М. А. Володичева записала: «Продиктованное вчера (23 декабря) и сегодня (24 декабря) является а б с о л ю т н о секретным. Подчеркнул это не один раз. Потребовал в с е, ч т о о н д и к т у е т, хранить в особом месте, под особой ответственностью и считать к а т е г о р и ч е с к и секретным».

Вообще он был крайне озабочен надежностью хранения и соблюдением полной секретности всего, что он диктовал. М. А. Володичева впоследствии рассказывала, что все статьи и документы, которые были им продиктованы с двадцатых чисел декабря 1922 до начала марта 1923 года, по желанию Владимира Ильича переписывались в пяти экземплярах: один для него, три для Надежды Константиновны, один в его секретариат (строго секретно). Все это он просил хранить в запечатанных сургучной печатью конвертах, отметив на них, что вскрыть их может только В. И. Ленин, а после его смерти — Надежда Константиновна. Но М. А. Володичева не могла себя заставить сделать такую надпись и слова «а после его смерти» на конвертах не писала.

13

Второй день диктовки Ленин начал словами:

«Под устойчивостью Центрального Комитета, о которой я говорил выше, я разумею меры против раскола, поскольку такие меры могут быть приняты».

Напомнив, что белогвардейцы в их игре против Советской России делают ставку на раскол нашей партии и видят возможность этого раскола в разногласиях внутри партии, Ленин говорит, что он рассматривает в данном письме устойчивость как гарантию от раскола с точки зрения ряда «соображений чисто личного свойства».

Личным свойствам людей Ленин придавал большое значение. Г. М. Кржижановский рассказывает, что в последние месяцы своей работы Владимир Ильич, «как бы с учетом своего надвигающегося отсутствия», не раз беседовал с ним не о делах, а о людях и в этих беседах поражал Кржижановского «удивительно отчетливой характеристикой многих из окружавших его лиц».

О людях, их характерах, их взаимоотношениях глубоко задумывался Ленин тогда, когда диктовал свое политическое завещание. Больше всего тревожили его некоторые личные качества Сталина и Троцкого, способные «ненароком привести к расколу».

«Я думаю,— говорил он,— что основным в вопросе устойчивости с этой точки зрения являются такие члены ЦК, как Сталин и Троцкий. Отношения между ними, по-моему, составляют большую половину опасности того раскола, который мог бы быть избегнут...

Троцкий,— продолжал он,— как доказала уже его борьба против

ЦК в связи с вопросом о НКПС, отличается не только выдающимися способностями. Лично он, пожалуй, самый способный человек в настоящем ЦК, но и чрезмерно хватающий самоуверенностью и чрезмерным увлечением чисто административной стороной дела».

Мы знаем, что Ленин не любил напоминать и почти никогда не напоминал людям об их прошлых политических ошибках. В своем письме съезду он пишет, что «октябрьский эпизод Зиновьева и Каменева, конечно, не является случайностью, но что он так же мало может быть ставим им в вину лично, как небольшевизм Троцкому».

Однако, давая характеристику личных качеств Троцкого с точки зрения опасности раскола, он отступил от своего принципа и вспомнил о той борьбе, которую Троцкий вел против ЦК во время профсоюзной дискуссии.

Почему он так поступил?

Видимо, потому, что в этой дискуссии, помимо чисто политических моментов, раскрылись личные качества Троцкого, которые Ленин считал в высшей степени опасными для партийного руководителя и которые он тогда же, во время дискуссии, отметил в конспекте своей речи «О профессиональных союзах, о текущем моменте и об ошибках Троцкого»: «не мир, а обострение борьбы», «теоретические неверности», «бюрократическое дерганье», «политическая бестактность»...

О Сталине в своем письме к съезду Ленин сказал:

«Тов. Сталин, сделавшись генсеком, сосредоточил в своих руках необъятную власть, и я не уверен, сумеет ли он всегда достаточно осторожно пользоваться этой властью?»

Как долго Сталин был к тому времени генсеком? И сколько времени понадобилось ему, чтобы «сосредоточить в своих руках необъятную власть»?

Всего только восемь месяцев!

Он был избран генеральным секретарем ЦК (такой пост был тогда учрежден впервые) 3 апреля 1922 года. Этому событию никто не придал особого значения. О нем не упомянули газеты, не говорили на партийных собраниях. Больше того: по мысли Ленина, Сталин, став генсеком, должен был по-прежнему оставаться народным комиссаром Рабоче-Крестьянской инспекции.

Когда Сталин вступил в должность генсека, Ленин был уже болен и готовился к отъезду. Лето он провел в Горках. Правда, Сталин не раз к нему приезжал. Но по-настоящему наблюдать его как генсека Ленин смог только в те два осенне-зимних месяца, когда вернулся в Москву.

Как часто, наверно, бессонными ночами думал Ленин о том, до чего же не хватает Якова Михайловича Свердлова...

4 января Владимир Ильич продиктовал известное добавление к письму съезду:

«Сталин слишком груб, и этот недостаток, вполне терпимый в среде и в общениях между нами, коммунистами, становится нетерпимым в должности генсека. Поэтому я предлагаю товарищам обдумать способ перемещения Сталина с этого места и назначить на это место другого человека, который во всех других отношениях отличается от тов. Сталина только одним перевесом, именно, более терпим, более лоялен, более вежлив и более внимателен к товарищам, меньше капризности и т. д. Это обстоятельство может показаться ничтожной мелочью. Но я думаю, что с точки зрения предохранения от раскола и с точки зрения написанного мною выше о взаимоотношениях Сталина и Троцкого это не мелочь или это такая мелочь, которая может получить решающее значение».

В «Дневнике дежурных секретарей» об этой диктовке не упомянуто ни единым словом.

Три недели спустя в статье «Как нам реорганизовать Рабкрин» Ленин вновь вернулся к вопросу о месте, которое должен занимать генсек в нашей партии. Предлагая провести реформу ЦКК, пополнив ее значительной группой испытанных рабочих, Ленин писал:

«...члены ЦКК, обязанные присутствовать в известном числе на каждом заседании Политбюро, должны составить сплоченную группу, которая, «не взирая на лица», должна будет следить за тем, чтобы ничей авторитет, ни генсека, ни кого-либо из других членов ЦК, не мог помешать им сделать запрос, проверить документы и вообще добиться безусловной осведомленности и строжайшей правильности дел».

Эта статья Ленина печаталась во всех изданиях собраний его сочинений. Но слова «ни генсека, ни кого-либо из других членов ЦК» впервые опубликованы после XX съезда партии, в Полном собрании сочинений Ленина.

Эти слова были выброшены еще при жизни Ленина, в первой же публикации его статьи в газете «Правда» 25 января 1923 года.

Предложения Ленина, содержащиеся в записи от 23 декабря и развитые в его статьях «Как нам реорганизовать Рабкрин» и «Лучше меньше, да лучше», легли в основу выработанной Центральным Комитетом партии к XII съезду РКП(б) резолюции по организационному вопросу. В соответствии с предложениями В. И. Ленина съезд расширил состав ЦК и создал объединенный орган ЦКК — РКИ, установив, таким образом, тесную связь между руководящими органами партийного и государственного контроля.

Что же касается записей от 24—25 декабря 1922 и 4 января 1923 года с характеристикой членов ЦК, то согласно воле Ленина Н. К. Крупская передала их Центральному Комитету партии уже после кончины Владимира Ильича, 18 мая 1924 года, за несколько дней от открытия XIII съезда партии. В протоколе о передаче этих документов Надежда Константиновна писала: «...Владимир Ильич выражал твердое желание, чтобы эта его запись после его смерти была доведена до сведения очередного партийного съезда».

Пленум ЦК, состоявшийся 21 мая 1924 года, заслушав сообщение комиссии по приему бумаг В. И. Ленина, постановил произвести оглашение письма Ленина съезду по делегациям и установить, что эти документы воспроизведению не подлежат.

Оглашение письма Ленина было произведено членами комиссии по приему бумаг В. И. Ленина. При этом Сталин, выступая перед делегациями, говорил, что признает характеристику, данную ему Лениным, правильной и обещает партии, что исправит свои недостатки и не допустит впредь ни грубости, ни нелояльности по отношению к кому бы то ни было.

Делегаты съезда поверили Сталину. Как писал потом Григорий Иванович Петровский, «тогда никто не мог предполагать, что Сталин не выполнит своих заверений и будет грубейшим образом нарушать ленинские нормы партийной и государственной жизни».

Тяжкой ценой заплатили народ и партия за то, что делегаты XIII съезда не вняли тому, о чем писал Ленин в своем письме к съезду.

Были, однако, товарищи, которые считали, что завещание Ленина должно быть безусловно выполнено. Было имя, которое называлось как имя человека, способного сменить Сталина на посту генсека,— имя Михаила Васильевича Фрунзе.

Каждый, кто присутствовал на VIII съезде Советов, наверняка запомнил минуту, когда перед докладом Ленина на сцене появился

невысокий, плотно сбитый военный в потертой солдатской шинели, легкий, простой, улыбающийся, и как военные — делегаты съезда, а за ними весь зал поднялись, бурно приветствуя командующего Южным фронтом, героя Перекопа и Сиваша Михаила Фрунзе.

В чем был источник его обаяния? Почему, когда он погиб, над гробом его прозвучали слова: «Ты был нашей гордостью, нашей надеждой, нашей защитой и нашей радостью»? Почему его так любили, так уважали, так ему верили? Прежде всего потому, что дар выдающегося военачальника сочетался в нем с цельностью характера и талантом товарищества, создававшим вокруг него отрадную атмосферу благородного содружества.

14

В декабре, когда Владимир Ильич заболел, Пленум ЦК специальным постановлением возложил на И. В. Сталина персональную ответственность за соблюдение режима, установленного для Ленина врачами. Неделю спустя, когда Владимир Ильич потребовал, чтобы ему разрешили хотя бы в течение короткого времени диктовать его «дневник», на совещании И. В. Сталина, Л. Б. Каменева и Н. И. Бухарина с врачами решено было предоставить Владимиру Ильичу право диктовать ежедневно пять — десять минут, но так, чтоб это не носило характера переписки и чтобы на записки Владимир Ильич не ждал ответа. Свидания запрещаются. Ни друзья, ни домашние не должны сообщать Владимиру Ильичу ничего из политической жизни, чтобы этим не давать материала для размышлений и волнений.

Возможно, что для обычного больного такой режим суровой изоляции был целесообразен. Но оправдан ли был он для такого человека, каким был Ленин? Если судить по тому, что писал о нем профессор Ферстер, едва ли.

Когда Владимира Ильича не стало, некоторые товарищи спрашивали профессора Ферстера, не привело ли возвращение Владимира Ильича из Горок в Москву к ускорению хода его болезни.

— Нет,— отвечал профессор Ферстер.— Болезнь Ленина была обусловлена в первую очередь внутренними причинами, она развивалась по внутренним законам, независимо от внешних факторов, с беспощадной закономерностью... Если бы Ленина в октябре двадцать второго года и дальше оставляли бы в бездеятельности, он лишился бы последней большой радости, которую он получил в своей жизни. Дальнейшим полным устранением от всякой деятельности нельзя было бы задержать ход его болезни. Работа для Владимира Ильича была жизнью, бездеятельность означала смерть.

Все, что мы знаем о том, как относился Владимир Ильич к установленному для него режиму, свидетельствует, что этот режим был для него крайне тягостен. Свидетельство тому — его ультимативное требование о разрешении диктовки, иначе он откажется от лечения; упорно делавшиеся им (порой не безуспешно) попытки обойти режим и что-нибудь разузнать; отчетливая зависимость его состояния от удач и неудач в получении информации и от надежд на ослабление режима.

Приведем отрывок из записи Л. А. Фотиевой в «Дневнике дежурных секретарей»:

«3 февраля. Владимир Ильич вызывал в 7 часов на несколько минут. Спросил, просмотрели ли материалы... Спросил, был ли этот вопрос на Политбюро. Я ответила, что не имею права об этом говорить. Спросил: «Вам запрещено говорить именно и специально об этом?» — «Нет, вообще я не имею права говорить о текущих делах». — «Значит, это текущее дело?» Я поняла, что сделала оплошность...»

В этом разговоре речь идет о материалах по «грузинскому вопросу», которые Владимир Ильич за неделю до того поручил Л. А. Фотиевой запросить у Дзержинского или Сталина и детально изучить совместно с М. И. Гляссер и Н. П. Горбуновым. Когда Л. А. Фотиева попросила их у Сталина, тот ответил, что без Политбюро дать их не может. При этом Сталин спросил Фотиеву, не говорит ли она Владимиру Ильичу чего лишнего; откуда он в курсе дел? Например, его статья о РКИ указывает, что ему известны некоторые обстоятельства.

(Это та самая статья «Как нам реорганизовать Рабкрин», из которой при публикации ее в «Правде» еще до разговора Сталина с Фотиевой были выкинуты слова «ни генсека, ни кого-либо из других членов ЦК».)

Фотиева ответила, что нет, она Ленину ничего не говорит и не имеет оснований думать, что он в курсе дел.

Затем Л. А. Фотиеву вызвал Владимир Ильич. Спросил об ответе Сталина. Сказал, что будет бороться за то, чтобы материалы были выданы. Продиктовав список вопросов, на которые нужно получить ответы при работе над этими материалами, добавил:

— Если бы я был на свободе... — И тут же постарался обратить свои слова в шутку и повторил их, смеясь: — Если бы я был на свободе, то легко бы все это сделал сам...

В воспоминаниях о последних днях работы Владимира Ильича, опубликованных в 1925 году, Мария Игнатьевна Гляссер рассказывает, что в тот день, когда он ее вызвал — это было 5 февраля, в период относительного улучшения его состояния,— он был «наружно весел, смеялся и шутил», дал ей несколько поручений, говорил совсем легко, как прежде, разве немножко медленнее.

«И раньше,— говорит М. И. Гляссер, которая много лет работала в секретариате Совнаркома, в непосредственной близости к Владимиру Ильичу,— всегда характерным для Владимира Ильича было стремление как бы все ускорять темп своей работы, как будто он боялся, что не успеет переделать все, что он себе наметил. За период же своей последней работы — с декабря 1922 года по март 1923 года, имея в своем распоряжении лишь по полчаса ежедневно, редко больше, а иногда и меньше, он страшно торопится успеть сказать и сделать все, что нужно...»

Еще одна запись Л. А. Фотиевой в «Дневнике дежурных секретарей»:

«12 февраля. Владимиру Ильичу хуже. Сильная головная боль. Вызвал меня на несколько минут. По словам Марии Ильиничны, его расстроили врачи до такой степени, что у него дрожали губы. Ферстер накануне сказал, что ему категорически запрещены газеты, свидания и политическая информация. На вопрос, что он понимает под последним, Ферстер ответил: «Ну, вот, например, вас интересует вопрос о переписи советских служащих». По-видимому, эта осведомленность врачей расстроила Владимира Ильича. По-видимому, кроме того, у Владимира Ильича создалось впечатление, что не врачи дают указания Центральному Комитету, а Центральный Комитет дал указания врачам...»

Во второй половине февраля Владимир Ильич чувствовал себя плохо. Однако, как рассказывал доктор Кожевников, старался использовать те редкие минуты улучшения, которые дарила ему судьба, чтобы хоть немного поработать.

В субботу 3 марта Л. А. Фотиева передала ему докладную записку и заключение о материалах комиссии по «грузинскому вопросу».

5 марта около полудня Владимир Ильич вызвал к себе М. А. Володичеву и продиктовал ей два письма. Первое — Троцкому, которого он просил взять на себя защиту «грузинского дела» на Пленуме ЦК партии. Троцкий, сославшись на болезнь, ответил, что не может взять на себя такого обязательства. Второе письмо было адресовано Сталину (копии Каменеву и Зиновьеву).

Узнав каким-то образом, что 21 декабря Надежда Константиновна написала под диктовку Владимира Ильича письмо Троцкому по поводу монополии внешней торговли, Сталин грубо накинулся на Надежду Константиновну, обвинив ее в том, что она якобы сделала это вопреки запрещению врачей (на деле врачи дали ей разрешение). При этом Сталин угрожал Надежде Константиновне, что передаст дело о ней в Центральную контрольную комиссию партии.

«Я в партии не один день,— писала в связи с выходкой Сталина Н. К. Крупская. — За все тридцать лет я не слышала ни от одного товарища ни одного грубого слова, интересы партии и Ильича мне не менее дороги, чем Сталину. Сейчас мне нужен максимум самообладания. О чем можно и о чем нельзя говорить с Ильичем, я знаю лучше всякого врача, так как знаю, что его волнует, и во всяком случае лучше Сталина».

Надежда Константиновна просила оградить ее «от грубого вмешательства в личную жизнь, недостойной брани и угроз».

«В единогласном решении Контрольной комиссии, которой позволяет себе грозить Сталин, я не сомневаюсь,— писала она,— но у меня нет ни сил, ни времени, которые я могла бы тратить на эту глупую склоку. Я тоже живая, и нервы напряжены у меня до крайности...»

Все это произошло еще в декабре, но Владимиру Ильичу стало известно 5 марта. Он тотчас вызвал Володичеву и продиктовал ей письмо Сталину:

«Вы имели грубость позвать мою жену к телефону и обругать ее. Хотя она вам и выразила согласие забыть сказанное, но тем не менее этот факт стал известен через нее же Зиновьеву и Каменеву. Я не намерен забывать так легко то, что против меня сделано, а нечего говорить, что сделанное против жены я считаю сделанным и против меня. Поэтому прошу вас взвесить, согласны ли вы взять сказанное назад и извиниться или предпочитаете порвать между нами отношения».

В «Дневнике дежурных секретарей» М. А. Володичева отметила, что Владимир Ильич чувствовал себя нехорошо. Письмо Сталину он попросил пока отложить, сказав, что сегодня у него что-то плохо выходит.

Затем к нему зашел доктор Кожевников. Он обратил внимание на то, что Владимир Ильич крайне взволнован. Но Владимир Ильич не хотел этого признать и сказал, что продиктованные им письма были чисто деловые.

Вскоре у него появился озноб, что всегда было признаком надвигающегося ухудшения.

Утром 6 марта Владимир Ильич вызвал М. А. Володичеву. Перечитал свое письмо Сталину и попросил передать его лично из рук в руки и получить ответ.

Вскоре после ухода Володичевой в его состоянии наступило резкое ухудшение. Температура резко поднялась. Паралич частично распространился на левую сторону. Отнялась речь. Этот приступ и еще один такой же, происшедший несколько времени спустя, были настолько тяжелыми, что, как рассказывал потом пользовавший Владимира Ильича доктор Елистратов, были серьезные опасения за исход в самом близком будущем.

Выполняя волю Владимира Ильича, М. А. Володичева передала его письмо Сталину. Мария Ильинична позднее писала, что Сталин извинился перед Надеждой Константиновной. Мы не знаем, стало ли это известно Владимиру Ильичу, но, как это видно из «Дат жизни и деятельности В. И. Ленина», за последний год жизни Владимира Ильича у него в Горках побывал ряд товарищей, но со Сталиным он больше никогда не встречался.

15

Весь последний год жизни Владимира Ильича партия, народ, страна жили в смене тревог и надежд. Снова перед докладчиками белели груды записок: «Как здоровье Ильича?» Снова почта приносила мешки писем, резолюций, обращений с Рязанщины и Орловщины, с Украины и из Средней Азии, с Путиловского завода и завода Гужона, от крестьян села Слободского Юровской волости Смоленской губернии и от крестьян села Правые Ламки Лево-Ламкинской волости Тамбовской губернии, авторы которого сообщали, что «письмо писали все беспартийные, все малограмотные, мы хотя и беспартийные, но сердце и дух наш коммунистические, мы поняли, что в данный момент действительно власть трудящихся». И во всех письмах, в каждом на свой лад, говорилось о любви и доверии к Ленину и выражались пожелания, чтобы он, «наш путеводитель», «первый мировой пролетарий», «передовой вождь русского рабочего крестьянства», как можно скорее выздоровел и «снова встал у руля мировой революции».

Мы привыкли смотреть на эту народную любовь к Ленину как на нечто само собой разумеющееся, безусловное, естественное. Но попробуем, говоря словами Гоголя, взглянуть на нее «свежими очами».

Вспомним встречу Ленина у Финляндского вокзала — бушующие волны огромной толпы, броневик, звуки «Интернационала» и «Марсельезы». Почему так не встречали никого, даже Плеханова,— никого, кроме Ленина?

Вспомним, как вздрогнула и застонала страна, когда раздались выстрелы на заводе Михельсона, вспомним эту страшную ночь, в которую было неизвестно, доживет ли Владимир Ильич до утра, и предрассветный час, когда отряды, отправлявшиеся на Восточный фронт, беззвучно, на носках проходили мимо Кремля, прощаясь взглядом с окнами, за которыми лежал раненый Ленин. Вспомним горшочки с маслом и завернутые в холстину круглые деревенские хлебцы, присылавшиеся «болеющему от предательской пули с покушением на жизнь товарищу Ленину».

Как же это произошло, что в доведенной до полной разрухи стране, в которой почти не ходили поезда, почти не издавались газеты, не работала почта, не существовало радио, как в этой стране имя Ленина, слово Ленина, идеи Ленина в неслыханно короткое время проникли в самые глухие, самые отдаленные углы?

Вспомним начало двадцать второго года, первые признаки перелома в международной обстановке, послание, полученное Советским правительством от устроителей конференции в Генуе, приглашавших его прислать свою делегацию во главе с Лениным, и вызванную этим предложением бурю протестов: «Мы не можем молчать по поводу приглашения нашего верного проводника великих пролетарских завоеваний Владимира Ильича на Генуэзскую конференцию министрами и королями международного капитала... Если у вас так велико стремление видеть его и выслушать от него отцовские наставления, пожалуйте к нам в Москву — дорога открыта, а к вам мы его не пустим, потому что мы вам не верим... Если нужно, мы на своих плечах перенесем конференцию в Москву и обещаемся дать

представителям капиталистических держав надежную охрану их жизни и безопасности...»

И вспомним дни, когда, по горестному народному выражению, «Россия осиротилась Лениным» и в самых глубинах рабочего класса родилась идея ленинского набора, ленинского призыва тысяч и тысяч беспартийных рабочих в ряды нашей партии, чтоб возместить понесенную ею безмерную утрату.

Как, чем завоевал Ленин это великое, не остывающее чувство?

И тут мы снова возвращаемся к раздумьям о Ленине, о тех чертах его духовного и душевного склада, которые в сочетании с остальными его качествами политического борца сделали его вдохновителем и вождем величайшей в истории народной революции.

В середине 30-х годов видный теоретик 2-го Интернационала Хендрик Де Ман в книге «Die socialistische Idee», называя Ленина «последним из самых великих», писал:

«Для колоссального влияния личности Ленина на русские народные массы совсем, конечно, не безразлично было то, что он в своей частной жизни мог жить в шалаше и в своей внешности обнаруживал абсолютное безразличие ко всем признакам буржуазного хорошего тона. Его портреты вряд ли занимали бы место старых русских икон в русских рабочих жилищах и крестьянских хижинах, если бы он носил вместо своего простого рабочего костюма и рабочей кепки приличный чиновничий костюм немецкого партийного вождя или роскошное одеяние министра или дипломата во фраке и звездах. Конечно, и этот костюм и рабочая кепка нисколько не прибавили бы к его популярности, если бы они были только позой, то есть если бы они, как и его язык и его мимика, не воспринимались бы как естественное самовыражение человека, который сознает себя носителем и исполнителем высокой идеи и для которого буржуазно-изысканная одежда значит так же мало, как и украшения буржуазной риторики».

Сказано умно и проницательно, хотя в живой, действительной жизни все было намного содержательнее, глубже, тоньше, богаче. Ленин был близок народу своим простым костюмом и рабочей кепкой прежде всего потому, что, убедившись в ошибке, совершенной центральными партийными или советскими органами, он мог сказать: «я, кажется, сильно виноват перед рабочими России и за то, что не вмешался достаточно энергично и достаточно резко» в такой-то вопрос; что, придя на рабочее собрание, на котором резко ругали работу советской власти, он неприметно присаживался в уголке и внимательно выслушивал все, что говорится, а потом отвечал не по форме, а по сути дела. Словом, что он не для других только, а прежде всего для самого себя считал непреложными принципами, выполнение которых необходимо для установления правильных отношений между партией, советской властью, с одной стороны, и народными массами — с другой, знать вдоль и поперек жизнь рабочей массы, уметь безошибочно определить в любой момент по любому вопросу настроения массы, ее стремления и мысли, уметь завоевать безграничное доверие массы товарищеским отношением к ней, заботливым удовлетворением ее нужд.

Уметь все это — и в то же время не льстить массе, не потакать, а поднимать ее. Без тени фальшивой идеализации, ясно видя степень сознательности и силу влияния тех или иных предрассудков и пережитков старины, неуклонно поднимать на уровень более и более высокий.

Никогда Ленин не считал, что партия должна опрощаться, опускаться к народу,— в этом он видел прежде всего неуважение к народу. Даже в тех случаях, когда речь шла о людях, которых надо

учить с азов, он требовал «учить не полунауке!, а всей науке». Сказал Горькому о Демьяне Бедном: «Грубоват. Идет за читателем, а надо быть немножко впереди». В беседе с Кларой Цеткин об искусстве говорил, что искусство «принадлежит народу и должно быть понято массами». В широко распространенном переводе воспоминаний, написанных Кларой об этой беседе, это место переведено «оно должно быть понятно массам», что не только не соответствует совершенно точно сформулированному тексту Клары, но противоречит всему отношению Ленина и к народу и к искусству.

«Не льстить массе, не отрываться от массы» — именно в этом соединении был источник силы Ленина как вождя революции и секрет того абсолютного доверия, с которым относились к нему массы.

16

Когда пишешь о Ленине, самое неверное и самое вредное — впасть в никому не нужную, наспех приметанную дидактику, превращающую живого, движущегося, думающего, так нужного нам «сегодня, здесь, сейчас» Ленина в застывшую в своей неподвижности икону, подобно тому как это не раз случалось с великими революционерами прошлого, которых, как писал Ленин, после их смерти пытаются превратить в безвредные иконы, а «на икону надо молиться, перед иконой можно перекреститься, но икона нисколько не меняет практической жизни, практической политики...».

А он всегда хотел именно менять практическую жизнь и вторгаться в практическую политику. И недаром уже в первой своей книге «Что такое „друзья народа"» он привел слова Лессинга: «Мы хотели бы, чтоб нас поменьше почитали, но зато прилежнее читали». Недаром, получив летом 1902 года письмо Московского комитета партии, в котором тот выражал ему благодарность за книгу «Что делать?», он отказался опубликовать это, вероятно, первое подобное признание его заслуг перед партией, но написал Московскому комитету, что было бы «весьма желательно», чтобы тот выразил «свою солидарность» со взглядами, высказанными в этой книге.

Он не выносил оваций, чествований, славословий. Ни по отношению к другим, ни по отношению к себе. По отношению к себе еще непримиримее, чем по отношению к другим. И когда его старый друг Федор Аронович Ротштейн в статье «Моя исповедь», рассказывая о своем пути к большевизму, заговорил о Ленине и выразил убеждение, что Ленин войдет в историю как величайший революционер всех времен, ибо ни у кого не сочетались в таком единстве и гармонии революционная энергия с революционной мыслью и прозорливостью,— когда Ротштейн написал это, он, словно почувствовав протестующее движение Ленина, парировал его восклицанием: «Пусть Ленин не сетует на меня: он — общественный деятель, и он должен уметь переносить как нападки, так и похвалы».

Ротштейн писал свою «Исповедь» в Лондоне. Было это в июле восемнадцатого года. Он прислал ее в Москву. Ленин потребовал, чтобы ее не публиковали. Товарищи нарушили этот запрет, когда Ленин лежал между жизнью и смертью, раненный правоэсеровскими пулями, и опубликовали «Исповедь». А когда он выздоровел и узнал об этом, он устроил им такую нахлобучку, что небу было жарко.

Нет, он не хотел переносить похвал! Ни от кого, даже от Горького, которого так любил и которого сам был так рад похвалить. Когда летом двадцатого года Горький опубликовал в журнале «Коммунистический Интернационал» статью «Владимир Ильич Ленин» и письмо Герберту Уэллсу, в которых прозвучало то, что мы сегодня называем культом личности, Ленин потребовал и добился от По-

литбюро ЦК, чтоб оно приняло написанное им самим постановление, в котором признано было, что оно считает помещение этих статей «крайне неуместным», ибо в них «нет ничего коммунистического, но много антикоммунистического», и предлагалось «впредь подобных статей не помещать».

«При жизни его я не решился бы все это написать — из-за искренней ненависти Ильича к подобным проявлениям чувств» — такими словами начал Петр Иванович Стучка свой рассказ о том, как он пытался однажды «устроить Ленину маленькую овацию», но «был наказан по заслугам».

Было это в Совнаркоме в день первой годовщины знаменитых Апрельских тезисов 1917 года, в которых Ленин провозгласил идею перехода к социалистической революции. Известно, какое впечатление произвели эти тезисы. И не только на соратников Ленина. Уж на что Суханов с его рыбьей кровью, но и он, описав в своих записках встречу Ленина у Финляндского вокзала и речь, произнесенную Лениным во дворце Кшесинской,— даже Суханов восклицает: «Я никогда не забуду эту молниеподобную речь. Я никогда не забуду этой речи, потрясшей и поразившей не только меня, еретика, случайно находящегося там, но и всех правоверных. Я утверждаю, что никто не ожидал ничего подобного...»

Внимание П. И. Стучки привлекло одно из тех совпадений, которыми так полна человеческая история. Ленин выступил с Апрельскими тезисами ровно четыреста лет спустя после того, как Мартин Лютер приколотил к дверям дворцовой церкви в Виттенберге свои девяносто пять тезисов против догматов католической церкви, тезисов, о которых Энгельс сказал, что они послужили сильнейшим толчком к развертыванию буржуазной революции, оказав «такое же действие, как удар молнии на бочку пороха».

И вот в апреле 1918 года П. И. Стучка решил произнести на заседании Совнаркома речь, сопоставляя и противопоставляя в ней тезисы Лютера и тезисы Ленина, показав колебания, противоречия и схоластические формулировки, которые затемняют тезисы Лютера, подчеркнув единство и целеустремленность тезисов Ленина.

Пока Стучка говорил о Лютере, Ленин, несколько недоумевая, слушал его с интересом. Но когда тот заговорил об Апрельских тезисах и Ленин понял, куда клонится речь, он оборвал Стучку и, пользуясь властью председателя, предложил Совнаркому перейти к очередным делам.

Роль Ленина в партии определялась не парадами, не шумихой, фанфарами, обязательными эпитетами «гениальный», «непревзойденный» и им подобными. Она определялась действительной мудростью, действительным богатством души и интеллекта.

Один из очевидцев того времени записал по свежей памяти свой разговор с провинциальным партийным работником — делегатом XI съезда партии.

— Я приезжаю на съезд, чтобы послушать Ильича,— говорил этот товарищ.— После года напряженной работы в провинции с проведением продовольственных и топливных кампаний, с преодолением каждодневных мучительных трудностей приезжаешь сюда, в Москву, усталый безмерно, даже разбитый физически и душевно, нередко сбитый с толку противоречивой сутолокой хозяйственного строительства, со смутным осадком сомнений и недоумений на душе. И речь Ленина успокаивает, бодрит, исцеляет. Ленин дает мне все, что нужно для работы: учет прошлого опыта, сил и возможностей, понимание очередных задач, политическую осмысленность и внутрен-

нюю душевную ясность. Я ухожу со съезда освеженный, бодрый, успокоенный, с нормальным запасом сил, энергии и уверенности для работы на целый год.

17

Словно вся жизнь прошла с тех пор, словно вчера это было: зал Большого театра, празднично убранный ко Всесоюзному съезду Советов, черные траурные полотнища, прикрепленные к алым знаменам, одетая в траур Москва, протяжные прощальные гудки, минуты расставания с Владимиром Ильичем. И голос Надежды Константиновны, обращенный к партии, народу, России:

«Я говорю близким, дорогим товарищам, которым предстоит строить жизнь на новых началах, я думаю, что я не должна связывать себя никакими условностями... Эти дни, когда я стояла у гроба Владимира Ильича, я передумывала всю его жизнь и вот что я хотела сказать вам. Сердце его билось горячей любовью ко всем трудящимся, ко всем угнетенным. Никогда этого не говорил он сам, да и я бы, вероятно, не сказала этого в другую, менее торжественную минуту...

Товарищи, умер наш Владимир Ильич, умер наш любимый, наш родной... Большая у меня просьба к вам: не давайте своей печали по Ильичу уходить во внешнее почитание его личности. Не устраивайте ему памятников, дворцов его имени, пышных торжеств в его память — всему этому он придавал при жизни такое малое значение, так тяготился этим. Помните, что многое еще не устроено в нашей стране...

И самое главное — давайте во всем проводить его заветы. Weiter... Weiter... — дальше, дальше!»

Длинный ряд книг в синих переплетах. Год за годом ленинской жизни, том за томом ленинской мысли...

Удивительное дело: чем чаще читаешь и перечитываешь Ленина, чем глубже уходишь в познание и изучение его произведений, чем больше, казалось бы, погружаешься в прошлое, тем более чувствуешь себя посреди битв, гроз и молний сегодняшнего дня.

Ибо Ленин — никогда не вчера. Ленин — всегда сегодня и завтра. Он всегда впереди — впереди времени, впереди человечества, на переднем крае великих боев за коммунизм!

БУДНИ И ПРАЗДНИКИ

★

АЛЕКСАНДР МЕДВЕДЕВ

Баллада о Казанском вокзале

Катакомбы родные — вокзал!
Своды в желтых наплывах олифы.
Спят скитальцы вприсест и вповал,
как в годину вселенского тифа.
Безбилетные дни вспомянуть
я пришел — просвиставшие годы,—
в лица спящих людей заглянуть,
как в бездонные воды.
Не отыщется здесь ни один,
кто бы в помощи не нуждался,—
даже сытый вон тот нелюдим,
что лоснится щекою наждачной;
свой казенный проезд офицер
променял бы на горсть золотого
с волжских плесов песку, например,
или женское слово.
Здесь теряют покой, кошельки,
и любовь, и детей, и билеты,
обретая дорожной тоски
номерные транзитные меты.
Чем смогу я помочь и кому,
сам за жизнь потерявший немало;
кто поможет мне здесь самому,
в полуночной пустыне вокзала?
Эти люди... Лет десять назад
не тех самых ли видывал здесь я? —
рты, раскрытые настежь, глаза
и цыганское вечное детство.
Как мне нужно понять — почему
столь едины концы и начала;
почему никуда никому
никогда не уехать с вокзала?
Как мне нужно, чтоб эти черты
современников-терпеливцев —
и потомку из нашей тщеты
как живые увиделись лица.
Чтобы понял он, чтобы постиг
сквозь нагар исторической фальши
наши судьбы и наши пути,
ожиданья великие наши.

Из темных вод

Умолкают скоморох и вопленица.
Видим, видим, что из темных вод
правда выплывает, как утопленница.
Так бывает часто в ледоход:

люди молча встанут по-над мелями
там, где лодки долгие смолят,
и глядят — п л ы в е т, кружась так медленно,
что на всех падет остылый взгляд.

Вот она, пропажа ненайдённая! —
страховита столь, нехороша...
Вовремя в земле не погребенная,
словно беззаконная душа.

Нехотя наладятся охотники,
лодку спустят на воду, и вот
бревна знай багром толкай да плотики,
к телу подгребай чрез ледоход.

Птиц увидят, истомленно кычущих,
и помедлят на гребок весла.
Любо, что земля свои обычаи
ото всех потрав уберегла.

Эти птицы, стерхи длинногорлые,
с неба посылающие весть,
означают в нашей аллегории,
что весна — она весна и есть.

НИКОЛАЙ НОВИКОВ

Шахматово

Приснился мне стоявший одиноко
Средь Подмосковья дом поэта Блока,
Глядевший на постыдную возню
Невзрачных с виду, ныне неизвестных,
Тащивших что-то жителей окрестных.
Стоял, уже приговорен к огню.

Сожгли его с досады, с перепоя.
Взломав шкафы, расшвыривая, роя,
Тянули рухлядь старую на свет.
Темнея и пьянея от свободы,
Буфеты потрошили и комоды —
Клад все искали.
Клада нет и нет...

А дом богат был. Но не тем богатством,
Которого привыкли домогаться —
Копить и хапать, прятать под замок.
Дом был, как чаша, полон вдохновенья
И не одно, наверно, поколенье
Из чаши этой напоить бы мог.

Как страшно занялась библиотека!
Как в пепел рассыпались мысли века!
Как огненными птицами — легки —

Вдруг вспархивали и садились тотчас,
Обугливаясь, съеживаясь, корчась,
Надежды, письма и черновики!

Огонь плясал, не разбирая пищи,
Над всей округой, над страною нищей,
Не ведавшей ни страха, ни греха...
И у огня соседи руки грели,
И разговору было на неделю,
Как барину пустили петуха.

МИХАИЛ ЯСНОВ

***

Как начинался русский футуризм?
Вот Лиля Брик когда-то написала
о сестрах Синяковых: пять сестер,
девицы эксцентричные, в хитонах
бродили по украинскому лесу,
пугая всю округу. Пастернак
влюблен был в Надю, а Давид Бурлюк —
в Марию, в каждую из пятерых —
поочередно — Хлебников, Асеев
женился на Оксане... Так возник,
как весело писала Лиля Брик,
в их доме футуризм.
Начало века,
приманивая, было втихомолку
греховно, и за ширмою течений,
литературных школ и живописных
стояла обнаженная царица
и свой вершила легковесный суд.
Так распадался символизм.
Метался
ревнивый Белый, шел к дуэли Брюсов,
и, губы сжав, пророчествовал Блок...

А где же наши женщины, дружок?

...В искусстве сходство каверзное есть
с изысканной и милой одалиской,
что дарит нам высокую болезнь,
смешав ее с постыдною и низкой.

ЕВГЕНИЙ ХРАМОВ

***

Века двадцатого первые жители:
Лик изможденный, глаза убежденные.
Бомбометатели, богостроители —
Кто победители?
Где побежденные?

Если бы ехал я в красных вагонах,
В черной шинели и в белых погонах,
Как бы я вас ненавидеть умел!
Но времена наступили другие —
Как я люблю вас, мои дорогие,
Ибо в живых застать не успел.

***

Слово р о д и н а — дым полустанка,
Птичий щебет да синь-трава.
У державы — другая осанка,
Барабан у нее и труба.

Как сукно караула, шершава,
Как знаменное древко, пряма,
Заходила нередко держава
В присмиревшие наши дома.

С приказаньем в кармане мундира,
Чтобы знали — как славить, как бить...
Словно родине слов не хватило,
Чтоб в своей правоте убедить.

ЮРИЙ КАШУК

Неизвестная солдатка

1

Росли мы при матриархате — в чужом углу, в саманной хате,
на глиняном полу.
Была война, была разруха, рукой костлявой голодуха
стучала по стеклу.
Я говорю без умиленья. Духовный опыт поколенья
и путь его земной
еще не выверен, не взвешен — но он вначале был замешен
на голоде с войной.
Я знаю: стены новых зданий не строят из воспоминаний.
Но камень прошлых лет
идет в фундамент новой эры, а годы верности и веры
рождают долгий свет.
Не так легка частица груза от «Нерушимого союза...»
и той большой войны,
но мы — опора новой кладки, сыны неведомой солдатки,
солдатские сыны.

2

У матери после войны на день рождения страны
играла музыка в квартире.
Пел репродуктор на стене о нашей молодой стране,
о не убитых на войне, о мире.
Негусто с хлебом и теплом, но люди пели за столом,
не изменяя слов и тона,
про эту родину свою, единственную, где поют
одно и то же, что в строю, что дома.
У матери после войны смотрел сурово со стены
портрет отца. Он опереться
мог и на совесть и на страх, но был не только на глазах,
на карточках и в образах, но в сердце.
Магнитофоны голосят, цветные карточки висят.
А матери за шестьдесят. Мы поседели.
Но в день рождения страны мы, старшие ее сыны —
из довойны, послевойны,— поем, как пели.

3

Пространство осталось то же, а время сменило кожу.
Давайте его помянем, земляне-иновремяне.
Из памятного былого, из дней, что продолжат путь,
ни мига и ни полслова не волен сын зачеркнуть.

У мамы, как на раскопе нетающей мерзлоты,—
предшествующей эпохи реликтовые черты.
Здесь нашего быта предки и наши с тобой годки —
тяжелые табуретки, салфетки, половики,
с эпохи, когда заплаты не стоили ползарплаты,
а люди книги читали, а не тома считали,
когда приходилось люто с хлебом, а не с валютой,
дров не хватало вдовам, а золота было вдоволь.
В послевоенном мире бездефицитной веры
водились в каждой квартире дети, а не терьеры...

Раскалывается время, к истоку уходит вспять:
и метров неполных девять, и пенсия сорок пять.
Непостижимо вроде бы логическому уму:
откуда тоска по родине в материнском дому?..

4

Душа моя, мало всего, что объемлю, синицы мало и журавля...
Ушла моя мама в сырую землю, теперь моя мама — сыра земля.

Прядкой волосы отобьются — станут, седенькие, леском.
Слезы мамины отольются где рекою, где родником.

Не приучен тобой к моленьям, облетелая голова,—
припадаю к твоим коленям, не умею сказать слова́,

брошусь на́ землю где придется, охранён от змей и простуд,—
слезы высохнут, боль сотрется, травы мягкие прорастут...

ИЛЬЯ ФОНЯКОВ

Из протокола собрания в одном НИИ

Увы, коллеги, честь невелика
С трибун и в доверительных беседах
Теперь винить во всех наличных бедах
Ушедшего в отставку Старика.

Решили жить по-новому? Я — за!
Без суеты проветрим помещенье
Да и самим себе, прошу прощенья,
Протрем, что называется, глаза.

Но как-то странно: тот, кто льстил вчера
И взгляд ловил, сегодня почему-то
Играть берется роль едва не Брута,
Поскольку, говорят, пришла пора.

Такой ли надо извлекать урок
Из наших бед, реальных, а не мнимых?
При Старике я не был в подхалимах,
Но в эти игры также не игрок.

ВЯЧЕСЛАВ БАШИРОВ

Я видел человека долга

Я видел человека долга
довольно редкостного толка,
поскольку человеком слова
был этот самый человек.

Он был похож на часового,
как бы забытого навек
своими, что ушли куда-то,
то ли назад, то ли вперед,
а он, сказав себе: так надо! —
умрет, но с места не сойдет.

Своей границей ограничен,
своих позиций не сдавал.
Он точен был, не артистичен,
слова, как гвозди, забивал.
Он говорил — жить нужно долго
и все ж не дольше, чем по долгу
потребуется...

Я стоял
в толпе при выходе из морга
больничного. Речам внимал,
сняв шапку. Было много разных
речей. Морозный пар из ртов
клубился. Сколько слов
прекрасных
наговорили люди слов.
Отдали мы последний долг,
как должно, человеку долга.

Да, я его увидел. Только
когда он навсегда умолк.
Он был похож на часового.
На самого себя. Сурово
молчал.

ВИТАЛИЙ СЛАВУТИНСКИЙ

Размышления над школьной тетрадью

На карте родины пустые
кружки́, кружки, кружки...
Их тьма.
Опустошителю Батыю
такое снилось ли? Сама
«неперспективная» Россия
свои оставила дома.
Они по-прежнему родные —
входи, не бойся, не чума.

Здесь, как и раньше, все
открыто —
входи и можешь зимовать.
Вот стол, вот люлька, вот корыто,
утюг, железная кровать...
Предметы будничного быта.
А вот и школьная тетрадь
здесь второклассницей забыта.
Читай — на пользу время трать.

Читай простые предложенья,
учи обычные слова —
поймешь ли завтра их значенье? —
«корова», «пастбище», «трава»...
В груди почувствуешь ли жженье
от слов «горят в печи дрова»?
Над смыслом их от размышленья
отяжелеет голова.

Смотри, как пишется «напильник»,
«пила», «рубанок», «молоток».
Знай устаревшее — «навильник»:
на вилах клок, у сильных — стог.
Ты не грабитель, не насильник —
не торопись, еще листок
переверни, рвани рубильник —
и старой памяти дай ток!

Запоминай на всякий случай,
на черный день, как ЭВМ,
глагол «жалеть» — он самый
жгучий,
хотя понятен и не всем.
Читай тетрадь — таких созвучий
нет в целом ворохе поэм:
души с душою, грома с тучей...
Читай, пока не глух и нем.

Ты управлял ли Буркой сивой?
Ходил за Жучкою больной?
Из школы, с праздника, красивой
широкой улицей прямой,
с гурьбою сверстников, счастливый,
ты возвращался ли домой?
Скажи, какою перспективой
ты наделен, читатель мой?

ВАЛЕРИЙ МАЛЫШЕВ

Ворон

Зарыдает на уровне окон
В сером свете растущего дня,
И почудится: «Око за око!»
Ну за что же ты маешь меня?

Не за то ль, что, стандартно красивы,
Твой исконный изъяли объем
По закону (какой?) перспективы
Жилмассивы в массиве лесном?

Стройки тянутся дальше и выше,
Не предвидится росту границ.
Стали птицы на уровне крыши,
Стали крыши на уровне птиц.

Здесь враждой наши встречи чреваты,
Здесь стерильные свищут ветра.
Разобщенье... Мы все виноваты!
Где ж ты, мера ума и добра?

Я устал от печальных повторов!
Уж не глас ли в рыданьях его:
«Кроме этих бескрайних просторов,
Вас уже не спасет ничего!»

БОРИС СИРОТИН

***

Эта военная мощь,
Эта безликая сила...
Как бы библейская нощь
Вскорости не наступила!

Нас перечел, как овец,
Кто-то, стоящий за дверью,
Я же и в личный конец,
Если признаться, не верю...

Как же поверить, скажи,
В гибель народа и слова,
Если цветение ржи
Радует снова и снова?

Ежели вновь, как юнец,
Страстью я полон нетленной!

Как же поверить в конец
Горестной этой вселенной,
Где выпрямляют лозу
Почки, набухшие липко,
И сквозь святую слезу
Детская всходит улыбка?..

Под утро

I

Текут снега, мутнеют дали,
Воды прибавилось в подвале,
И на весенние пиры
Летят оттуда комары.
Они, разбившись на отряды,
В квартиры к нам нагрянуть рады,
Пьянеют от тяжелых доз...

Усталость, авитаминоз,
Подъем душевный и упадок
И новый в воздухе порядок
Ветвей, лучей и птичьих сил,
А выше воздуха — светил.

II

Не обладать бы тонким слухом,
Когда комар поет над ухом,
Поскольку в песенке его
Звенит ночное торжество
Ничтожных тварей над умами,
Землетрясений — над домами,
И робость плуга пред мечом,
И сила праха над лучом.

III

Наутро встанешь, весь искусан,
На горизонте — солнце с флюсом
Молчит, тяжелое со сна,
И вдруг спохватится — весна!
И ну давай громить ручьями
Снега и льды, орать грачами
И приводить деревья в дрожь.

А нас и солнцем не проймешь!

Но слышу, как душа со скрипом
Поворотилась к мокрым липам —
Вослед светилам в небесах
И тонким стрелкам на часах.

ЛЕОНИД ГРИГОРЬЯН

Ключи

Коли не коваль, то и рук не погань.
Пословица.

Где-нибудь на макушке земли,
На последнем могучем увале,
Глянем вниз — ковали́, ковали́,
Много радости вы наковали?

Только там станет ясно, что тут
Вы успеха доби́лись едва ли.
Хорошо хоть, что травы растут,
Не усохли, пока вы ковали.

Днем ковали, ковали в ночи,
До сих пор ваша кровь
колобродит.
Как игрушечка, ваши ключи,
Да к замкам нипочем не подходят.

Вы сглупили, о чем толковать,
Хоть исправно ковали-ваяли:
Не проблема желе́зы ковать,
А любовь — та в другом матерьяле.

И надежда и верность — в другом.
И стремленье к звезде
чужедальней...
Как вам там, на участке нагом,
Между молотом и наковальней?

***

Это пенье порядком фальшиво,
Эта песня дурного пошиба,
Если правду сказать, то кабак.
Видно, впрямь наше дело — табак.
Видно, пали и не возродимся,
Коли слушаем и не стыдимся,
Видно, тут и секрет наш зарыт,
Коли плачем почти что навзрыд,
Коли чувствуем, что виноваты,
Коли в муках томится душа.
А мелодия в ней, а слова-то...
Право слово, не стоят гроша.
Под слезливый минор фортепьяно
Кто-то хнычет, что все лабуда.
Хоть бы пьяны, так нет, и не пьяны.
Может быть, потрезвей, чем всегда.

***

Оттого не смолкает небесная арфа —
Возвышает, взыскует, влечет,—
Что в убогом углу хлопотливая Марфа
Подметает, стирает, печет.

Для того, чтоб пророки смогли и сумели
Двигать толпы и строить столпы,
Сьшлет Марфа какие-то хмели-сунели
У плиты раскаленной в супы.

Где-то в кухоньке Харькова или Ростова,
Цельный день в суете-колотьбе,
Живота не щадящая дева Христова
Позабыла совсем о себе.

И печаль одинокую душу не сгложет,
И чужды ей злоречье и спесь.
Каждый господу служит как хочет и может.
А господь обитает и здесь.

***

Не хватило минувшего лета,
Миновавшей зимы не хватило.
Недобрали вечернего света —
Подключали электросветило.

Время попусту промоталось.
Впопыхах миновали сроки.
А в остатке осталась малость—
Только-только подбить итоги.

Но высоко над головою
В темноте журавель летает.
Вроде было всего с лихвою,
А присмотришься — не хватает.

Нипочем не даются попытки—
Что ни выкладки, то накладки.
Уж беды-то было в избытке —
Оказалось, что в недостатке.

Жили в дружбе, вражде,
комплоте.
Да, видать, судьба обозналась.
Вроде времечко на излете,
А вглядишься — не начиналось.

Значит, рано грустить о недоле,
Прорицать с высоты нагорной.
Возвратимся на прежнее поле,
Соберем урожай повторный.

Обольщают добрые знаки,
А дурные знаки грозятся.
Под рукою зябкие злаки
Пусть не шибко, но колосятся.

Греет позднее солнце погоже.
Пошукаем в нечастой чаще.
Зерна горькие стали горше.
Зерна сладкие — много слаще.

АНДРЕЙ БИТОВ

★

ПУШКИНСКИЙ ДОМ*

Роман

«Ну и убирайся!» — сказала Фаина. «Почему это я — убирайся,— ядовито цедил Лева,— а не ты — убирайся?» Эти слова звучали в их жизни не в первый раз, и каково же было Левино удивление, когда он нашел вместо Фаины лишь маленькое, на редкость ласковое письмо. Она ушла. «Не пытайся меня разыскать» и все такое. Лева рванулся, но на Сахалин все-таки за ней не поехал.

Дня через три он очнулся. Он шел в этот момент по Невскому, вечереющий проспект как-то особенно отчетливо лоснился после дождя: зонты, автомобили, асфальт, сытое шуршание шин, красное вспыхивание и повизгивание тормозов — будто видел он все сквозь подсыхающие последние слезы и будто все это мчалось, притормаживая и объезжая его... Он не чуял под собою ног, задирал голову в выполосканное, пересиненное небо и понимал, что он жив, жив!.. Это ни к чему, ни к какому помыслу не относилось: он был жив, потому что дальше его горю двигаться было некуда, он стоял на вершине его и с легкостью смотрел вниз на окружающее и предстоящее пространство жизни. И он вдруг ожил и зажил, зажил — ровно, мерно... будто в прошлом, в пропущенной им более ранней жизни, словно до войны, до революции даже... Тихо, не убыстряясь и не медля, уходил день за днем, и Лева все успевал. Матушка не нарадовалась: Лева — работал, писал, без труда сдал экзамены в аспирантуру... И не заметил как. И всего-то — месяц прошел.

И так вдруг, так внезапно! — умирает дядя Диккенс. Вот горе! Леве дается подумать о том, как ненасущны его личные дрязги, какое это все не то, как мелко и стыдно перед лицом этой, на букву С...

...Лева увидел Альбину в церкви на отпевании и был поражен. Он ничего не подумал, не вспомнил неуместного, он не сказал про себя, как ей к лицу этот черный шарфик... но именно этим был поражен. Когда ему пришлось неопытной рукою кинуть в яму горсть песка, он заплакал. Все тут же и кончилось: маму быстренько и деловито, как бы скатав, свернув в узелок пустого пальто, увел отец, почему-то мимо Левы, почему-то даже показав ему молча ладонью за ее спиной — не подходить... Леву взяла под руку Альбина.

Всю дорогу с кладбища они прошли пешком. Альбина замечательно говорила о Диккенсе. Лева удивлялся: он тоже почти так думал, но слов таких у него не было. Оказалось, они были не просто

---

* Продолжение. Начало см. «Новый мир» № 10 с. г.

знакомы, а дружны с Альбиной — об этом Лева понятия не имел. «Он был очень одинок,— сказала Альбина.— У него совсем, совсем никого не было. Все е г о погибли». Кое-каких подробностей даже Лева не знал... «Может, ему там будет лучше,— сказала Альбина,— там н а ш и х больше». Как-то хорошо она это простое соображение сказала, как-то особенно, будто имела на него право.

Она имела в виду своего отца.

Его фотографию, висевшую над тахтою, Лева разглядывал утром, лежа рядом с пустой промятой подушкой и откинутым уголком одеяла... Белое, расстрелянное лицо близоруко-чисто смотрело сквозь пенсне на смятую половину постели, где только что лежала его дочь. Он был подданный государства Литвы, строитель, возводивший свои сооружения в Париже и Берне, европейское имя, затерявшееся после войны в просторах Азии... В сумрачной глубине квартиры звякнула чашка, вспорхнул халат... «Ты проснулся?..»

...Фаина для Левы всегда была одна, не только потому, что единственна,— вокруг нее никого не было. У нее, как и у Альбины, не было отца, но, кажется, вообще его не было. Засмущавшаяся же ее мать, приехавшая из Ростова (на Дону), куда-то тут же пропала, будто Фаина ее спрятала. Мать была толста и черномяса, двух слов не связала... Лева с еще пущей нежностью прижимал к себе тогда одинокую, безродную красоту Фаины. Лишь один раз видел он на улице ее бывшего мужа, тенью которого (богатство, успех у женщин...) бередила она Левину ревность, и Лева с некоторым даже разочарованием успокоился: разве что богатство... Муж был старый и некрасивый. Даже по этим застаревшим, застрявшим в лексиконе Фаины по отношению к прошлому (до Левы) провинциально-девичьим меркам Лева был лучше. Такие оседания образа для Фаины были недопустимы. Образ этот не мерк лишь с глазу на глаз. Вокруг Фаины — не было никого.

Альбина никогда не была и не бывала одна: она была с легендами об отце; с сохранившей и в бедности какой-то заграничный жест богатства мамой (Леве нравилось ее лицо, нравилось проявлять молодые черты сквозь «следы былой красоты»); с фотографиями вилл и бабушек; с кошкой Жильбертой и устройством ее котят; с быстро возросшими общими воспоминаниями: соседство школ, дядя Диккенс, Левины идеи и замыслы... Ее «прошлое» было предложено Леве тут же как бы все без остатка: муж, за которого она вышла без любви (ни одного дурного слова о нем), интеллигентный, мягкий человек; они разошлись по ее воле (получалось — после того свидания с Левой...), муж просил, хотя она уверяла, что все кончено и не может быть, просил еще некоторое время подождать с разводом; готов вернуться по первому ее зову...— все было рассказано, как бы чтобы и не поминать об этом. («Все жены — вдовы»,— как сказал однажды дядя Митя.)

Лева был молчаливее. Он покойно лежал рядом с Альбиной на спине, разглядывая на потолке призрачный оконный переплет с нечеткой сетью забалконной дворовой листвы, и бесстрастно думал о Фаине... Ведь вот что получалось: он никогда ее не видел, не понимал, не чувствовал, она была не человек, а предмет... ну да, «предмет страсти»... как точно! Ах, слова!.. (Лева любил слова.) Пред-мет. Только рядом с Альбиной начинал он что-то понимать и видеть. Ведь ясно: Альбина тоньше, умней, идеальней, интеллигентней, сложнее... а вся — понятна и видна Леве, р е а л ь н а. А Фаина? — груба, вульгарна, материальна и — совершенно нереальна для Левы. Реальна была только его страсть, ведь и Лева переставал ощущать себя реальным в этом поле. Но он хоть и не понимал ничего, даже и себя, в отношениях с Фаиной, однако мог быть уверен, что знает про себя в с е. Про Фаину же — ничего. Только ряд бестолковых, редко даже

когда ему помогавших навыков в обращении: сейчас не стоит к ней подходить... сегодня пора уже изобрести какой-нибудь подарок... этого надо не заметить... эту прическу надо особенно расхвалить («Какой ты внимательный и милый!..» — вдруг въявь слышал он ее голос — и оборачивался с сердцебиением). «Что с тобой?» — спрашивала чуткая Альбина. Лева стонал и, выдавая грубость за страсть, привлекал ее к себе.

Она неистовствовала и исходила в его руках, чужая любимая жена, но при чем тут она и при чем тут Лева? — это Фаина выкручивалась в руках Митишатьева и не Лева изменял Фаине, а Фаина в который раз повторяла для него все это, и Лева был не Лева, а уже Митишатьев,— это было уже почти раздвоение личности в самом медицинском смысле слова; отвращение и непонятное, страшноватое по силе и остроте наслаждение испытывал тогда Лева, так и не обладая ни той, ни другою...

И тут внезапно вернулась Фаина. Оказалось, вовсе не на Сахалин, а к матери в Ростов она ездила... Это Леву тут же успокоило, что не на Сахалин. На Сахалин, уж точно, без мужика не уедешь... Лева смотрел в ее загоревшее, попростевшее лицо и с удовлетворением отмечал некоторое спокойствие в своей душе. Все-таки за этот краткий период с Альбиной он набрался какого-никакого самоощущения. Фаине он, однако, не сказал про свой роман. Не то чтобы что-нибудь его останавливало... что-то, впрочем, и останавливало. От Фаины он несколько отвык, но тут же понял, что от отношений, от счетов, от в р а ж д ы — нисколько не отвык. Он с удивлением это отметил: как быстро с нею он становится другим человеком, т е м Левой. Он ничего не сказал ей об Альбине, как бы запасая козырь... Однако Фаина заметила перемену. «Я в тебя, кажется, снова влюбляюсь»,— сказала она. В ее лексиконе это означало, что она почувствовала «силу». Лева ее презирал и был удовлетворен.

Сложнее ему пришлось с Альбиной. В первый день он не решился ей сказать о возвращении Фаины. Во второй — не сказал, угрызаясь, что не сказал сразу. Муки совести донимали его. (С Фаиной было хоть то преимущество, что там эти муки у него начисто отсутствовали.) В третий раз... Альбина уже и сама знала.

Леве было, конечно, сильно не по себе. Он — раздваивался. Какое же одиночество в наше время — действительно найти друг друга!..— думал Лева, тоскуя рядом с Альбиной. Нет, этой обреченности вдвоем не вынести, когда рядом есть перед кем прикинуться таким же, как другие. В чужом мире легче с чужими, чем со своими: не заметишь, как хрюкнешь,— и никто не заметит.

Но когда вдруг выяснилось, что в Ростове Фаина тоже не была, а загорела в Махачкале, то все вернулось на прежние места: актеры снова разобрали свои роли, которые по-прежнему помнили назубок. Фаина — жизнь, Фаина — красота, Фаина — страсть, Фаина — судьба... Что — Альбина!..

Только не раз еще вернется к ней Лева, и каждый раз после того, как ему сделают больно. Придет передать боль. Поначалу совесть помучит, а потом возникнет удобный механизм. А Альбина-то — сразу и поверит и разбежится. А Лева как наберется уверенности — то и уйдет сразу же, а как растеряет — то снова придет. Подло? Подло. Но — пусть читатель оплатит свои счета...

Все ложь и все правда...

В этот свой недолгий и настолько потом отрицаемый, что со временем как бы и вовсе с ним не бывший период жизни с Альбиной дано было Леве на своей шкуре испытать всю силу и ужас чувства собственной НЕ любви (именно отдельно НЕ, а не вместе: просто нелюбовь — простая эмоция), дано ему было испытать тиранию чужого чувства и христианскую беспомощность человека.

За что мы не любим? Ведь положа ту же руку на то же сердце, Альбина была более достойна его любви... Но когда он клал эту руку, то клал ее — на ту же Фаину: сердце его было занято. Нас так мало, чтобы досталось место еще кому-нибудь, и за это свое меньшинство мы еще раз не любим того, кто дал нам его почувствовать. «Ты можешь меня не любить,— сказала Альбина, истощив богатство своих предложений.— Но ведь у тебя сейчас никого нет? (Что наговорил ей Лева?..) Тебе ведь женщина нужна? Я же не хуже других...» Лева вздрогнул, будто его ударили,— опять его достигала в с я мера. «Ты — не д р у г а я...» — догадался ответить он. В этом была доля. И вот еще за что мог он ее не любить: она была из с в о и х, он ее предельно чувствовал, она была, как он,— каждое ее движение проектировалось в его душе как узнанное, как понятое, они были одинаково устроены и настроены на одну волну; он мог не любить ее, как себя. Он принимал каждый ее сигнал, прекрасно знал, как ей следует ответить, но чем? — и не мог. За это — кто же полюбит? И еще сильнее мог он ее не любить за Фаину: от сравнения Фаина не выгадывала — обиднее становилась потраченная Левина жизнь. И еще он мог досадовать, что теперь Фаина уже знала про Альбину и не столько была уязвлена, сколько воспользовалась этим. А самое, за что он не любил Альбину, был первый опыт узнавания того, что он так напрасно всегда пытался выяснить у Фаины: действительное ее отношение к нему, что же она к нему питала во всю их жизнь... А вот то и чувствовала! — осеняло иной раз Леву, когда он корчился от своей ложной несостоятельности рядом с нелюбимой Альбиной. Какая же убийственная тоска пронизывала от этого допущения Леву! Тем более что на собственном опыте он мог теперь выразить Фаине некоторое сочувствие и чуть ли не восхититься ее корыстным долготерпением. А за это можно было бы и не только не любить, но и убить виновницу (опять Альбину)... В общем, то чувство НЕ любви, о котором мы здесь говорим, крайне утомительно и чрезвычайно НЕ лестно тому, кто не любит. Не знаем, как сносят это чувство женщины, когда они имеют дело с успехом, которого жаждут (нам кажется, что они должны в момент успеха никого не любить, чтобы ощущать его), не знаем... но мужчина, любящий свой успех у женщин, нам кажется не вполне мужчиной... И Лева проклял это чувство безответной любви к себе. Но — не свое.

Как сильно он не любил! Как навсегда... Если и через десять лет (старательный потомок может попытаться определить дату, покопавшись в истории ширпотреба...) Левино сердце ныло какою-то тошною тоскою при виде невинных предметов, впервые встреченных им почему-то именно у Альбины, как то: род цветастых тапочек со вдетой в них резинкою, так мягко облегавших ее ногу, или предмет того же рода — подследник, невидимый носочек, дефицит своего времени,— все вещи, казалось бы, даже трогательные... Но и на дефицит более поздний, к Альбине уже не имевший отношения — на модный складной зонтик,— перенеслась ни с того ни с сего Левина ненависть. Все это сжималось, съеживалось, сворачивалось — без ноги, без дождя... Образ бесформенности, невыносимый тлен... Торопливо сдернутые с ноги, покинутые на полу, тапки эти неоправданно сжимались, как его сердце, и пугали, как Альбина своею нагою покорностью. И впоследствии самое очаровательное существо могло погибнуть в Левиных глазах всего лишь от складного зонтика.

Лева старался видеться с Альбиной все реже, но оскорблять ее чувство все же не мог: слишком, ему казалось, знает он, что́ она испытывает, ка́к страдает, и когда не видел ее, до некоторой степени начинал сочувствовать ей (может, издали, неконкретно — такое страдание все-таки лестно нам?..). Так он виделся с нею все реже, из чисто христианских побуждений освежая ее раны. Но однажды-таки решился на последний разговор.

Они встретились на каком-то углу и молча дошли до ее дома. Он — не решаясь, она — боясь. К ней Лева отказался подняться. Вышло, что он ее только проводил. Ей надо было еще что-то Леве сказать. «Что?» — спросил Лева. «Не здесь». «К тебе я не пойду»,— сказал Лева, представив себе тихо исчезающую в сумраке маму, успевающую «почти не посмотреть» Леве в глаза. Альбина воспользовалась случаем взять Леву под руку и повела его неподалеку в скверик.

Там они сидели молча, будто уже сидели, когда туда пришли... Небо сквозило в поредевшей листве, было преждевременно холодно, стыли руки. Это был такой первый осенний холод, до пальто и перчаток... Этими-то озябшими руками Альбина расправляла на колене слетевший к ней кленовый лист. Лева позволил себе разозлиться, приняв это за кокетство. Кокетство не было привилегией слишком хорошо воспитанной, с в о е й Альбины. Оно ей не шло, было жалким. Лева был несправедлив к Альбине: она на самом деле была занята листом, чтобы ненароком не заглянуть Леве в глаза, не прочесть в них...

«Ну так что?» — сказал Лева, разозлившись. Большая одна капля упала на лист. Тут Лева опять ощутил в с ю ее муку в себе, мечущуюся в его чужой душе, и не вынес ее... Зажмурился и — сказал. Она молчала. Лева не вынес паузы и еще довольно долго говорил, обмазывая пилюлю таким признанием ее достоинств, что от этих ледяных комплиментов Альбина застыла окончательно, капелька повисла на ее носу... «Но ведь ты — мой, мой!..» — отчаянно воскликнула она и увидела, что смотрел он ей — на кончик носа, на каплю... Она не засуетилась, не смутилась, а смахнула ее и сказала каменно: «Ну что ж, прощай». «Ты пойми...» — начал Лева и не продолжил. «Иди». Лева почувствовал какой-то холодный укол, будто с другой стороны сердца, с которой никогда не ощущал боли, будто его сердце, как луна, имело обратную сторону, и понял почти с разочарованием, что достиг своей цели, что — не кажется, а — в с ё. (В этом и мужское сердце элементарно, как женское.) Он понял, что должен встать и уйти, что это ее право, чтобы он ушел, ее последняя (единственная за все их время) привилегия, какой она воспользовалась. Тут Лева наконец увидел, что Альбина — красива, высокая шея... что она могла бы быть желанна и любима, но почему-то опять не сейчас, а тем, отдаленным Левой, который так щедро не любил ее, именно тем, а не этим, все еще сидящим рядом, все еще не уходящим и почти любящим ее... Да, он мог бы любить ее, она могла быть его женой. (Ему представилась ее квартира, открытые двери, мелькнул в сумраке и запахнулся халатик, тоненькая кофейная чашечка в руке...) «Я не люблю тебя больше»,— сказала Альбина.

Мокрая полоска все еще блестела на ее руке. Лева молча охнул и поднялся... Но если б он вдруг распался, рассыпался, раскололся и оборотился наконец к ней с чувством — то было уже поздно. Эта необратимость поразила Леву — в первый и последний раз перед ним реально возник тот врожденный образ вечной любви, с олицетворением которого он так настойчиво приставал по первому же адресу... Это была Она — и он тут же простился с нею навсегда, больше не мечтая о том, чего не бывает в жизни...

(Больше они не виделись. Лева шел по желтой дорожке садика, и уходил, и долго он так шел с этой желтизной перед глазами, бормоча какие-то ненаписанные стихи, вроде: «Прощай! До встречи... Т а м нас больше... Прощай!.. Та-та́-та, та-та-та́...»)

Так прочитана история Левы под знаком Альбины: другие звезды в этом небе, иначе расположены по отношению друг к другу. Лева не видит их точно так же, как не видим мы в нашем северном полушарии Южный Крест.

ЛЮБАША

> Страсти не что иное, как идеи при первом своем развитии: они принадлежность юности сердца, и глупец тот, кто думает целую жизнь ими волноваться: многие спокойные реки начинаются шумными водопадами, а ни одна не скачет и не пенится до самого моря.
>
> *«Герой нашего времени», 1839.*

Третью же Левину женщину назовем простым русским именем Любаша. Любимая, нелюбимая и любая... Она не играет роли в его судьбе, лишь что-то в ней означает. Какую-то прибыль, чью-то убыль. Времени еще прошло. Ничто вроде не изменилось, а все стало другим. Ничего не узнать, а все то же самое. И Лева — на вид совсем другой: поосунулся, переоделся, стал поуверенней, понахальнее, попривык к своим мукам, пообтерся об себя же. Хвастаться вроде нечем, а что-то уже б ы л о в его жизни, а это само по себе что-то. Он приобрел кое-какие черты из тех, что всегда у него были. Он как бы проявился, проступил сквозь себя.

Лева объявлялся у Любаши неожиданно, невзначай. Дома у нее телефона не было, а на работе был, но неудобный, далекий. Любаша ему этот телефон дала, но как бы одновременно не советовала им пользоваться: чуть ли не требовалось сначала позвать некую Лиду, а Лида, близкая Любашина подруга, уж непременно ее позовет. Это было как-то неловко Леве; он один раз было попробовал, и тот мужской голос был недоволен, казалось, даже тем, что позвали Лиду, а потом Лида, сказав «сейчас», пропала так надолго, что Лева изнемог вслушиваться в это далекое немое потрескивание, потел в жаркой телефонной будке, поглядывал на мнущегося за стеклянной дверью нетерпеливого на вид человека, который тем не менее в стекло монетой не стучал, чем действовал на Леву еще хуже: Леве приходилось тупо молчать, меняя позы и придавая лицу осмысленность; ему становилось жарко, и по всей коже он уже ощущал покусывание, происходившее словно от потрескивания в трубке; тем более что чуть ли кто-то не подошел, пока он ждал, опять мужчина, и снова спросил: кого надо? — и когда Лева с испугом назвал Лиду, тот сказал, что Лида вышла, и чуть ли не повесил трубку прежде, чем Лева сообразил как-то объяснить все это... в общем, когда он наконец услышал в трубке ленивый Любашин голос, то одновременно с облегчением почувствовал некое замешательство от явного несоответствия всех этих трудностей и переживаний с тем, что он должен сказать сейчас Любаше. Он замешкался, замолчал. «Что-нибудь случилось?» — очень спокойно сказала Любаша. «Нет, ничего, я просто хотел к тебе зайти». «Ну так заходи»,— просто сказала Любаша. Лева повесил трубку. Телефончик Любашин у него, выходит, был, но на экстренный случай. Какой же мог у них быть с Любашей экстренный случай? — этот, что ли? — поэтому Лева больше не звонил. Не дождись он тогда, ничего бы могло и не быть. А не было бы, то что бы было?..

Он заходил невзначай и довольно редко, но всегда до сих пор заставал Любашу дома, причем одну, и она будто ждала его, хотя никакой лишней радости не разыгрывала, но всегда была приветлива. Они садились не торопясь пить чай, и Леве никогда не удавалось заметить, как это все начиналось и оказывалось, но как-то они все успевали, и уходил он всегда вовремя, как ему это требовалось: на следующее утро или в тот же вечер — тоже как-то не замечал этого.

Сначала его эта непривычная удача, что он всегда заставал ее дома одну, удивляла, потом даже польстила, потому что при столь нетребовательных отношениях Лева нисколько бы ничему не удивился, потому что полагал себя вне ее личной жизни. То ли ему

просто поначалу везло так нападать на Любашу, то ли что ли, но и тут вдруг что-то переменилось, стало «проще»... Он застал, как кто-то вышел, когда он подходил к двери, потом кого-то не пустила, когда он был у Любаши, а потом однажды и Леву не пустила: мама внезапно приехала. При этом широкое ее лицо ту же широту и выражало. А Леву это будто даже устраивало, что сегодня к ней нельзя. Будто это время, которое было некуда деть как бежать к Любаше, вдруг становилось подарком...

Интересно также отметить, в каком редком для себя настроении сворачивал Лева со своего обычного пути и заходил к Любаше. Не как к Фаине — где чем невыгоднее бывало его положение и настроение, тем неотвязней был его приход, и Лева как бы уже дожимал, почти настаивал на своем все большем проигрыше, как мы давим на больной зуб или, сдержанные, трогаем его языком: где попытки разжалобить, тронуть, унизиться были тем настойчивей, чем бесполезней... и не как к Альбине — где он появлялся лишь почерневший, расслабленный, несчастный или злой.

Во всяком случае, именно не несчастный захаживал он к Любаше. Может, еще злой, но не несчастный.

Что-нибудь вдруг удавалось ему, вселявшее в него силы; или Фаина бывала неожиданно любезна к нему или даже вдруг — зависима; то ли погода, давившая неделями в этом дождливом городе, вдруг оборачивалась первым весенним днем или бабьим летом; или просто бодрость непонятная снисходила на Леву внезапно, ни с того ни с сего, как та же редкая погода, и он вдыхал тогда воздух, не важно какой, широко раздувая ноздри, радовался жизни в неприметном ему листочке и нравился сам себе, казался сильнее и выше ростом; или кто-то нравился ему на улице или в автобусе, и он ловил ответ, чуть ли не перемигивался уже, но она проходила дальше или сходила на остановке, а он так и не решался догнать, соскочить...— но внезапное возбуждение и прилив неожиданных сил оставались в нем и уже распирали его, подталкивали и приводили — к Любаше.

И такой не привычный никому, возбужденный, запыхавшийся, чуть ли не с горящими глазами, легкий самому себе, даже радостный оказывался он у Любашиных дверей и уже нажимал звонок.

Он и не думал и не вспоминал о Любаше иногда подолгу, ему вполне хватало Фаины на это... И вдруг оказывался у Любашиных дверей, свежий, красивый, такой далекий от отчаяния,— и уже нажимал звонок.

Или даже так уж образовался механизм впоследствии, что, оказываясь у Любашиных дверей, становился он вдруг совершенно другим, свежим, красивым и т. д.?..— и решительно нажимал звонок.

То есть он уже мог приходить сюда забывать свои горести, исправлять настроение, тут уже как бы рефлекс, и тогда все звучит гораздо банальнее, но и в этом случае необходимо отметить, что настроение его исправлялось не только в результате встречи с Любашей и не в процессе, а еще и до этой встречи, по крайней мере у самых ее дверей, и то, что он так менялся прежде, чем видел Любашу, что-то нам свидетельствует не то о Леве, не то о Любаше... Была в ней та поразительная способность, не договариваясь, не выясняя, сразу определить меру, характер и единственность отношений — в противном случае люди ей, по-видимому, не подходили, и Леве, чтобы подходить, приходилось это учитывать, хоть бы и инстинктивно.

Только и Любаша однажды спросила, правда, спокойно очень и будто без чувства: «Я ведь тебе больше нравлюсь, чем Фаина?» Лева очень изумился и чем-то был польщен. Задумался и так и не додумал. А Любаша и не требовала ответа. Спросила, и ладно. По-своему-то она **знала, что** — больше.

А Любаша всегда бывала дома, и даже тогда, когда Лева отказался от нелепых своих, хоть и лестных предположений, что он единственный у нее. Она была всегда дома и тут не подводила, устранив в определенной своей жизни лишние волнения встреч и сборов в дорогу, то ли когда-то в сердцах отвергнув, то ли спокойно отрицая наличие какого бы то ни было другого и сколь-нибудь интересного мира или образа жизни, дополнительного к какому ни на есть, но своему. Она всегда была дома или на работе, никуда, кроме бани и кино, не отлучалась, приходили же — к ней и имели в этом потребность и даже необходимость.

Итак, Лева внезапно для себя оказывался у ее дверей — и уже нажимал звонок.

Любаша открыла ему и впервые как будто удивилась. «Это ты? — Посмотрела на него внимательнее обычного и, словно что-то тут же про себя решив: — Ну что ж, проходи. Только я не одна». И пока Лева, как обычно возбужденный, неожиданно быстрый в движениях, следовал по коридору и не было подозрений, способных приостановить или расхолодить его в стремительном беге следом за медлительной Любашей (потому что в чем же возможно было заподозрить Любашу?), пока он, проходя по темному коридору, что-то спрашивал: мол, а кто же у нее? — и недорасслышивал ответа,— все было по-прежнему чудесно. Но тут же он стоял в тесной Любашиной комнатке, и ему становилось не по себе...

Они не могли не встретиться. Эта встреча столь естественна здесь...

— Пришел-таки!..— восклицал Митишатьев.— А я тебя поджидаю...

МИФ О МИТИШАТЬЕВЕ

> Нынче поутру зашел ко мне доктор; его имя Вернер, но он русский. Что тут удивительного? Я знал одного Иванова, который был немец.
>
> *«Герой нашего времени», 1839.*

Проходит время — и в прошлом все становится как бы более простым и понятным, чем было в настоящем... Теперь уже могло показаться странным, но Митишатьев был еще школьным товарищем Левы. Просто Митишатьев до времени полысел и обрюзг, а главное, как-то незаметно и давно уже приобрел тот ряд незначительных движений и привычек, чисто внешних, по которым мы всегда отличим человека пожилого хотя бы со спины: садится ли он в автобус, вытирает ли ноги, сморкается ли. Если вспомнить, а Леве это еще легко удавалось, то и в школе Митишатьев уже выглядел старше всех, даже мог выглядеть старше учителя, словно он менял свой возраст в зависимости от собеседника так, чтобы всегда быть слегка старше его. Вообще он с видимым удовольствием набрасывался на свежего человека, тем более если они были полностью противоположны друг другу, но всегда умудрялся сойти за своего, даже чуть больше, чем за своего. Говорил ли он с работягой, фронтовиком или бывшим заключенным, то становился чуть ли не более собеседника — работягой, фронтовиком и заключенным, хоть никогда не работал, не воевал и не сидел. Но никогда не перебирал — оставался, в общем, наравне, лишь слегка обозначив превосходство так, словно бы он если и пересидел в окопах или в лагере своего собеседника, то всего на день какой-нибудь или месяц, но в то же время хоть и на день какой-нибудь, но пересидел. По этому ли желанию казаться всегда постарше и помногоопытней, по физиологическим ли своим особенно-

стям или по некой внутренней нечистоплотности, которая старит до времени, но Митишатьев выглядел чуть ли не вдвое старше Левы.

Таким он и сходил. Никто толком не знал его года рождения, а кто вдруг узнавал (начальник отдела кадров, к примеру), то от удивления, естественно, возникала версия о каких-то невиданных событиях и травмах, потрясших недолгую жизнь Митишатьева и наложивших свой неумолимый отпечаток и след. Так или иначе, Митишатьев сразу же внушал уважение и избирался собранием в президиум.

И Леве, знавшему Митишатьева с детства, казалось неправдоподобным быть его сверстником. Лева с большей легкостью соглашался с фронтовым и лагерным прошлым Митишатьева, чем с тем, что они сидели на одной парте. Конечно, никаких заблуждений на этот счет у Левы быть не могло: просто в сознании его мифы Митишатьева давно уже стали более реальными, чем сама правда. Поэтому-то Лева никогда его не выдавал, ему не стоило никаких усилий перешагнуть в себе правду о Митишатьеве и согласиться с любой неправдой (ибо, опять же, неправда была в отношении Митишатьева как бы большей правдой); Митишатьев это ценил, хотя и относился к такому парадоксу как к чему-то совершенно естественному. Во всяком случае, он перестал опасаться Левы в обществе посторонних, не опасался даже молчаливого, косого или насмешливого взгляда, всегда нас так расхолаживающего, и нес при Леве что на ум взбредет, чуть ли не вдохновляясь его присутствием.

С самого детства Леве оставался непонятным секрет особого воздействия на него Митишатьева. В этом было что-то чрезвычайно простое, даже простейшее — чисто силовое и ничем не оправданное движение, некий прием, всегда один и тот же, даже запрещенный (ниже пояса), но всегда безотказно действовавший на Леву. Это голое давление не поддавалось ни анализу, ни логике: никак не мог Лева расположить его в своей системе, то есть победить, перешагнуть разумом,— оно просто б ы л о как некое особое физическое явление, в поле действия которого Лева непрестанно попадал. Более того, оно его притягивало. Лева, конечно, восставал, сопротивлялся (в том-то и дело!), выдвигал щитом свой разум, но противник был неожидан и неистощим.

С детства действовала эта модель, как вечный двигатель... После долгого и безрезультатного препирательства, где правда убедительно оказывалась на Левиной стороне и преимущество неоспоримо, Митишатьев вдруг говорил: «Давай поборемся!» («Стыкнемся!») — и, соответственно, побарывал... и это вдруг оказывалось не просто насилием или физическим превосходством, а подлинно победой! — в моральном, умственном, во всех возможных планах: так подавал все Митишатьев и так ощущал это Лева.

Постепенно Лева не мог не заметить, что, испытывая интерес и пытаясь разрешить механизм воздействия Митишатьева, он всегда терпит поражение, а когда, отчаявшись и прозлившись, просто на время забывает о нем, отодвигает, нисколько и не победив, то и воздействие кончается, и в этом как бы мерещится победа. Но это неглупое открытие не очень помогло Леве — Митишатьев умудрялся снова и снова втягивать его в свой механизм и подчинять себе. Начиналось это с ласки: с дружбы, с утверждения Левиных достоинств, с равенства и признания,— и когда Лева, растаяв и даже насладившись лестью и ощущением превосходства, снова клевал на наживку, то тут же бывал подсечен: от него отворачивались, над ним смеялись и он оказывался в полной власти.

Этот, все тот же, цикл заманивания и последующего предательства, такой простой и всегда непонятный, притягивал к себе Леву, как мотылька свет, и растлевал его душу, постепенно залегая в сознание и там прорисовываясь. Страдание, всегда сопровождавшее

этот Левин процесс вовлечения в предательство, каждый раз проходило словно по тому же нежному месту, которое со временем могло перейти просто в нечувствительную ткань, некий плац, по которому шествует предательство, не оставляя следа.

Особенно четко выразилось это в отношениях Левы с его первой и бесконечной любовью. Однажды (по прошествии нескольких лет) Лева внезапно сообразил, что секрет воздействия этой женщины на него, тайна бесконечного его плена удивительно сходны по механизму своему с секретом Митишатьева. Господи! — ни там, ни там это не была вполне Левина инициатива... просто эти люди, как некие животные, ощущали как бы некий запах, исходивший от Левы, и чуяли по нему, что Лева им необходим. В том-то и дело, что скорее им был необходим Лева, чем они ему. Они заманивали его, он ощущал эту свою притягательность и некоторое время ходил гоголем, но потом все же раскрывался, разворачивал анемичные свои лепестки — и тогда ему смачно плевали в самую сердцевину... он сворачивался, створаживался и был уже навсегда ущемлен и приколот, не то бабочка, не то значок... И даже если Левина чаша переполнялась от такого глумления, он лишь срывался, как правило, на глупую и позорную грубость — в этом не было и тени превозмогания, преодоления или победы. А они пользовались: он тут же оказывался виноват, они же как бы бесконечно обижались в своих чистых чувствах — и тогда тот же Лева не уставал ползать, умолять и извиняться, более и более подпадая под власть.

Все тут совпадает до смешного, все время пульсируя по той же простенькой и всесильной схеме. Митишатьев даже совпал с Левиной возлюбленной в какой-то точке однообразного Левиного сюжета. Они, конечно, не могли не встретиться, поскольку питались одним и тем же Левой, а встретившись однажды будто по чистому стечению обстоятельств того же сюжета, как бы всплеснули руками и уже не могли друг без друга — слились.

Лева навсегда запомнил тот дрожащий, расплывчатый вечер, угол ее дома с тремя выпавшими кирпичами (они как раз были на уровне глаз и без конца отвлекали Леву), а они втроем расставались и никак не могли расстаться. Чья-то фраза распалась на полуслове и повисла неоконченной, внезапно обозначив никчемность всего предыдущего разговора, столь оживленного; горячее, неприличное даже молчание вытесняло Леву; все трое переминались от нетерпения и в глаза уже давно друг другу не заглядывали... А Лева все не мог уяснить себе что-то, что было, по-видимому, ясно Митишатьеву и Фаине, не позволял себе думать так.

Наконец они разошлись все-таки, и Лева испытывал облегчение и радость, вышагивая рядом с Митишатьевым к трамвайной остановке. Подозрения спадали, как душные одежды, и в сердцевинке, голенький и чистенький, оставался Лева — ядрышко, зернышко! — слышал звуки и запахи, и отчетливо зажигались для него звезды... У остановки они расстались с Митишатьевым (тому было еще немного пройти — и он дома), Лева дружески, открыто пожимал Митишатьеву руку, и тот тоже жал изо всех сил и даже поцеловал внезапно и порывисто. Лева вспрыгнул на подножку, смущенно улыбаясь и маша рукой, и честно ехал домой.

Спустя несколько лет, в период наиболее длительного разрыва с любимой, когда он уже начал забывать ее понемногу, с удивлением обнаруживая, что вот же, может быть без нее — и ничего, и хорошо, и не уставал радоваться этому, он встретил на улице Митишатьева. И они бродили, заходили в погребок, потом в зоопарк... Митишатьев вдруг поразил Леву тем, как примечательно точно отзывался о зверях, с большой интуицией и проникновением. В Леве снова ожило школьное представление о некой самобытности, скрытой талантливости натуры своего врага и друга: Лева любил, когда гово-

рили точно, радостно раскрывался навстречу слову... Полукавив и посентиментальничав о зверях, они пили пиво.

— Послушай, князь,— сказал Митишатьев, сдувая пену,— у тебя есть фотография нашего школьного выпуска?

— Есть, конечно. Что вдруг?

— Так... с удовольствием сейчас бы взглянул. Слушай, а ты часто ее рассматриваешь?

— Нет... зачем? — удивился Лева.— Она у мамы где-то лежит...

— А как ты думаешь, сколько у нас в классе было евреев?

Лева опешил:

— Никогда не считал...

— А ты припомни, припомни!..

Лева задумался.

— Да нет, странно,— сказал он,— не припомню. Все русские фамилии, ни одной еврейской. Не было, что ли?

Митишатьев расхохотался.

— Как же! Скажешь... А Кухарский, по-твоему, кто?

— Крыса-то? Русский, конечно,— сказал Лева.— Такая ряха, да и фамилия...

— Фамилия, фамилия! — передразнил Митишатьев.— Мало ли что! Еврей он, еврей. А Москвин, по-твоему, не еврей?

Лева от души рассмеялся.

— Ну уж ладно Кухарский... Но — Москвин! Мы его, правда, все Мойшей звали. Но ведь это так, для смеха, ни у кого и в мыслях не было... Было бы — так и не звали бы.

— Значит, это была у вас интуиция,— сказал Митишатьев.— Она никогда не обманывает. Мойша и есть.

— Да ты что? — удивился Лева.

— И Тимофеев твой — тоже еврей.

— Тимсон-то?

— А как же,— важно сказал Митишатьев.— Вот вы его и прозвали Тимсон.

— Может, и Потехин — еврей? — ехидно спросил Лева.

Теперь расхохотался Митишатьев.

— Потехин? Ха-ха... Лева, ты святая душа! Конечно же, стопроцентный!

— Ну а Мясников?

— Какое может быть сомнение! Ты его нос видел?

Лева в раздумье потрогал себя за нос.

— То-то,— сказал Митишатьев.— Слушай, князь...— как-то испытующе, секретно заговорил вдруг Митишатьев,— а ты сам, часом, не еврей?

— Я?! — Лева даже задохнулся.

— Ну да...— поспешно отказался Митишатьев.— Ты же князь. Почему же тогда тебя Левой зовут?

— Господи! — воскликнул Лева.— Да что с тобой? И Лев Толстой был Левой...

— М-да.. Толстой...— произнес Митишатьев как бы в явном сомнении.— И друзья у тебя все были евреи.

— Как так все? Кто, например?

— Тот же Тимофеев хотя бы. Или Москвин.

— Да не евреи же они!

— Евреи,— неколебимо сказал Митишатьев.

— Сдурел я, что ли! — вдруг спохватился Лева.— А хоть бы и евреи, мне-то что?

— Вот видишь...— удовлетворенно сказал Митишатьев.

— Постой! — Леву вдруг осенило.— А ты-то сам? Ты-то, часом, не еврей?

Митишатьев от души расхохотался. Потом как бы покачивал головой и чуть всхлипывал — так уморил его Лева.

— Ну а как же,— продолжил Лева.— Вот у тебя тоже носик-то подкачал, а?

— Но-сик...— только и смог выговорить Митишатьев, снова задохнувшись смехом.— Чайник...

— И потом, ты же мой друг,— с непонятной радостью и восторгом говорил Лева,— а у меня все до одного, по твоему же признанию, друзья — евреи. И сам я вроде тоже еврей. Так что и ты тоже. Мы ведь тебя, помнишь, Мякишем звали? Очень тебе подходило,— говорил Лева с приятной, протрезвляющей резкостью.— Мякиш — тоже что-то еврейское...

— Мякиш...— Митишатьев вроде очнулся и даже обиделся.— Что же тут еврейского, в Мякише-то?

— И потом, почему тебя этот вопрос так донимает? Это обычно с теми, у кого у самих рыльце в пушку, бывает. Ну если и не еврей, то полукровка, к примеру, или квартерон.— Лева вдруг обнаружил, что они просто обменялись с Митишатьевым текстами, настолько похоже у него стало получаться.— Или даже осьмушка — тоже чего-то стоит?

— Ну уж нет,— отрезал Митишатьев.

— Что же ты тогда имеешь против них?

— Евреи портят наших женщин,— твердо сказал Митишатьев.

— Как так??

— А так. Потом, они — бездарны. Это не талантливый народ.

— Ну уж это ты извини!.. А как же...

— Только не говори мне ничего про скрипочку.

— При чем тут скрипка! — Лева вдруг рассердился и перечислил поэтов.

Митишатьев их отверг.

— Ну а Фет? От Фета-то ты не отречешься?

— Фета оклеветали.

— Ну а Пушкин? — озарило Леву.— Как — Пушкин?

— При чем тут Пушкин? — пожал плечами Митишатьев.— Он арап.

— А арап знаешь что? Э-фи-оп! А эфиопы — семиты. Пушкин — черный семит!

Довод был силен. Митишатьев мрачно замолк. Лева торжествовал, становился снисходителен...

Митишатьев уловил это и воспрял. И, отвернувшись, будто пряча, будто безразлично сказал:

— А ты, кстати, свою Фаину давно видел?

Это же надо так — в лоб, в пах, под дых! — Лева задохнулся.

— Давно вроде... А что?

— Да так... ничего,— сказал Митишатьев, допивая пиво.— Встретил ее недавно... Ну что, пошли?

А у Левы вдруг так захолонуло, так засвербило воспоминание о том вечере: как стояли они у ее дома все втроем... И Лева теперь все собирался и не решался задать мучивший его вопрос. Митишатьев вышагивал не глядя и молча, собранный...

— Может, еще выпьем? — робко попросил Лева.

— У меня нет денег,— твердо сказал Митишатьев (хотя и до этого все шло за Левин счет).

У Левы — были.

Лева угощал и, симулируя беспечность: о том о сем,— все подбирался к цели. И когда наконец, не узнавая свой голос, сразу выдав себя с головой (хотя все силы его были направлены, чтобы вопрос был безразличен и между прочим), все-таки задал его, то неповторимая улыбочка вдруг подернула губы Митишатьева, хотя он и сказал, что нет, ничего такого не было. Ох, эта улыбочка... Лева уже готов был снова мчаться к Фаине и обивать ее пороги. А Митишатьев — в этом было даже какое-то безволие, погружение в порок — не удержался

и добавил, что если уж быть до конца честным, каким он и должен быть перед лучшим другом, чтобы уже — все, подчистую, и между ними ничего не оставалось... так он вернулся все-таки тогда, когда Лёва поехал домой, но, опять же, ничего такого не было.

А тут уж и вовсе — кто скажет, было или не было? Хотя, с другой стороны, зачем было бы Митишатьеву скрывать, раз он знает, что все у Левы с Фаиной кончено? Хотя, и еще с другой, зачем ему признаваться в том, что он вернулся, и скрывать дальнейшее?.. Короче, Лева снова погрузился по уши в прежнее, будто и годы не проходили один за другим и ни шага не сделал он от все той же печки. Вскоре он задавал тот же вопрос Фаине...

И она уклонялась, потому что у них с Левой был мир — только что после встречи,— но тоже, как и Митишатьев, не удержалась и выдала мучительную Левочке улыбочку. А потом, как бы устав от Левиных наседаний и махнув рукой, согласилась с предложенной им же версией, тут же отказалась от нее, сказав, что да, Митишатьев вернулся потом, но она его не пустила, а они просто пошли прогулялись и поговорили, что да, конечно, он приставал к ней, но ничего у него не вышло, да, не вышло, хотя он даже затащил ее в подвал своего дома, где хорошо знал все ходы и выходы, что там было тепло и он там тоже приставал, но, опять же, у него и там ничего не вышло, и что — к черту, наконец! лишь бы Лева отстал от нее! — все, все было, только не в подвале, конечно же, а у нее дома, потому что когда Лева уехал, Митишатьев вернулся и провел у нее ночь, и потом тоже, когда она однажды не пустила Леву (помнишь?),— это тоже был Митишатьев, и потом еще несколько раз... Ну ладно, это она назло говорила, ничего этого не было, ничего-ничего! всегда был только Лева (иди ко мне, милый...). Ну хорошо, было, тогда, в подвале, было, но только один раз и то — один позор... Да нет же, ничего никогда не было (чтобы я с этим уродом?.. да мне и смотреть-то на него противно!), просто Лева сам напрашивается, что же она может ему еще ответить? Ну не надо, милый, я же люблю тебя, ну и убирайся к черту — надоел совсем!..

И такую все воскрешающую и освежающую пыточку испытал тогда Лева, так ничего и не узнав! «Да и что мы вообще можем знать о другом?» — мудро думал он, но в этом было даже больше отчаяния — и ничуть не утешало. Он вспоминал своих других женщин — и тогда взлетал, как от зубной боли, и все освещалось ярким белым светом: раз и у него — то у нее что же?! И изменять-то он не изменял, оказалось — его измены лишь ложились на него же добавочным грузом и тянули вовсе на дно. В каждой своей другой женщине ему чудился прежде всего ее другой мужчина, еще Митишатьев. И эта единственная известная Леве ее измена (замужество в счет как-то не шло) оказывалась наиболее из всех ему неизвестной. И вскоре Леве должна была прийти поздняя мысль, что он и не любит уже, а лишь мечтает от этой любви избавиться...

И Лева примерял уже картонные латы и выдергивал из ножен некстати деревянный раскрашенный меч! Но, пытаясь бороться с врагами их же оружием, то есть в свою очередь предавая их, никогда не удается переиграть их, перещеголять в предательстве. Он сам же поскальзывался на слабенькой и тихой своей продаже, отшатнувшись от внезапного, возникающего как бы ниоткуда, невероятного их предательства. Чудище огромное, и головы каждый раз новые отрастают... Надо прятать деревянный меч — весь демонизм Левин вдруг оказывался простительной ребячьей шалостью, им преувеличенной до гиперболических размеров, над ним можно было лишь снисходительно и ласково посмеяться.

И хотя эти двое так и не дали Леве ни разу совершить истинно предательство и перешагнуть их, это, к сожалению, вовсе не означает, что чистая его натура вывозила его и не давала пачкаться,— это лишь

в сравнении с ними обстояло так. И эта возмутительная игра «кто — кого», которую все время подсовывали Леве, пока он верил, что должна быть любовь, а не игра «кто — кого»,— эта нереальность (Искушение) становилась все более явью для Левы. И так эти двое вдруг стали делиться и помножаться в его глазах, распространяться со скоростью опыта, что мир уже отчетливо начинал делиться на ОН (Лева) и ОНИ (все).

Лева в конце концов просто поздновато стал понимать, что не столько митишатьевы его давят, сколько он позволяет им это. И то, можно отдать ему должное, он долго сопротивлялся системе отношений «кто — кого», пока, подвинувшись вслед за своими мучителями к краю, с удивлением не обнаружил, что лишь время разделяет их и кого-то другого он уже продает и предает потихоньку, передает, так сказать, эстафету кому-то, возникающему в недалеком времени,— и не хотел ведь принимать ее, а вот уже и сжимает палочку...

...Но в одном Фаина все-таки помогла Леве — он вышел из-под власти своего друга. После расплавленного свинца Фаины его уже не обжигал соленый кипяток Митишатьева. Время лечит.

Но и в этом он ошибался. Так ему, естественно, должно было казаться, потому что долгое время ему было не до Митишатьева. Но Митишатьев, как известно, терпелив. Он может ждать своего торжества сколь угодно долго. А у Левы лишь засыпала бдительность. И однажды, в наиболее спокойный и полный Левин период, когда Фаина уехала с кем-то чуть ли не на Сахалин, а Лева, наконец как-то стабилизировавшись, поступил в аспирантуру, набрел на очень интересную тему и погрузился в науку, был горд и счастлив от этого, ощущал прилив сил и некий творческий потенциал, выносивший его над однокашниками, коллегами и руководителями, когда он хоть в своем деле, но почувствовал себя зрячим, когда жизнь наконец начала приносить удовлетворение и он почувствовал, что его не собьешь,— Митишатьев объявился из небытия. И Лева повторил ту же ошибку, которую бесконечно повторял еще в школе.

Митишатьев не менял основного своего метода, но менял обличье. Против всех его обличий, казалось, Лева уже выработал противоядие и развенчал их для себя. Но он все-таки ошибся, наивно предполагая увидеть в Митишатьеве одно из прежних обличий и восторжествовать, будучи до зубов вооруженным. Митишатьев же зашел, как всегда, с тыла. В наше время уже очевидно, что Ахилл самый обреченный человек и падет едва ли не первым. Потому что бессмысленно бить по неуязвимым местам, когда есть эта прозрачная пятка... На этот раз Митишатьев обвел Леву вокруг пальца так просто, так примитивно, что потом, отойдя, Леве лишь оставалось развести руками, недоумевая. Это было все равно что, ожидая быть отравленным редкостным азиатским ядом, подсыпанным в столетнее вино, попросту получить в зубы.

Митишатьев позвонил Леве и, опустив всяческие приветствия, расспросы и рассказы о том, что произошло за все это долгое время их разлуки, сразу, рывком вырвал у Левы немедленное свидание. Тем особым для такого случая голосом, который Лева прекрасно узнал, Митишатьев сказал, что им обязательно надо встретиться и поговорить, потому что он должен объяснить Леве нечто чрезвычайно для всех важное, до чего додумался только он, Митишатьев. Новый взгляд на историю... Все было так на него похоже: и многозначительный тон, и намерение поделиться каким-то своим сверхопытом,— что Лева чуть ли не потирал руки от удовольствия, как не властен окажется Митишатьев со своими прежними штучками против него, Льва Одоевцева, в равновесии и мудрости, Митишатьев со своим невежеством — против научной, совершенной мысли... Вся беда, что Лева слишком вооружался, слишком воображал себе врага,— враг же был прост.

Условно (а эту сцену и можно изобразить лишь условно) дело происходило так...

Митишатьев с порога заявил, что он — мессия, что достиг вершины и способен перевернуть мир. Что были до него, пользуясь выражением Горького, Христос-Магомет-Наполеон (он назвал, впрочем, иные имена) — а теперь он, Митишатьев. И потому он, Митишатьев, для начала духовно задавит Леву. «Ну и как же ты это сделаешь?» — сказал Лева, снисходительно улыбаясь. «Очень просто,— сказал Митишатьев,— я ощущаю в себе силы». «Силы — для чего?» «Для того, чтобы перевернуть весь мир, а для начала духовно задавить тебя, потому что ты — мой идейный враг». «Почему — враг? Мы же еще не...» «Враг»,— твердо сказал Митишатьев. «Хорошо, но как же ты меня задавишь?» «Очень просто,— уверенно отвечал Митишатьев,— я ощущаю в себе силы. Были Христос-Магомет-Наполеон — а теперь я. Все созрело, и мир созрел, нужен только человек, который ощущает в себе силы,— я ощущаю в себе силы». Все. Больше Митишатьев ничего не мог сказать. Лева подставлял ему ловкие подножки, развенчивал, глумился — Митишатьев лишь презрительно морщился: ерунда, интеллигентские мелочи, слабость ваша вас же и съест, слабость ваша сильнее вас, с вами и бороться не надо — вы все сделаете своими руками, им уже написана статья «Уверенность в собственном враге», и скоро она появится в «Правде», и тогда все поймут, а Лева — враг, и он, Митишатьев, просто поставил сегодня маленький эксперимент (небольшая проверка теории на практике) и еще раз убедился, что прав и ощущает в себе силы... «Откуда правота, какие силы? — думал, слабея, Лева.— Просто подонок...» «А что,— говорил Митишатьев.— Подонок сейчас — человек главный. Все так расслабились, растеклись, что он-то один и может сказать хоть слово отчетливо, хоть матом послать...» И вдруг Лева устал и сник. Он не мог уже ничего противопоставить Митишатьеву, не мог ему возразить, не мог его победить — побеждать было нечего: все то же голое давление, голое пространство, пустыня... «Стыкнемся?..» Лева обессилел.

«А что, если действительно? — уже почти в бреду, даже отодвигаясь от Митишатьева, подумал Лева.— Он же действительно их в себе ощущает... Я вот знаю, но бессилен доказать ему даже то, что знаю. А я же не ощущаю в себе силы? А Митишатьев ощущает...»

«Ты чувствуешь в себе эту силу?» — грозно, как бы в ответ на Левины мысли сказал Митишатьев. Лева машинально, прежде чем опомнился, отрицательно и робко дернул головой. «А во мне?» — шагнул он к Леве. Лева чуть ли не сжался, и действительно какое-то чудо происходило на его глазах с Митишатьевым — тот раздувался, становился громоздок и постепенно заполнял собой комнату, надвигаясь на Леву и жарко дыша. Лева ощутил сильный, настоящий ток, исходивший от Митишатьева. Это было как психическое поле необыкновенной силы, и Лева цепенел и глядел неподвижными глазами — Митишатьев заполнял собой комнату... «Чувствуешь силу? — громко шептал Митишатьев, жар так и полыхал в его словах и дыхании, и Лева все сильнее прижимался к шкафу.— Ну говори, возражай, что же ты молчишь?! Чувствуешь или нет?!» «Чувствую...» — беззвучно разлепил губы Лева. «То-то же»,— удовлетворенно сказал Митишатьев и вдруг, резко развернувшись, ушел. Лева остался, чувствуя себя совершенно разбитым и больным. Он не мог себе объяснить, что же произошло и не померещилось ли ему все это. Он уснул вскоре тяжелым сном и наутро попросту отогнал от себя все как мираж и видение.

Но и это прошло. Они столкнулись с Митишатьевым в учреждении, где Лева уже дописывал диссертацию, а Митишатьев только поступал в аспирантуру. Оба теперь производили весьма солидное и заурядное впечатление, обо всем вспоминали как о детстве, и когда Лева не совсем уверенно намекнул на тот странный визит, Митишатьев все начисто отверг и посмеялся. Тут же он очень путано рассказал, как лечился одно время в нервной клинике. «Странных,

знаешь ли, людей там повидал...— самодовольно говорил он.— Берет тебя такой за пуговицу среди бела дня и шепчет пронзительно: «Видишь, звездочка! Зелененькая, видишь?» Но и эти рассказы несколько напоминали его окопы и тюрьмы. Не мог Лева, столько лет принимавший все связанное с Митишатьевым на свой счет, согласиться с тем, что он просто сумасшедший.

И хотя все проходит и мы со временем все-таки выходим из-под вещей и людей, нас тяготивших (точнее, изживаем их в себе), хотя Лева теперь уже уверенно полагал, что Митишатьев — попросту незначительный и дрянной человечек, нечто если и не загадочное теперь, то загадочное по воспоминаниям, нечто, освященное детством, сохранялось в отношении Левы к Митишатьеву до сих пор. «Все мы отчасти митишатьевы...» — успокоенно говорил себе Лева и уже не обязан был ощущать нечто непременно значительное в людях попросту дрянных. «Как и не мы...» — говорил себе Лева словно с грустью, употребляя любимое выражение Митишатьева «как и не мы».

Примечательно, что, несмотря на свои необыкновенные для карьеры достоинства и чуть ли не из-за этих своих талантов, Митишатьев, так сказать, еще малого достиг в жизни, даже много меньше Левы. Хотя они и работали в одной области, и тут Митишатьеву следовало, по старой его схеме, ни в коем случае не уступать. Но Митишатьев словно успокоился, а может, и растратился бескорыстно, в огромной степени на Леву, еще в школьных и университетских стенах.

Курил Митишатьев только «Север».

Не совсем такие, но такого рода мысли и воспоминания с особой четкостью и внезапностью пронесутся однажды в голове Левы, и повод для этого будет достаточно далекий. Тем более что Митишатьева Лева теперь видел почти каждый день и вовсе не думал о нем.

...Был морозный день, и Лева топтался на углу, под часами, вблизи автобусной остановки, ожидая одну действительно прелестную девушку (не Фаину), которой в ту пору так старательно морочил голову, что даже сам заморочился, хотя бы из честности. Он пришел чуть раньше, так получилось, он нисколько не нервничал, так как был уверен, что она придет, даже примчится, а потому спокойно поглядывал по сторонам, по возможности развлекаясь зрением улицы.

Тогда-то он и обратил внимание на одного юношу, стоявшего на автобусной остановке не в очереди, как все, а несколько поодаль. Юноша этот, несмотря на мороз, был без пальто и без шапки, причем было видно, что так он ходит всю зиму, а не просто выскочил в ближайший магазин за вином. По какому признаку это было очевидно, трудно сказать: то ли не было в нем того возбуждения и нетерпения, которые естественны для раздетых людей на морозе, то ли так спокойно он стоял — не дрог, не переминался,— что было понятно, что это для него привычное дело, закалка, то ли еще и одет-то он был бедно под несуществующим пальто — свитер нечистый и коротковатый, и большие стылые кисти вылезают из рукавов, сколько их ни поддергивай, ну, естественно, брюки мешками на коленях и тоже короткие... Лицо его было сделано крупно и неплохо, довольно мужественное лицо, несколько сероватое, из тех, что даже у чистоплотных людей кажутся немытыми или слегка порочными; было и еще выражение, не очень броское, но четко расположенное в его лице,— его можно было бы назвать выражением самолюбия: некая сумма отблесков вызова, скрытности и недоверия. Так он исподволь поглядывал на прохожих, со скрытой насмешкой, что ли, особенно на девушек — тут скрытая усмешка чуть возрастала и почему-то очень его выдавала не открытостью выражения, а, наоборот, его скрыто-

стью, ощущением невероятного напряжения воли, уходящей на эту скрытость. Такой вот он стоял, вполне нормальный, разве чуть более независимый и отдельный, с книжками в руке (наружу смотрел Писарев золотыми буквами), и Лева вдруг сообразил, что видел подобного юношу не однажды, только внимания не обращал. Давно уже попадался ему на глаза такой молодой человек. Он объявился в их группе на втором курсе. Его закаленность вызывала уважительную усмешку, и прозвали его поэтому и почему-то Циклоп; девушки все посматривали на него внимательно и заинтересованно, но ни одна бы с ним не подружилась; учился он не слишком ровно, но иногда становился мазохически трудолюбив, поднимая какую-нибудь ни с того ни с сего очень узкую и странную область знаний и прочитывая чудовищную по объему литературу; в нем был намек на призвание, но к диплому он уже охладел и надежд не оправдал; что же еще?— подтягивался на перекладине он безусловно рекордное количество раз (в длинных трусах, с некрасиво согнутыми ногами), вызывая удивление без восхищения, но, в общем, был не слишком ловок, занимаясь наедине подниманием утюгов и стульев... Перед Левой вдруг отчетливо всплыло его тело: с чрезвычайно мощным брюшным прессом и длинными сильными руками, очень бледное... оно именно всплыло, как тело утопленника, на поверхность его памяти.

Справедливости ради, он вовсе не был похож на Митишатьева, но вспомнил же Лева именно Митишатьева, причем с такой внезапной ясностью и свежестью, которые были уже невозможны благодаря столь долгому, близкому и затертому общению. Особенно тот момент, у шкафа. И еще один, о котором не вспоминал никогда, более того, не понимал никогда и только сейчас вот, глядя на юношу, ощутил и понял...

Митишатьев не умел звонить по телефону-автомату! То есть опустить монету, снять трубку, набрать номер, нажать кнопку... Вся эта последовательность была для него абсолютно неясна. Пожалуй, он научился этому лишь на последнем курсе университета. Да, да, да! Он не знал, как это делается, и спросить ни у кого не мог. И всегда, когда Лева говорил: «Так ты позвони мне», Митишатьев странно улыбался и никогда не звонил. И даже за каким-либо пустяком пер через весь город совершенно без всякой гарантии застать, а позвонить не мог. Зато никто не знал этой его маленькой слабости... Тут Лева так пронзительно ощутил человека этого изнутри, что у него даже слезы навернулись. И эта странная, непонятно откуда пришедшая убежденность, что этот-то момент больше всех прочих раскрывает душу Митишатьева, тоже была ни на что не похожа и объяснить ее себе Лева не мог бы.

(...Лева стоял и смотрел на поверженного своего врага и ощущал некую пустоту, не то печальную, не то сладкую, и враг его уезжал от него, ловко повиснув последним, и сам он был уже в автобусе, а рука с Писаревым еще плыла по улице.)

ВЕРСИЯ И ВАРИАНТ

«АБ, АБ, АБ...— думал как-то Лева и, опустив лишь первое А, получал:— БА, БА, БА...»

Б-Б-Б-Б! — вот ряд. Это все равно как сказать: Лев Одоевцев! Как же, знаем-с, читали... Или: Одоевцев Лев! — «Здесь!» — и руки по швам. Разница все-таки есть.

И тут уже начинают мерещиться, двоиться, множиться и исчезать — и Фаина, и Альбина, и Митишатьев... Может, Фаина — уже другая Фаина, не в том смысле, что изменилась (на это мы не уповаем), а просто другая — вторая, третья... И Митишатьев — наверняка

ведь не один, с десяток митишатьевых пройдет через Левину жизнь, прежде чем он постигнет первого. Любаш же — можно и со счету сбиться. Разве что Альбина — его первая вторая женщина — так и останется неповторенной... Может, их с самого начала было сто, а я как автор слил их в одну Фаину, одного Митишатьева, одного... чтобы хоть как-то сфокусировать расплывчатую Левину жизнь?.. Потому что люди, действующие на нас,— это одно, а их действие на нас — нечто совершенно другое, сплошь и рядом одно к одному и никакого отношения не имеет, потому что действие их на нас — это уже мы сами.

Все остыло в прошлом, и легкодоступное будущее крошится под его резцом. Раскаленная стружечка настоящего обжигает бумагу. Мы — не знаем. Только версия и вариант, версия и вариант тасуются перед взором автора при приближении к настоящему времени его героя.

Что же думает сам Лева, поражаясь тому, как его жизнь день за днем отъезжает в прошлое, нигде не останавливаясь, все время проскакивая полустанки настоящего по дороге из будущего — в отсутствие его?

Думая о неверном ходе своей истории, Лева начинает в последнее время все большее значение придавать двум непонятно откуда подхваченным им понятиям — «жизненности» и «нежизненности». Ему кажется что они что-то значат и объясняют его собственный сюжет и близкие ему судьбы. Подавленный своим опытом, он полагает, что жизненность и нежизненность есть некая врожденная данность. Ему кажется в последнее время, что он — нежизнен или маложизнен. Он удручен этим заключением.

Никак ему не достичь, как бы ни хотел он сохранить свою жизнь, вернее существование, той жизненности, которая притягивала его в других: в Митишатьеве или Фаине, не говоря о деде или Диккенсе, где все иначе измерено. Ему бы уже хотелось так же убегать, увиливать, ускальзывать из рук, оставаясь победителем.

Потому что что такое победитель, думает Лева, как не человек, убегающий от поражений, в последний момент спрыгивающий с подножки идущего под откос поезда, успевающий выпрыгнуть на ходу из машины, летящей с моста в воду, как не крыса, бегущая с корабля. А в наших условиях скорее всего — крыса. Никто не виноват, что жизненность воплощается в наше время в самых отвратительных и прежде всего подлых формах. Никто не виноват, потому что все виноваты, а когда виноваты все, прежде всего виноват ты сам. Но жизнь уже строится по такому костяку, чтобы люди никогда не сознавали своей вины, этим способом и будет воплощен рай на земле, самое счастливое общество. Убегание, измена, предательство — три последовательных ступени, три формы нельзя сказать — жизни, но сохранения ее, три способа высидеть на коне, выиграть, остаться победителем. Такой ход приняло жизнеизъявление. Ну а нежизненные должны вымирать. Их усилия дуть в ту же дуду необоснованны и жалки и не приводят к успеху, а лишь к поражению. Они если и спрыгивают с машины, то, во всяком случае, несколько позже, с той разницей от не спрыгнувших, что летят в ту же пропасть отдельно от машины, параллельно ей. И жизнь теперь — затянутое совокупление с жизнью, отодвигаемый оргазм.

Лева думает, что деться ему теперь уже некуда, что он тут, навсегда тут, голубчик.

Ему так вдруг показалось, но мы не уверены...

Они не могли не встретиться.

Наиболее простое и естественное общее место для такой встречи — у Любаши.

— Пришел-таки! — восклицал Митишатьев.— А мы тебя поджидаем...

И действительно, не только Любаша на этот раз была не одна в своей светелке — не один был и Митишатьев.

И Лева, глядя сквозь объятья (Митишатьеву через плечо...), с внезапной прозорливостью признавал в третьем, по виденной им когда-то мельком и вскользь и, казалось, тут же забытой фотографии,— мужа Альбины.

Они подавали руки и называли себя по именам, до отвращения друг другу знакомым. Их было трое, и они «скинулись». Жребий бежать за водкой выиграл, как приз, Лева.

Выскочив на улицу, он некоторое время очумело озирался и подчеркнуто вдыхал всею грудью воздух. «Бред, бред, бред! — повторял он.— Все, что было,— оказалось: всего-то... Господи! есть же реальность... Вот она! — И Лева обводил благодарным, исполненным спасения взором деревья в соседнем скверике, мокрый асфальт после только что проехавшей поливалки, воробьев, развозившихся на крыше сарая, баню напротив и распаренную бабу, направляющуюся от бани, казалось, прямо к Леве... Глаза его увлажнялись.— Неужели спасся? Не было этого ничего! Бежать, скорее бежать...»

И Лева выбегает из этой версии, из этого варианта.

«Что ж, и такое бывает...» — думает он с удивлением. Да, в жизни такие варианты встречаются сплошь и рядом — они скомпрометированы лишь на сцене...

Лева выбегает — и вбегает в другой вариант...

Этот вариант — не в общем, а в общественном месте. Речь пойдет о кафе «Молекула», самодеятельном молодежном кафе при крупнейшем и очень секретном научно-исследовательском институте. Это место также принадлежит к разряду тех мест, где подобные встречи не могут не происходить.

Кафе отмечало свой пятилетний юбилей. Готовился роскошный вечер. На него были приглашены в качестве гостей самые знаменитые люди: поэты, артисты, космонавты.

Кафе было построено самими сотрудниками института — молодыми учеными — по проектам самодеятельных архитекторов и расписано собственными абстракционистами. Мебель была изготовлена по собственным чертежам в собственных мастерских. Все это не без трудностей, не без сопротивления некоего отдела, на одном энтузиазме и не без борьбы. Но все было преодолено: роспись оказалась несколько дилетантской, но вполне милой, мебель — несколько неудобной, но оригинальной, помещение, полуподвальное,— несколько сыроватым, но уютным. Встречи в кафе всегда были с необыкновенно интересными людьми — всем было лестно выступить в столь знаменитых и секретных стенах — и проходили в живой, непринужденной обстановке. Отчеты об этих вечерах, тоже живые и непринужденные, помещались в городской молодежной газете.

Юбилейный вечер должен был превзойти все предыдущие. В гости были приглашены такие люди, как Евтушенко, Смоктуновский, Гагарин и т. д.,— люди интересные, как дельфины. Впуск будет производиться строго по пригласительным билетам и по списку — избранная публика. Кроме выступлений приглашенных и лестного соседства с ними за столиками предполагался также показ редкостного фильма не то Хичкока, не то Феллини. Прислуживать за кофейной машиной должен был лауреат Нобелевской премии, директор этого института, а подавать — доктора наук, не меньше.

И действительно, контроль пускал строго по пригласительным и по списку. Патруль теснил толпу прекрасно одетых интеллигент-

ных молодых людей, рвавшихся, но не имевших билета. Но в последний момент оказалось, что Евтушенко быть не может, а вместо него пустили поэта X, и Смоктуновский — не может, а вместо него — У, и Гагарин — Z. Наблюдался даже такой парадокс: X, У и Z тоже были в списке, но только где-то ближе к концу, так что вместо них было впущено еще трое. Строго пятьдесят человек было впущено по списку, ставились галочки, зачеркивались и надписывались фамилии: каждый вместо кого-то. И за кофейной машиной стоял не нобелевский лауреат, а кандидат наук, подавали лаборантки. Вместо икры была семга, а вместо семги — шпроты. Не говоря уж о фильме.

Любопытно отметить, что по некой случайности вместо X на вечер попал один меньше, чем X, известный, но зато и впрямь поэт. Среди прочих он прочитал такой милый стишок:

То ножик — в виде башмачка,
То брошка — в виде паучка,
То в виде птички — ночничок,
То в виде бочки — башмачок.

Все вверх тормашками, вверх дном!
Какой-то сумасшедший дом!
. . . . . .
. . . . . .

Предмет кивает на предмет:
Вот столик — он же табурет,
Вот слоник — он же носорог...
Назад! на воздух! за порог!

Не жизнь — чудовищный вертеп,
Подмен неслыханных притон!
Творец метафор, ширпотреб,
Как мыслит образами он!

Так вот откуда этот вкус
К сопоставленью слез и бус
И страсть к стихам у продавцов...
Домой! от чтений и стихов![1]
. . . . . .

И дальше тоже славно. Этому стихотворению все аплодировали особенно бурно.

«Странно,— думал по этому поводу Лева, потому что он тоже оказался на вечере,— вот они аплодируют... У всех довольные и веселые, даже подмигивающие лица. Им по-настоящему понравилось. Им лестно быть причастными. Но ведь понравилось-то потому, что этот стишок — именно о них, об их призрачности за этими невесомыми столиками... Понравилось именно прямым отношением к ним — и в ту же секунду таким таинственным, не ранящим душу способом впечатление их стало абстрактным, и они оценили лишь уровень поэзии, отнюдь не проникаясь безнадежностью собственного существования. Они довольны стихом, поэтом, этот стих написавшим, собою, этот стих выслушавшими, тонкостью своего восприятия — довольны намеком на что-то внешнее и над всеми простирающееся, который они в стихе сообща, перемигиваясь, обнаружили,— довольны... и никакого самоощущения! Как это он сказал: «Вот что-то — он же пистолет...» — никто не стреляется!..»

Эти суровые обобщения имеют под собою еще более почвы, если сообщить, что он оказался за одним столиком с Митишатьевым и мужем Альбины. Это не мудрено: Лева там оказался, кажется, вместо Шкловского, Митишатьев — вместо Z, и лишь брошенный муж Альбины был на своем месте, потому что сотрудничал в институте и был одним из главных устроителей вечера. Сейчас он, не выговаривая

[1] Использовано стихотворение А. Кушнера.

всех букв и брызгая Леве в ухо, рассказывал о трудностях, с которыми пришлось ему столкнуться, приглашая на вечер такого-то, ведь вы знаете, что он подписал одно письмо... но он не уступил и настоял, дошел до директора — и вот видите, он сидит слева от нас... Муж Альбины смотрел в Леву собачьими глазами, и Лева очень хорошо понимал сейчас Альбину...

Они сидели за одним столиком, все вместо кого-то, но все они были самими собой, и все разыгралось почти в той же последовательности, что и в первом варианте. И они играли в ту же игру: все много знали друг о друге, но в то же время только познакомились; будто ни разу до этого ничего друг о друге не слышали — и не должны были выдать, где́ они друг о друге слышали. И пока методика поведения каждого не была определена, естественно, самым выигрышным было поведение никакое — это было, впрочем, и наиболее привычное поведение для каждого. Игра, так сказать, носила позиционный характер.

«Господи! — думал Лева, вспоминая, что, кажется, видел мельком мужа Альбины — у Любаши...— Какое все ненастоящее!..» Тут же выпил, налив себе больше других, и резко захмелел.

...Ему вдруг очень явственно показалось, что все они — детали некой конструкции, не вполне до этого сознававшие свое назначение, а теперь внезапно слившиеся воедино так прочно, так плотно, что уже никогда им не разъединиться. Формулы из школьного учебника химии вдруг вспомнились ему. «Да, да, именно! — почти радостно кивал он самому себе.— Органическая химия. Цепи. Циклы. Каждый элемент связан с другим одной или двумя связями, и все вместе — связаны...»

С пьяным вдохновением он стал чертить что-то на салфетке, чувствуя себя немножко Менделеевым. Инициалы представлялись ему формулами, он разбрасывал их по листочку, соединяя решительными линиями. Звенья повторялись, чередуясь, образуя пятигранники и шестигранники. Хотелось представить все это еще и в пространстве... Плоскость не поддавалась.

«Молекула...— повторял себе Лева.— Настоящая молекула! Ни один из нас не представляет собой химически самостоятельной единицы. Мы — единое целое. Мы притерты и собраны тщательно. Часики, колесики. А Любаша нам как СН или ОН, всех нас соединяет. Колесики, часики... детский конструктор... Как ни крути, либо тележка, либо подъемный кран...»

Наконец все выглядело более обобщенно и просто, как все гениальное.

Он разделил два получившихся квадрата диагоналями, и у него зарябило от множества треугольников — кажется, по числу участников, у них использованы все варианты соединений в треугольник. «Я — Фаина — Любаша, Я — Фаина — Митишатьев, Любаша — Митишатьев — Фаина, Я — Альбина — Фаина, Я — Альбина — муж Альбины, Любаша — муж Альбины — Альбина... Молекула, настоящая молекула... Не хватает, чтобы Фаина сошлась с мужем Альбины, а Альбина — с Митишатьевым, ну да все впереди!»

Тут можно сказать, что распахнулась дверь и вошла — Фаина с Альбиной... Такое тоже вполне реально и допустимо. Она могла бы прийти на свидание с Митишатьевым, или разыскивать Леву, или просто так. Это вполне реально и допустимо... «Но — невыносимо»,— сказал Лева.

(Заканчивая отчет об этой встрече, мы должны сознаться, что несколько увлеклись, несколько чересчур прямо поняли задачу и легко клюнули на жирную наживку. Все это водевиль, и не стоит того... Теперь уже поздно: мы вытоптали это пространство прозы, на нем уже не растет трава. Зря погорячились...

Перед глазами почему-то маячит такая картинка-загадка, картинка-ребус из журнальчика нашего детства: какие-то деревья, сугробы — бурелом из тонких и лишних линий. Найдите на этой загадочной картинке медведя, ворону, зайчика... Куда спрятался мальчик? Чем-то нас это до сих пор задевает: где мальчик...

Смысла не больше и в нашем ребусе:

КТО — ЛЁВА?
КТО — ФАИНА?
КТО — МИТИШАТЬЕВ?

Мы, водевильно же, представляем себе затруднения Господа на Страшном суде... Он вертит нашу картинку и так и так... пожимает плечами. Г д е о н и?

Бросает в папку:

«НЕ ОПОЗНАНЫ НА СТРАШНОМ СУДЕ».)

...Пока я вот так расставляю и расставляю фигуры, и все затягивается необыкновенно, и мне никак не начать партию, то есть никак не подойти к тому развороту, который я знаю и лелею с самого начала, ради которого все и затеял в надежде расставить фигуры в течение каких-нибудь двух-трех первых страниц... а вдруг появляется дед, Фаина, многие... вдруг, пешкой, выскакивает муж Альбины, даже не пешкой, а минус-пешкой,— то и начинает понемногу мерещиться, что так я никогда и не дойду до самой партии, она отомрет и отпадет и то ли в ней не окажется уже необходимости или просто, от слишком долгого ожидания, не захочется уже играть.

То есть я, наконец расположив их всех в надлежащем порядке и связи по отношению друг к другу, так и оставлю партию в боевой позиции: все фигуры в ней будут выражать готовность ринуться в бой и не смогут стронуться с места, схваченные слишком жесткой и безысходной конструкцией «так есть», и я не смогу взорвать эту конструкцию... Ибо для чего и вся возня, для чего все отодвигающийся сюжет, если не для того, чтобы взорвать все это накопленное изнутри и тем хотя бы пролить на все яркий, пусть мигом исчезающий, свет: свет взрыва! Я все больше чувствую по своему герою, который все больше превращается в коллективного героя, что даже если и удастся написать самый сюжет, то будет это мнимым взрывом. То есть, может, и потрясающим, но все останется на месте, лишь утихнет его гул и распространятся, затухая, волны...

Так вот, так все развилось, как я и не ожидал, что ни один из них не герой и даже все они вместе тоже не герой этого повествования, а героем становится и не человек даже, а некое явление, и не явление — абстрактная категория (она же явление), такая категория... которая, как по цепной реакции, начавшись с кого-то и, может, давно, за пределами рассказа, пронизывает всех героев, их между собой перепутывает и убивает поодиночке, передаваясь чуть ли не в момент смерти одного в суть и плоть другого; потому что именно у этой категории, внутри моего сбивчивого романа, есть сюжет...

И только тогда автор сможет как-то вздохнуть и испытать маломальское удовлетворение, если кто-нибудь из этих сгустков, из этих персонажей, вдруг все-таки сможет обрести сюжет и хоть разорвать, хоть вкрапленником войти в сюжет категории, который уже томит своей однообразностью своей примитивной передачей, своей неизбывностью и нарушением всех энергетических законов, не только не теряя в силе, но словно «с ничего» возрастая, от самого себя... И вот если кто-нибудь обретет этот сюжет, скорее всего погибая, и все окрасится трагедией: человек обретает сюжет, сюжет обретает человека...— хоть одна цепь окажется законченной, и в конце ее покажется светящаяся точка как выход из лабиринта в божий мир, точка света, которая, мо-

жет, и не осветит, но хоть силы какие придаст хотя бы и автору добраться до конца, хоть что-то задрожит, как далекая звездочка, пусть недосягаемая — хотя бы видимая невооруженным глазом.

Третья часть, третья часть!.. Господи, дай силы завершить содеянное...

Г-ЖА БОНАСЬЕ (ДЕЖУРНЫЙ)

(Глава, в которой первая и вторая части сливаются и образуют исток третьей)

> Когда ночная роса и горный ветер освежили мою горящую голову и мысли пришли в обычный порядок, то я понял, что гнаться за погибшим счастием бесполезно и безрассудно. Чего мне еще надобно? — ее видеть? — зачем? не все ли кончено между нами?
>
> *«Герой нашего времени», 1839.*

Сейчас нам придется забежать вперед и изложить эпизод, по последовательности принадлежащий лишь будущей, третьей части романа; этот эпизод, однако, очень нам нужен именно здесь...

На праздники Леву оставили дежурным по институту. Был у них такой обычай.

Лева спал на директорском диване и видел сон. Разбудил его звонок Митишатьева. Митишатьев собирался его навестить. Очень важное дело...

Опять та же таинственность... Лева добродушно усмехнулся этому постоянству. Лева прекрасно знал, что́ это за «важное дело» — Митишатьев хлопотал по поводу юбилея их школьного выпуска, организовывал встречу. «Уже четырнадцать лет!» — растрогался Лева.

И проснулся. Он был рад, что проснулся другим человеком. Вчерашнее намерение утром поработать, несмотря ни на что: ни на злополучный разговор с Фаиной, ни на все эти праздничные неудачи,— пометавшись секунду, легко исчезло... и остался всего лишь Лева, радующийся подвернувшемуся случаю быть не одному, а на людях, без необходимости вести тяжкий диалог с самим собой; Лева, отпустивший вечного своего партнера (двойника); Лева, вскакивающий с дивана, потягивающийся неловкими членами, криво улыбающийся, протирающий глаза, собирающий у конторского зеркала свое разбежавшееся лицо в некое частное целое; Лева, вдруг направляющийся к окну и выглядывающий в него...

Это было неожиданное неоправданное движение, проделанное уже другим Левой, внезапно вернувшимся. Как уж там замкнулось в его мозгу, таким легким мостом соединив две точки, столь удаленные, трудно объяснить, как и во всем последующем сейчас куске трудно установить последовательность, что после чего и что в результате чего, и трудно не перепутать причину со следствием, чем дальше, тем больше являющихся полным равенством в отношении моего героя,— но он подбежал к окну с той внутренней легкостью и невесомостью ребенка, которая не имела никакого уже внешнего выражения: он протопал поспешно к окну, что-то подтолкнуло его поскорее выглянуть в него. И пока он подбегал к окну и выглядывал в него, небольшая мысленная картинка вставала перед ним, будто объясняя его внезапную детскую легкость. Картинка была из «Трех мушкетеров» в том виде и ощущении, какое было вот тогда, давно-давно, лет так двадцать назад, когда он, вернувшись из школы, в пустой квартире сидел с ногами в мягком кресле, напялив отцовскую ермолку и прихлебывая чересчур сладкий чай из стакана в фамильном подстаканнике (вензель с подстаканника стоял внизу картинки, как подпись художника). На картинке г-жа Бонасье в монашеском одеянии,

такая прелестная, подбегала к узкому монастырскому окну и застывала в той неостановившейся позе: как бы еще бежала туда, за окно и дальше, ступая легкими ногами уже по воздуху; замерев, выглядывала она в окно, а там скакал спасительный и надежный д'Артаньян, и плащ его развевался с крестом мушкетерским; но было уже поздно: она могла подбежать к окну, могла выглянуть — но простоять в этой своей стремительной позе не могла дольше, чем д'Артаньян, стуча запыленными каблуками, вбежал бы по монастырской лестнице, оттолкнув шпионку настоятельницу... А там г-жа все падала и падала, сладко охнув, так медленно, что д'Артаньян успевал пробежать всю залу и подхватить ее, падающую, и лишь тогда она испускала дух на возлюбленных руках, и этот вздох был последним поцелуем, таким сладким, что что же делать как не умереть! — продолжения уже быть не могло... Фаина, о боже, Фаина! Она падала у высокого стрельчатого окна, и успеть можно было лишь подхватить ее, но уже мертвую, обрекающую ее д'Артаньяна лишь скакать и скакать до самой смерти, чтобы плащ его развевался...

Лева подбежал к высокому окну бывшего особняка, а ныне учреждения, заточившего его в свои стены на время всенародного праздника и гулянья, и выглянул в окно с защемленным сердцем.

Набережная, как всегда пустынная, имела все же некий отплеск гула проходившего рядом потока демонстрантов; черный копер, ныне столь безжизненный, плавал, приткнувшись к недобитой свае; булыжная мостовая кончалась, не достигая реки, оставив земляную полосу, огражденную от воды частоколом шпунтовых досок, и по этому тротуару, по этой тропе шла Фаина с неизвестным доселе Леве спутником... Был он как-то высок, кудряв, неожидан для Левы по внешности, почему-то в ватнике — не пижон. Как раз они огибали лужу, лужа в этот момент раздвинула и разъединила их, дотоле шедших рядом, руки их натянулись над лужей, посреди лужи оборвались и упали со смехом. Были они одни на набережной, отдельно и странно, точно актеры, точно сзади медленно полз открытый «ЗИС» и велась за ними съемка, а Лева где-то сверху следил за разыгрываемой сценой — режиссер и бог.

То ли погода была. Ветер высоко в небе. Раздутые струйки облаков. Прозрачность. Странная погода... и в голову приходило, что действительно накануне демонстрации разгоняют непогоду самолетами, чтобы сама природа праздновала вместе с людьми, как в отчетах. Вчера — непогода и слякоть, завтра — та же непогода, даже еще большая, озверевшая от людского вмешательства, сбитая с толку, запутавшаяся в собственной злобе... А сегодня — ясность, промытость, синь разорванного пополам пространства, разорванного таинственными и мощными боевыми машинами, которые сегодня полетают еще на парадах в расчищенном для себя небе, хорошо видимые народу.

Лева замер в окне, распахнув его одним ловким движением, только что не вываливаясь из него на улицу. В Леву дуло пронзительным, с иголочками ветром, словно бы получившимся в результате этих неправдоподобных самолетов. Дуло словно в люк, и действительно все это синее, прозрачное и пустое пространство было вполне дырой, стремившейся сомкнуться и исчезнуть, прорубью, которую тянет затянуться льдом, и ветер был вполне понятен.

Лева стоял в этом окне никогда не спавшим человеком, имея в душе непонятное сходство с этой рваной, истерзанной, проясненной погодой.

Видел он и Фаину, еще вчера такую мучительную, и ее нового спутника, именно того, неведомого и недосягаемого, который стоял за всеми конкретными ее спутниками, который удалял Фаину, осязаемую и близкую, в далекую даль — туда убегала Фаина с опрокинутым и уносящимся лицом, исполненным некой отчаянной и рискованной надежды, похожей все на ту же сегодняшнюю погоду.

И спутника ее, такого кудрявого... Что-то кудрявые и не встречаются нынче... Лева вдруг одобрил ее вкус. Красивым тот, конечно, не был. Но было в нем нечто, избранное Фаиной, открытое ею. То, чего Лева никогда бы не увидел в нем, не будь Фаины рядом. Лева ощутил нечто вроде того удивленного почтения, которое мы испытываем, увидев некрасивого партнера с красивой женщиной или, наоборот, видного мужчину — с некрасивой, когда красивые кажутся нам обладателями некоего знания или истины, позволяющей им быть вместе с любимыми независимо от общественного мнения и владеющими потому тайной счастья. Он вспомнил свое тихое недоумение над иностранными журналами с фотографиями кинозвезд и их супругов.

Спутник шел, исполненный силы, которую придала ему Фаина, и это не убивало Леву, как обычно, навылет, хотя Лева и видел все, как всегда видел, но — не так видел. Тут был и не важен факт, который так терзал обычно Леву в отношении его любимой: было или не было? с этим или с другим?.. Что за глупость! Это ли может кого бы то ни было интересовать? Это ведь даже не факт... Факт — это сама Фаина. Перед Левой вдруг, впервые за много лет, возник сам предмет, реальный предмет, реальная Фаина, идущая вот сейчас мимо его окон по набережной с незнакомым Леве спутником. Лева впервые за много лет увидел Фаину...

Была она совсем не так хороша, как казалось его растревоженному воображению. Была она устала и невесела, хотя и было в ней что-то, не позволявшее подумать, что она несчастна сейчас,— тишина, что ли, и покой. И значительность ей, пожалуй, мог придать лишь ее спутник, как и она ему. Нет, он не смотрел на нее ни восторженно, ни восхищенно, ни умиленно — просто во взгляде его не было и тени сомнения, что Фаина — единственная на земле женщина и о достоинствах и недостатках ее говорить не приходится, потому что сравнения нет и быть не может. Так выглядят, наверно, счастливые люди, неотъемлемыми друг от друга...

У Левы вдруг все замерло от любви к ней, именно к ней, ни к кому больше,— и себя в этом не было. Впервые, быть может, за все время его чувство и можно было назвать любовью, разве что еще какой-нибудь один далекий момент, самый первый, уже забытый им.

То ли резкая такая была сегодня атмосфера, что, хоть через улицу и сверху, Лева видел все как в бинокль: морщину на шее и слабеющую уже кожу щек, шляпа какая-то дурацкая, пуговица болталась на ниточке, истерзанный один каблук (в эскалаторе, наверно, побывал) и подламывающаяся ее походка... Резкость изображения вдруг начинала исчезать — слезы Левины.

И то, что всегда представлялось ему броней, силой, направленной против него: наряды, марафеты, повадки,— вдруг показалось Леве трогательной беззащитностью, неуверенностью, слабостью — нежный хлыстик против навалившейся жизни,— все это не имело знака ни плюс, ни минус, не имело вектора, не было направлено, чтобы пронзить его... И недавний, последний их разговор: Лева все нападал в отчаянии и не добивался ничего, бился об нее, а она — как стена, и словно бы кровь течет по его лицу, терновый венец... Что она сказала ему? Молчала и молчала, непроницаемая, и вдруг: «Ну что я тебе сделала? Что я с тобой такого сделала? Ну ответить. Ответь!» И вдруг Леве нечем ответить ей, ведь действительно: что она ему сделала?.. Лева опешил, и все его многочисленные, разветвленные доводы испарились, и просто — не было ничего. Действительно, что она сделала? Лева остался в немом удивлении, и она ушла.

Счеты?.. Какие же у них могли быть счеты!..

Вот и лужу они обошли. И руки их снова нашлись. И лица повернулись к Леве в профиль и исчезать начали... Затылок у него смеш-

ной... Смех, ее извечный смех вдруг рассыпался по мостовой, по отдельным булыжничкам запрыгал, отскакивая, страшный ее смех, Леву пугавший всю жизнь... Жалкий ее смех, слабый и к Леве не относящийся... «Вот она,— вдруг осенило в озарении Леву,— любовь моя! она — жена моя!..»

Ему вдруг захотелось высунуться по пояс из окна, закричать, замахать руками. Радостный такой и возбужденный, Лева машет ей руками и кричит: «Фаина! Эй, Фаина!» Она оборачивается, удивленная, и улыбается, узнавая. «Заходите ко мне! Заходите оба!» «И я?» — молча спрашивает ее спутник, указывая себе на грудь, и улыбается обаятельно. «Конечно, конечно! Вместе!»— кричит Лева и машет руками.

Лева стоял, задохнувшийся, в окне и смотрел им в нелепые их спины. Как вдруг Фаина узнала что-то (ну да, ведь она приходила к нему сюда, и не раз! — вспомнил Лева) и обернулась. Взгляд ее заскользил по зданию, узнавая. И бровь приподнялась. И спутник приостановился и отраженным от ее изменившегося лица взглядом скользнул по окнам.

Лева отпрянул от окна и чуть не заплакал от некоего страшного чувства, что ему нельзя, чтобы она вдруг увидела его, потому что он не сможет никогда ей объяснить, почему и как он на нее сейчас смотрел, потому что эту возможность он потерял навсегда, и этого права посмотреть на нее у него нет, и гнев ее справедлив будет... Лишь — подглядеть.

Лева стоял, отпрянув, прижавшись спиной к стене, будто возможно было его увидеть, испуганный тем, что его увидят, и представил себе вдруг, как она, взяв спутника за руку, повлекла его: «Пойдем, пойдем отсюда быстрей!» «Что с тобой?» — сказал, допустим, спутник. «Ничего, так»,— сказала она.

«Неужели она... от меня?..— с ужасом подумал Лева.— Боже, как страшно. Когда?..» Он закрыл лицо — ему не хотелось видеть. Дни его побежали перед ним в темноте ладоней. Так хотелось найти простую, маленькую ошибку, объясняющую все. Но дни его были продолжением один другого, и не было, все не было спасительной этой точки, с которой-то все и началось. Он не мог найти обрыва в своей нити и нащупать узелок. «Не надо было брать тогда кольцо...»— без всякой уверенности сказал себе Лева.

«Вот что! Просто я не позволял ей любить себя... Не позволял»,— с облегчением подумал он и отнял руки.

Со странным спокойствием выглянул он снова в окно. Две маленькие фигурки вдали, и уже не определить, спешат ли... Может, бегут даже.

— Я люблю ее, просто люблю — и все. При чем тут я? — сказал Лева.— И она — жена моя. Так.

Он вспомнил лицо ее спутника. «Ей это приснилось однажды, она рассказывала... Нагретое поле, полынный запах. Вот в чем дело. Просто поле. И запах. Что-нибудь невнятное на горизонте, как забытое. И что кто-то идет за ней сзади, не спеша нагнать».

— Холодно,— поежился Лева и закрыл окно.

(Он смотрел сквозь почти прозрачное стекло, и мысль, так давно уже казавшаяся ему окончательной в его опыте, мысль о том, что не что как предательство приковывало его к этой любви столь долго, показалась ему вдруг самой предательской и пошлой. То есть сама мысль о предательстве показалась ему предательской. Вот что.)

Конец второй части

Приложение ко второй части

ПРОФЕССИЯ ГЕРОЯ

> Недавно я узнал, что Печорин, возвращаясь из Персии, умер. Это известие меня очень обрадовало: оно давало мне право печатать эти записки, и я воспользовался случаем поставить свое имя над чужим произведением. Дай бог, чтоб читатели меня не наказали за такой невинный подлог!
>
> *«Герой нашего времени», 1839.*

Мы собирались улучить момент... Нам кажется, что он не только поспел, но и опять упущен, в угоду композиции.

Мы собирались подробнее рассказать о том, чему же Лева посвятил себя, какому д е л у.

Что сразу настораживает, что дело, которое мы ему подобрали, возможно, не вполне нравится ему. Не вполне удовлетворяет. Хотя, если это и так, он это тщательно скрывает даже от себя. (Знал бы он, чем, по замыслу, грозит ему эта неискренность!) Может быть, даже так, что это лишь нас не устраивает его профессия, а Леву-то она как раз и устраивает. И эту обычную для человека ошибку — подставлять себя на чье-нибудь место и делать выводы — автор тогда не вправе уже делать даже по отношению к собственному герою. Раньше надо было думать. В самом начале...

Мы уже говорили, что, аспирантом, Лева написал статью о трех поэтах. Что она была кое в чем наивна, а еще кое в чем с т а л а наивна. Что она не строго научна, но зато Лева много сказал в ней о т с е б я, а это в наше время ценно. Что тем она и свежа до сих пор, что она не о Пушкине, не о Лермонтове и тем более не о Тютчеве, а о нем, о Леве... в ней сказался е г о опыт. Встреча с дедом, любовь к Фаине, любовь Альбины, дружба с Митишатьевым не прошли-таки даром и этим опытом сказались. Любопытно приурочить работу Левы над этой статьей как раз к тому моменту, когда его «побеждает» в последний раз Митишатьев (к моменту «у шкафа»). То есть писание этой статьи совпадает, по времени романа, с главой «Миф о Митишатьеве» и значительно опережает главу «Г-жа Бонасье», вырвавшуюся даже вперед последующего нашего повествования,— никак все это не примирить...

Итак, статья называлась

ТРИ ПРОРОКА

Статье были предпосланы два эпиграфа, напечатанных не друг под другом, а бок о бок, параллельно, что отчасти говорит не только о содержании, но и о методе...

Завистник, который мог
освистать «Дон Жуана», мог
отравить его творца.

Пушкин о Сальери, 1832.

И чувства нет в твоих очах,
И правды нет в твоих речах,
И нет души в тебе.

Мужайся, сердце, до конца:
И нет в творении — творца!
И смысла нет в мольбе!

Тютчев, 1836.

И Лева продолжает сопоставление. Он берет два хрестоматийных, школьных стихотворения «Пророка» Пушкина и «Пророка» Лермонтова.— и это бы была не новость, но он нашел третьего, и они у него охотно «скинулись». Третьим оказалось стихотворение Тютчева «Безумие». Все три были написаны в разные годы, но Лева радостно употребил арифметику, вычел из дат написания даты рождения, пренебрег месяцами и во всех трех случаях получил один и тот же результат — двадцать семь Леве шел двадцать седьмой, и это вдохновило его. Первому из всех четырех двадцать семь исполнилось Пушкину в 1826 году («Пушкин еще успел родиться в восемнадцатом веке! — восклицает Лева. — Этот один год очень знаменателен...») — и он написал своего гениального «Пророка». Но и в другие го-

ды (и эпохи, думал Лева, подставляя себя) люди достигали того же возраста: Тютчев — в 1830-м (он опоздал родиться в XVIII веке, что тоже знаменательно, отмечает Лева), Лермонтов — в 1841-м (Лева — в 196..., добавим в скобках),— и их начинали волновать те же вопросы.

Какие же это вопросы?

Лева утверждает, что суть их сводится к проблеме непрерывности. Что он подразумевает под этим словом, не сразу становится понятно, но и потом понятно не до конца. Лева говорит, что люди рождаются и живут непрерывно до двадцати семи лет (год-два туда-сюда — все равно в двадцать семь, утверждает Лева); они живут непрерывно — и в двадцать семь умирают. К двадцати семи годам непрерывное и безмятежное развитие и накопление опыта приводит к такому количественному накоплению, которое приводит к качественному скачку, к осознанию системы мира, к необратимости жизни. С этого момента, говорит далее Лева, человек начинает «ведать, что творит», и «блаженным» уже больше быть не может. Полное сознание подвигает его на единственные поступки, логическая цепь от которых уже ненарушима и если хоть раз будет нарушена, то это будет означать духовную гибель. В такой жесткой системе духа выживает уже только Бог. Человек вымирает. Эта точка критична, конкретна и очень кратка во времени, не очень-то растяжима... и человек должен решить и избрать дальнейший путь, не опаздывая и потом уже не оглядываясь. Перед ним три дорожки, как перед богатырем: Бог, черт или человек. Или, может быть, Бог, человек, смерть. Или, может быть, Рай, Ад, Чистилище[2] (и эти образы, утверждает Лева, взяты из нашего опыта: три стадии одной человеческой жизни, вечно повторяющиеся в каждой и не зависящие от времени Истории). Пушкин, Тютчев и Лермонтов выбрали из трех и каждый свою. Пушкин выбрал Бога (или у него хватило гения жить непрерывно до тридцати семи, что, в общем, одно и то же); Лермонтов предпочел смерть прерывности, повторности, духовной гибели; Тютчев продолжил жить прерывно. В двадцать семь умирают люди и начинают жить тени, пусть под теми же фамилиями,— но это загробное существование, загробный и мир. На пороге его решается все, вся дальнейшая судьба души. Поэтому-то и обратились к одному и тому же все три гения и все трое ответили поразному. Они все спорили с первым, с Пушкиным. Тютчев даже злобствовал (один Лева через сто-адцать-ать лет протянул ему руку...).

Мы, конечно, слишком сжато и бесстрастно передали сейчас то, что волновало Леву, то есть, возможно, ничего не передали, но мы читали статью давно и уже привыкли бродить в потустороннем, теневом, загробном, по определению Левы, мире. Нам трудно соотнестись с тем, что мы уже успели забыть...

А Лева, благословясь, начинает литературную часть статьи с одной примечательной оговорки... Что вот он берет три бесспорно гениальных стихотворения, написанных тремя бесспорно гениальными двадцатисемилетними поэтами. Все три стихотворения абсолютны по форме и поэтической выраженности. Именно поэтому он берет на себя смелость, не вдаваясь в обсуждение развития поэтических форм, сравнить их по содержанию, что в науке в последнее время не принято, потому что содержание есть предмет не вполне научный. Раз так, то он выступает как критик... «Пусть меня простят,— заявил Лева,— что я сличаю не форму, а смысл».

Вся статья в целом была написана откровенно (со всей прямотой) в пользу Пушкина. Во имя его...

Лева поставил ему в заслугу высокое отсутствие личного, частного Я, а наличие лишь высшего, общечеловеческого Я, страждущего исполнить свое назначение на земле. И действительно,

Духовной жаждою томим...—

все восхищало здесь Леву. И точность записи духовного сюжета, и лаконизм почти нечеловеческий, «нагорный». И полная неважность личного, житейского, в чем-то непосредственно заинтересованного Я перед Я духовным и божественным...

[2] Нам не хотелось исключать эти Левины построения как к делу не относящиеся: они Леву характеризуют. В этом возрасте бывают поражены числом «три», ибо оно означает рождение ряда, первую родовую схватку опыта.

Полной и смешной противоположностью являлся для Левы «Пророк» Лермонтова. Это была тоже гениальная по точности запись сюжета, но и только. Не совсем уж не духовная, но «додуховная», юношеская, чуть ли не подростковая. Самовыражение гениальное, но тот, кто самовыражается, словно бы еще не гениален. Вернее, он-то гениален, но то, что он выражает, совсем уж не гениально. (Лева не до конца обижал Лермонтова, потому что «Пророк» — последний в томике, чуть ли не завещание, дальше уже дуэль и смерть, так что поправиться Лермонтов не мог.) Каждые первые две строки свидетельствовали для Левы о бесспорном природном гении Лермонтова; если бы все оно было составлено из этих первых строк (минус вторые), то все было бы так же хорошо, почти как у Пушкина. Но зато вторые две... боже, зачем же так! все насмарку; начал за здравие, кончил за упокой; теза — прекрасна, антитеза — насквозь лишь детская, наивная обида: не признали, не отблагодарили! Но ведь именно в этих, «задних», строках — сам Лермонтов, именно их он противопоставляет от себя первым двум, которые как бы не его, чьи-то, опровергаемые самой жизнью,— пушкинские... Лева разбил это стихотворение и построил как диалог: начинает как бы Пушкин (тот же Лермонтов, но басом, поскальзываясь в фальцет) — отвечает, обиженно бубня, надув губы, сам Лермонтов, жалуясь на какую-то детскую, дворовую, игровую несправедливость... Например:

ПУШКИН:

С тех пор как вечный судия
Мне дал всеведенье пророка...

ЛЕРМОНТОВ:

(перебивая, выскакивая, тонко и сердито):
В очах людей читаю я
Страницы злобы и порока!

ПУШКИН:

Провозглашать я стал любви
И правды чистые ученья...

ЛЕРМОНТОВ:

(опять перебивая, срываясь в слезы):
В меня все ближние мои
Бросали бешено каменья...

И так далее в том же духе. Вот вам, заключал Лева, то недостойное и жалкое поведение, которое неизбежно свойственно каждой Я-личности, вступающей в борьбу, предъявляющей миру свои права. Чем и велик Пушкин, что его это не занимает, что он выше и з а н я т е й, чтобы обижаться на боль (мозоль) собственного тщеславия... Лермонтов за все ждет признания и благодарности, конфетки, поглаживания, обиженный мальчик...

Это же само человечество! — восклицал дальше Лева. Ни с того ни с сего обиделось на само себя или споткнулось о камень и еще в досаде пнуло его ногой — и обиделось на камень и заплакало... Пушкин и Лермонтов, пускался он в свободные аналогии, как Моцарт и Бетховен. У одного — еще целое здание мира перед глазами, храм, ясность; другой — забежал туда и потерялся, видит каждый раз какой-нибудь угол или балку, хочет воздуха, света и забыл, где выход... Видит балку — она и становится миром, на нее и проливается и печаль, и злость, и отчаяние: некрасивая балка, нехорошая. Или, опять же, угол, паук в нем, обидно. В раздробленном на кусочки мире человек входит в каждый кусочек как в мир; появляется Я — свое, ущемленное, сопротивляющееся самому себе, борющееся во внезапном закутке, само себя хватающее и царапающее и противопоставляющее себя собственной тени. Бетховен — бурная борьба под свалившимся с балкона и накрывшим с головой одеялом[3].«Я» уже кричит во весь голос, что оно Я, и обижается, что не слышно его, что не слышно уже ничего, потому что все одновременно орут свое Я и не слышат ни себя, ни тем более другого...

Так решительно и образно расправлялся Лева (открещивался от самого себя, добавим в скобках). Это еще хорошо, чисто и понятно: Пушкин-Моцарт,— но вот появляется, кроме шумного и несчастного Лермонтова-Бетховена, Сальери-Тютчев... Хотя он и раньше Лермонтова (ему раньше двадцать семь), но он — позже, он ближе к нам, он нам современней. Тоже утеряв из виду ориентир и целое здание, он не расплакался, как Лермонтов без бабушки, а тщательно, глубоко присмотрелся ко всем паучкам и уголкам одного из притворов. Пушкин еще не

[3] Оставим «музыку» на совести Левы.

знал такой пристальности, он стоял на свету и на просторе, но Тютчев-то почувствовал, что он видит то, чего Пушкин не видит, а этого за ним не признают, что он — д а л ь ш е... Это мы уже спустя признаем, а тогда — нет; тоже, как и Лермонтову, не досталось сразу — но иначе, злобней, мелочней, реагирует Тютчев. Ему не ласка нужна, как Лермонтову, ему — памятник. Он хочет себе м е с т а. Смотрите...

И дальше Лева тем же приемом строит параллель пушкинского «Пророка» и тютчевского «Безумия». Только если Лермонтов говорит в открытую, на той же площадке, лишь выглядит смешно, то «этот» (Тютчева Лева уже не пожалел) и не на площадке, а из-за сцены, из-за кулис, спрятавшись, тайком, почти шипит злым и громким шепотом: за каждое пушкинское слово — словом, секретным, потёмным, даже не перебивает (как Лермонтов), а зудит вслед и одновременно со словом пушкинским...

ПУШКИН, «Пророк»:

Духовной жаждою томим,
В пустыне мрачной я влачился,

И шестикрылый серафим
На перепутье мне явился;

Перстами легкими как сон,
Моих зениц коснулся он:

Отверзлись вещие зеницы,
Как у испуганной орлицы.

Моих ушей коснулся он,
И их наполнил шум и звон:
И внял я неба содроганье,
И горний ангелов полет,

И гад морских подводный ход,

И дольней лозы прозябанье.

ТЮТЧЕВ, «Безумие»:

Там, где с землею обгорелой
Слился, как дым, небесный свод,—

Там в беззаботности веселой
Безумье жалкое живет.

Под раскаленными лучами,
Зарывшись в пламенных песках,

Оно стеклянными очами
Чего-то ищет в облаках.

То вспрянет вдруг, и, чутким ухом
Припав к растреснутой земле,
Чему-то внемлет жадным слухом
С довольством тайным на челе.

И мнит, что слышит струй кипенье,
Что слышит ток подземных вод,

И колыбельное их пенье,
И шумный из земли исход!..

Тютчев писал как бы емче, короче, хлестче... Его яду хватило лишь на половину пушкинского стиха. На вторую, божественную (уже не процесс к Богу — обретенный Бог) половину пушкинского стиха Тютчеву не оставалось силы: изжалив сапог, он уполз. Так рассуждал Лева.

Пушкин открыто рассказывает, как у него было дело с Богом. Лермонтов довольно линейно и монотонно жалуется, как у него не вышло с Богом. И оба говорят от Я. У Тютчева в стихотворении нет Я. Он его скрыл. Он утверждает свое мнение о другом, а его самого — нет. Он категоричен в оценке — и ничего не кладет на другую чашу весов (не оценивает себя). Такое впечатление, что он хочет уязвить, оставшись неузнанным. Какая-то есть злая трусость в скрытом наблюдении и суждении, на которое ему не ответят. Он не надеется, что его услышит тот, над кем он издевается, и поэтому успевает спрятаться прежде, чем его н е заметили. Ведь самое, быть может, обидное для самолюбия: нанести оскорбление — и чтобы его не заметили...

Пушкин отражал мир: отражение чистое и ясное; его Я — как дыхание на зеркале: появится облачком и испарится, оставив поверхность еще более чистой. Лермонтов отражает себя в мире открыто, у него нет за пазухой... и как бы мутно ни было отражение — это все он, он же. Тютчев, более обоих искусный, с к р ы в а е т («Молчи, скрывайся и таи» — гениальные стихи, в том же тридцатом году; их тоже привязал Лева к своей мельнице...). Он первый скрывает что-то — самый свой толчок к стиху, занавешивает его, прячет, даже отсекает сюжет и в результате он, такой всем владеющий, не выражает себя, а сам оказывается выраженным. Так заключает Лева, пытаясь формулировать некий парадокс мастерства, границами своими непременно очерчивающего очаг поражения, язву души, рак индивидуализма. Только откровенность неуловима и невидима, она — поэзия; неоткровенность, самая искусная,— зрима, это печать, каинова печать мастерства, кстати близкого и современного нам по духу.

Но не надо Тютчева полагать «опередившим время» — он частный случай своей эпохи, который, без культуры и гения, стал ныне всеобщим. Он не прародитель, а прецедент во времени, если только пытаться заключить о нем по законам его времени. А по каким же еще законам его судить? по нашим? — «закон не имеет обратной силы». До таких парадоксов договаривался Лева. Но далее он договаривался и до более странных...

«Тютчев как убийца Пушкина» — одна из самых впечатляющих глав. Она не то опыт в криминалистике, не то предмет для криминалиста; не то пример из психиатрии, не то свидетельство для психиатра. Во всяком случае, психоаналитику — раздолье... Автор статьи строит некое неустойчивое сооружение из дат, цитат и ссылок, некую таблицу, напоминающую менделеевскую, где буковки и цифирки, кое-как уцепившись хвостиками друг за друга, держатся на одном трении,— строит довольно, впрочем, нетерпеливо и торопясь дойти до того, ради чего он строит. (Мы не в силах, естественно, вспомнить эти его выкладки; на кафедре статьи уже нет: Лева отобрал у них в свое время и перестал показывать; обращаться к самому Леве нам не хочется...) Суть этих выкладок сводилась не к собственно доказательству, а к доказательству непротиворечия, возможности Левиной версии. Он высчитывает «тактику» Тютчева в издании своих стихов. Он окружает «Безумие» плотным кольцом стихотворений, опубликованных Пушкиным же в предсмертных «Современниках». Он рассуждает, мог ли читать Пушкин «Безумие» в некоем альманахе, где оно было единственный раз опубликовано. Характерно, что «Безумие» не было включено (хотя по уровню поэзии могло бы...) в цикл, предложенный «Современнику»; характерно, что ни в какие прижизненные издания Тютчев более его не включал, словно хотел, чтобы «быльем поросло». И еще целый ряд подобных предположений, и все это он как-то доказывает...

И тут Лева (мы помним ощущение от этого места, но не в силах воспроизвести) делает некий стремительный, завинчивающийся логический переход от того, что «что-то есть» в отношении Тютчева к Пушкину, к тому, что «что-то б ы л о» в этих отношениях. Что-то было такое, что-то имело под собой... был п р е д м е т этих отношений, между ними был с ю ж е т, и что самое жгущее для Тютчева — Пушкиным не замеченный. Дальше Лева называет слово «дуэль» и долго и красиво ездит на нем от предложения к предложению, сшивает, как челнок в швейной машине... Мы хорошо запомнили это колебательное движение. Дуэль — дуэль, которой не было,— дуэль, которая была,— именно это и дуэль. Дуэль тайная, потому что никто, кроме одного из дуэлянтов, не знал о ней,— дуэль явная, в которой один из противников просто не заметил, что с ним стрелялись (мало ли было у него вызовов и дуэлей?).

И через тридцать с лишним лет, через двадцать пять лет после гибели Пушкина, Тютчев п о м н и т, и ох как помнит! Не так уж много у него перекличек в стихах через тридцать лет — а тут цитата... И это уже дважды скрыто, трижды зарыто. Скрывается уже факт «Безумия», оно переписывается и переадресовывается Фету...[4] в тоне менее «задетом», более эпическом, умудренном и смиренном (усталом?):

Иным достался от природы
Инстинкт пророчески-слепой,—
Они им чуют, слышат воды
И в темной глубине земной...

«Иным», видите ли... «Пророчески-слепой»... Здесь наконец прорастает слово «пророк». Значит, уже согласен с тем, что «пророческий», но продолжает ревновать и ненавидеть саму природу явления — «инстинкт», которым не обладает. «И в темной глубине земной» с тютчевским же многоточием — это, чуть ли не из могилы, все еще «чует и слышит» Пушкин[5].

Этому четверостишию противопоставлены четыре строки вялые и в себе не уверенные... И если первые четыре — о Пушкине, то им противопоставлен то ли Фет, то ли некий образ вообще «посвященного» поэта, включающий в себя и

---

[4] Кстати, отмечает Лева, если Пушкин мог читать и не читать «Денницу» 1834 года, то Фет почти наверняка ее не читал и «Безумия» не знал и отнесся к посвященному себе стихотворению как к новому...

[5] В тоне «смиренном и усталом» чудится Леве, некстати, потупленность старого Дантеса: «Бес попутал...»

Тютчева. И что забавно: единственно, быть может, кто не противоречит идеалу поэта, выраженному в этих противопоставленных строках, так это тот же Пушкин. Тютчев кроет Пушкина Пушкиным же...[6].

Что же касается этих «водоискателей» (на которых ссылаются все исследователи), якобы послуживших прообразом для обоих стихотворений Тютчева, то что же в этих несчастных и ничтожных так лично, так конкретно, так дневниково задело Тютчева, такого мастера именно к о н к р е т н о й поэзии, так новаторски введшего именно конкретные детали личного, даже частного, подлинного (подленького?) опыта в свою поэзию? Чем они его обидели, «водоискатели»?.. «Водоискатели», следует заключение, та же тютчевская новаторская ширма, которой отгораживается поэтическое переживание, выраженное необычайно отчетливо и конкретно, от с ю ж е т а этого переживания.

Что же в этом случае — сюжет?

Сюжет — обида. Причем сложная, многогранная, многоповоротная. Самая тайная, самая глубокая, скрытая едва ли не от себя самого, обида, которую тем более легко было скрыть и тем более трудно заподозрить, потому что со временем Тютчев очевидно доказал всем (и себе?), что он т о ж е гений,— обида эта была на саму природу вследствие чего он так замечательно и надолго над ней задумался. (Это уже слишком! — воскликнем мы.) И никогда не ощутил бы он этой обиды, если бы не было рядом, бок о бок, затмевающего и опровергающего всякую логику постепенного возвышения и роста примера для сравнения — Пушкина!

Все было «лучше» у Тютчева, в самой строчке — лучше, но чего-то все равно не было из того, что так легко, так даром, так само собой было у Пушкина. Тютчев при жизни пере-писывал Пушкина (в смысле дальше, в смысле перегонял) — но Пушкин не видел его спины, а все спина Пушкина маячила, уже маниакально, перед Тютчевым. И Тютчев знал втайне от себя, не выговаривая словами, но знал глубоко, что у него нет одной «маленькой вещи», казалось бы второстепенной, даровой, но которой уж совсем негде ни заработать, ни приобрести... а Пушкину и знать было не нужно, что у него есть, раз у него было. Они были одного класса, но Пушкин — аристократичней, у него б ы л о, не задумываясь откуда, Тютчев — уже разночинней, он х о т е л, чтобы у него было, но у него не было. Это была тютчевская щепетильность — заметить, что ему чего-то не хватает; никому и никогда не бросилось это потом в глаза — его дело было не проговориться. И он не проговаривался. Проговорившись же (по собственному мнению), тотчас прятал, как «Безумие», но не уничтожал... Достался же гений — мелкому человеку!.. Что его толкало? Чего ему не хватало? Он опоздал? Позавидовал? Посягнул?.. Но этого своего ма-аленького отсутствия, незаметного и неощутимого для обычного человека, нормального, но уродливого для гения, каким был Тютчев, и не мог простить именно тому, у которого было все,— Пушкину.

Из этого мог быть один выход: признание и дружба самого Пушкина. Чтобы еще при жизни связались имена и то, чего недодал Господь Тютчеву (вот! — осенило Леву, счет Тютчева с Богом в отличие от разговора Пушкина и обиды Лермонтова), они бы отчасти поделили с Пушкиным, похлебав из одной тарелки, и этой тарелкой, которую можно поделить, лишь разбив ее, предметом хрупким и прочным, быть соединенными в веках. Но Пушкину было не до того, чтобы следить, какую новую гимнастику выдумал г. Тютчев в Германии... он носил свою железную трость. И он не заметил подтянутой фигурки г. Тютчева с красиво напряженным бицепсом под тонким сукном...[7]. И тут — вторая обида, тем более сильная, что вступает в резонанс с первой (она могла ее погасить, она же ее удваивает),— 1830 год. Тютчев почти пять лет не был в России и приезжает в Петербург — и здесь он читает в «Литературной газете» ту пресловутую статью, где

---

[6] Лева предполагает, что мостом от этого стихотворения к «Безумию» является статья Фета «О стихотворениях Ф. Тютчева», которую Фет строит от Пушкина, сопоставляя два стихотворения с темой сожженного письма (метод так не нов!).

[7] Кажется, в этой связи не пощадил Лева и Бунина, проводя историческую параллель. Мол, «опоздавший», лучше, совершенней (как и Тютчев) писавший Бунин ревнует все признанные судьбы. Отступление это, как мы сейчас припоминаем, называлось «Опоздавшие гении», и высказывалось намерение посвятить этой теме отдельную статью. Этой статьи мы не видели.

Пушкин признает талант бесспорный за кем?! — за Шевыревым и Хомяковым, и отказывает в нем Тютчеву!

Возможно, они даже встретились где-то мельком (у Смирдина, скажем); Пушкин прошел мимо раскаленный, белый, сумасшедший, не обратив внимания на трепет и подрагивание незнакомого молодого человека (которому двадцать семь, не так мало! — это возраст самого обидчивого самоощущения пропущенной жизни, возраст прощания с непрерывностью жизни — недаром не пережил его Лермонтов...), который уже пишет свои совершенные и более «далекие» стихи, пребывая в тени и неузнанности... Про себя-то он всегда знал, для себя-то он никогда не был «второстепенным» (по определению Некрасова), как для истории... А где же Пушкину в это лето замечать хоть что-либо? Когда его опять не выпустили за границу; когда Гончаровы наконец дали согласие; когда он вырвался от образцового и непривычного жениховства в Петербург, где, «к стыду своему, признаюсь, что мне весело...» (как и где там ему весело?..); когда вокруг него особенно сгустилась мелочная атмосфера непризнания и дележа славы («пересмотра») и литературная жизнь ему уже успела опротиветь до крайности; когда впереди у него — болдинская осень, то есть внутренние давления развиваются в нем, по-видимому, непереносимые?.. «Там, там он напишет,— восклицает, кажется, Лева,— единственную драму, дважды поставленную при жизни![8] Он может не заметить сейчас Тютчева, потому что у ж е видел его, знает давно и надолго вперед, насквозь, навылет!..» Так он прошел мимо Тютчева, обдав его потом и ветерком, ничего не видя, посмотрел на Тютчева белыми глазами, взбешенными жизнью, как на вещь, не посторонившуюся — значит, и не живую... обошел не видя. Может, он раскланивался и улыбался оскальной, мышечной улыбкой... может, нагло, может, как гаер... и Тютчев примерил на него только что перечтенный стих из начавшего выходить четырехтомника (собрание сочинений — первые публикации: какой разрыв! — несправедливо превышающий четыре года в возрасте) — примерил на него «Пророка», будто Пушкин, раз что-то написав, должен был уже ходить в этом стихотворении всю жизнь, как в пиджаке! Примерил и... обратите внимание, даже фон — петербургско-августовский, с духотой, маревом, пожаром... а сколько портретности в «Безумии», стихотворении о незнакомых Тютчеву «водоискателях»! «В беззаботности веселой»...— где он наблюдал беззаботность «водоискателей»? («...к стыду своему, признаюсь, что мне весело...»); «стеклянными очами чего-то ищет в облаках»...— легко представить себе взгляд Пушкина, когда он никого не хочет ни узнавать, ни видеть; «С довольством тайным на челе...» Нет, это все портрет, и портрет мимолетный, прозленный, задевший душу фотографа. Перечитайте «Безумие» — какая подробность описаний движения и жеста! Наступил на ногу и не извинился, что ли, Пушкин? Как мог Пророк наступить на ногу?! Мы не знаем... но в Тютчеве вдвойне прорывается желчь, и он пишет «Безумие» с образом Пушкина — шамана, «водоискателя»...

Такое и еще какие-то предположения предположил Лева, кое-как их обосновывая. В частности, нападал он и на легенду об особой якобы благосклонности Пушкина к Тютчеву при публиковании знаменитого цикла в «Современнике». И в заглавии, данном самим Пушкиным — «Стихотворения, присланные из Германии»,— усмотрел Лева, вразрез с привычным толкованием, не подчеркивание философской направленности лирики Тютчева, а просто — что они не из России, а из Германии и нечего спрашивать с них по-русски. Именно это якобы имел в виду Пушкин. Но тут даже мы, не будучи специалистом, с ним не согласны[9].

Но вот с тем, как Лева заявляет, что вовсе не обязательно вечно должен работать двигатель «старик Державин нас заметил...»; что надо немножко отвыкнуть все наблюдать так, как в недавней живописи: «Белинский и Гоголь у постели умирающего Некрасова»; что современники не жили, сговорившись насчет своего будущего значения и места в литературе, как нам по-школьному кажется, когда

---

[8] Лева имеет, по-видимому, в виду и действительно поразительное совпадение дат. Трагедия «Моцарт и Сальери» шла дважды в 1832 году (27 января и 1 февраля) и успеха не имела, а через пять лет, ровно в те же числа, «в новой режиссуре» — дуэль и отпевание.

[9] Просто так Пушкин слова не ставил, и что-то в этом заглавии есть, какая-то формула. Но, думается, оттенок смысла в ней не тот и не другой, а более тонкий и двусмысленный, чем почтительность к немецкой мысли или оголенное русофильство. Пушкин еще и тем замечателен, что никогда не в п а д а л.

мы уже привыкли, что все прозревали насквозь в наши и ради наших дней...— с этим трудно не согласиться...[10]. В этом сказался его личный опыт недавнего среднего образования...

Но тут уж Лева договаривается до совсем страшных вещей. Он ставит под сомнение искренность стихотворения Тютчева на смерть Пушкина! (Кстати, Тютчев и не публиковал его при жизни.) Вялое, душное, утверждает он, удовлетворенное стихотворение. Такое испытывает человек после кризиса, когда миновало. И проговорные словечки: «будь прав или виновен он» (о противнике), «мир, мир тебе, о тень поэта, мир светлый праху твоему!..» (это как «лежи, лежи...»). И все стихотворение — как прислушивание к послеобеденному пищеварению...[11]. И только в конце — искренняя, с о в п а д а ю щ а я сила:

Вражду твою пусть Тот рассудит,
Кто слышит пролитую кровь...

Характерно, что «вражду» еще «рассудить» надо... И не те же ли «водоискатели» отзываются: «слышать воду» и «слышать кровь»?

Тебя ж, как первую любовь,
России сердце не забудет!..

И вот эти две, уже замечательные, строки — подлинные. Первая любовь!..— в этом отношении к Пушкину сам Тютчев. Первая и безответная. Всю жизнь терзающая и ревнуемая. И то облегчение, которое испытывает вместе с как бы горем неудачливый и сосредоточенный любовник от смерти возлюбленной, уже больше никому не станет она принадлежать, и это еще что.. главное, никого больше не сможет любить. Уф! Но жить-то надо... и Россия будет жить с женой, с любовницами, с ним, с Тютчевым.

Тут Лева написал еще много отвлеченных от Тютчева страниц, рисующих психологическую картину подобного чувства, написал со знанием и страстью, и в этом сказался его опыт печальной любви к Фаине. Как, в свою очередь, сказался и его опыт попытки сближения с дедом при выкладках насчет тяги Тютчева к Пушкину, безответности этой попытки и в таком случае «уценки» самого предмета влечения («не очень-то и хотелось» и «сам дурак»). Мы не можем восстановить по памяти, но там было несколько примечательно разумных страниц психологических обоснований (тоже в отвлечении от Тютчева), свидетельствовавших также о личном опыте, пережитости подобных вещей автором.

Тут следует какое-то неожиданное отточие и статья обретает еще один, кажется, внезапный и для самого автора оборот, даже перелом...

...А вдруг был ответный выстрел? В конце концов, у Пушкина была реакция, которой можно и позавидовать,— он был отличный стрелок. Не раздались ли выстрелы почти одновременно? Только Тютчев знал в кого, а Пушкин — на шорох в кустах...

ТЮТЧЕВ, 1830

Безумие

Там в беззаботности веселой
Безумье . . . . . .
. . . . жалкое . . . . . .
. . . . . .
. . . . . живет.

ПУШКИН, 1831—1833

«Не дай мне Бог сойти с ума»

Не дай мне Бог сойти с ума.
Нет, легче посох и сума;
Нет, легче труд и глад
Не то, чтоб разумом моим
Я дорожил; не то, чтоб с ним
Расстаться был не рад:

Когда б оставили меня
На воле, как бы резво я
Пустился в темный лес!

[10] Что он не читал статью Ю Тынянова «Пушкин и Тютчев», кажется нам непростительным для литературоведа, хотя Левина статья написана где-то в начале шестидесятых, и тогда статья Тынянова еще переиздана не была. Но лазил же Лева по иным недоступным источникам еще и значительно раньше!.. Впрочем, это характерное свидетельство, это типично для нашего времени — выпадение целых очевидных областей даже при пристальном изучении предмета.

[11] Лева ссылается и на удовлетворенное оплакивание Л. Толстым Достоевского: «Как мы сможем жить без него?» И походя толкует, как им не было места в одном времени, подобно Пушкину и Тютчеву.

Там, где с землею обгорелой
Слился, как дым, небесный свод...
...Под раскаленными лучами,
Зарывшись в пламенных песках,
Оно стеклянными очами
Чего-то ищет в облаках.
То вспрянет вдруг и, чутким ухом
Припав к растреснутой земле,
Чему-то внемлет жадным слухом
С довольством тайным на челе.
И мнит, что слышит струй кипенье,
Что слышит ток подземных вод,

И колыбельное их пенье,
И шумный из земли исход!..

Я пел бы в пламенном бреду,
Я забывался бы в чаду
Нестройных, чудных грез.

И я б заслушивался волн,
И я глядел бы, счастья полн,
В пустые небеса...

Да вот беда: сойди с ума,
И страшен будешь как чума,
Как раз тебя запрут,

Посадят на цепь дурака,
И сквозь решетку, как зверка,
Дразнить тебя придут.

А ночью слышать буду я
Не голос яркий соловья,
Не шум глухой дубров —

А крик товарищей моих,
Да брань смотрителей ночных,
Да визг, да звон оков.

Чувствовалось, что Лева набрел на идею такой параллели в процессе работы, когда все у него в мозгу уже было «готово». И можно понять Леву, сотворившего-таки себе кумира, можно отказаться и от чести дуэли с Тютчевым ради свидания с Пушкиным! Берясь за свой труд, никак не мог Лева рассчитывать или надеяться на это. Волна чувства слизнула его и отнесла совсем уж вдаль от науки и выбросила к ногам Пушкина. Эта встреча оправдывала все. К чести Левы можно сказать, что он все и отдал.

Ах, как хотелось бы Леве, чтобы «стеклянные очи» Тютчева взглянули в «пустые небеса» Пушкина, чтобы раскаленный пейзаж пустыни перекочевал сквозь тютчевское «Безумие» из «Пророка» в «Не дай мне Бог...»! Леве могло казаться, что такое пересечение сняло бы все затруднения дальнейшего доказательства. Нам так всегда кажется, что только то и препятствие, что на дороге... Но — это было бы слишком «на пальцах» для Пушкина, поворачивает Лева. Даже если представить себе те редкие обстоятельства, абсолютно к тому же неведомые, при которых Пушкин познакомился-таки с текстом «Безумия», то, безусловно, он — лишь глянул, лишь пробежал, не дрогнув. Его ответ был написан по мгновенному впечатлению, а впечатление это было негативным. Причем негатив этот точен до физического смысла, как в фотографии: по светотени эти два стихотворения соответствуют, как негатив и позитив. У Тютчева — сень в самом безумии, а пламя вокруг; у Пушкина — наоборот (только хронология позволяет так сказать, потому что наоборот-то как раз у Тютчева, а позитив, как верное изображение, вышел у Пушкина...), у Пушкина сень вокруг, а безумие — как пламя. Действительно, у Тютчева: тайное довольство и веселая беззаботность безумия — на обгорелой, надтреснутой земле, под слившимся с нею, как дым, небом; у Пушкина: пламенный бред и забытье в чаду — на воле, в благостной прохладе ночи, леса, небес, пенья соловья... Но откуда волны-то взялись в лесу?— изумляется далее Лева. И тут, отмечая некоторый формальный блеск предыдущего построения, мы вынуждены отметить и некоторую натяжку: Лева объясняет это несоответствие в пушкинском стихе подсознательным отражением «водяной темы» Тютчева.

Но Лева и сам спохватывается. Наскоро обсудив возможность прямой реакции Пушкина на тютчевское «Безумие», Лева отказывается от этой возможности ради более важных утверждений. Он принимается рассуждать о с у т и, выраженной в этих стихотворениях, о соотношениях Ума и Разума и достигает предельной невнятности. Как будто он силится вспомнить что-то когда-то слышанное и не может — такое впечатление. Он предпочитает Разум Уму и провозглашает Пушкина первым и единственным носителем Разума в России. Со смертью Пушкина, утверждает он, в поэзии п о б е д и л Тютчев. И масштабы современного официального признания Пушкина ничего в этом смысле не доказывают, никакого господства пушкинской линии нет. Это была дуэль, в которой Дантесом был Тютчев. Дух пушкинской поэзии был убит в неявной и неравной борьбе. Пушки-

ну был оставлен почетный мундир поэтической формы — самого его не стало. К мундиру пришили несколько пуговиц и более изящный позумент и набили всякой тусклой душевной дрянью. Цельность, гармония, воздух, мир — все было порешено. И это Лева пишет так же длинно и неясно.

Пушкина он обожествлял, в Лермонтове прозревал свой собственный инфантилизм и относился снисходительно, в Тютчеве кого-то (не знаем кого) открыто ненавидел.

Заканчивает Лева свою историческую новеллу (иначе мы не можем это определить) рассуждением о правомерности собственных построений. Он высказывает одну ускользающую по простоте мысль о том, что равно, если не более ложно, составить какую бы то ни было историческую картину на основании лишь отчетливо известных и досконально выверенных данных. Что таковых мало и они чрезвычайно бедны. Современник и его историк движутся в темноте навстречу друг другу, но это странная одновременность, ибо современника уже нет, а историка еще нет. Для историка слишком отчетливы те немногие вещи, на которые он оглянулся, для современника они — поглощены жизнью. С чего бы, казалось, если исследователю удается что-либо установить в точности, то в прошлом это становится как бы более очевидным и известным? Исследователь чаще, чем драматург, впадает в заблуждение, что «каждое ружье стреляет». Узнав что-нибудь «новенькое» из ушедшей от нас эпохи, перекувырнувшись от радости, он совершает и некое логическое сальто: начинает не задумываясь считать, что то, что он установил с такой убедительностью, с тою же неумолимостью становится фактом, знанием, переживанием участников изучаемого им отрезка процесса. И как бы ни хотел ученый быть объективным, одним последовательным перечислением известных фактов он уже рисует, даже помимо воли, определенную жизненную картину и расстановку сил в нашем сознании. Но поскольку в этой картине неизбежно отсутствует какая бы то ни было полнота и, более того, нет никаких оснований утверждать, что факты дошли до нас и исчезли от нас, сохранив подобие и пропорцию действительной когда-то жизни,— то такая «научная» картина так же неизбежно неверна, как, возможно, и его, Левина, с той разницей, что, не содержа ни одной фактической ошибки, «научная» работа узаконивает и впоследствии предписывает всем свою скудость и нищету понимания. Ибо как же мы бываем пойманы именно фактом несомненной достоверности! Едва ли не больше, чем двоящимся предположением.

Мы нашли сочинение Левы основательным, но необоснованным, содержательным, но недоказательным. Однако сопоставление текстов, освежение и перетряхивание их в нашей памяти было небесполезно, и это благодаря Леве. Поэтому-то, может, и удалось многое остановить в памяти, и до сих пор, как только возьмем томик с полки, неизбежно и неотвязно п о м н и т с я статья Левы,— так что в конце концов мы с ней чуть ли не примирились. И тогда подумали, что, может, и не так уж он не прав, то есть, может, он и не прав, но имеет п р а в о... и тогда посягновение его на святыни не кажется нам уже столь святотатственным. Посягать на святыни можно ведь и ради с в я т о г о. Авторитеты заслоняют нам суть, решительно заявляет Лева. Нам нравится в этом смысле больше всего в Левиной статье то, с чего он начал — с с о д е р ж а н и я, оставляя совершенство формы как бы в стороне, как необходимое условие для начала разговора: о чем все это? ах, вот о чем...

Единственно в чем нам остается упрекнуть Леву — что позиции и принципы, выраженные в его статье, при последовательном им следовании исключают возможность самой статьи, самого даже факта ее написания. Что нас удивляет всегда в опыте нигилизма — это его как бы завистливость, его потребность утвердиться на свержении. Своего рода сальеризм борцов с Сальери... Ведь если ты отрицаешь, то отрицай до конца. Почему же такое стремление занять место свергнутого? Тот (свергаемый) хоть утверждал в соответствии с занимаемым им в пространстве и времени местом. Его утверждение и его место столь едины, что отрицать утверждение можно лишь вместе с его местом. Парадоксально отрицать одну половину, желая вторую... В этом смысле любая выраженность отрицания удивительна. Человек, ненавидя, скажем, суету, начинает, суетливо же, ее клеймить. Нет чтобы, раз уж ненавидишь ее, не суетиться... Ненавидя несправедли-

вость, начинают восстанавливать справедливость по отношению к незначащему и отмершему, на пути к этому восстановлению верша походя несправедливость по отношению к чему-то живому. Если осточертеет пустота и никчемность человеческого многоговорения, то, отрицая ее, сам начинаешь болтать как безудержный... И так во всем. А главное, что в результате этой деятельности — ничего не происходит, ничего не создается... О люди!

Ну что, скажем, Тютчев сделал Леве? Да что он сделал такого Пушкину, в конце-то концов?.. и виноват он разве лишь в узнавании, в узнавании Левой самого себя, в нелицеприятном противостоянии собственному опыту. Тютчев виноват в том, что с Левой произошла Фаина, произошел дед, он виноват и в том, что, как и Лева, опоздал с рождением и возникновением (каждый — в свое время), и опоздавший Лева, обратившись сердцем к другой эпохе, не прощает Тютчеву его «современное» пребывание в ней, для Левы желанное и недоступное... Ах, если бы то был Лева! — он бы обнял, то он бы прижал к сердцу Александра Сергеевича... Но хватит, он уже обнимал раз своего дедушку.

Нет, положительно всякий опыт ужасен! Тем более — выраженный. Воплощенный, он торжествует над создателем, хотя создатель, быть может, и тщится, что наконец его превозмог... Воплощенный опыт жалит самого себя, как скорпион, и идет на дно. И если ты уж имел несчастье приобрести его (опыт — как «лихо» в сказке: в торбочке, в мешочке...), то уж воплощай, потому что не ты его — он тебя повторит!

Тютчев же — на своем месте. Он так же не заметил, что с ним стрелялся Лева, как Пушкин (если Лева прав) не заметил, что с ним стрелялся Тютчев. Но есть и разница...

К тому же странно, перетряхивая и свергая авторитеты, возводить, еще повыше, другие. Действовать любимым авторитетом против нелюбимых как фомкой, как рычагом, как дубинкой... Опять то же: ненавидя авторитеты, класть себя во славу их. О люди!

О Пушкин!..

(Окончание следует)

ЮРИЙ КУЗНЕЦОВ

★

ВЕСТНИК

Голос

И вестник молчанья на землю сошел,
И мира коснулся, и голос обрел:

«Звезда подо мной, а под вами земля.
Я вижу: сквозят и сияют поля,

И недра прозрачны, и камень лучист,
И прах на дороге, как бездна, сквозист.

Но это не каждому видеть дано,
Светло в моем сердце, а в вашем темно».

Он бродит, неведомый вестник, и с нас
Не сходит сиянье невидимых глаз.

Младенец от темного мира сего
Смеется — во сне он увидел его.

Светло в моем сердце. И слышу в ночи:
«Сияй в человечестве! Или молчи».

ДИПТИХ

1

Я в Мавзолей встал в очередь за Лениным —
да, я его и со спины узнал.
Вошли мы с ним. Он пред своим успением
Повел плечами.— Холодно! — сказал.

Шла очередь, как в те года за хлебушком,
И вышла вся. Закрылся Мавзолей.
— Куда теперь? — спросил его под небушком.
— В народ,— ответил,— к людям, где теплей.

2

Опустите штыки перед ним,
Пусть он встанет из гроба холодного,
Пусть увидит, куда мы летим —
Гребни пенные моря народного.

Пусть развяжет родимую речь,
Где корнями сплетаются молнии.
Он устал от мелькающих встреч.
Мы у гроба молчим, мы — безмолвие.

Поездка Скобелева. 1881

При гулкой пушечной пальбе,
Густом ружейном треске
Взял генерал Геок-Тепе.
Я о его поездке.

Уж конь его зарей объят,
И светятся копыта.
Он скачет прямо в Асхабат,
С ним небольшая свита.

Зарей, как полымем, объят,
Летит солончаками.
И хочет крепость Асхабат
Взять голыми руками.

Ты на дорогу погляди!
Так борода и машет.
Семьсот текинцев впереди,
И конь под каждым пляшет.

На смерть и славу путь лежал,
Все празднично одеты.
При каждом шашка и кинжал,
Ружье и пистолеты.

Но не смутился генерал,
На то и генерал он.
Недаром молод и удал,
И голосом взыграл он:

— Текинцы, пал Геок-Тепе!
Довольно жить разбоем!
Клянитесь в вечной простоте
Жить миром и покоем!

Что делать, шашка и кинжал?..
Ответили: — Клянемся!
— Но если,— голос построжал,—
Качнет на вероломство,

То небеса возопиют
И гурии печали.
— Текинцы никогда не лгут! —
Спокойно отвечали.

Он свите подал знак рукой:
— Обратно поезжайте.
Они составят мой конвой,
И мне не возражайте.

На Асхабат он путь держал.
За ним шел хвост кометы:
При каждом шашка и кинжал,
Ружье и пистолеты.

Гром славы двадцать верст подряд
Все двадцать верст поездки!
Он взял без боя Асхабат
Один, при полном блеске.

Поехал дальше налегке,
И знает бог прощенья,
Чем стал он в племени теке
Под ропот восхищенья.

Здравица памяти

П. Чусовитину.

Пока я не взошел на пьедестал
И на том свете дважды не пропал,
Любезный Петр, позволь поднять бокал
Во здравье мертвых, а верней, незримых,
Издалека от нас неотделимых.
Ты маску снял с меня: ты споришь с чертом,
Что производит маски в царстве мертвом.
Ты лепишь лица — значит, споришь с богом,
Искусным занимаешься подлогом.
И встарь лепили, но в конце концов
Лепили настоящих мертвецов.
Искусство было, да во время оно,
А нынче где он, бог Пигмалиона?
Во всех мирах мы живы, но о том
Забыли, как о веке золотом.
Когда ослабла в человеке память,
Он начал мертвым памятники ставить,
Но этим никого не воскресил,
А только плод соблазна надкусил.
В беспамятстве гордыни начал славить
Себя: живым стал памятники ставить.

Или живые наяву мертвы?
Вот до чего уже дошло, увы.
Не возводи ты памятники мертвым,
Тем более живым. И духом гордым
Не отягчай мне душу на том свете,
За этот грех я буду там в ответе.
Я памятник себе воздвиг из бездны,
Как звездный дух. Вот так-то, друг любезный.
Когда меня ты помнить станешь слабо,
Вон на кургане каменная баба!
Она была моей. Согласно мифу
Она со мною изменила скифу.
И спит с тех пор. Так разбуди ее,
Назвав ей имя храброе мое.
Она проснется в новой тишине
И многое расскажет обо мне.
А спросит вдруг, куда я подевался,
Скажи, что частью на тот свет подался,
Поскольку этот тесен оказался.
Известно, русский человек широк.
Ну вот и все, а прочее меж строк.

ЛЕОНИД ЗОРИН

★

КРАПИВНИЦА

Рассказ

Все были веселы и довольны. Его радовало доброжелательство спутников, их всамделишное, ненатужное уважение. А молодых архитекторов возбуждала свобода в общении с московским арбитром, чувство сближения, вдруг возникшее. Не панибратство, упаси боже, и не забвение дистанции, но — самую малость — ослабла узда. Все кончилось наилучшим образом, в них признали профессионалов, а все профессионалы равны. И все же природа их веселья была скорее физиологической: они были молоды, а погода — отменной. Жарко, а не жара, не жарища, нет духоты, ветерок нежит, до моря рукой подать, а от него исходят и мир и беспредельность. Так же воспринимается жизнь — беспредельность и мир. А если вам хочется поиграть вторым значением этого слова — извольте: жизнь беспредельна, как мир. «Вот она, главная причина „беспричинной радости этого возраста"»,— с грустью подумал Владимир Сергеевич.

— Широко шагаете, молодые бандиты,— сказал он, покачивая головой.— Этак совсем стариков задвинете.

Нынче он сам, соблюдая корректность и неписаные правила поведения, помог обаятельным наглецам «задвинуть» туземных ветеранов. Ни чувство единой генерации, ни возрастная солидарность не подавляли в нем раздражения от встречи с местными корифеями. Самодовольство и ограниченность — не лучшие наши приобретения.

«Молодых бандитов» его слова необычайно воодушевили. Они заверили, что им всего и осталось спроектировать почту и телеграф, чтобы окончательно захватить город.

Он вспоминал себя в их пору и делал невольные сопоставления. Молодые люди в любые эпохи и похожи и не похожи. Общего столько же, сколько и разного. Они уверены в себе точно так же, как были уверены мы, но, несмотря на все декларации, не так уж рвутся к командным высотам, как люди моего поколения. Он вспомнил то дурманное время. Косяком шли юные завоеватели — поэты, художники, композиторы, создатели экстравагантной прозы и не менее экстравагантных проектов. Жизнелюбивые, прогрессивные, ценящие и свой успех, и материальную независимость, и так называемые культурные связи. Быстро учили языки, наращивали бицепсы, играли с огнем. Некоторые, правда, заигрывались. Искусство отказывается быть средством, а не целью, а дарование, ежели оно велико, отказывается служить обладателю — вдруг, неожиданно для себя, он начинает служить ему. Тогда происходит непредвиденное. Но чаще всего они оказывались просто способными людьми или очень способными, не болъше, и умели с толком распорядиться тем, что им отпустила природа.

Эти были, пожалуй, другими. Десятилетия, нас разделившие, понятно, не прошли без следа. Мы были зрелее наших отцов, они зре-

лее нашего брата. Ничего удивительного. Опыт прошлого закладывается в генетический код. Поэтому они и моложе и старше. Моложе на три десятилетия, но старше на три исторических периода. Многое бывшее для нас абсолютным или почти абсолютным для них относительно. Что-то они отметут с порога, что-то возьмут и приумножат. А в чем-то, возможно, они обделенней, должно же быть и у нас утешение.

Но их подчеркнутая почтительность была — он это чувствовал — искренней. Что хотя и было приятно, но, как всегда, его удивляло, пусть он ничем это не выказывал, принимал как должное и естественное.

Очень долго среди коллег, среди приятелей и знакомых он, скороспелка, был самым юным, привык и, похоже, не мог отвыкнуть. До сих пор уважение к его статусу и уж тем более к его возрасту кажется странной мистификацией, какой-то забавной игрой.

Но показывать это было нельзя, и с годами выработанная интонация — смесь иронии и благодушия — давно и надежно его защищала.

Он сказал:

— Я задумал одно предприятие. Но тут потребуется отвага.

— Отваги у нас навалом. Вагоны. Куда идти?

— Поведете вы. Я же могу назвать вам адрес. Мечникова, сорок один.

— Улицу знаем, а дом найдем.

Один лишь раз в жизни он был в этом городе, примерно полвека назад, малолетком. Приплыл на знаменитом корабле «Грузия», совершавшем рейсы сюда из Батуми. (Из Батума — так тогда говорили.) В пути им встретился корабль-близнец такой же популярности — «Крым», он, напротив, возвращался в Батуми. «Крым» и «Грузия» отсалютовали друг другу.

Город он помнил совсем смутно. Осталось ощущение нового юга, незнакомого, необычного юга. Нового потому, что он сам был южанином с головы до пяток. Но его юг был совершенно другим. Там ветры были исступленнее, суше, они засыпали его город серой пылью и коричневатым песком. Беспощаднее, жарче было и солнце, под ним трескалась почва и плавился асфальт. Когда обрушивался на улицы зной, даже море не дарило прохлады, недаром оно хранило в себе запасы будущего горючего, словно нехотя било мазутной волной в бешено пламеневший берег. Зато в его юге было больше величия и неприступности — от гор ли Кавказа, от сванских гор, от горных азербайджанских озер, от могучего армянского камня? Они отгораживали его юг от подступавших снежных равнин, обнявших две части света страны. То был юг неуступчивый, неприрученный, поныне не сдавшийся человеку.

А здесь был другой, особый юг. С некоторой томной ленцой, раскинувшийся под синим пологом. И солнце его было щедрым, но ласковым, исцеляющим тоску и хандру. Было нечто доверчивое и распахнутое в том, как он себя предлагал пришельцу, оглушенному бойкой разноязычной речью. Гордости и неприступности не было — скорее бойкая амбиция от ощущения своей особости, но и она была доверчивой и простодушной, со своим обаянием. Величественности нет и в помине, зато есть грация, блеск и шик. Во всем невообразимая смесь украинского, русского и молдавского. Воздух подступавших степей, густо настоянный на травах, сливался с воздухом побережья, пахнувшим солью, йодом, ветром.

Однако же было и нечто общее, позволившее ему, ребенку, понять, что он не в гостях, а дома. Не только море, не только порт, не только тепло, свет и краски — прежде всего эта страсть к жизни, не тяга, даже и не любовь, нет, именно страсть с ее азартом, веселой яростью и одержимостью, с поистине неутолимой жаждой поглоще-

ния каждой минуты: осушить ее, вычерпать всю до донышка, не расплескать, не упустить.

И пусть сам город был точно размыт, однако какие-то сполохи, пятна застряли в памяти — на столько-то лет! Улица Мечникова в то время звалась Полтавской, но номер дома остался тот же — он это знал. Сам дом забылся, но запомнилась комнатка в квартире деда, к которому его привезли. В этой комнатке его поместили, и когда он вдруг приболел дня на два или на три, он смотрел в окно, длинное, узкое, видел двор, в углу там было нечто забавное, что смешило его чуть не до колик. Он не мог припомнить, что это было.

Дед был учителем рисования, кроме того, собственноручно приготовлял различные краски; когда внук захворал, дед занимал его весьма ответственным поручением: дал надписывать небольшие пакетики. Краски носили необычные, хотя и понятные названия: малиновая, серебряная, свинцовая. Дед объяснил ему, что названия, к которым он привык, приблизительны и плохо выражают цвет краски. Когда однажды он вдруг нарек желтый цвет лимонным, дед был доволен. Непонятным было словечко «кубовая», которое дед велел надписать на одном из пакетов,— почему «кубовая»? Дед объяснил, но он забыл.

Но не только угловое окно, не только двор — он помнил еще и застекленные галереи, каштаны на улицах, июльский вечер, пляску огней и движение толпы, почему-то похожее на качку. Ему объяснили, что он идет по знаменитейшей улице города, которую знают во всем мире. Все это воспринималось как чудо. Совсем как звучание двух вешних слов: Итальянский бульвар. «И-таль-ян-ский буль-вар»,— долго тянул он, точно так же как холодный фруктовый сок. Этим соком его поили за городом, в парке, куда он отправился с матерью, когда наконец одолел свою хворь. Что осталось от этой поездки? Звон трамвая, аллеи, игра в серсо, сияющие вечерние улицы, раскрытые окна, из которых, как голуби из рукава чародея, звонко выпархивали мелодии. Там играют на скрипке, там — на рояле, а из этого — гремит патефон. В комнатах первых этажей он видел накрытые столы под желтыми и розовыми абажурами, слышал громкую торопливую речь — похоже, что вся эта чужая жизнь была словно выставлена на обозрение, словно вокруг шумел карнавал.

Нынешний город отличался от прежнего, но не только иными названиями улиц, чего он всегда не одобрял, остро ощущая почти мистическую, животворящую силу преемственности. Город стал менее домашним и звучным, хотя численно он вырос в два раза. И горожане, как и новые здания, не вызывали тогдашнего чувства их особости и непохожести. Вырабатывается единый тип и районов, и их застроек, и населяющих их людей, подумал он — в который уж раз! — не без элегической грусти.

Он поделился этим наблюдением со своими спутниками. Он сказал, что французы ревнивей берегут свое прошлое. Молодые люди застрекотали:

— Французы? И они отличились! От французов все и пошло.

— В том веке — Эйфель. А в нашем хотя бы Ле Корбюзье, потом — Куэлль.

— Зачем забираться так далеко? Можно назвать что и поближе. Вспомните центр Помпиду.

— Спокойно, дети! — Он поднял руку и, когда они отхохотались, сказал: — Согласен. Примеры можно умножить. Разумеется, центр Помпиду в Бобуре — неоспоримый аргумент. Снаружи — нефтеперегонный завод. Правда, внутри весьма впечатляет. Но дело не в этом. У них эти здания — в чем-то вынужденная уступка эпохе. А у нас сохранение старины — уступка общественному мнению. Как видите, разница принципиальная. Впрочем, дело не только в застройке. Они

вообще коллекционируют все, что мечено особой метой. Нивелировка не в чести. Знаете, есть такие гурманы, для них приправа важнее мяса. Вот и они такие же лакомки в том, что касается внешних форм, быта, традиций, занятных обычаев, вкусных названий, всяких чудачеств. Вы скажете, тут деловой подход, коммерческий дух, все на продажу. Не спорю. И все же не только это. Есть безусловное чувство истории.

— Что поделаешь? — с шутовским вздохом развел руками смуглый брюнет, посверкивая озорными глазенками.— Населению не сидится на месте. А пришельцы не жалуют своеобразия.

— Вот именно,— подхватил другой.— У нас неточная терминология. Село перемещается в город, и это с легкой руки социологов называется урбанизацией. Все обстоит наоборот.

Мысль эта развеселила всех, и молодые острословы стали сразу же импровизировать сценки о том, как нынешние горожане утратят свойственные им признаки и их нельзя будет отличить от селян.

И все же больше всего запомнились не встречи с прославленными улицами, не праздничное состояние духа, не загородный парк и серсо — значительно резче и отчетливей застряла в памяти та болезнь, а если еще точнее — та ночь.

С вечера было не по себе, ныли виски, моментами чудилось, что их медленно сжимают щипцами, горели щеки и бил озноб. Решено было, что он простудился, простыл, ну конечно же перебрал мороженого (сладчайшего — продавец доставал из длинного блестящего чана обольстительные серебристые шарики и лихо припечатывал их сверху и снизу вафельными кружочками). Его раньше обычного уложили, мать дала ему аспирин, в комнате погасили свет, теперь лишь овальная луна, похожая на золотую дыню, освещала двор и противоположную стену. Он подумал, что чем он скорее заснет, тем быстрее ему полегчает. К тому времени он уж придумал средство получать удовольствие от погружения из бодрствования в сон.

Он вызывал в своем сознании неизменно одну и ту же картину: бушует немыслимая гроза, а он, израненный и продрогший, вымотанный дорогой так, что едва-едва стоит на ногах, добирается до какой-то крепости. За ним гонятся, но за крепостными воротами — друзья, и они успевают впустить его и закрыть ворота перед преследователями в последнее роковое мгновение. А потом перевязывают ему раны, поят и кормят, стелют постель. И, накрывшись с головой одеялом, он лежит в безопасности и тепле, счастливый от мысли, что наконец спасся от грозы и погони. От этого дивного перехода из одного состояния в другое — от холода и неприкаянности к теплу и защите — всегда возникало на редкость острое наслаждение. И вот каждый вечер, перед тем как заснуть, он раскручивал точно в замедленной съемке все кадры этого странного фильма, испытывая неизменную радость.

Но на сей раз проверенный сюжет не помог, а сон, в конце концов оглушив, лишь усугубил его терзания. Тяжелый, изнурительный, рваный, с нелепыми темными поворотами. По-прежнему сводило виски и вязко пересыхало горло.

И вдруг небывалое ощущение заставило его разом проснуться. Он приподнялся на постели, не понимая, что с ним творится. Было ясно одно — нечто ужасное. Какая-то мощная пятерня словно схватила его лицо и жестко стягивала с него кожу, сжимая ее в один комок,— казалось, она сдирает скальп. Было больно, но главным образом страшно. Он спрыгнул с кровати и боязливо щелкнул выключателем. Зажегся свет. Теперь можно было взглянуть на себя в зеркало, но он медлил, он знал, что вместо лица будет что-то страшное, личина, маска. Но отступить он тоже не мог и принудил себя поднять глаза.

То, что он увидел, было кошмарней, чем его опасливые ожидания. На него глядело чужое, крохотное, величиной с сушеную сливу, такое

же сморщенное, коричневато-желтое личико дряхлого уродца. Не было никакого сомнения, что оно принадлежит существу, прожившему на земле сто лет, к тому же на грани превращения в какую-то мерзкую, смрадную крысу.

Он закричал, забиваясь в угол, и когда в комнату, опережая мать, вбежал дед, всклокоченный, в нижнем белье, он все мотал головой, с трудом выталкивая из горла нечленораздельные звуки и лишь показывая пальцем на зеркало. Прошло, наверное, с полминуты, пока он сумел произнести:

— Дед, я стал старик!

И заплакал.

Утром кожица постепенно стала оттягиваться на свое место, а в полдень к нему явился врач, лысый, розовый, пахнущий не то мятой, не то зубным порошком «Хлородонт», и стал пухлыми розовыми руками, покрытыми с наружной стороны рыжим волосом, словно разглаживать его щечки, уже потерявшие желтый цвет, вновь ставшие двумя крепкими мячиками. И он уже чувствовал себя здоровым, было стыдно за все это наваждение, за слезы, за свой недостойный страх.

— Испугался, молодой человек? — спросил доктор и коротко объяснил деду с матерью и ему, что то была острая форма крапивницы, что это коварная реакция нашего сложного организма на то, что ему противопоказано, в общем же, ничего серьезного, денек-другой проведет дома и снова будет здоров и весел.

Так все и было. Спустя два дня мама повезла его за город, и он играл в парке в серсо.

Дважды тогда спросил он деда, отчего тот живет отдельно от них. Дед терпеливо объяснял, что старики не должны жить с молодыми. Почему не должны, он понять не мог, но сердце его саднило от жалости. Дед и впрямь казался ему старым, человеком другого века (он и был им), а на самом-то деле был моложе его теперешнего, тоже деда (сам он немного кокетничал этим званием, чувствуя себя мужчиной в соку). Да и переход в новое качество свершился так быстро, что до сих пор он не успел к нему привыкнуть.

Каких-то четыре года назад позвонила прежняя его супруга и своим высоким прерывистым голосом, который давно его раздражал, попросила его скорее приехать. Был он, как на грех, сильно занят — впрочем, занят он был всегда,— и ей пришлось долго объяснять, что дело не терпит отлагательств. Он приехал, сердитый и недовольный, она кинулась к нему на грудь, осунувшаяся, с красными глазами (исплакалась), и сообщила, что Вероника выходит замуж, что молодой человек произвел безотрадное впечатление, развязен, невоспитан и груб, но ужас в том, что дочь ждет ребенка, они, как выяснилось, провели вместе лето, давно близки, что делать, росла без отца, а мать для нее не авторитет.

— Ничего удивительного,— сказал он кисло и поспешно от нее отстранился. Всякий раз, когда он смотрел на нее, он дивился тому, что когда-то увлекся, женился, что эта скучная женщина однажды родила ему дочь. Что нашел он в ней, кроме округлых форм и мягкости, отлетевшей так быстро! Безответность и радостную готовность соглашаться с каждым его суждением, с каждым словом? Свойства весьма привлекательные, однако и они приедаются. Тем более когда нет других. Плоское, тусклое существо, воплощенное общее место. Господи, как глупы мужчины.

Он не мог взять в толк, чем может помочь. Вероника быстро ему объяснила, что она и Артем вместе с первого курса и это достаточный испытательный срок, они, таким образом, защитили и теперь получают второй диплом — он называется свидетельством о браке.

Артем оказался шумливым малым, к тому же записным остряком, до чрезвычайности самоуверенным. Он был моложе Вероники на восемь месяцев и, видно, поэтому подчеркивал свою мужественность и бывалость. У него был толстый бритый затылок и словно бы вдавленный боксерский нос, хотя спортом он вовсе не занимался. Пожалуй, это был первый случай, когда Владимир Сергеевич понял жену.

Через полгода Вероника родила сына и почти сразу же выгнала мужа, объяснив, что он ее раздражает своими претензиями и тупостью. И хотя возразить на это было вряд ли возможно, он все же бубнил что-то положенное, понимая, что все его речи бессмысленны, что их эффект и воздействие равны нулю, да и когда слова помогали? Говорил он, естественно, о ребенке, о том, что мальчик нуждается в отце, но Вероника его оборвала:

— Оставь, пожалуйста, стыдно слушать, умный человек, а туда же... зачем ему нужен отец-дурак? Да еще к тому же пошлый дурак, убежденный в своей незаурядности?

— Как же ты с ним провела столько лет? — задал он резонный вопрос.

— Ах, папа,— махнула она рукой,— была девчонка, теперь поумнела. Одно дело где-то встречаться тайком и другое — существовать в одной клетке.

С этим нельзя было не согласиться.

— Объясни только, бога ради, маме, что не стряслось никакой трагедии, пусть она перестанет меня оплакивать. Обыкновенная разминка. Или эксперимент. Так лучше?

— В самом деле, прекрати причитать,— сказал он бывшей жене с раздражением.— В конце концов, это ее жизнь. Тебе-то Артем всегда не нравился.

— А Виталик? — возопила она.

— Не пропадет. Ничего не поделаешь.

Внук стал чаще бывать у него, иногда в редкие свободные дни он гулял с ним, и его веселило, что внук звал его дедом, совсем как он. И опять вспоминалась та поездка, теплоход «Грузия», на котором они приплыли и уплыли обратно в Батум, откуда потом вернулись домой, где ждал их соскучившийся отец. Вспоминались каштаны и гул на улицах, мелодии из распахнутых окон, море, Итальянский бульвар и та ночь, когда, цепенея от ужаса, он впивался в зеркало, смотрел на себя и не узнавал своей рожицы. Но чаще всего вспоминался дед. Он никогда его больше не видел.

Мальчик был ласковый и смышленый, и Владимир Сергеевич ощущал, что все крепче к нему привязывается. «Опасно,— говорил он себе,— где привязанность, там потеря».

Это и был его горький опыт. Почему-то все дружеские связи не приносили удовлетворения. Пик взаимного тяготения оказывался достигнутым быстро, очень может быть, слишком быстро, трудно было на нем удержаться. Он научился обнаруживать трещину при самом первом ее появлении — то усталость от близких отношений, предшествовавшую их исчерпанности, то еле уловимую фальшь, то плохо скрытое недоброжелательство, иной раз оно прорывалось наружу.

Он понимал, что, так преуспев, невольно задевал тех, кто прежде шагал с ним вровень, но понимание не приносило облегчения. Однажды он грубовато сказал, что устал оправдываться за то, что природа была к нему благосклонней, чем ко многим. С некоторых пор он все охотнее отдавал безусловное предпочтение ни к чему не обязывающему приятельству, приветливому, уравновешенному, с устойчивой температурой, не доходящей до тридцати семи градусов. Где привязанность — там и потеря.

И вот добытая с кровью истина не сработала, хоть и остерегала. Внезапно вошедшее в его жизнь существо завладело его душой. Он привязался и поплатился.

Некоторый срок миновал, и дочь сообщила, что выходит замуж. Ее новым избранником стал славист из Кёльна. Был он старше лет на двенадцать, прожил, как выразилась Вероника, жизнь сложную и насыщенную, славистикой занялся сравнительно поздно, но основательно и достиг в ней успехов. Он работал по контракту в московском издательстве, все же свободное время — в архивах, занимался литературой двадцатых годов. Вероника сказала, что теперь наконец она нашла то, что всегда искала, более же всего ее трогает его отношение к ребенку.

Для знакомства был устроен обед. Славист оказался весьма обходительным, очень вежливым человеком среднего роста, средней упитанности, с приятной среднеевропейской внешностью. По-русски он говорил свободно, когда же не сразу улавливал смысл, предупредительно наклонял голову и с виноватой улыбкой произносил: «Прошу...» Это значило, что, если возможно, он хотел бы еще раз услышать сказанное.

Владимиру Сергеевичу иной раз чудилось, что он присутствует на некоем спектакле, причем исполнители даровиты и органично воссоздают неестественность заданной ситуации. Как опытный зритель, он отмечал растерянность своей бывшей жены, ее испуг и обескураженность, ее боязнь сказать что-нибудь лишнее, и все равно, когда она заговаривала, говорила она невпопад.

Вероника шутила и похохатывала, называла своего слависта Павлушей, выкурила пять сигарет и выпила одну за другой пять рюмок, за всем этим была напряженность и подсознательная неуверенность — это он тоже отлично видел.

Немец гладил Виталика по кудеречкам, объяснял ему, как привести в движение роскошный поезд, принесенный в подарок, и попутно рассказывал о себе. Не считая Виталика, он, пожалуй, ощущал себя свободней других.

Человеком он и впрямь был неглупым, слушать его было занятно. С неподдельным сыновним чувством он рассказал о своем отце, почтенном университетском профессоре, занимавшемся историей права. Профессор, по свидетельству сына, был убежденным эскапистом и в этом духе воспитывал своего Пауля.

— Отец то и дело повторял весьма поучительную историю,— с легкой улыбкой вспоминал славист,— о том, как на Версальском конгрессе Жоржу Клемансо был представлен пианист Игнаций Падеревский, президент только что созданной Польши. «Скажите,— спросил его Клемансо,— кем вам приходится музыкант Падеревский?» Президент ответил, что это он сам. «Боже,— воскликнул Клемансо,— с таких вершин вы спустились в политику!»

Владимир Сергеевич заметил, что в политику невозможно спуститься, как невозможно до нее воспарить — она окружает человека с детства.

Пауль охотно согласился. Русская жизнь, безусловно, масштабна, хотя и чрезмерно идеологична. Но только русская широта позволяет преодолеть опасность этих соблазнительных шор. Немцы же по своей природе всегда первые ученики и полюбившуюся идею легко доводят до абсурда. Оттого-то у них возник гитлеризм с его апологией тоталитарности, в сущности, в этой уродливой опухоли нашло свое крайнее выражение политизированное мышление. От террора политики до политики террора один шаг. Может, и полшага.

Владимиру Сергеевичу стало неудобно за эти резкости по адресу немцев. Он пробормотал, что у всех народов есть нездоровые инстинкты, точно так же как у отдельного человека,— важно не допускать условий, при которых они могут развиться. Пауль все с той же мягкой улыбкой успокоительно поднял ладонь — пусть уважаемый будущий тесть не чувствует никакой неловкости. Он, Пауль, и любит и

чтит свой народ, считает его великим народом, но именно великий народ обязан знать свои слабые стороны. В этом и состоит величие. Пыжатся и восхваляют себя только карлики, это идет от чувства... как это... Minderwertiggefühl.

— Неполноценности,— подсказала ему Вероника.

Все это было бы любопытно, когда бы Владимира Сергеевича во время всего этого разговора не обжигала одна неотвязная мысль: срок контракта пройдет, и этот корректный, отменно воспитанный человек увезет его Виталика в Кёльн.

Так и вышло. Однажды настало и это — одно из самых горестных расставаний. Толчея в Шереметьеве, таможенники, потерянное лицо старой женщины, беспорядочные слова Вероники, озабоченный Пауль и поверх всего — оживленная мордочка Виталика, тугие щечки, которые он целовал, не веря, что ровно через минуту это к о н ч и т с я, машущая ручонка, голосок: «Дед, до свидания!» — и вот уже всё — исчезли, пропали, никого, ничего не видно.

И второй брак не создал чувства тыла. Хотя ему предшествовали события необычные и драматические. Долгие годы он был дружен с одним знаменитым музыкантом, охотно посещал его дом, благо тот был не только большим виртуозом, но и значительным человеком. Бесспорно своеобразной женщиной была и жена его — красивая дама, несколько, правда, экзальтированная. Она умела внести в их застолье, в неторопливый обмен мыслями притягательную, хотя и нервную ноту, будоражащую игру. Владимир Сергеевич и сам не заметил, как между ним и эффектной хозяйкой возникло некое магнитное поле. В дальнейшем события развивались по хорошо известной схеме, хотя и с некоторыми оттенками. Выяснилось, что у Ольги Владимировны есть свои претензии к супругу, дело было не в его недостатках, человеком он был весьма привлекательным,— резко не совпадали натуры. Одна — покладистая и терпимая, инертная в своем отношении к среде обитания, легко принимающая всякие личные незадачи — пожалуй, примирение с бедами было для славного пианиста наиболее важным жизненным принципом — и рядом совсем другая стихия: неутоленная и неутолимая, с частыми сменами настроений, почти мгновенно переходящая от уныния к радости, от веселья к печали, слишком многого она ожидала, слишком много требовала от жизни, которая скупа на дары.

И неизбежное совершилось. Владимир Сергеевич и Ольга Владимировна соединились. И он и она понимали, что адюльтер невозможен, надо было соблюсти высоту, обошлось без обмана и без лганья. И поскольку музыкант был терпим и стремился ни при каких обстоятельствах не утратить добродушной иронии, удалось даже сохранить отношения — если и не былую дружбу, то все же известное приятельство, симпозиумы за столом продолжались. Этот занятный тройственный пакт был предметом длительных толков среди тех, кто их знал, и это по-своему радовало Ольгу Владимировну как признание неординарности и особого н а д б ы т н о г о уровня. Он же был рад, что сохранил незаменимого собеседника.

Однако новая семейная жизнь не оправдала его надежд. Поздно они пришли друг к другу, велика была ноша привычек, пристрастий, укоренившихся восприятий. Уже непомерно обширны стали те заповедники души, в которых проходит наша подспудная, не всегда нами сознаваемая и тем не менее главная жизнь. Заповедники эти были слишком обжиты, чтобы вдруг их наполнить иным содержанием. И когда схлынули первые месяцы с их радостным насыщением друг другом и пора было отправляться в путь, стало ясно, что кладь — своя у каждого и разделить ее на двоих — почти немыслимая задача.

То и дело они вступали в споры. Содержание их могло быть случайным, не затрагивающим ни его, ни ее, но это не мешало дискуссиям

носить ожесточенный характер. Почему? Какого рожна? Ни он, ни она не могли бы ответить. Решительно по любому вопросу у нее оказывалось свое, и, как правило, противоположное, мнение. Даже когда речь заходила о проблемах архитектурных, в которых он был авторитетом для самых маститых профессионалов, и тут она, ничтоже сумняшеся, с редким запалом, с какой-то страстностью оспаривала его утверждения.

Но главной мукой были совместные посещения консерватории и разных музыкальных премьер. Многолетнее первое супружество, давние связи в этом мире избранных породили в ней прочное ощущение своей особости. Владимир Сергеевич благодарен был музыке с юных лет не только за все ее очарование, но и за то, что она способствовала поистине счастливым находкам. Почти все удачные решения являлись ему во время концертов. И отказаться от них он не мог. Но нигде он не чувствовал так отчетливо отчуждения и даже враждебности Ольги, непонятной, непостижимой, как на этих изысканных вечерах. Ее поведение словно складывалось из всяческих маленьких предательств. В антрактах она его оставляла и будто забывала о нем, если же в общем разговоре он вставлял свое слово, она его обрывала как лицо недостаточно компетентное. Об искусстве ее кумиров она запрещала ему говорить. Он даже не смел судить об их внешности. Однажды его пренебрежительный отзыв о конском подбородке одной певицы привел ее в настоящее бешенство: казалось, она готова его убить.

Странно, думал он ошарашенно, откуда все же такая ненависть?

Впрочем, острый момент проходил, и Ольга Владимировна становилась и приветливой и сердечной. Иной раз — и любящей. В соответствии с переменчивым состоянием духа. Мир человека устроен загадочно.

Скорее всего первопричиной этой трещины было ее открытие. За его впечатлявшим уверенным обликом она разглядела или почуяла душевное неблагополучие, и это повергло ее сначала в изумление, потом — в недовольство. Она была сильно разочарована. Не того ждала, не на то надеялась, к чему было уходить от мужа?

Надо сказать, не ее первую обманули его внешность и стать. Он и сам дивился, что его постоянно принимали за энергичного малого, исполненного скрытой динамики. А между тем сколько он себя помнил, в нем всегда жил неосознанный страх решительно перед каждым контактом. Когда возникала необходимость позвонить по важному, очень важному делу, он себя неизменно ловил на том, что радуется, когда разговор почему-либо не мог состояться и откладывался. В этом случае всегда он испытывал невыразимое облегчение.

Так или иначе, не только она, он также чувствовал себя обманутым. Семейная жизнь не задалась. В первый раз он женился из благодарности, второй раз — из тайного тщеславия. И то и другое — великая глупость.

Теперь, неуклонно приближаясь к цели, они пересекли полянку, пока еще пощаженную городом. Вся она словно была захвачена темно-фиолетовым, похожим на фиалку барвинком, который рос всюду буйно и вольно. Поблизости грелась на солнце лаванда, ее фиолетовый цвет был бледен, и рядом с барвинком она казалась хрупкой, изнеженной горожанкой, которую не берет загар. Чуть дальше, как несхожие сестры, цвели японская магнолия с ее лиловыми кулачками и наша — с крупной желто-зеленой листвой. Здесь же томительно пламенел пунцовыми листьями дикий гранат.

Владимир Сергеевич невольно замедлил шаг. Молодые патриоты горделиво перемигнулись.

— Каков парадиз? — спросил один из спутников.

— Странно, что вы его не приспособили под фундамент,— усмехнулся Владимир Сергеевич.— Это ведь все только цветочки, не то что ваши высотные ягодки.

Заговорили на вечную тему — возможно ли создать красоту, лишь подражая живой природе. Смуглый брюнет, горячась, утверждал, что всякое подражание ложно.

— Опасно подражать только людям,— возражал его друг и, по всей видимости, его постоянный оппонент.— Природа настолько совершенна, что, подражая ей, мы ничем не рискуем.

— Есть закон: подражая, себя предаешь. Единственная заключенная в тебе ценность — твоя единственность. Неповторимость.

— Есть другой закон, не менее мудрый: позаботься о собственной неповторимости, и она позаботится о тебе.

— В том случае, если она существует.

— Представь, и ее можно развить.

— Уж это, братец, одни мечты. Владимир Сергеевич, ради его же пользы верните этого Сальери на землю.

Бедняги, подумал он, так неймется, так хочется прорваться в художники. Очень уж клятое наше дело — весь век танцуешь на тонкой проволоке между искусством и индустрией. То и дело тебя сминает серия и ограничивает каталог. Легче легкого раствориться в ремесленничестве. Впрочем, нервничают все служители муз. В сущности, разница между художником и ремесленником весьма относительна. Не столько в возможностях того и другого, сколько — в их основной задаче. Первый хочет успеть, второй — поспеть.

Можно было сказать, что вся его жизнь прошла под аккомпанемент этих споров. Они ведутся пять тысяч лет и ничего еще не решили. И все-таки каждое поколение проходит сквозь этот лукавый искус: найди формулу, и все состоится.

Но он устало махнул рукой:

— Каждый подбирает одежку. Видимо, доверяясь инстинкту.

— Но есть же законы и закономерности!

— Есть, есть,— сказал он лениво.— Но когда рассматриваешь искусство, исходя из принятых тобою правил, из его соответствия этим правилам, свободно можешь загнать себя в угол. Даже если ты Лев Толстой. Шекспир не с руки. «Дядя Ваня» — тоже. Не соответствует — не годится!

— Толстой все равно что папа с ремнем. Неважно, что у сына способности, лишь бы вел себя хорошо!

— Ну, что до Толстого, то у него свой счет великана, своя тоска, а у нашего брата, простого смертного, все мельче, да мы не хотим сознаться. Плодов таланта нам недостаточно. Подай нам личность его обладателя И конечно, из самых благих побуждений. Мы ведь хотим защитить эту личность, удержать ее на уровне дара. Даже рассудку вопреки. Даже наперекор стихиям. Не говоря уж о бедных фактах. Выработано почти виртуозное, изощренное мастерство так объяснять биографию идола, что даже порочащие обстоятельства выглядят либо невинными шалостями, либо свидетельствуют метание духа. А вот бы оставить нам наших героев такими, какими они и были. Нам кажется, что наши усилия их украсить исходят из благодарности. Ничего подобного. Наоборот. Нам мало испытывать благодарность за то, что они совершили и дали, за то, что оставили в наше пользование. Нам надо сделать из них моралистов. Могу согласиться, что искра божья способна воздействовать на того, в ком она вспыхнула, так бывает. Но сплошь и рядом, сколь ни печально, она бессильна в борьбе с натурой. Не требуйте ж от ваших избранников явить вам то, что эти мытари явить не могут при всем желании, вашем желании, разумеется,— гранитные принципы, постоянство. В битве за свое право выжить нашей талантливой особи случается и ловчить и юлить, иной раз даже все потерять, включая и свой бесценный дар.

Молодые люди развеселились.

— По-моему, метр нас эпатирует! — воскликнул неуемный брюнет.

Владимир Сергеевич усмехнулся.

— Обычное дело. Скажи, что думаешь, и тебя заподозрят в эпатаже.

Он сам не смог бы себе ответить, с какой стати он так разговорился. Устал от насыщенного дня, устал от ходьбы, разомлел на солнышке, казалось, и слово-то трудно выдавить, и на тебе! — произнес монолог. Должно быть, попали в больное местечко, когда неожиданно заговорили об этической подкладке искусства. Стоит коснуться Льва Николаевича, и сразу затянет в водоворот. Стоит заговорить о художестве, сразу же призовут к ответу. Кто ты? каков? кем был? как жил?

Что тут ответишь? Жил, как многие, дергаясь, сетуя на обстоятельства, на отношение, на людей, втайне же тяготясь собою, чувствуя, как ему далеко до собственных представлений о подлинном. Но если бы кто мог объяснить, как надо примирить образец с кожным ощущением счастья! То и дело они исключали друг друга. Теперь-то он знал, что только тогда начинаешь жить настоящей жизнью, когда начинают гаснуть страсти,— здесь прочная прямая зависимость. Очень уж долго ему мешала его нетерпеливая кровь. Попробуй с нею стать Диогеном! Как бы не так! Она клокочет, подхлестывает и погоняет. Тут не до бочки, не до шалаша. Частенько твердят о моменте истины. Неспроста. Надолго она не дается. Жить с ней трудно. Поэтому и любовь к ней обычно слабее любви к успеху.

Похоже, что все его несовпадения с Ольгой Владимировной объяснялись их сходством — оба не научились смолоду видеть пределы своей судьбы.

Однажды летел он из Боготы в Нью-Йорк с посадкой в аэропорту Гватемалы. За час, который он в нем провел, его ослепила и оглушила яркость пейзажа, пестрые краски с преобладанием оранжевой — возможно, из-за какого-то яростного, какого-то одержимого солнца. Ладонью заслоняясь от света, он вернулся в свой белый лайнер и увидел новую спутницу — в соседнем кресле сидела девчушка, ей было не более десяти.

Она сказала, что ее зовут Эухения, ее проводили, в Нью-Йорке встретят, в этом нет ничего особенного, она не впервые летит одна. По-английски она болтала свободно. Сообщила, что родственники предложили дать ей образование в Штатах, там безусловно больше возможностей. Кем хочет быть? Стенографисткой, секретарем у какого-нибудь менеджера. Не то чтобы хочет, но это доступней, надо быстрей становиться на ноги, не зависеть ни от кого. «Я некрасива,— сказала девочка,— и, наверное, не смогу выйти замуж».

Он смутился: «Помилуйте, Эухения, кто вам это внушил? Вы очень милы». Она спокойно его прервала: «Нет, нет, я говорю то, что есть. Мне замуж не выйти, нужна профессия. Стенография — это самое верное».

Потом ему не раз вспоминалось это бестрепетное дитя. Усмехался: «Мне бы такой же трезвости. Небось постарше на несколько лет». Но тут же сам себе признавался, что этого ему не дано.

Все же занятно, что именно дети кое-что ему прояснили. Сначала умная гватемалочка, а после — его собственный внук. Однажды, гуляя с ним, он подумал, как непонятно будет Виталику все, что сегодня его грызет. Все, что тревожит воображение и не дает спать по ночам. Все, что, по твердому убеждению, может определить его будущее (которого, в общем-то, уже нет). Он изумился этой мысли и воспринял ее почти как прозрение: «Может быть, с этого самого дня я поумнел и стал выздоравливать, ибо чем же была моя душевная жизнь, если не душевной болезнью?! Два часа с внуком — какое ле-

карство! Два часа в обществе человека из другого мира, другого времени. Надо запатентовать рецепт».

Если признаться, этот недуг прежде всего ему и мешал добиться подлинного признания. Не жалких, вымученных статеек, которых назавтра не помнил никто, не поощрений, которые также оказывались вполне эфемерны, нет, признания тех немногих, которых он привык уважать. Хорошо бы дать этой хвори название, навсегда припечатать ее тавром, чтобы загодя издали распознавать ее. Должно быть, это все та же зависимость — от обстоятельств, от чьих-то суждений, от фортуны, от внутренней незначительности. А ведь зависимость натуры еще опасней зависимости ума. Даже природное дарование не сразу заслонило от ближних неодаренность его души. Какие усилия потребовались, чтобы ее согласились простить! Верно, оттого он завелся и напустился с такой запальчивостью на биографов — и прошлых и будущих.

Они проходили совсем близко от порта, совсем рядом было золотое море, покачивались суда и суденышки, баркасы, моторки и лодчонки, левее, у дальнего причала, возвышался громоздкий сухогруз, и оттуда неслись чуть слышные крики «вира!», «майна!».

«Два слова,— улыбнулся он про себя,— как дата рождения и дата конца. Два слова, между которыми плотно умещается вся дорога. Первое — утренний подъем, второе — будто отход ко сну».

Среди тех, кто особенно отравлял ему жизнь, был некий ехидный искусствовед, словно избравший его мишенью. Сколько он помнил себя, сей тарантул кусал его с каким-то неистовством. Что питало подобное ожесточение, вряд ли можно было объяснить лишь различием в принципах и позициях. Острое личное неприятие, конечно, не вызывало сомнений. Но в этом случае — откуда оно? В повседневности они почти не встречались. Впрочем, так ли уж было важно, в чем коренилась первопричина?

Каждая новая работа подвергалась придирчивому расследованию. Все, что ни делал Владимир Сергеевич, как утверждал его гонитель, было лишено самобытности. Либо, наоборот, порывало с доброй и животворной традицией. Либо попахивало чуждой модой.

Владимир Сергеевич сперва отбивался и при случае всходил на трибуну, откуда метал ответные копья, потом рассудил, что молчать — мудрей. Тогда в этом долгом противостоянии перевес стал склоняться на его сторону — как бы то ни было, за ним было д е л о, а за противником — лишь суждение. Тот и прежде был не всегда убедителен, теперь, почувствовав перемену, стал особенно нетерпим. Это в конце концов определило неэффективность его усилий. Случилось то, что случается часто,— его перестали в о с п р и н и м а т ь.

Однажды утром, листая газету, Владимир Сергеевич узнал, что зоил скоропостижно скончался. О чем с прискорбием извещали читателей. Он поразился, ему казалось, что недруг его неистребим. Потом с еще большим недоумением вдруг ощутил нежданно грусть, внезапно возникшую пустоту. И что удивительного? С этой кончиной ушла важная часть его собственной жизни. И вообще, иметь преследователя — это значит чего-то стоить. Возможно, поэтому смерть врага ударила будто утрата друга. Ведь если вдуматься, его роль была по-своему плодоносной. Рождалось настойчивое стремление лишить его ненависть аргументов, подняться и стать недосягаемым для этих ядовитых укусов. И ведь действительно поднимался, стал выше, и не только как мастер. «Странно, в итоге никто не сделал столько мне доброго, сколько он. Пусть даже того не желая. Вполне допускаю, что лишь ему и не был я безразличен, как прочим. Черт побери, кому же доказывать свою правоту, кого убеждать?»

В эти минуты Владимир Сергеевич начисто упускал из виду то, что хорошо понимал: нельзя доказать, нельзя убедить. Чужие мне-

ния — это гвозди, заметил один умный француз: чем крепче бьешь по ним, тем крепче вбиваешь. А все же глупо, что враждовали. И вообще, какое значение имеет теперь наша вражда?

Шли по крохотной и укромной улице, состоявшей практически из одного квартала, мостовая была немногим шире еле намеченных тротуаров. Владимир Сергеевич вслух заметил, что улочка похожа на потайной карман. Это сравнение почему-то восхитило молодых архитекторов, они долго и со вкусом смеялись. Чему смеются, спросил он себя, что смешного? Да ничего смешного. Молоды — оттого и смеются. Чувство юмора в эти годы — понятие биологическое. Всякая ерунда веселит. Почти как в непритязательном детстве. Что было такого во дворе деда, отчего он изнемогал от хохота? Странно выборочной стала память. Столько всякого, вовсе не нужного, угнездилось в ней, зацепилось, застряло, не отпускало, как тот ночной ужас, когда он увидел себя стариком, а что-то растаяло, ушло. Все-таки хотелось бы вспомнить.

Между тем его спутники вновь стали серьезны, теперь они уже обсуждали самую жгучую проблему, в которую все и упирается, кажется, говоришь о другом, а дело-то в ней — сплошь и рядом попадаешь в патовую ситуацию. Речь шла о вечной конфронтации художественной и социальной задач. Прийти к согласию почти невозможно. Как ни вертись, а высокий принцип качественного совершенства, требующий изящества, грации, не совместишь с фактором насыщения, отдающим приоритет количеству. Если терпишь обидное поражение, проектируя здание, то что ж постигает того, кто проектирует город?

— Метр, вы ведь его задумывали?

Он кивнул. Не очень любил вспоминать о том неудавшемся эксперименте, из которого, в общем-то, мало что вышло. Город в тех студеных краях не оправдал его ожиданий. Местные власти и комбинат, который фактически был хозяином, так и не сумели поладить. Эта рана так и не заросла.

Он помрачнел, они смутились. Кажется, допустили бестактность.

— Не сокрушайтесь,— сказал брюнет,— верно, что чем архитектор выше, тем утопичней его проект.

И тут же молодые льстецы напомнили ему о Нимейере, о созданной им бразильской столице.

— Тоже ведь думал, что сам по себе. И сотворит фаланстéр наших дней.

— Все выдающиеся люди неизбежно забегают вперед.

— Благодарю,— сказал он насмешливо,— очень лестное сопоставление. В последнее время что-то все чаще хочется от него отказаться. Очень возможно, что наши титаны и впрямь провидцы и чувствуют будущее, но оно у них неизменно холодно. Даже если чутье их не обманывает, от этого никому не легче. Хочется забежать назад.

— Метр, эти ретромелодии также достаточно обманчивы.

— И вы еще молоды, чтоб болеть ностальгией.

— С чего вы взяли, что я еще молод? Самое время давать советы.

— Авторитет дает вам право. Какой же вы дали бы нам совет?

— Такой же, как Анатоль Франс. Пришел к нему юноша, один из тех, что являются завоевать столицу,— озабоченный, честолюбивый, замыслов куча, глазки блестят,— одним словом, точная ваша копия...

Эти слова привели их в восторг.

— Потрясающе! Как вы нас разгадали?

— Легче легкого. Все на поверхности.

— И чего этот юноша домогался?

— Ничего. Просто хотел пожать руку, которая написала «Восстание ангелов», «Остров пингвинов» и «Боги жаждут».

— Метр! — завопили они.— Метр! Протяните нам руку!

— Сначала послушайте, что сказал ему Франс: молодой человек, оставьте в покое богов и ангелов, не говоря о пингвинах. Пока вы молоды, ваше дело — любить.

— Гениально! За вашими словами чувствуется могучий опыт.

— Не за моими.

— И тем не менее. За вашими. Вы много любили?

Он усмехнулся.

— Что жгло, то прошло.

Эта рифма их не удовлетворила.

— Фу, как вы скрытны. Даже обидно.

— Просто вы держите нас на дистанции.

— И «не пускаете за барьер».

— Не пускаю,— кивнул он,— еще чего... Пустить туда этакий табунок. Да вы все там потопчете к божьей матери.

И пока они радостно хохотали, он подумал, что и впрямь затруднительно было б ответить на их вопрос. Много ль он любил? Поди разберись. Был отчаянно влюбчив, а вот, однако ж, нынче назвать мог бы немногих — хватит пальцев одной руки. Ту девушку, возникшую в юности, то исчезавшую, то появлявшуюся; женщину, встреченную на северной станции; и еще — пришедшую на закате, весьма осложнившую и без того достаточно сложное супружество.

И все-таки самой стойкой любовью была другая, любовь неизведанная, о которой не знал никто на свете, да и кому было рассказать? Повстречайся ему идеальный слушатель, воплощенная чуткость и доброта, все равно бы так ничего и не понял, принял бы исповедь за фантазию, во всяком случае, за нечто выморочное, сочиненное, высосанное из пальца. Меж тем все было совсем не так. И чем дольше он жил, тем острей ощущал, что т о не бывшее, не случившееся и было жизнью его души, а если сказать короче и проще, было его настоящей жизнью.

Он был совсем молодым человеком, много моложе сегодняшних спутников, только-только защитившим диплом, однако же из молодых да ранних. Уже прошумел приятный слушок, что появился талантливый малый, этакий генератор идей. Он даже приготовил статью для уважаемого журнала, в котором обычно публиковались признанные авторитеты. Надо было напечатать рукопись, ему посоветовали обратиться к Анне Евгеньевне Метлицкой, старой, опытной машинистке, из тех, что имеют свою многолетнюю, устоявшуюся клиентуру. Анна Евгеньевна оказалась свободной, при знакомстве он, видимо, вызвал симпатию, к чему, если честно сказать, был готов — умел себя хорошо держать, обаять, произвести впечатление. Позже, когда они подружились, она шутливо ему признавалась:

— Очень был привлекательный юноша. Сразу понятно, что шармер.

Голос у нее был прокуренный, низкий, пожалуй что, басовитый, с характерной хрипотцой. Она была рыхла и массивна, из-под поседевших бровей лениво-насмешливо поглядывали полуприкрытые глаза. Жила она в одном из арбатских переулков, где и было положено обитать дамам с ее манерами, пристрастиями и биографией. В квартире было всего три комнаты, в двух других размещались еще две семьи — ветхая, еле живая женщина с молчаливой племянницей и ее мужем, грузным, веселым стариком, по возрасту приближавшимся к тетке; и молодой экспедитор с женой, совсем недавно осиротевший. (Славный мальчик, вздыхала Метлицкая, к несчастью, напрочь лишен характера.) Соседством она не тяготилась и впоследствии, когда возникла возможность перебраться в собственное жилье, отказалась самым решительным образом («Нет уж, я из арбатских гераней, пересади — засохну враз»).

Через несколько дней Анна Евгеньевна сообщила, что работа готова. Он явился, она вручила статью и сказала: печатала с удовольствием. Чем несказанно его ублажила. Неравнодушен он был к похвале — свойство, сильно ему навредившее. Анна Евгеньевна предложила присесть («Чашка кофе по моему рецепту») — это значило, что он признан, принят, введен в круг подопечных авторов, среди которых были заметные.

День был жаркий, но в плотно заставленной комнате было тенисто, спасали шторы и северная сторона. Он утонул в вольтеровском кресле с дряхлой, местами сдавшей обивкой, неспешно отхлебывал из чашечки и со вкусом рассказывал о себе — тема эта еще многие годы не теряла для него интереса. В этот идиллический миг и взорвался дверной звонок.

— Ну вот и сама,— сказала Метлицкая, и в этих словах ему послышалась некоторая торжественность. Чуть переваливаясь, прошла в прихожую, открыла дверь, до него долетел сильный и звучный женский голос, напоминавший голос Метлицкой, но вместе с тем от него отличавшийся своей прозрачностью и чистотой. Эта прозрачность в сочетании с отчетливыми низкими нотами сообщала ему особую прелесть. Молодой человек был покорен еще до того, как говорившая вошла в комнату, когда же она явилась стремительно и вместе с тем плавно — непостижимое сочетание! — в душе его что-то оборвалось, взвилось и рухнуло — поминай как звали.

Столько лет он пестовал в своей памяти ее облик, и тот впечатался намертво — хрупкий, тоненький стебелек, чудом удержавшийся в почве, откуда только взялись силенки выстоять и тянуться к небу? Под темными мягкими волосами, стянутыми старомодным узлом, узкое, слегка удлиненное, бледное юное лицо. Глаза мерцали покойно и нежно, не ослепляющее сияние, не солнечный триумфальный блеск, скорее первый прохладный свет на самом исходе летней ночи. Все дышало той голубой свежестью, какая бывает в утренний час, когда глухой боровой дорогой идешь под влажный шелест листвы. И как уцелел этот первоцвет на асфальте, в каменных гнездах дворов, где мало воли и мало неба? Для этого надо и впрямь быть геранью, неприхотливой и неприметной, либо уж розой с ее отважным вызовом и ожиданием восторга. А в ней беззащитно и хрупко все, даже и голос при всей его звучности беззащитен — такая в нем доверительность.

Однако же нет, нет и нет — без города тут бы не обошлось. Тут было нечто сугубо московское, нечто посеянное и взращенное десятилетиями московской жизни, восходившей к рубежу двух веков. Угадывалась длинная и пленительная череда московских дней и ночей, из которых эти десятилетия складывались, семьдесят, восемьдесят, девяносто лет с консерваторскими концертами, с дискуссиями и рефератами, с поисками и обретениями, со снежным и весенним Арбатом, по которому прогуливалась в детском платьице ее бабушка и даже прабабушка, с Иваном Великим и Красной площадью, с ощущением катастрофизма времени, с грозной перекличкой эпох — все это прошлое постепенно должно было войти в настоящее, чтоб жили подобные существа с их обостренной одухотворенностью. Каждое слово, пусть незначащее, каждый непроизвольный жест были полны такой поэзии, что — странное дело! — хотелось плакать. Слушать ее и смотреть на нее — может ли быть высшая радость?

Анна Евгеньевна их познакомила, спросила, не выпьет ли с ними чашечку, но Таня сказала, что очень спешит, забыла нужные документы, сейчас возьмет и бегом обратно, надо успеть до перерыва, через полчаса уйдут на обед. И две минуты спустя умчалась, приветливо помахав ладошкой.

Он призвал на помощь всю свою выдержку, чтобы не броситься вслед за ней, мысленно утешив себя, что это не последняя встреча.

Воображение рисовало набирающее силу общение, они будут становиться все ближе и, кто знает, однажды поймут, что предназначены друг другу. Он-то понял это мгновенно, но неизбежно поймет и она. Как истый южанин, в себя он верил.

Когда он остался вдвоем с ее матерью, он сказал как можно индифферентней:

— Хороша у вас дочь.

Анна Евгеньевна отозвалась:

— Да, она — человек. — Потом улыбнулась: — Голова кругом. Все дома оставила. Ну да можно понять — у нее завтра свадьба.

Он тоже заставил себя улыбнуться.

— Вот оно что... Да, тут растеряешься. Кто же избранник?

— Ее однокурсник. Очень порядочный паренек. Рано, конечно, да ведь любовь...

Он рассудительно согласился:

— Тут уж ничего не попишешь.

— Расстаемся,— сказала Анна Евгеньевна.— Вот решили комнату снять. Разорительно, да им все едино. Счастью свидетели не нужны. Во всяком случае поначалу.

— А после? — спросил он.

— Как у кого. Иной раз и любит себя показать. Вот оно я какое, завидуйте. Чужой интерес его освежает.

— Мудро,— сказал он,— очень мудро.

— Но это — не про Татьяну, нет, — сказала Метлицкая. — Она не тщеславна.— И, помедлив, призналась: — Грустно, мой друг. Нужно учиться жить одной.

Он только вздохнул. Анна Евгеньевна приняла этот вздох за знак участия, благодарно пожала его руку. Но думал он не о ней — о себе. Да ведь не скажешь, что это его — обокрали, ограбили, обездолили. Отняли то, что могло бы стать светом в окне, его вдохновением, острым ежеминутным счастьем. Чем он виновен, что был рожден за тысячи верст, что поздно приехал, что стал архитектором, а не биологом, что старше на два или три года и однокурсником быть не мог? Что этот сосунок в ней увидел, кроме фигурки и милых глаз? Что мог в ней понять? Ничего решительно. Просто из тех, кто был поблизости, она выделялась — вот он и выбрал. Ему не надо было для этого являться издалека в Москву, петлять по улицам и переулкам и ждать прикосновенья судьбы — все было за него! Для него!

При этом не приходило в голову, что нечто зависело и от Тани, выбор сделала не одна сторона. Какая уж тут могла быть логика!

Эта первая встреча оказалась последней, больше он Тани так и не видел и, надо сказать, сам постарался, чтобы этого не случилось. Сначала такое поведение диктовали отчаяние и страх за себя, со временем, когда все притупилось, — страх, что она могла измениться, нежданно-негаданно предстать иной.

Но за всеми ступенями ее жизни он следил внимательно и ревниво и, похоже, был в курсе всех событий. Он знал, что она родила сына, потом — дочь, знал, что поэтому свой диплом получила с существенным опозданием. Муж оказался способным малым, процветал, продвинулся в своем деле, как говорили, семья удалась. Дождались квартиры, поменяли на бо́льшую, перебрались в отдаленный район. Тем лучше, меньше возможностей встретиться, хотя он не был вполне уверен, что, встретив, сразу ее бы узнал. С Анной Евгеньевной виделся редко, больше звонил по телефону. Она теперь почти не печатала, много времени проводила у дочери, надо было возиться с внуками.

Он как-то спросил: не проще ль жить вместе?

Она ответила:

— Нет, мой друг. Старики не должны жить с молодыми.

Он сразу же вспомнил поездку к деду, и свой вопрос, и дедов ответ. Те же слова, то же суровое и, видимо, выношенное убеждение. Понять бы, какая тайна тут скрыта, как возникает этот рубеж, разделяющий с такой беспощадностью самые близкие существа. В чем смысл этой несовместимости, а он ведь есть, не может не быть. Должно быть какое-то обоснование этой добровольной разлуке!

Однажды Метлицкая позвонила. Ударила некая круглая дата («Какая, не хочу говорить»), и он был зван на праздничный ужин. Владимир Сергеевич уклонился, сослался на неотложное дело, отправил старухе корзину цветов величиной с треть ее комнаты. Таким образом он вновь избежал возможности увидеть Татьяну.

Настали годы его процветания. Он много работал и много ездил на свои, как он частенько пошучивал, архитектурные премьеры. И не диво ли, возвращаясь в Москву, испытывал странное волнение: казалось, что возвращается к ней. Все ближе и ближе заветный город, в котором живет его сокровище. Там ее дом, там эти улицы ее отлаженных жизнью маршрутов. В эти минуты он не думал ни о жене, ни о Веронике, как позже не думал об Ольге Владимировне. Словно возник почти обязательный, хотя непонятный ритуал. Но тут не было ничего ритуального. Просто замирала душа.

Анна Евгеньевна тихо скончалась, о чем его известила соседка, та, что была женой старика, вдовая уже с давних пор. Ну вот, так и не спросил у покойницы, научилась ли она жить одна. А дед научился? Гадай на гуще. Сам теперь дед. Спроси у себя.

Он сказал, что, конечно, приедет на похороны, но не приехал, а ведь хотел. Все оттого же — боялся встречи.

Казалось бы, что со смертью Метлицкой окончательно прервутся все нити, и все же он находил каналы — нет-нет что-то и узнавал. Таня недавно стала бабушкой, и сын и дочь завели свои семьи, им, естественно, помогли отделиться. («Старики не должны жить с молодыми».) Правда, это еще не старость — она только достигла пенсионного возраста. Но муж ее неожиданно сдал — доработался до сердечного спазма, а возможно, чего и похуже. Таня ночевала в палате, просиживала с ним сутки за сутками, выходила, увезла домой, но, как рассказывал общий знакомый, история эта ее подкосила, не сразу узнаешь, другой человек.

Он подумал, что уже много лет не смог бы ее узнать при встрече, теперь, само собой, и подавно. Неизвестная пожилая женщина, бабушка, преданная жена, спасшая своего сердечника, должно быть, увядшая и седая, должно быть, грузная, как ее мать (ему припомнилось, как Анна Евгеньевна переваливалась при ходьбе),— какое имеет она отношение к той, которую он увидел однажды в летний московский день? Сколько лет прошло? Уже тридцать пять. Сколько минуло их с его гостевания в этом городе, где он сегодня блуждает? Пятьдесят. И таких годовщин — в преизбытке. Столько-то лет одному испытанию. Столько-то — другому. И третьему. Несть числа. Один юбилей за другим.

«Но как она была хороша! Какая музыка в ней звучала! В этой почти невесомой струнке. Откуда только взялась эта силища? И спасала и берегла. Кто сказал, что чудес не бывает? Бывает, да не про нашу честь. Про нашу честь — звонкая жесть. Мне, счастливчику, давно бы понять. И успокойся: в конце концов годы делают свое дело. Перемелют, перемолотят. Только как позабыть этот тихий свет первой зари из распахнутых глаз? Мифотворчество, вы скажете мне? Ваше право. Но сколько мифов, скажу я, со временем переросли в реалии. А было ли то, что со мной и во мне прожило тридцатипятилетнюю жизнь, придуманным или единственно подлинным — судить об этом мне, а не вам. Как говорится, моя печаль».

— Метр, пришли,— с театральной торжественностью провозгласил брюнет.— Мы у цели. Мечникова, сорок один.

Дом ни о чем ему не сказал. Точно так же безмолвствовала и улица. Еще одна — из многих, им пройденных. Еще один старый дом с подворотней. Он неуверенно остановился.

— Войдем? — предложил кто-то из спутников.

— Рискнем,— отозвался он с комическим вздохом.

Но стоило только войти во двор, и все магически изменилось. Все вспомнилось прежде, чем он увидел. Он знал, что будет уступ в углу, в котором сомкнувшиеся окна были сходны с развернутой книгой в ее вертикальном положении, и одно из них было его окно. Знал он и теснину двора, каким видел его с утра до вечера, притулившись к своему подоконнику, все долгих три дня налетевшей хвори. На нем он надписывал пакетики с красками — «свинцовая», «молочная», «кубовая». О боги, что значило это слово?!

И тут же понял — не вспомнил, а понял,— что его так безгранично смешило. Во дворе висела доска, на ней крупными буквами были начертаны фамилии всех проживавших в доме. Одна приводила его поистине в экстатическое состояние. Двойная фамилия Турган-Баркан. Когда он томился со своей крапивницей, дед, зная уже, чем отвлечь и развлечь, приплясывая, напевал ему песенку, которую тут же и сочинил:

Турган-Баркан
Черный таракан...

Он явственно видел лицо деда, круглые темные глаза, хранившие странное выражение некой, как понял он годы спустя, отрешенности — даже и в те минуты, когда дед рассказывал что-то забавное.

Турган-Баркан
Попал в аркан,
Потом — в капкан,
Потом — в стакан...

Он оглянулся и сразу нашел в самом начале подворотни ту же доску со списком жильцов и среди прочих дважды повторенную восхитительную фамилию — Турган-Баркан С. Я., Турган-Баркан П. Я. И как на экране из белых строчек на черной доске вдруг возникла хохочущая мордашка, в первый миг он не понял — чья.

Он посмотрел на юных приятелей и попробовал усмехнуться:

— Тому назад пятьдесят лет с хвостиком я прожил здесь шесть или семь дней.

Они понимающе помолчали. Потом кто-то из них сказал:

— Должно быть, вы себя сейчас чувствуете, словно только что родились...

Он медленно покачал головой:

— Скорей — в пренатальной ситуации.

— Что это значит?

— В предродовой. Трудно объяснить. И не нужно. Одним словом, где-то там, в неизвестности. Такое бывает, когда долго живешь. Есть одно мудрое наблюдение...— И боясь показаться слишком серьезным, произнес с подчеркнутой высокопарностью: — «Не трепещи, коль близок твой черед. Не нужно ни надежд, ни утешенья. Ты хочешь знать, что после смерти ждет? Представь себя до своего рожденья...»

— Очень мило. А кто же это?

— Классик. Забудьте. Не забивайте голову. Все это только один из снов, а Митчисон, очень серьезный ученый, говорит, что сны надо забывать. Поскольку у них своя четкая функция — очищать мозг, разрушать ненужные связи.

Архитекторы мгновенно заспорили, а он подумал, что, уважая науку, не мог бы последовать тем не менее этой разумной рекомендации. Слишком ясно он помнит все свои сны. Пусть сначала ему объяснят, отчего он так хорошо их помнит.

И снова — из далекой пучины — вынырнуло былое видение: путник, спасающийся от погони, просит укрыть его за стенами крепости. Почему оно следует за ним неотступно столько лет, точно верный пес? Должно быть, нужно искать объяснения не у профессоров — у поэта: «Мы сделаны из вещества того же, что наши сны». Похоже, что так.

Он вышел сквозь подворотню на улицу. Солнце, прятавшееся в пещере двора, радостно хлынуло ему навстречу, будто ждало и заждалось.

Брюнет, который был реактивней других, сказал, видимо, что-то поняв:

— Так или иначе, метр, вы счастливы. Я думаю даже, всегда были счастливы. Теперь — тем более. Вы в расцвете сил. И сделаете еще много удачного.

Он пожал плечами. Все, что ждет его, можно, в общем, легко предсказать, не обладая большой фантазией. Даже живым воображением.

— Не знаю,— сказал он вслух,— в мои годы быть слишком счастливым — дурной тон. Неподобающее легкомыслие. Точно так же, как строить планы и надеяться на большую удачу. Все это хорошо в сорок лет. Единственное, что мне приличествует, — равновесие. На другое нет времени.

Он сказал это так убежденно, что они не решились ему возразить. И шли за ним в некотором отдалении.

«Все постоянно считали удачником,— усмехнулся он про себя.— В сущности, почему бы и нет? Ежели обозреть всю дорожку — в целом вполне пристойный сюжет. Своя порция потрясений и бед, своя порция радостей и удач, своя порция любовных судорог. Пора сматываться, чтобы все не испортить безобразным концом — какой-нибудь опухолью или того хуже — неподвижностью».

Для него, для ветерана жизни, думать о неизбежном финише было уже обычным делом. Мы выходим в финал, а он входит в быт — как часть быта его и надо рассматривать. Трезво, спокойно, по-деловому. Равновесие. Он нашел слово.

Но все в нем люто сопротивлялось этим рассудительным мыслям. Было самому удивительно: держится этаким бодрячком и достает сил улыбаться. А что еще остается делать? Не завопить же дурным голосом: «Отдайте мне эти пятьдесят три года! Это угловое окно! Отдайте все, что мне предстояло!» С блеском бы закруглил этот день. Сильное бы произвел впечатление. Нет, сколько ни брани лицедейство, оно во благо — себе и другим.

— Осторожно! Не надо на красный свет.

Он послушно остановился. И вдруг, как в стекле, увидел лицо. Он всмотрелся в него, в незнакомое, новое, хотя, бреясь, видел каждое утро — стянутое резкими складками. И они помогли ему воскресить то, другое, сморщенное, все — с кулачок, глядевшее когда-то из зеркала. Он узнал и вскрикнул беззвучно и страстно, словно его могли услышать по ту сторону бездны длиной в полвека, вскрикнул, негодуя и жалуясь, содрогаясь от несправедливости: «Дед, я стал старик!»

ЕВГЕНИЙ ЕВТУШЕНКО

★

СУД

5 марта 1953 года

На этой Трубной, пенящейся, страшной,
где стиснули людей грузовики,
за жизнь дрались, как будто в рукопашной,
и под ногами гибли старики.

Хрустели позвонки под каблуками.
Прозрачный сквер лежал от нас правей,
и на дыханье, ставшем облаками,
качались тени мартовских ветвей.

Напраслиной вождя не обессудим,
но суд произошел в день похорон,
когда шли люди к Сталину по людям,
а их учил ходить по людям — он.

1953.

Особая душа

Нас на шхуне двадцать восемь душ.
Мы на двадцать восемь делим куш,
а добычи нету — держим шик
и на двадцать восемь делим пшик.

Только между нами, кореша,
есть одна особая душа.
Рассказал нам знающий еврей:
парень был в охране лагерей.

Среди нас ни бога, ни судьи.
Он теперь матрос второй статьи.
Так же, как и мы, белуху бьет.
Так же, как и мы, бывает, пьет.

Как и все, имеет сундучок,
где носки, бельишко, табачок,
но у Пьехи — миль пардон!— Эдит
по игле в любом глазу сидит.

Шутка с фотографией странна,
даже жутковатенька она.
Но ведь не живая, а портрет.
Как ни уколи, а боли нет.

Может, парень и не виноват.
Просто дали в руки автомат,
вот он там, на вышке, и стоял
и, быть может, даже не стрелял.

А быть может, он исподтишка
хлеб совал упавшему ЗК,
не пуская в дело свой приклад...
И такие были, говорят.

Кто узнает — как он там служил...
Вроде бы наград не заслужил,
но чертой невидимою он
от команды нашей отделен.

Как-то были мы навеселе,
ну а он стаканом на столе
вдруг накрыл беднягу прусака,
усмехнувшись криво: «Стой, ЗК!»

Приподнялся над столом стакан.
Побежал счастливый таракан.
Но стакан был цепок — не зевал,—
он то отпускал, то накрывал.

Парень тем стаканом хлоп да хлоп!—
так, что вдруг прошел по всем озноб,
и, прервав нечистый странный смех,
вырвал у него стакан стармех.

Парень заюлил и зашустрил:
«Что вы, братцы... Я же так, шутил...»
Но молчали хмуро кореша.
Что сказать? Особая душа...

1964.

Евдокия Лопухина

Ты ли против царя заговорщица,
Евдокия Лопухина?
Ты хотела себя завороженно
протянуть ему в лапушках: «На!»

Ты хотела бы в дождик реденький
с государем ходить по грибы
и не Питером — просто Петенькой
называть, дозволяя грехи.

Ты дрожала, как будто на мостике,
над пучиною срамоты.
Больше, чем к распроклятой
Монсихе,
ревновала к империи ты.

Эту ревность быстрехонько
вынюхали,
зубы желтенькие вострят,
словно черные крысы, инокини,
прогрызая ботфорты царя.

Сказки ревности бабьей не
сказываются,
а вынашиваются, как месть.
Если бабы в политику
ввязываются,
значит, бабья обиженность есть.

Ох как ты подзапуталась,
Дунечка,
в заточенье оставшись ни с чем.
В политесе была ты — дурочка,
а в политике — и совсем.

Ты свой крик затыкала подушкою,
билась об стену головой.
Разве заговор — бабья падучая?
Разве заговор — бабий вой?

Ты до скрежета до зубовного
доходила во вдовьем аду:
«Даже Монсиха полюбовника
завела — ну и я заведу».

Без смущения благолепного,
от отчаянья став чумной,
ты шептала майору Глебову
во грехе:
«Государь ты мой...»

Ну какая же ты заговорщица,
так ища императорских уст,
распустешная,
в горе корчащаяся
и бессмысленно верная Русь?

1976.

ГЕНРИХ БЁЛЛЬ

★

ЖЕНЩИНЫ У БЕРЕГА РЕЙНА

Роман в диалогах и монологах

Моим единомышленникам,
где бы они ни были.

Поскольку все в этом романе вымысел, кроме места действия, в обычных оговорках нет необходимости. Место же оскорбить нельзя.

Г. Б.

О ДЕЙСТВУЮЩИХ ЛИЦАХ

Внутренний мир действующих лиц, их мысли, жизненные пути, поступки выявляются в их разговорах и размышлениях. Об их внешнем виде могут возникнуть неверные представления, поэтому следует заранее уточнить некоторые детали.

Обе столь различные по своему характеру персоны, как Пауль Кундт и граф Генрих фон Крейль, ровесники, каждому по семьдесят, одинакового роста: примерно метр семьдесят три — семьдесят четыре. Оба седые, без малейшего признака лысины; оба одеты изысканно, в жилетках и т. д.; у обоих, что называется, ухоженный вид. Если поставить их рядом и взглянуть издали (или хотя бы сзади), они похожи до неузнаваемости, почти взаимозаменимы. Напротив, при близком рассмотрении поражаешься, как мало они походят друг на друга. Крейль худой, болезненный, но не больной в медицинском смысле слова, в том числе и в психиатрическом. А у Кундта круглое лицо, людей этого типа обычно называют полными жизни, он, как говорится, пышет здоровьем, и все же при внимательном наблюдении неожиданно замечаешь у него некоторую тонкость чувств.

Такая личность, как Губка, появляющийся ненадолго лишь один раз и действующий в остальном за кулисами, получил это прозвище отнюдь не из-за рыхлости. Он высок, ростом метр восемьдесят с небольшим, одевается, как Кундт и Крейль, и выглядит, несмотря на возраст (шестьдесят восемь), почти спортивно. Происхождение его неясно, еще никто и никогда не видел его документы. Возможно, он швейцарец, немец или австриец, а то и венгр или чех, говорящий по-немецки. Своим прозвищем Губка обязан тому обстоятельству, что он высасывает и впитывает деньги. Он упорно распространяет слух, что принадлежит к высшей знати.

Возраст супружеской пары Вублер ясен из их биографии. Группирующимся вокруг них и Кундта мужчинам — Хальберкамму, Блаукремеру, Бингерле — от пятидесяти четырех до пятидесяти девяти лет. Литературоведу Тухедеру (он лишь упомянут в романе) пятьдесят семь лет. Все они одеты прилично (в жилетках, с галстуками и т. п.), однако же не так роскошно, как Кундт, Крейль и Губка. Некоторые легкие погрешности — в узле галстука, сорте обуви и т. д.— заметны у Вублера и Бингерле.

Неброская элегантность отличает шестидесятишестилетнего банкира Кренгеля, причем элегантность его вполне естественная, чего не скажешь о Кундте, Губке и даже

© Перевод на русский язык «Новый мир».

Крейле, которые одеваются чуточку слишком демонстративно. На Кренгеле все сидит как влитое, более того: можно подумать, он так и родился. Он единственный, кто похож на аристократа, хотя и не является таковым.

В эту группу пятидесяти-семидесятилетних входит и Эрнст Гробш, которому сорок четыре года; он носит костюмы среднего качества, и хотя его нельзя назвать неухоженным, заметно, что одежда ему безразлична.

Карлу фон Крейлю тридцать восемь, он совсем другого склада, чем Гробш. Между ними всего шесть лет разницы, но кажется, что они люди разных поколений. Для Карла фон Крейля одежда тоже не первостепенна, но на свой, особый, неряшливо-независимый лад. На приемах если он не появляется в свитере и вельветовых брюках, то выглядит в своем небрежно-будничном костюме каким-то ряженым.

Самому молодому из мужчин — увеселителю Эберхарду Кольде — тридцать лет; он хочет, чтобы его принимали за врача, что ему не удается. Это красивый, симпатичный парень, его попытки выглядеть серьезным тщетны.

О нарядах таких дам, как Вублер и Крейль-Плинт, в тексте сказано достаточно. Эрике Вублер шестьдесят два, Еве Крейль-Плинт — тридцать шесть; Элизабет Блаукремер (ее называют Блаукремерша-первая) пятьдесят пять лет, это довольно высокая блондинка, нельзя сказать, что не следит за собой, и все же она в некотором смысле «не вполне одета»: проявляя более чем просто небрежность, всегда забывает застегнуть какую-нибудь пуговицу или затянуть до конца «молнию». Она полнее, чем кажется с первого взгляда, и способна надеть туфли из разных пар.

Врачу, госпоже Думплер, под сорок, неприметная внешность.

Адельхайд Капспетер ровесница Евы Крейль-Плинт, одета подчеркнуто просто.

Катарине Рихтер тридцать, занимается домашним хозяйством без фартука, обладает каким-то необъяснимым шиком, который придает ей сходство с Евой Крейль-Плинт. Обе могли бы быть дикторшами на телевидении.

Труда, Блаукремерша-вторая, относится к женщинам, заблуждающимся (или позволяющим вводить себя в заблуждение) относительно своей моложавости. Ей сорок два, но одевается она как тридцатилетняя и подчиняется любому поветрию моды, отчего выглядит нарочито вульгарно. Она не уразумела разницы между декольте и «выше пояса без» и при ее пышном бюсте выступает в таком виде, который иначе как неуместным не назовешь.

Самая молодая из женщин Лора Шмитц, двадцать лет; ничего общего с панками, но одежда и прическа подчеркнуто модные. Могла бы сойти за студентку, банковскую служащую или продавщицу. Она была бы на месте в любом сословном или профессиональном окружении, даже среди высоких духовных особ.

Глава 1

Просторная веранда богатой виллы, построенной в начале столетия между Бонном и Бад-Годесбергом, с видом на противоположный берег Рейна, где за поименным леском и кустарником виднеются большие виллы. Конец лета, раннее утро. За столом, накрытым на две персоны, сидит в халате Эрика Вублер и читает какие-то рукописные листки, тут же лежит газета. Входит Катарина с кофейником, ставит его на стол.

Эрика Вублер *(подняв глаза).* Спасибо. Мне яйцо не надо. Что делает мой муж? Он встал?

Катарина Рихтер. Пьет кофе в ванне. Господин... ваш муж сказал, чтобы я достала из шкафа ваш серый костюм и еще раз выгладила... Он считает, что к костюму следует надеть кораллы.

Эрика *(смеется).* Вкус у него есть, и недурной Если вам потребуется совет насчет одежды... *(Катарина направляется к двери.)* Подождите минутку. Оставьте костюм в шкафу. Сегодня он не понадобится.

Катарина *(медля).* Торжественная месса в кафедральном соборе. По случаю годовщины смерти Эртфлера-Блюма...

Эрика *(складывает листки).* Я не пойду на мессу Моему мужу не говорите. *(Кладет листки на стол.)* Я только что прочла вашу биографию. Конечно, мне не полежено заглядывать в ваше досье, но я его раздобыла... Хочу знать, кто меня окружает. Поскольку вы нанялись к нам, то подлежите проверке из соображений безопасности. Надеюсь, это понятно?

К а т а р и н а. Разумеется. В таком доме, где... *(Умолкает.)*

Э р и к а. Где бывает столько людей и ведется столько разговоров. Вероятно, вам известно, что сотрудники ведомства безопасности не советовали брать вас на работу?

К а т а р и н а. Еще бы, воображаю. Я *(нерешительно)* ...очень благодарна вам, что вы, несмотря на это, взяли меня. И от имени Карла спасибо. Наверное, этим я обязана ему? Или нет?

Э р и к а *(пристально смотрит на нее).* Да, ему тоже. Но и другим — моему мужу, например.

К а т а р и н а. А вам?

Э р и к а *(кивает).* Немножко. Не представляю себе, как бы я могла не доверять человеку, с которым Карл живет много лет. Впрочем *(берет листки, но тут же кладет обратно),* я не нашла в вашем досье ничего такого, что возбудило бы у меня подозрение. Вы опытная официантка, работали также горничной в отелях... окончили вечернюю школу, учились в университете, у вас есть ребенок... от Карла?

К а т а р и н а. Да. Ему четыре годика, мы назвали его Генрихом в честь отца Карла.

Э р и к а *(смеется).* Я прочитала об этом в досье... Старомодное имя, ну кто сейчас назовет мальчика Генрихом! *(Щелкает пальцами по листкам.)* Принимали участие в нескольких демонстрациях.

К а т а р и н а. Совершила кражу...

Э р и к а *(небрежно).* Да, читала. Взяли деньги, которые, по вашему мнению, принадлежали вам. Возможно, они действительно вам полагались.

К а т а р и н а. Полагались. За сверхурочные. Меня обсчитали.

Э р и к а. Я тоже воровала. Во время войны. Где только могла. Как квалифицированная продавщица обуви я отбывала трудовую повинность при вермахте. Ботинки, сапоги, кожевенные товары... Ни разу не попалась, а дело могло кончиться плохо: саботаж, кража военного имущества. Голодная была, муж тоже — когда приезжал в отпуск. И он воровал. *(Тихо улыбаясь.)* Только не болтайте об этом. Таскала я и после войны, когда работала у американцев в офицерском клубе. Считала, что могу себе позволить — сигареты, шоколад,— старалась для мужа, он тогда учился, голодал и не мог без курева... Ладно, важнее кое-что другое. Вы подслушиваете?

К а т а р и н а. Нет, но у меня есть уши, и они слышат.

Э р и к а. И болтаете об этом?

К а т а р и н а *(в сильном смущении).* От Карла у меня нет секретов... *(Качает головой. Эрика испуганно смотрит на нее.)* Нет, нет — насчет политики ни слова. Он очень привязан к вам и к господину Вублеру, ему только хочется знать, как у вас идут дела.

Э р и к а *(вздыхает).* Ну и как же они идут?

К а т а р и н а *(улыбается).* Думаю, хорошо. *(Показывает на газету.)* То, что там пишут, он, разумеется, читает, и мы это обсуждаем.

Э р и к а. Пишут, что в деле Бингерле моего мужа упрекнуть не в чем. Но в газете есть еще кое-что, и это может иметь отношение к Карлу. *(Катарина молчит.)* Вы не догадываетесь, о чем речь?

К а т а р и н а. Нет.

Э р и к а. Прошлой ночью кто-то разобрал рояль, на котором якобы играл Бетховен, разобрал аккуратнейшим образом и сложил все, как дрова у камина. Это уже третий такой случай. На сей раз у Капспетера. Вы знаете...

К а т а р и н а. Да, читала в газете. У Капспетеров я часто прислуживаю гостям. Вчера тоже.

Э р и к а *(хлопает себя по лбу).* Ах вот почему мне так знакомо ваше лицо! Вы работали также у Килианов, не правда ли?

К а т а р и н а. И Хойльбуков обслуживала, я там видела вас.

Э р и к а. А вам известно, что Карл — специалист по разрубке роялей?

К а т а р и н а. Да, он мне рассказывал, как семь лет назад изрубил свой рояль и сжег в камине. От него ушла жена... и после этого вы с ним больше не встречались.

Э р и к а. Он потерял тогда не только кое-кого из друзей и приятелей, но и многих, кто ему просто симпатизировал. Я стала его бояться — он проделал эту «операцию» так хладнокровно, ну совершенно невозмутимо и к тому же упорно, педантично... Помню, как пахло горелым лаком... Только вот что странно — колесики он сохранил.

К а т а р и н а. Вы все еще его боитесь?

Э р и к а. Его — нет. Боюсь за него, все время. Я люблю его как сына, которого у меня никогда не было. *(Волнуясь.)* Даже готова верить ему... но пять лет назад он рассек рояль Бранзена, год спустя рояль Флориана, теперь Капспетера.

К а т а р и н а. Да, всякий раз подозревают его, и всякий раз оказывается, что он тут ни при чем.

Э р и к а. Он рассказывал вам об истории в Рио?

К а т а р и н а. Да, рассказывал. Я знаю, что только благодаря вам срок наказания был невелик и осуждение условно. К этому делу *(она показывает на газету)* он непричастен, бранзенского рояля он тоже не касался.

Э р и к а. Надеюсь. Я по-прежнему его люблю, даже если... *(Качает головой.)* Куда уж дальше — собственная жена не поняла его. А вам известно, чем он вообще занимается, как зарабатывает деньги?

К а т а р и н а. Нет. Иногда он надолго уезжает, возвращается с деньгами, но я не знаю, как он их заработал. Каждый раз отшучивается, во-первых, говорит, это секрет, а во-вторых, забава. Секретная забава. Мы живем очень экономно.

Э р и к а *(показывает на досье).* И собираетесь уехать отсюда?

К а т а р и н а. Я-то да, а он нет. *(Смотрит в пространство перед собой.)* Уехала бы, если б только знала куда, но без него — нет. Может, удастся его уговорить. *(Прислушивается.)* Ваш муж идет, пойду принесу яйцо. *(Уходит.)*

Входит Г е р м а н В у б л е р. На нем праздничный черный костюм и прочее. Он обнимает жену, целует ее в щеку, вешает пиджак на спинку стула, садится.

Г е р м а н В у б л е р. Плохо спала?

Э р и к а. Как и ты, глаз не сомкнула.

Катарина приносит яйцо, кладет его перед Вублером, уходит.

Г е р м а н. Ты, наверное, опять подслушивала и от досады, с перепугу разозлилась. Не подслушивай больше, Эрика...

Э р и к а. Конечно, подслушивала — как всегда, когда вы у нас собираетесь. Сам знаешь: я подслушиваю уже тридцать шесть лет. В Дирвангене подслушивала, дымоход там шел из кухни через нашу маленькую комнату, мне было достаточно открыть вьюшку; в Гульсбольценхайме я подслушивала с балкона, как здесь. *(Показывает пальцем наверх.)* Ты это знаешь и хочешь, чтобы я тоже знала — ночью здесь *(показывает на свой стул)* сидел некто...

Г е р м а н *(испуганно).* Только без имен, Эрика, только без имен.

Э р и к а *(смеется).* Теперь их уже трое, чьи имена нельзя называть. Давай лучше пронумеруем их: номер Один — это, ну сам знаешь, номер Два — тот, кто, ну сам знаешь, и тот, который сидел здесь,— номер Три.

Г е р м а н. Ты усвоила, что политика — дело грязное.

Э р и к а. Что вовсе не значит, будто любая грязь — политика.

Г е р м а н *(с удивлением смотрит на нее).* До сих пор ты вела себя умно, не судачила и не болтала, уж тем более перед журналистами, как это делала Элизабет Блаукремер, и не ходила, как она, по кафе и ресторанам, будоража людей.

Э р и к а. Она не только подслушивала, но читала подшивки документов, делала записи. И того, кто был здесь прошлой ночью,— номер Три, его она тоже видела. Я не разглядела его лица, зато узнала по голосу. Это был голос, перед которым мы все дрожали, голос, который гнал всех вас, солдат, на смерть, и нас тоже. Этот голос на моей веранде и смех этого человека...

Г е р м а н *(оставляет яйцо, которое собирался съесть, поднимается, идет к Эрике, обнимает ее, говорит тихо).* Умоляю тебя, перестань, ты ошиблась.

Э р и к а *(высвобождается из его объятий).* Жуткий голос. Голос палача — его подручные накинули бы тебе петлю на шею, если б, когда они рыскали вокруг, я не спрятала тебя в чулане под мешками.

Г е р м а н *(еще боязливее).* Тише, не надо так громко. *(Неуверенно.)* Ты заблуждаешься. *(В голосе его слышится угроза.)* Его тоже якобы видела и слышала Элизабет Блаукремер, но она ничего не смогла доказать и только всех взбудоражила.

Э р и к а. Пока он не упрятал ее в сумасшедший дом. Да, доказать она не смогла ничего и тем не менее была права. Ты знаешь это лучше меня: не все, что нельзя доказать, ложно. У жены Плотгера тоже не нашлись доказательства, она помешалась на том, что не сумела доказать правду, и покончила с собой... Не беспокойся, я не

сойду с ума и не стану болтать именно потому, что ничего не могу доказать. Все слишком хорошо понимают: чего только не способны вообразить бабы-истерички, обманутые, неудовлетворенные, подвыпьют немного, и начинаются галлюцинации. Нет, болтать я не собираюсь, но что знаю, то знаю, что слышала, то слышала. И тебе хорошо известно, что Элизабет Блаукремер не лгала.

Герман. У нее нет ни капельки воображения, иначе она не лезла бы все время со своей правдой... А ты, после того как услышала, не смогла заснуть?

Эрика. Я прекрасно понимаю, что это — не доказательство. *(Твердым тоном.)* Не впутывайся в это дело, Герман. *(Очень резко.)* Хватит, Герман, хватит! Что вы намерены делать с Бингерле? Эту фамилию, надеюсь, я могу произнести — она же напечатана в газетах,— или следует сказать: номер Четыре, нет, номером Четыре буду именовать доброго боженьку, которого вы так любите поминать. Значит, номер Четыре — это господь бог, а то, что у него есть еще несколько имен, вы забыли.

Герман. Эрика, так ты еще ни разу не разговаривала — за все сорок лет.

Эрика. Разговаривала, Герман, почти сорок лет назад, когда ты дезертировал из вермахта великой Германии и сидел, скрючившись, среди швабр и веников в чулане, а я набросила на тебя порожний мешок из-под картошки... вот тогда ты слышал, как я разговаривала с цепными псами, это было дня через три после самоубийства Гитлера. Псы были посланцами номера Три, которого они называли кровопийцей И ты слышал, когда я говорила с Кундтом, влепила затрещину Блаукремеру и выгнала из дома Хальберкамма. Не так уж у меня изменился голос, как тебе показалось. И когда я врезала по морде Губке, ты тоже слышал мой новый голос.

Герман. Это было давно, и, надеюсь, ты не станешь рассказывать о моем дезертирстве.

Эрика *(смеется).* Нет, ни министерству обороны, ни генералам, к которым нас иногда приглашают, сообщать не стану, но тебе, тебе напомню. И еще был случай, когда ты наверняка слышал мой новый голос: тогда я просила тебя не произносить в присутствии моего отца имени Кундта. Припоминаешь?

Герман. Твой отец был фанатиком, он...

Эрика. Да, был. Он ненавидел Кундта, и когда я наливала отцу кофе, то клялась, что кофе и пирожные куплены не на деньги Кундта, а на твои адвокатские гонорары. Отец предпочел бы умереть с голоду, чем взять кусок хлеба из рук Кундта, а поголодать ему довелось немало. Итак, повторяю: довольно, Герман, хватит.

Герман. С каких пор ты питаешь симпатию к Бингерле? Кстати, у нас о нем говорят в среднем роде — оно!

Эрика. Мне он не нравится и никогда не нравился, и я, как любой из вас, могла бы предвидеть, что он попытается вас надуть. Нет, мне было не по себе от смеха Блаукремера, когда он говорил о Бингерле, а уж когда засмеялся тот, номер Три... Меня всякий раз в дрожь бросает, когда хохочет Блаукремер, а тут еще этот...

Герман *(взволнованно, умоляющим голосом).* Не подслушивай больше, Эрика, прошу тебя, не надо, вспомни Элизабет Блаукремер.

Эрика *(обнимает его за плечи).* Я дрожала, пока они не убрались — Хальберкамм, Блаукремер, Кундт и... номер Три... Все были пьяные, шатались и гоготали. А ты сидел один, молчаливый, хмельной.

Герман. Что ж ты не спустилась ко мне? Я думал, ты спишь, не хотел тебя будить.

Эрика. Будить? Я лежала не смыкая глаз, пока не услышала, как пришла Катарина и из кухни донесся запах кофе. Наконец-то есть кому сварить кофе, подумала я, да пусть она трижды коммунистка, зато кофе варить умеет.

Герман. Вряд ли она коммунистка, но что-то с ней неладно... одно время собиралась эмигрировать на Кубу. Карл помешал ей.

Эрика. Она жена Карла — и этого с меня достаточно. Ты вот слишком часто напоминаешь мне об Элизабет Блаукремер. Я навещала ее дважды, третий раз не пойду. Мне не по себе в таких психушках, слишком уж они изысканные — этакая элегантная помесь санатория с шикарным отелем. Там одни женщины, очень богатые женщины, красивые тряпки, безделушки. Там, говорят, подправляют воспоминания. Значит, вот ты чем грозишь мне, хочешь меня туда отправить?

Герман *(в сильном испуге).* Что ты, я никогда тебя туда не отправлю, никогда...

Эрика. Ну, не ты, так другой. Может, Кундт, или Блаукремер, или номер Три. Я его не успела толком разглядеть, пока он раскуривал трубку: седой, породистый,

со старомодным шармом, как у большинства ныне здравствующих убийц. Я же еще не ослепла и не оглохла и могу теплым летним вечером посидеть у себя на балконе, пригубить винца и полюбоваться Рейном... как он серебрится! Зачем вы приходите сюда? Почему не собираетесь в каком-нибудь из ваших «домов» или «обществ»? В Йоханнесхаузе или в Эдельвейсе? Я знаю, Герман, то, чего не знаешь ты: Кундт, Блаукремер и Хальберкамм х о т я т, чтобы я подслушивала. Это изощренное издевательство — мол, валяй слушай, но трепаться не смей. Все-таки я единственная женщина, которая не досталась Кундту, товар, который Блаукремер не сумел, так сказать, ему поставить. А ведь я не какая-нибудь банкирская дочка и не дворянка, а всего-навсего дочь мелкого деревенского лавочника, щепетильного до фанатизма: имея продовольственную лавку, он жил на продуктовую карточку и не брал ни грамма больше, чем ему полагалось. Фанатик справедливости, ну как его иначе назовешь? Хальберкамм, конечно, скорчился бы от смеха. Да еще, к несчастью, благочестивый католик. Знаешь, почему мой брат пошел добровольцем в армию? Он надеялся, что наестся там досыта... совсем ведь был мальчишка... отец не раз ловил его за руку, когда он таскал по кусочку колбасу, хлеб, масло... практически отец выжил его из дома. Потом этого мальчика убили в Нормандии. Я вспоминаю его каждый день, сегодня ночью тоже думала о нем, а внизу, подо мной, сидел этот кровопийца, седой, породистый, с большой пенсией, и надрывался от смеха, когда речь заходила о Бингерле. *(Герман страдальчески смотрит на жену.)* Ты ведь знал, что Кундт увивался за мной с самого начала, еще в Дирвангене? Знал?

Г е р м а н *(вздохнув, кивает).* Да, но я всегда доверял тебе, иначе...

Э р и к а. Что иначе?

Г е р м а н. Задушил бы его.

Э р и к а. Пожалуй, это надо было сделать. Не из-за меня. Он частенько приставал ко мне. Последний раз это было пятнадцать лет назад, в Йоханнесхаузе, у озера, вероятно, я была на очереди среди тех, с кем он еще не переспал. *(Тише.)* Был туман. Конец сентября, прохладно, только рассвело, я проснулась, когда ты встал, пошла на кухню, сварила кофе и опять улеглась в постель. Лежала у открытого окна и думала. Вспоминала отца, брата, монахинь, у которых училась в школе, я их любила и люблю до сих пор, думала о маме, ах, и, конечно, о нас с тобой... а потом увидела вас. У меня же есть не только уши, Герман, но и глаза. Я видела, как вы поехали топить документы по делу Клоссова. *(Вублер обалдело смотрит на жену.)* Значит, ты не знал, что мне это известно? Увидела, как вы отправились на лодке, будто на рыбалку, взяли кучу снастей да еще маски, свинцовые пояса, и подумала: чего это они в такую рань и холодину нырять вздумали? А потом заметила два матросских мешка, в которые, наверное, запихали клоссовские бумаги, ведь с тех пор они бесследно исчезли — даже полиции ничего не удалось найти. Вернулись вы без мешков, без свинцовых поясов и не поймали ничего. Ни единой рыбешки. Только сбросили документы на глубину двухсот восьмидесяти метров. Хорошее было утро, туман над озером, птицы в камышах. Постепенно пробилось солнце, туман рассеялся, наступил погожий день, я слышала, как вы смеялись в казино, пили и смеялись. А важный господин Кундт, ради которого и состоялось великое потопление — его пожалели, не взяли на такое дело, слишком оно для него грязное,— он остался в своей постели и попытался (до вашего возвращения) залезть в мою. Спокойно, Герман, не торопись душить своего лучшего друга. Я не впустила его. Я никогда никого не подпускала к себе, Герман. Кстати, все утверждают, что он обаятельный, а вот я этого ни разу не почувствовала, он всегда казался мне неуклюжим. Блаукремер и Хальберкамм предоставляли своих жен в его распоряжение и в Йоханнесхаузе и в Петрусхайме — Элизабет мне рассказывала. Ты ведь знал, что он с первых дней увивался за мной, еще в Дирвангене, когда вы только начинали и ты не щадя себя работал на него... Бингерле тоже был тогда с вами, молодой, усердный, как церковный служка... и голодный, боже, как вы, как мы все тогда голодали!

Г е р м а н *(в растерянности качает головой).* Думать-то иногда думал, но знать — не знал. Почему ты ни разу не сказала мне о... Кундте?

Э р и к а *(в замешательстве).* Почему? Гм, наверное, потому, что все могло обернуться по-другому. Доказать я ничего бы не сумела, а ты знаешь, как смотрят на женщин, которые говорят подобные вещи, но доказать не могут. Он бы просто заявил, что я истеричка, и ты скорее всего усомнился бы... удивительно, что женщины почти никогда не рассказывают о подобных вещах. Есть и еще одна причина *(говорит тише),*

мне трудно говорить, но это правда, сейчас скажу, только не смейся, это действительно так: дело в твоем чистосердечии — ничего нет умилительнее чистосердечных мужчин, а ты именно такой...

Герман. Несмотря на историю с Гольпен?

Эрика. Эта история как раз и доказывает твою чистоту. Пять дней затворничества в академии — и вдруг эта женщина с таким бюстом, ее подослали, чтобы втянуть тебя в скандал, а она, она хотела сделать с твоей помощью карьеру... ах, Герман, это же доказывает, какой ты невинный. Ее специально настропалил Хальберкамм и послал к тебе в келью.

Герман. Ну, а Карл, маленький граф, который живет с нашей новой служанкой, что о нем скажешь?

Эрика. Он мне как сын, которого у меня никогда не было, или как младший брат, который у меня был и которого они убили. Когда мы познакомились с Карлом, мне было сорок восемь, ему двадцать четыре, и, между прочим, он — что угодно, только не сердцеед. Но обаяния в нем... ах, Герман, втайне... нет, я никогда бы этого не сделала.

Герман. По возрасту он, пожалуй, скорее брат, чем сын.

Эрика. Когда он родился, мне было двадцать четыре. Странно вот что: ты любишь его первую жену не как дочь или сестру.

Герман. Я люблю ее как мужчина женщину.

Эрика. Сегодня вечером у тебя с ней свидание. Что же, она преодолела «роялный шок» и снова хочет играть с тобой в четыре руки? Вариации Шопена?

Герман. С того дня она не прикасалась к роялю... нет, я должен ее предостеречь, не то она наделает глупостей...

Эрика. Она собирается уйти от своего Гробша? К тебе? С тобой?

Герман. Ах, Эрика, сам не знаю, люблю ли я ее... то ли потому, что у меня нет никаких шансов, то ли от страха, что какой-то шанс может быть. Я на тридцать лет старше... Нет, она влюбилась в одного кубинца и хочет с ним уехать. На Кубу.

Эрика. Ева Плинт — на Кубу? Странно, Катарина тоже собиралась на Кубу... Что им там надо?

Герман. Им просто хочется отсюда уехать, но они не знают куда. Катарину я могу понять: десять лет прислуживала здесь официанткой во всех домах при самых разных обстоятельствах. От такой жизни сбежишь. А тебе не хочется сбежать?

Эрика *(кивает; усталым голосом).* Хочется, но я знаю, что бежать мне некуда, значит, придется остаться. Здесь не моя родина, но мой дом. Здесь много людей, которые мне по душе и с которыми не хотелось бы расставаться. Жить в другом месте я не смогла бы... И хочется уехать отсюда и хочется остаться с тобой... В тебе еще так много от того милого, застенчивого юноши, которого я когда-то позвала в свою комнату... Что же до Карла, то, к удивлению, его судьба меня ничуть не волнует: буду я рядом с ним или нет, уже не имеет значения.

Герман *(берет газету).* Читала, что случилось ночью у Капспетера?

Эрика. Да. *(Помолчав.)* Странно: сейчас меня не так ужасает то, что он сделал со своим роялем... И опять подозревают Карла?

Герман. Подозрение автоматически падает на него. Надеюсь, у Карла есть алиби.

Эрика *(смеется.)* Наверняка есть. Даже не сомневаюсь. Десять минут назад я видела его в бинокль: он сидел на ступеньках своего фургона с чашкой кофе в руке и читал газету. Вид у него был вполне бодрый. *(Тихо.)* Вам его не прижать, даже если он будет в ваших руках... ведь вы же ничего не смогли с ним сделать, когда он был в ваших руках и ему грозила тюрьма.

Герман. Кундт ненавидит его, хотя и не знаком с ним, а Кундта ты знаешь. Между прочим, ты ошибаешься, говоря, что Кундт голодал, как и мы. Он никогда не страдал от голода, и в этом было его преимущество перед нами, у нас вечно слюнки текли, у него — никогда. По сей день никто точно не знает, где он был и что делал на войне. По неподтвержденным слухам — был в Италии.

Эрика. Да, я знаю его, и не только в том качестве, о котором говорила. Я не забуду минуты, когда он впервые появился в нашей мансарде в Дирвангене после дискуссии в Пфархайме. Он сказал тебе, что единственно стоящее занятие сейчас политика, она выгоднее юридических наук и любой коммерции. Старые нацисты трясутся от страха, вы же молоды и абсолютно благонадежны. Власть валяется под ногами —

нагнись и возьми, политика все равно что брошенный, но совершенно исправный завод, с которого сбежало начальство. Он должен снова заработать, возобновить производство. Кундт сказал также, что испуг старых нацистов сейчас ценится на вес золота. Ты дал согласие, и все завертелось, особенно после того, как включился этот американец Брэдли. На завтрак у нас появились яйца, настоящий кофе, квартира стала чуть побольше, затем совсем большая, ты быстренько сдал экзамены, еще быстрее получил диплом, и вот наконец собственный дом и должность ландрата в Гульбольценхайме — второй дом. Завод «Политика» заработал, продукция шла полным ходом. Потом появились Блаукремер — этот был нацистом — и Хальберкамм — тот не был нацистом, Кундт все это ловко повернул. И Бингерле, которого вы теперь иначе как в среднем роде не называете, был ни то ни се, просто жадный щенок... Ну вот, Герман, пожалуй, хватит. Я не ослышалась ночью — министром станет Блаукремер? Так?

Герман. Плуканский отпадает — на него появились разоблачительные материалы, которые больше не удастся утаить. Из времен оккупации Польши. Его ничем не прикроешь.

Эрика. Сколько же поляков и евреев он погубил?

Герман. Ни одного. Он обделывал весьма темные делишки с партизанами. И свалить его хотим не мы, а поляки, в общем, какая-то авантюрная история.

Эрика. И министром вам надо поставить Блаукремера? Непременно его?

Герман. Вопрос решенный. Плуканский из игры вышел.

Эрика. Но Блаукремер? Это же немыслимо! Есть вещи, которые просто нельзя допускать. Ведь вам известно, что он сделал со своей первой женой, с Элизабет, и что творит со второй, Трудой... он же из породы насильников — для меня, во всяком случае, это несомненно.

Герман. Он и с тобой пытался...

Эрика. Нет, не пробовал. Иногда посматривал на меня, словно ему не терпелось... а мне достаточно было взглянуть на него, ей-богу, бросить один лишь взгляд, как у него начинали дрожать руки. Это было еще в Гульбольценхайме, с тех пор — нет. Я бы таких типов душила своими руками. Боже мой, Герман, ну почему такой должен стать министром?

Герман. Кундт называет это «раздвигать границы допустимого все шире и шире». Если Блаукремер станет министром и общественность с этим смирится, то...

Эрика. То в один прекрасный день она смирится и с Кундтом. А ты?

Герман. Не бойся, я не такой, как они, и таким не стану. Я паук, который плетет паутину, но не паутина. Плуканского действительно больше использовать нельзя. Мы звали его Румяным Яблочком, а яблочко-то прогнило насквозь...

Эрика. Ага, если срок Яблочка истекает, значит, надо брать Блаукремера, хотя каждый знает, что это яблоко гнилое? Да, метко выразился Кундт — «раздвигать границы допустимого».

Герман *(устало)*. Я ничего не мог поделать, ничего...

Эрика. А Бингерле, что ждет его? Когда те трое захохотали, их смех звучал как грохот падающей гильотины. А ты тогда притих... полагаю, что хитрое Бингерле успело припрятать парочку документов прежде, чем их утопили или сожгли.

Герман. Он перестарался. Брал деньги у нас, брал у других, а когда решил взять у третьих, его сцапали и — в кутузку. Но уличить Бингерле ни в чем не смогли, сегодня его выпустят из тюрьмы. Нам нужны документы, а не он.

Эрика. А если бы он остался за решеткой? *(Герман смотрит на нее вопрошающе и вместе с тем многозначительно.)* Ты прав, и там он не в безопасности, в тюрьмах столько самоубийств... Но все же ты мог бы его предупредить, что начальник тюрьмы в Плорингене Штюцлинг — твой старый однокашник. Он тоже вечно голодал и студентом иногда забегал к нам перекусить, а если ты угощал его вдобавок парочкой сигарет, он чувствовал себя миллионером.

Герман. Бингерле достаточно предупреждали. Он знает, в чем дело.

Эрика. И знает, что это может стоить ему жизни?

Герман. Должен знать. Он игрок и ставки делает крупные.

Эрика. Одного я не поняла ночью. Вы говорили о каком-то графе.

Герман. Это старый трюк Кундта, да ты знаешь. В щекотливых делах он старается прибегать к услугам какого-нибудь графа, желательно молодого, энергичного, благородной наружности и по возможности обладающего быстроходной машиной, а еще лучше — самолетом.

Э р и к а. Почему же не князя или принца?

Г е р м а н *(смеется).* Поразительно, однако «граф» звучит лучше «князя» или «принца». Наверное, все дело в букве «а». «Граф» звучит сильнее, я бы сказал, внушительнее... «Его светлость» напоминает оперетту, в этом чувствуется безвкусица...

Э р и к а. Да, помнится, был такой граф Праунхайм...

Г е р м а н *(почти жестко).* И граф Тройц цу Штумм.

Э р и к а. Оба очень милые, граф Клорен тоже.

Г е р м а н *(жестко).* Да, страшно милые.

Э р и к а. А теперь у вас новый граф.

Г е р м а н. Граф Эрле цу Бербен. Молодой, энергичный и со скоростной машиной.

Э р и к а. Доешь же наконец яйцо и бутерброд.

Герман отпивает глоток кофе, закуривает сигарету, отодвигает в сторону очищенное с одного конца яйцо.

Впервые за тридцать семь лет ты не съел утром яйцо — первый раз с тех пор, как у нас вообще появились яйца на завтрак. Мы могли позволить себе их очень редко, лишь после того, как возник Кундт...

Г е р м а н. Ты права, впервые после сорок пятого года у меня нет с утра аппетита. Я подумал о Штюцлинге, он стал хорошим, добросовестным юристом, но Бингерле не помогут никакие телефонные звонки: остаться за решеткой или выйти на волю — для него равно опасно. *(Прихлебывает кофе, курит.)* Молодой граф Эрле цу Бербен с машиной ровно в четырнадцать ноль-ноль будет ждать его у тюремных ворот, а затем отвезет к самолету Кстати, Эрика, почему ты никогда не рассказывала мне о том, что было у тебя с Кундтом, и об отношениях Кундта с Элизабет Блаукремер и с Гертрудой Хальберкамм?

Э р и к а *(тихо).* Ты в самом деле до сих пор так и не знаешь, что есть мужчины, которые считают себя неотразимыми? *(Поднимается, идет к мужу, обхватывает его лицо руками.)* И кроме того, убеждены, что для них нет ничего недоступного. *(Медлит.)* Элизабет подробно рассказала мне. Она пошла на это из ненависти к Кундту и к Блаукремеру. Кундта она каким-то образом — не знаю каким — унизила, высмеяла.. А главное, милый Герман, я охраняла твою чистоту, ибо нет ничего трогательнее чистых мужчин. Меня всегда поражало, как можно сохранить совесть, душу, имея дело с Кундтом, Хальберкаммом, Блаукремером и Бингерле. Что может быть драгоценнее чистой души мужчины! Если кто неотразим, так это ты... Было темно, когда ты впервые заговорил со мной, сорок четыре года назад. Помню, была воздушная тревога, ты новобранец, солдатская форма сидит на тебе плохо. Я зазвала тебя к себе — это была не жалость и еще не любовь,— мне захотелось тебя, захотелось узнать, как это все происходит. В общем, любопытство. Воспитанная в благочестивом духе восемнадцатилетняя девушка, бедная продавщица обуви, и вот, когда я тебя разглядела при свете, ты произвел на меня ужасное впечатление: мундир и брюки перекручены, сапоги велики, а ты так и обомлел оттого, что я оказалась хорошенькой, ты-то меня тоже не разглядел как следует в темноте. И еще я боялась, что ты оробеешь. Ведь кто-то из нас должен был проявить инициативу, ну я и трусила, что это придется сделать мне. Но ты крепко обнял меня, сначала я видела твои глаза, твои руки, уже потом — всего тебя, но прежде всего глаза, серые, нежные, грустные, умные. Ты не поверишь, до чего смешны красавчики, которые на улице увивались за нами, продавщицами,— какие у них дурацкие глаза и неуклюжие руки... У тех ребят, которых я встречала у Хильды, моей соседки по мансарде, на уме было только одно: свести меня с кем-нибудь. Ах, Герман, я оставалась тебе верной всегда, как и обещала, мне это было нетрудно. Но рассказать тебе, как Элизабет поступила с Кундтом, чтобы сбить с него спесь, унизить его,— рассказать это тебе, с твоей детской душой?

Г е р м а н *(с удивлением смотрит на нее, тихо говорит).* Ну переодевайся потихоньку, уже пора. Может, наденешь серый костюм? А к нему розовую коралловую брошку? Блаукремер подъедет минут через двадцать, так что успеешь. Сегодня ты должна выглядеть особенно хорошо. *(Смеется.)* Торжественная месса, телевидение — прямая трансляция.

Э р и к а. Я не хочу переодеваться, Герман, я буду сидеть в халате, непричесанная на моем балконе, пить кофе и поглядывать в бинокль на сад Карла, там ли он и что поделывает. Буду наблюдать за баржами на Рейне, смотреть, как жена шкипера

понесет своему мужу кофе в рулевую будку, обнимет его. Если сцена станет слишком интимной, отвернусь.

Герман *(с испугом, серьезно).* Ты действительно не хочешь идти? Эрика, не шути. Нельзя же так, ты не можешь бросить меня одного. Ты впервые, впервые удостоишься чести сидеть рядом с Хойльбуком. Торжественная месса в память Эрфтлера-Блюма, которую будет служить кардинал соборно с тремя епископами, причем с начала и до конца по-латыни... Разразится скандал, если ты не явишься.

Эрика. Ах, Герман, ты в самом деле еще ребенок. Какой скандал, ну позлятся немного Кундт с Блаукремером, и все... О да, ведь мне дозволят сидеть рядом с Хойльбуком! Я должна ошалеть от восторга? Рядом с Хойльбуком, может быть, между Хойльбуком и Капспетером, которому этой ночью обкорнали рояль. Далее Блаукремершавторая, бесценная Труда, затем Хойльбукша-первая, Хальберкаммша-третья и еще не свергнутый Плуканский. Ах, Герман, оставайся и ты дома, позвони лучше Штюцлингу или графу Эрле цу Бербену. Не хочу я сидеть рядом с Хойльбуком и вообще не хочу больше ходить на торжественные мессы, даже по случаю двадцатой годовщины смерти Эрфтлера-Блюма. Не хочу быть среди важных персон и дамочек, которые затем падут в объятия Кундта. Вероятно, там будет и этот Губка, который предлагает всем акции «Хивен-Хинта». Кстати, что это за штука —«Хивен-Хинт»?

Герман *(ворчливо).* Что-то связанное с космическим оружием. Эрика, ну что с тобой вдруг стряслось?

Эрика. И вовсе не вдруг. Ты знаешь, что я не испытывала удовольствия ни на десятой, ни на пятнадцатой годовщине смерти Эрфтлера... Все то же радио и телевидение, тот же репортер Грюфф и тот же комментатор Бляйлер: «...И вот мы видим госпожу Вублер, как всегда одетую с безупречным вкусом, с ее супругом, серым кардиналом...» Этой ночью я вспоминала брата, которого убили в Нормандии — ему едва минуло девятнадцать,— вспоминала отца, чья жизнь, от рождения до смерти, была исполнена горечи, вспоминала мать, умершую от истощения, усталую, вечно усталую женщину, измученную фанатизмом отца. Не волнуйся, Герман, кардинал еще раз отметит заслуги Эрфтлера, воздаст хвалу христианским добродетелям вообще, а Хойльбук с глуповатой рейнской веселостью будет, как причетник, упиваться вызубренной латынью.

Герман. Кундт рассердится, он объяснит твое отсутствие событиями прошлой ночи.

Эрика. Пусть связывает. Это и так очевидно.

Герман. Значит, ты заболела?

Эрика. Нет, я не больна. Правда, устала, но мессу выдержала бы.

Герман. В самом деле, Капспетер тебя уважает, Хойльбук тоже, ты им нравишься, а Эрфтлер — тот просто любил тебя.

Эрика. А я его нет. Верно, он всегда был со мною любезен, но мне никогда не нравился. Знаю, для него я была живым воплощением демократии — дочь лавочника, продавщица и вдобавок чуть не стала пианисткой. Знаю также, что Капспетер самый крупный, самый мудрый и самый набожный из всех банкиров, что он образован, впечатлителен, обладает поистине утонченным, изысканным вкусом... и все-таки он мрачная личность, и все-таки я допускаю, что он кое-что заработал на той гранате или пуле, которая убила моего брата. И знаешь, Герман, я не только не испытываю сожаления по поводу его разбитого рояля, хуже того: я, кажется, начинаю понимать Карла. Признаюсь, мне жутко, но когда он рубил свой рояль, в этом было что-то торжественное. Мы не поняли, что он делал это всерьез, не поняла даже Ева, а ведь она его любила. Я понимаю также, что в случае с Бингерле речь идет не о двух-трех документах. Документов против Кундта, вероятно, и без них хватает, речь о...

Герман *(совершенно перепуганный).* Не называй имени, умоляю...

Эрика. Не бойся, не назову. Останемся при номере Один, которого вы могли спасти, но не спасли. Вам хотелось и того и другого — и твердость показать и жертву заполучить. Знаю, Герман, я сидела рядом с тобой у телефона. Номер Один тебе нравился...

Герман Да, нравился, и он, и его жена, и дети. Речь шла вовсе не о темных делах Кундта, не о Клоссове с Плотгером и не о Бингерле. Речь по-прежнему идет о государстве, а ты этого не желаешь понимать.

Эрика. Конечно, вы бы мечтали заполучить на его погребение самого папу, но обошлись и архиепископом. Ах, какую трогательную речь произнес Хойльбук в самом деле, Капспетер сидел в первом ряду и рыдал, по-настоящему ревел. Даже у Кундта

глаза увлажнились... По телевизору было видно, как блестели слезы. Может, глицериновые, а?

Герман. Не будь циничной, Эрика, он мертв, его убили.

Эрика. А как ловко Кундт махал требником и преклонял колена! Ах, Герман, говорю тебе вполне серьезно: с меня хватит, нет ни охоты, ни настроения. Оставайся, будем смотреть на Рейн — как колышется белье на веревках, как бегают собаки вдоль заборов, как играют дети в манежиках.

Герман *(вздыхая)*. Не могу, Эрика, я должен быть там — может, в последний раз. Мне это давно уже не доставляет удовольствия.

Эрика. А меня одно время это забавляло — правда, недолго. Забавляло даже само по себе торжественное богослужение в честь того, чье имя нельзя произносить, хотя он мне тоже нравился. Мне вообще нравилась вся эта комедия... Да, это был обаятельный негодяй, я даже ощущала приятную дрожь, когда Хойльбук на рейнском диалекте кропил его память елеем своих речей. Довольно долго меня забавляли вечеринки, болтовня, перешептывание, суета, интриги, конспирация в низах, пустозвонство, с одной стороны, и борьба за свои интересы — с другой. Я хорошо чувствовала себя в своих нарядах, наслаждалась драгоценностями, которые ты мне подарил,— на твой безупречный вкус я всегда могла положиться. Мне нравились закусончики и выпивки, игра на рояле в четыре руки с тобой и с Карлом... театр, приемы, балы... А потом Элизабет отправили в Кульболлен, и я дважды ездила к ней. А вчера услышала, что милая крошка Беббер тоже очутилась там. Ты знал об этом?

Герман. Знал только, что он хочет избавиться от нее.

Эрика. Вот и избавился. Хорошенькая миниатюрная блондинка, чуть глуповатая, но веселая, в общем, этакая белокурая милашка — теннис, танцульки, легкий флирт, партия в картишки. Избавился от нее, как и Бранзен от своей: та мечется по Ривьере и Лазурному берегу от отеля к отелю, присаживается с мешочком монет к каждому игральному автомату в ожидании jackpot [1], который ей совсем не нужен. А в Кульболлене к пациентке, если ей уж очень тоскливо, даже присылают милого молодого человека прямо в палату — просто и со вкусом. Оставайся дома, Герман. Или уедем отсюда.

Герман. А куда? *(Некоторое время оба молча глядят друг на друга.)*

Эрика. Только не в наши родные места, ни за что. Боже мой, опять почетные танцы с бургомистром, с королем стрелков, с ландратом, нет, не хочу, потом с аптекарем и с коневодом, нет, нет, снова фотографироваться с депутатом бундестага, подняв бокал, не хочу, и все под народную музыку, нет, хватит, не хочу больше собирать пожертвования для детишек из малообеспеченных семейств. Спрашиваешь, куда? Не знаю... стало быть, останемся здесь.

Герман. Меня ты не бросишь.

Эрика. И не собираюсь, даже если твоя Евочка услышит твои мольбы.

Герман. Ах, она влюблена и в кубинца и любит своего Гробша. Не забудь: он ее муж, и она любит его... *(Печально.)* Он славный парень. Но эта компания и его погубила — навязали ему Плуканского, а тот недолго продержится. Нет, она любит двоих и к Карлу все еще привязана, так что для меня, четвертого, уже нет места.

Эрика. А я не забуду юного новобранца, на котором форма сидела мешком и который набрался смелости обнять меня и соблазнить. Я так боялась, что мне придется тебя совращать, но я бы это сделала. Этому научиться нетрудно, даже если тебя воспитали благочестивой... проще простого. Я жила в мансарде с девушкой, к которой всегда приходили парни, она мне все и растолковала. Вот так-то, от застенчивости ты не умер, понял, что желание бывает не только у мужчины, но и у женщины, что так называемое целомудрие — непозволительная для нас роскошь. Разве я могу тебя бросить? Лишь бы не возвращаться в Дирванген или в Гульбольценхайм, этого я не вынесу. Родные места мне опостылели. Жаль только, что у нас с тобой нет детей и что ты не остался адвокатом, а мог бы даже стать судьей...

Катарина *(входит на веранду)*. Какой-то господин, доктор Блаукремер, дожидается вас в машине. Он просил передать...

Герман. *(поправляет галстук, надевает пиджак, целует Эрику)*. Ну, я пошел, а то будут неприятности. *(Уходит. Катарина остается.)*

---

[1] Главного выигрыша *(англ.)*.

Эрика *(переходит на место Германа и стоя доедает остывшее яйцо).* Не люблю, когда пропадает добро. Несмотря на счет в банке, рояль и барскую квартиру с видом на Рейн. Как-никак одно яичко стоило тогда десять пфеннигов, а продавщица обуви, то есть я, получала восемьдесят пять марок. Из них двадцать за комнату, да еще свет, отопление, стирка.

Она вставляет яичную скорлупу в рюмку. В этот момент на веранду входят Герман и Блаукремер.

Блаукремер *(остановившись у дверей).* Аппетит, кажется, у тебя не пропал. Да и на больную ты вроде не очень похожа.

Эрика. Я не больна. Даже от твоего присутствия не заболею. Я с удовольствием поехала бы с вами прямо как есть, в халате, непричесанная, бродила бы вокруг собора и пела литанию, пока вы слушали бы торжественную мессу.

Блаукремер *(смеется).* Неплохая идея: публичный скандал, нарушение общественного порядка, а то и богохульство. *(Смотрит на Германа.)* А перед законом, как известно, все равны. *(Эрике, серьезным тоном.)* Я бы дал тебе на переодевание минут десять, сегодня мы настроены великодушно.

Эрика. Тогда уж отправляйте меня сразу к Элизабет, к крошке Беббер и компании...

Блаукремер. Если ты останешься, не будучи действительно больной, разразится скандал. Герман, что ты скажешь?

Герман. Полно скандалов и похуже, а через три дня все они забываются. *(Подходит к Эрике, целует ее.)* Оставайся дома. Никакого скандала не будет, подосадуют немного — и все.

Блаукремер. Подбадриваешь?

Герман. Незачем, мужества у нее хватает. Если для этого вообще нужно мужество.

Блаукремер. Чревато последствиями.

Эрика. Последствие одно: я ухожу с общественной службы, покидаю свою должность образцово-показательной демократки. *(Усталым голосом.)* Вам уже пора, не то...

Герман еще раз целует ее и уходит с Блаукремером. Тот вне себя от злости.

Катарина *(слышала разговор, подходит ближе; любезно).* Убрать со стола?

Эрика. Расскажете все Карлу?

Катарина. Вряд ли. *(Улыбается.)* Ведь это политика, а ему будет тяжело узнать, что вы жертва господина Блаукремера...

Эрика. У Карла тоже есть бинокль, он иногда поглядывает сюда. *(Берет бинокль с балюстрады и смотрит в сторону реки.)* Никого не видно. Принесите мне на балкон кофе, молоко и сахар и давайте договоримся раз и навсегда, милая Катрин, продукты не должны портиться, берите все, что вам нужно,— хлеб, молоко, колбасу. Надеюсь, вас это не обидит?

Катарина. Ничуть. Прошу вас только проинформировать об этом того сотрудника органов безопасности, что дежурит на улице. Как-никак я не только политическая неблагонадежная, но и привлекалась к суду за воровство.

Эрика. Вы еще учитесь? Хотите защитить диссертацию?

Катарина. Да, если позволит мое досье. Тема — банковское дело. Как экономисту мне трудно найти работу, как официантке — нет. *(Смеется.)* Три года я служила в банке Капспетера, потом меня уволили. Не спрашивайте почему — сама не знаю. И я снова устроилась официанткой. Когда Карл вылетел со службы, кроме автофургона, у него ничего не осталось, ни гроша, его никуда не брали. Я работала где придется — и в самых паршивых закусочных и в шикарнейших отелях, но чаще всего на званых вечерах, там я и познакомилась с Карлом. Это было у Килианов, вечер окончился поздно, я вышла на улицу, и, пока раздумывала — брать ли такси,— Карл подъехал и отвез меня домой.

Эрика. И остался у вас?

Катарина. Да, с тех пор мы не разлучаемся, а скоро и жить будем вместе. О вас, о господине Вублере и о своей жене он говорит только хорошее. Да я и не припоминаю, чтобы он о ком-либо отзывался плохо.

Эрика. А вы — вы отзываетесь о людях дурно?

К а т а р и н а. Да, о Капспетере, которому я не нужна как экономист, но гожусь в качестве официантки. Я не выношу его, да его почти никто не любит. Представляю, как будут над ним смеяться, прочитав о случае с роялем. Я не занимаюсь подслушиванием, в нашем деле нельзя быть болтливой и верить слухам. Ну что я могу услышать? В газетах порой такое пишут о господине Кундте, что здесь ничего подобного не услышишь. А господин Блаукремер... дорогая фрау Вублер, ну что я могла тут о нем подслушать? Еще вот господин Хальберкамм... ведь каждому известно, что его хобби — изобретать соусы, известно и то, что они невкусные.

Э р и к а. Если вы не подслушивали, что же все-таки вы слышали?

К а т а р и н а. Я убирала комнаты и ванную, пылесосила, протирала, потом кухню — много ли там услышишь? Разве что какую-нибудь фамилию: Кундт, Хальберкамм, Бингерле, Блаукремер — так о них же все газеты пишут. Самое интересное — то, что вы не пойдете на мессу, вы мне сами сказали. Но об этом, и без моей помощи, наверное, знает уже весь город. Нам с Карлом нужны деньги, которые я у вас зарабатываю. Нужна каждая булочка и каждый ломтик колбасы, которые вы мне разрешаете взять... Даже если бы я все время торчала, прижав ухо к двери, все равно я никогда бы не рискнула проболтаться и потерять такое хорошее место. Я слушаю, читаю, сопоставляю — у меня нет времени на сплетни, вечерами работаю над диссертацией. Карл мне помогает. Тема не доставит радости Капспетеру — «Увеличение прибылей западных концернов в третьем мире». Как вы видели, я стояла в дверях, когда господин Блаукремер... ну... надерзил вам. Кстати, мессу передают по радио и телевидению. Принести вам транзистор на балкон?

Э р и к а. Благодарю, не надо. Но если вам хочется послушать, можете взять приемник на кухню.

К а т а р и н а. Спасибо, я не интересуюсь церковными праздниками и тому подобным. *(Тихо.)* Это единственное, в чем мы не сходимся с Карлом. А он, когда говорит о религии, ну словно стихи читает, заслушаться можно... Должна вам признаться, что я незаконнорожденная, моя мать также была внебрачным ребенком. В те времена церковники еще не бегали с кропилом вслед за каждой незамужней беременной девицей. Когда бабушка, тоже официантка, произвела на свет мою мать, рождение ребенка вне законного брака считалось позором. Я также была еще позором для моей матери, а ведь и мать и я были людьми, живыми людьми, да вы сами, наверное, помните, каково приходилось незамужним матерям и внебрачным детям. Так что красивые речи епископа меня не очень трогают. Извините, если это вас оскорбляет и если вы полагаете, что я говорю слишком откровенно...

Э р и к а. Нет, ничего. Я возьму газету почитаю, а вы, пожалуйста, время от времени поглядывайте на рояль... кто знает, не вздумается ли этому типу нагрянуть сюда днем. Перелезет через балюстраду и...

К а т а р и н а. Не бойтесь за свой рояль.

Э р и к а *(подозрительно).* Почему это вы так уверены?

К а т а р и н а *(лекторским, чуть ли не наставительным тоном).* Анализ прежних фактов демонтажа роялей бесспорно показывает, что во всех трех случаях речь шла о роялях, принадлежавших банкирам, а именно: Флориану, Бранзену, Капспетеру. Таким образом, преступник действовал с определенным умыслом. Господин Вублер не банкир и вы не банкирша. Разумеется, я бы порекомендовала усилить во всех банкирских домах охрану этих музыкальных инструментов. Насколько мне известно, вам ничего не угрожает. Между прочим, Капспетер уже заказал новый рояль. Я узнала об этом утром от моих знакомых из того дома.

Э р и к а. Вас, Катарина, похоже, это забавляет, даже слишком. В вашей диссертации об увеличении прибыли, мне кажется, я уловила то же упоение, с которым вы перечисляете случаи демонтажа роялей. Я люблю мой рояль. Официанткой я не была, зато побывала в продавщицах обуви, а эта должность куда ниже: всегда стоять на коленях перед клиентами, терпеть, когда приходят всякие стервы и меряют тридцать пар, хотя знают, что ни одной не купят... Но ты приносишь со склада тридцать коробок, вежливо и терпеливо примеряешь и снова запаковываешь... И к тому же далеко не у всех мытые ноги. Все это могло бы унизить меня, но я сохранила гордость. И вот когда вижу на вечерах иную даму, то пытаюсь вообразить, как бы она повела себя, если бы сорок лет назад я ей примеряла туфли. Я научилась играть на рояле только в двадцать пять лет, а когда купили инструмент, мне было за сорок. Порой он был моим единственным утешением. И у меня не укладывается в сознании, я не в силах понять, как

можно такой драгоценный инструмент разобрать, разрубить на части или — как это сделал Карл — сжечь. Отдаю должное вашей ненависти к Капспетеру...

Катарина. Вы ошибаетесь, и мне не по душе подобные выходки. Подумать только, сколько стоит рояль, сколько можно накупить на эти деньги... Я не понимаю Карла. Когда я училась и когда работала в банке, я кое в чем разобралась и поняла, куда идут деньги и откуда они возвращаются, троекратно, десятикратно, стократно приумножаясь: нефть, оружие, ковры и девушки, которым приходится напиваться допьяна или одурманивать себя наркотиками, чтобы не блевать от отвращения, но их все-таки выворачивает оттого, что они напились, чтобы не блевать... и буквально всюду натыкаешься на этого типа по прозвищу Губка.

Эрика *(подходит к ней).* Прошу вас, Катарина, в ваших же интересах. *(Качает головой.)* Это уже анализ с позиций классовой борьбы. Я тоже знаю Губку, как-то раз даже влепила ему пощечину.

Катарина *(очень тихо).* А что же это как не классовая борьба? На приемах вы встречаете пьяных и блюющих господ, которые заставляют выворачиваться наизнанку девушек,— вот вам тоже вариант классовой борьбы, не самый пристойный... Сейчас я волнуюсь, обычно я не такая. Но я слушала вас — не то, что́ вы говорили, как ваш голос,— и на меня пахнуло духом классовой борьбы. Мне послышался голос продавщицы обуви, которой слишком часто приходилось стиснув зубы стоять на коленях. Возможно, я рискую местом, сую нос не в свое дело, но вы не пошли к мессе, на мой взгляд, вот почему: вам не хочется больше играть роль, которую, наверное, никогда не хотелось играть,— роль девушки из народа, преуспевшей в жизни. Простите, если я сказала что не так, но я очень расположена к вам. И если мне придется уйти, напоследок я хочу обратиться к вам с просьбой, которую вам нетрудно будет исполнить.

Эрика *(разбитая, усталая).* Да?

Катарина. Намекните, пожалуйста, гостям на званых вечерах, что мы, девушки и юноши, которые их обслуживают, берем чаевые, или, выражаясь изящнее, не пренебрегаем таковыми и не отказываемся от них. Понимаете, мы, наемные официантки, иной раз наряжаемся на вечера так, что нас принимают за дочерей и родственниц хозяев или просто услужливых гостей, и никто не решается дать нам чаевые. Скажите, что деньги можно сунуть в карман передника или пиджака.

Эрика. С удовольствием намекну. Жаль только, милочка, что я, пожалуй, буду не часто ходить на банкеты. Вам, вероятно, нужны деньги?

Катарина. Да, я хочу уехать отсюда. *(Очень тихо.)* Иногда вечером я лежу с сынишкой, рассказываю ему что-нибудь или напеваю, потом мы крутим глобус, который нам подарил Карл, и выбираем страну, куда можно было бы уехать. Но... пока еще не выбрали.

Эрика. Значит, вам здесь больше не нравится?

Катарина. Нет, а вам?

Эрика. Значит, вы все-таки подслушивали?

Катарина *(энергично).* Нет, я не подслушиваю. Но я слышала ваш голос, вы говорили долго и громко. А вы знаете, куда хотели бы уехать?

Эрика. Нет, это выбирать без толку. И еще — будьте осторожны. Ваши мысли меня пугают. То, что таишь в себе, когда-нибудь выходит наружу — я испытала это сегодня на себе. Будьте внимательны... Кстати, от чаевых я бы тоже не отказалась, но продавщицам обуви их не предлагали.

Катарина берет поднос, идет к двери.

И поскольку вы умная, способная к анализу девочка, объясните мне, пожалуйста, вот что: почему Вублер так и не стал министром? Почему?

Катарина *(останавливается с подносом в дверях).* Вы этого не знаете? В самом деле, честно? *(Эрика качает головой.)* Ладно, скажу: он слишком хорош для этого, вот так-то. Слишком хорош! Он гениальный планировщик, мастер умственных комбинаций, он построил для Кундта всю организационную работу. Его место за письменным столом, у телефона, на конференциях, тайных переговорах! Перед аудиторией у него ничего не получится — он слишком робок, не умеет выступать. Он может планировать, делать политику, но продавать ее он не умеет. Он прирожденный секретарь — вот его место, и утешьтесь: секретарь — очень высокое звание, секретари стоят во главе ГДР и СССР, даже в Ватикане есть секретари. А быть секретарем Кундта... Сварить вам кофе?

Эрика. Нет, но булочку с медом принесите.

К а т а р и н а. И яйцо?

Э р и к а. Нет, в моем возрасте хватит одного. Да, к вашему сведению: вы постепенно начинаете действовать мне на психику. Наверху я немного займусь номером Четыре и побеседую с ним. *(Катарина вопросительно смотрит на нее.)* Номер Четыре — это тот, кого они называют богом, вернее, называли. Позвольте, я вам спою одну песенку. *(Катарина с изумлением, растерянно смотрит на нее. Эрика поет.)* «И для праведного сердца просветлеют небеса...» Это говорит вам что-нибудь, трогает какую-либо струну в вашей душе?

К а т а р и н а *(по-прежнему с подносом в руке, растерянная).* Звучит красиво, как старое стихотворение, даже немного напоминает Карла. *(Улыбается.)* Но во мне... нет, ничего не трогает... Очень сожалею... ничего.

Э р и к а *(улыбается).* Уверена, что со временем тронет. Итак — за работу.

Обе уходят.

Глава 2

Балкон над верандой. За столиком сидит Э р и к а В у б л е р, перед ней кофейник и чашка. С балкона вид на Рейн.

Э р и к а. Сегодня утром меня впервые после войны охватил страх, но какой-то непонятный, совсем не тот, что я испытывала в конце войны. Сорок лет без страха? Нет. Бывало страшно за Германа, когда его заносило в политику, всегда боялась Кундта — слишком уж он многого хочет, и чем больше у него есть, тем ему больше надо... Это, наверное, оттого, что у меня избыток свободного времени для раздумий. Ведь делать-то почти нечего: только представительствовать на банкетах и званых вечерах. На банкетах всегда сижу рядом со второстепенными, с первостепенными — или первостепенной — очень редко; и тогда выясняется, что королевы самые обыкновенные женщины и порой — глупые Скучно с ними не бывает, я без стеснения расспрашиваю их о мужьях, о детях или внуках, любимых блюдах, и, по-видимому, именно так должна вести себя супруга третьестепенной персоны: быть любезной, касаться личной жизни, и притом я не только могу, но обязательно должна ввернуть, что прежде была продавщицей обуви, это так демократично. Некоторые даже вытягивают ноги и демонстрируют мне как «эксперту» свои туфли.

Солнышко здесь еще пригревает по утрам, Рейн в эту субботу спокойный, экскурсионных пароходов пока нет. На том берегу наступает осень: листва на вишневых деревьях красновато-желтая. У судов на якоре флаги не колышутся. Теперь мне здесь нравится, хотя первое время я чувствовала себя здесь чужой. Правда, когда Герман всю неделю жил здесь, а я там, одна, на балах, приемах, банкетах, было хуже — и везде самое высокое начальство: земельные, окружные, районные советники да еще стрелковые общества, церковные праздники. Меня вовсе не тянет и никогда не тянуло к этой шумихе, к жирным бургомистрам с их потными ладонями. Они считали своим долгом пригласить меня на танец и нашептывали: «Ну и стервец Герман».

Герману тоже было страшно сегодня утром, и страх у него не прошел: руки так дрожали, что он даже не смог доесть яйцо. Протянул было руку к чашке с кофе, но на полдороге передумал, даже сигарету прикурил от огонька спиртовки под кофейником — боялся, что зажигалка или спички выдадут дрожь в руках. Я же знаю — его напугала судьба Блаукремерши и других женщин в том заведении. Когда я собиралась произнести фамилию Плича, он взглянул на меня с такой мольбой и страхом, что я чуть не прикусила язык. *(Дрожащими руками берет бинокль и смотрит вдаль.)* Нет, мальчика не видно. Как бы мне хотелось иметь такого сына. Вон голландец рядом со швейцарцем на якоре, а чуть ниже по течению трое бельгийцев завтракают на террасе, мальчуган заливает молоком кукурузные хлопья. *(Дрожащими руками кладет бинокль на стол.)* Последний раз я дрожала, когда падали бомбы и маленькие юркие самолеты обстреливали дома. Помню, как по улице ехал на велосипеде молодой солдат, совсем еще мальчишка, на руле висел котелок: пули угодили в велосипедиста; обливаясь кровью, он упал, и кровь смешалась на асфальте с разлившимся гороховым супом. И еще я дрожала, когда эти собаки по приказу Плича искали Германа. Тогда я знала, чего боялась и почему дрожала. Но теперь — чего мне бояться теперь? Чего сейчас боится Герман — до сих пор я ни разу не видела, чтобы он дрожал. Это страх не за Бингерле. А может быть, за меня? У Блаукремерши-первой, Элизабет, действительно не было воображения, но она

рассказывала фантастические истории. А вот я ничего не рассказывала никогда, да я могла бы рассказать нечто фантастическое и без помощи воображения. *(Снова приставляет бинокль к глазам.)* Иногда я завидую шкиперским женам: у них в каютах так уютно, на окнах красивые цветы, их мужья всегда с ними, автомашина стоит на палубе у дверей. Один голландский дипломат рассказывал мне, что все они потихоньку занимаются контрабандой, а многие даже по-крупному. *(Кладет бинокль на стол.)* Хороший заголовок в сегодняшней газете — «Репутация Вублера явно незапятнанна». Чего он боится?.. У меня страх то слабее, то сильнее, и вид красивой рейнской долины совсем не радует. Вспоминается стишок, который учила в школе:

Земля всего прекрасней там,
где нет на ней людей.

Ночная пьянка, голос Плича, все шумят, гогочут — а Герман будто онемел; и вдруг мне стало тяжело, безотрадно, появился страх. А ведь до сих пор все шло так легко, не замечала, как летят годы, десятилетия, как же я была изумлена, когда внезапно — да, внезапно — мне стукнуло шестьдесят... Когда Хальберкамм сказал: «До чего же наивны американцы — огласить такое дело, как Уотергейт», я тоже засмеялась. Но когда он воскликнул: «Вьетнам... господи, да у них же есть атомные бомбы!» — не засмеялся даже Кундт... Да, Катарина смышленая девочка, она права, Герман слишком робок, чтобы стать министром, он не умеет выступать публично, а вот Кундт умеет — громогласный он да еще встряхивает волосами. Мы чуть не лопнули со смеху, когда Кундт попросил какого-то актера показать, как надо встряхивать гривой, ну а громозвучности его учить не надо. Выступать перед малой аудиторией Блаукремер тоже не умеет. А как они старались охватить все группы и средства информации! Разумеется, лозунг придумал Герман: «Сначала охватить — потом взяться». «И ничего не упускать, ничего не бросать»,— добавлял Блаукремер, а Кундт изменил «взяться» на «схватить». Эта молодая женщина действует на меня освежающе, у нее есть сердце и трезвый ум. Завидую ее беспечности в вопросе, который принято называть сексуальным. У меня с этим было трудновато. Конечно, сестра Губерта сообщила нам, что существует «вожделение мужское», и очень тихо, но достаточно внятно, чтобы все мы расслышали, добавила: «И существует чувственность женская». Первое я наблюдала в деревне, когда парни приставали к девушкам. О втором узнала лишь в городе, в убогой мансарде, где рядом жила Хильда, тоже продавщица, как я, только в магазине тканей. Славная, веселая, легкомысленная, она приводила иногда к себе в комнату симпатичных юношей, знакомых по танцплощадке, а в субботу уезжала с мужчинами за город: катание на байдарке, купанье и, как она выражалась, «шикарная любовь» в палатке на берегу реки. Увлекшись подробностями, она, как только замечала, что вогнала меня в краску, прекращала свой рассказ — она умела быть тактичной. Иногда Хильда приносила мне уцененные вещи — белье, лифчики; я примеряла их при ней, а она так и ахала: «Господи, да с твоей грудью ты могла бы сделать такую карьеру!» Очень добрая была девушка. Я испытывала гордость, но, с другой стороны, мне было жутковато. Фривольности Хильды и пугали меня и радовали. Иногда мы препирались, и я говорила ей: «Смотри, кончишь на улице»,— а она отвечала: «Возвращайся-ка лучше в монастырь и милуйся со своим Иисусиком». Насчет сексуальности деревенских парней сомневаться не приходилось; некоторые делали непристойные жесты даже во время богослужения. Их грубость внушала мне страх, и тем не менее я понимала, что когда-нибудь мне суждено испытать е г о грубость, даже если он окажется милым и робким юношей.

Когда нам исполнилось по шестнадцать, сестра Губерта сказала: «Я немало говорила вам о непорочности, но теперь, перед тем как вы вступите в жизнь, станете обучаться профессии, работать, выйдете замуж, захотите иметь детей, должна вам сказать, что дети у вас появятся не от непорочного зачатия: вас должен пожелать мужчина, а вы его».

В монашках меня восхищали две вещи: пение и белье. Когда они читали нараспев, вернее, пели молитвы, в этом было что-то убаюкивающее и очень напоминало народные любовные песни. А белье у них было такое чистое и так хорошо пахло! Герман как-то сказал, что я делаю из белья фетиш.

Хильда потом прекратила фривольничать, но все же время от времени внушала мне: «Я вовсе не собираюсь тебя совращать и портить, мне только хочется, чтобы ты немного повеселилась, получила удовольствие, и поверь мне, с парнями интересно и приятно. Надеюсь, ты встретишь такого, который тебя по-настоящему полюбит». И я

встретила его в тот самый вечер. Просто вышла на улицу, чтобы найти хотя бы первого встречного, и первый же встречный оказался лучшим. Я умышленно оделась немного под монашку: серое пальто, серая вязаная шапка и самые простые туфли. Когда солдатик несмело взял меня под руку и сказал: «Фрейлейн, а вдруг у нас с вами что-нибудь получится» — самый дурацкий способ знакомиться с девушкой,— я ответила точно так же глупо: «Может, и получится» — и пригласила солдатика к себе. Его невзрачный вид поначалу испугал меня: он был маловат ростом, какой-то весь съежившийся, форма сидела на нем так плохо, что я подумала, не горбатый ли он. Нет, горба не оказалось. Потом я даже удивилась, когда увидела, что кожа у него не такая, как на лице, а белая, совсем детская и нежная, как и его руки, а взгляд его не был просящим. И вот он должен был стать моим супругом; ведь я решила, что выйду замуж за того, кто заговорит со мной и кого я позову к себе. На лестнице, в темноте, он погладил мои ноги, снизу вверх, осторожно, даже с нежностью, и я не сочла это неприличным — ну словно он руками хотел ощупать то, что не увидел глазами. Ведь мы наткнулись друг на друга чуть ли не вслепую. Теперь я видела его всего, а он — меня; я утешалась тем, что его невзрачность уравновешивается убожеством моей конуры: старая деревянная кровать, тренога с тазом, столик размером чуть больше стула.

Я не стыдилась распятия на стене и дешевой гравюры с изображением богоматери, перед которой стояла свеча в шатком латунном подсвечнике; изредка я зажигала ее, когда молилась. На гвоздях, вбитых в стену, висели несколько платьев, у меня был даже халат в красно-белую полоску — я им очень гордилась. Под кроватью чемодан, на столике электроплитка со спиралью, которая часто ломалась; всякий раз приходилось ждать, пока она остынет, потом сплетать порванные концы и запихивать обратно в канавки. Еле дождешься, пока сваришь чашку бульона или подогреешь цветочный чай. Из-за постоянных обрывов спираль стала короче и часто выскакивала из канавки. Единственной красивой вещью в моей каморке был маленький ларец вишневого дерева, который мне подарил отец к окончанию школы, покрытый белым лаком и разрисованный розами и маргаритками. В нем я хранила бульонные кубики, соль, хлеб, сушеную ромашку и свои драгоценности — янтарные бусы, подаренные мне к первому причастию, и браслет из поддельного жемчуга.

Он стоял и все это разглядывал, потом мы разглядывали друг друга — долго, очень долго и проникновенно, он понял, что я не легкомысленная девица, а я поняла, что проживу с ним всю жизнь. В наступившей тишине несколько раз скрипнули ступеньки, чуть спружинили под шагами пересохшие деревянные половицы в прихожей, дверь открылась и закрылась, это была Хильда — она опять кого-то привела. В большой комнате окнами во двор жил инвалид, передвигавшийся с костылем; когда он шел через прихожую, половицы под его тяжестью прогибались.

Пока я смотрела на Германа, морщины на его старообразном лице разгладились от радости, он больше не казался мне невзрачным. Я увидела, что ему не больше двадцати лет. Волосы густые, прямые, белокурые. Его взгляд меня не смущал. Хильда мне постоянно говорила: «Ты очень симпатичная, просто загляденье». Я только боялась, что он будет неловким, когда произойдет то, что должно произойти. Ботинки у него были высшего сорта — таких дорогих у нас в магазине не было. Под невзрачными форменными брюками они выглядели почти элегантно. Мне хотелось, чтобы он начал до того, как я потеряю терпение. Я слишком много думала о том миге, когда придется отбросить последний, самый последний стыд, и я отбросила его. Лицо Германа теперь совершенно разгладилось, он двинулся ко мне, протянул руки и обхватил меня не за бедра, чего я опасалась, а обнял за плечи, прижал к себе, и я радостно вздохнула, когда страх улетучился. Радость осталась, и он остался самым лучшим. А Хильда... ее я встретила, когда нам обеим было за сорок и Герман уже давно занимался политикой. В тот день на каком-то празднике он откупоривал пивную бочку, и тут из толпы ко мне подошла Хильда, я даже не сразу ее узнала: этакая пухленькая веселая брюнетка. «Твои опасения, что я кончу на улице,— прошептала она,— как видишь, не оправдались. Мой муж строительный подрядчик, у нас четверо детей. Между прочим, он один из тех, кого я приводила домой».

Когда говорят о двадцатых годах, я почему-то вспоминаю Хильду, хотя мы обитали в нашей мансарде в конце тридцатых. Мы были с ней очень разными, но общее положение все-таки объединяло нас — Хильду с ее байдарочными прогулками по тихим речкам и любовными шалостями в прибрежных кустах и меня, которой «сексуальность человеческая» внушала и страх и радость. Но именно я, предававшаяся мечтам

о пении и белье монахинь, я, взбудораженная рассказами Хильды, первый раз пошла туда, куда она никогда не ходила: на улицу.

А когда дело дошло до пуговиц, мы с Германом засмеялись. Что поделать: не расстегнешь — ничего не получится. Оба мы стеснялись, и все могло кончиться ужасно, как у молодоженов Кюблеров, что жили рядом. Они независимо друг от друга прочитали в книгах, что в брачную ночь в решающий момент даже при самой нежной, самой романтичной любви приходится «пускать в ход руки». У Кюблеров получилось не так, как надо: он был неуклюж, груб — и она ему этого никогда не простила.

Утром я пошла к своему хозяину, к Клогмайеру, и отпросилась на день. Его лавчонка-мастерская влачила жалкое существование. В прихожей я принимала обувь в починку, в жилой комнате стояли штабеля картонных коробок, позади сидел за сапожным столиком Клогмайер, а в кухне вечно прихварывающая фрау Клогмайер. Жалкое, грустное зрелище. Училась я позже, в другом, шикарном магазине, куда бабы заходили от скуки, и приносила им для примерки десятки пар туфель. *(Говорит тише.)* Обо всем этом я могу рассказывать лишь самой себе: и как меня потянуло на улицу, и как первый встречный оказался Германом. Любовь? Пожалуй, больше. И больше, чем любовь, я испытываю к тому, кто сидит вон там, в фургоне: это сын, такого я очень хотела бы иметь, сын, которого покинула его мать и который привел меня в ужас, как это только может сделать сын. Он объявил вне закона мой рояль, за которым я провела бы сегодняшний день. Словно проклятие лежит на моем любимом инструменте. Я уверена, что и прошлой ночью, у Капспетеров, побывал он, даже если это не сумеют доказать. Ну, а если его не могло там быть, значит, это его призрак блуждает здесь. Я рада, что у него есть эта женщина с ребенком. Его бывшая жена, в которую так влюблен Герман, уж слишком походит на него, слишком уж благочестивая, поэтичная и утонченная. Вот «Праведное сердце» она пела бы во весь голос и с упоением...

Чего же мне бояться? Чувствую, что боюсь, но чего — не знаю. Что-нибудь случится. Не с Бингерле же, да, пока не забыла, надо позвонить Штюцлингу, чтобы тот выпустил его на несколько часов пораньше. *(Кладет бинокль на столик и уходит вниз.)*

Глава 3

Просторный, слегка потрепанный фургон. Из большого переднего окна виден Рейн и левый берег. За столом сидит Карл фон Крейль, из планок и дощечек он мастерит маленькую тележку. Пытается приладить к доске колесики от рояля. На Карле рубашка, пуловер, брюки, он курит трубку, прихлебывает кофе из стаканчика и что-то напевает себе под нос. Раздается стук в дверь, в фургон входит отец Карла — Генрих фон Крейль. Одет он респектабельно — жилет, галстук и так далее. Карл встает, обнимает отца, пододвигает ему стул. Старый Крейль садится, закуривает сигарету.

Отец *(понаблюдав некоторое время за работой сына).* Тебе не кажется, что это довольно жутковато — приделывать к тележке колесики от роялей? *(Карл с удивлением смотрит на него.)* Так ты, видимо, не читал еще газет?

Сын. Читал, от корки до корки,— у безработного времени хватает. Если верить газетам, я не должен мастерить эту тележку для моего сына?

Отец. А ты читал о том, что случилось у Капспетеров?

Сын. Да, читал, даже то место, где говорится, что злоумышленник, вероятно, прихватил с собой колесики... Это колесики от моего, нашего рояля, который я изрубил и сжег семь лет назад. Я сохранил их, так как мне казалось тогда — они единственное, что может пригодиться. Все остальное не годилось ни на что...

Отец. Этот рояль очень любила моя матушка, и на нем — это достоверно — играл сам Бетховен. На последствиях этой дикой выходки, пожалуй, не стоит еще раз останавливаться... С нее и начались все наши несчастья.

Сын. Не такие уж это мучительные несчастья... они освободили от меня мою жену Еву. Впрочем, я не побоялся бы выслушать мнение матери и бетховенское — тоже. Кроме того, рояль был моей собственностью. А собственность обязывает. Семь лет назад я был обязан разрушить его. Колесики я сохранил и вот мастерю тележку для моего сыночка. Детям нравятся игрушки, которые смастерили им родители. Так что в своем безобидном утреннем занятии я не вижу ничего дурного, ничего жуткого и уж тем более ничего преступного.

Отец. Капспетеровский рояль был собственностью Капспетера. Надеюсь, ты понимаешь, что возню с этими колесиками могут воспринять по меньшей мере как провокацию. Семь лет назад ты расколотил свой рояль, пять лет назад был разбит рояль

у Бранзена, четыре года назад — у Флориана, сегодня ночью у Капспетера... а ты тут возишься с колесиками

Сын. Вчера вечером я был на домашнем концерте у Капспетеров, я еще числюсь в списках гостей во многих домах, как это ни странно. Дочь Капспетера играла Бетховена — играла, впрочем, неважно, но девушка она милая и очень старательная. Катарина прислуживала, было весело, даже забавно, когда она подошла ко мне с подносом и спросила: «Не угодно ли сиятельному графу еще рюмочку шерри?» *(Смеется.)* Я дал ей на чай, показывая пример другим. Ты знаешь, что девушки почти не получают чаевых? Это надо как-то исправить! Посему я призываю тебя — так, чтобы все видели, давать чаевые. *(Запнувшись, глядит на отца.)* Что ты смотришь так обеспокоенно, даже сердито?.. Меня в чем-то подозревают? Если так, то Катарину вряд ли бы пригласили сегодня поработать у Вублеров. *(Показывает на бинокль, лежащий на подоконнике.)* Я наблюдал, как она подавала Вублерам завтрак. Кстати, ты не идешь на мессу по Эрфтлеру-Блюму? *(Подходит к окну, берет бинокль и смотрит вдаль.)* Эрика еще сидит в халате, Вублера пока не видно.

Отец *(поднимается, идет к сыну, берет его за плечи).* Я когда-нибудь злоупотреблял твоим доверием?

Сын. Нет. Никогда. Я твоим, кажется, тоже нет.

Отец. Правда. Тогда скажи мне: это был ты или не ты, твоя работа или не твоя?

Сын *(улыбается).* Это был не я и работа не моя. *(Оба садятся.)* Это был — как бы вернее сказать — человек, родственный мне по духу, а может, и мой дух. Вы тогда слишком много шума подняли вокруг моего рояля, целый скандал, а ведь я всего лишь распорядился своим имуществом ну, скажем, несколько необычно. И какой же цирк вы из этого устроили: заседания, собрания производственных советов... да еще пресса. Ведь, в сущности, произошло своего рода частное молчаливое богослужение, да, да, жертвоприношение, дар по обету, ритуал. А тут суматоху подняли: это заразительно, это оказывает демагогическое воздействие, не поддающееся контролю! Я юрист, отец, и люблю свою профессию. Мой учитель Конкес даже уговаривал меня стать доцентом. Я чту законы.

Отец. Только вот в Рио ты их не всегда чтил.

Сын. Да, это была беспечность, но не умысел. Да, как заместитель я имел право распоряжаться кассой резервного фонда и дал девушке денег, чтобы она улетела на Кубу. Да, вопрос о наказуемости был спорным, но меня наказали. А ведь что только не оплачивалось из резервного фонда! Эх, говорить об этом не хочется. Меня уличили, я вылетел, меня даже на несколько месяцев осудили условно. Так они сорвали на мне гнев из-за сожженного рояля. Между прочим, та девушка, чтобы выручить меня, перевела деньги обратно. С процентами. Революционеры бывают иногда очень корректными и лояльными, не то что шпики. Ни один шпик, получивший деньги из кассы, не вернул еще ни единой марки.

Отец. И вдобавок у тебя была с ней связь? Или нет?

Сын. Да, это называют так. Два-три дня мы любили друг друга. И думаю, что деньги она вернула в память этой короткой любви. В прессе об этом ни слова. *(Вздыхает.)* А теперь мне даже не разрешается смастерить игрушку для моего сыночка, потому что...

Отец. На капспетеровском рояле, по достоверным данным, играл Моцарт.

Сын. Ага. На рояле Бранзена, говорят, бренчал Вагнер, на рояле Флориана — Брамс, а на кренгелевском — сам Бах. *(Берется прилаживать колесики, но тут же кладет их на стол, поднимается, беспокойно расхаживает взад и вперед.)*

Отец. Ведь ты был очень огорчен, когда от тебя ушла Ева и ты потерял многих друзей.

Сын. Да, был огорчен, особенно уходом Евы. Но потом в Рио со мной была несколько дней Ассунта. Скорбь о Еве прошла, у меня есть Катарина. И еще мне было грустно потому, что никто из вас — ни Ева, ни ты, ни один из моих друзей — не обратили внимания, в какой день я сделал это. *(Отец вопросительно смотрит на него.)* Теперь уж придется объяснить: это был день, когда убили Конрада Флу. Во время полицейской проверки он сунул руку в карман, и полицейский не задумываясь выстрелил в него. И я скажу тебе то, чего они не узнали и, вероятно, узнают *(показывает рукой вокруг, намекая на возможные подслушивающие устройства)* только теперь: у Конрада действительно были контакты с ними. Он готовился спасти того, чье имя нельзя называть и чье досье исчезло...

О т е ц *(пугливо озирается).* У священника... И контакт с ними?

С ы н *(пожимает плечами).* Смерть Конрада так напугала их, что они даже не догадались обыскать его квартиру. Они восприняли это как несчастный случай, а убивший его полицейский был глубоко потрясен. Я навестил тогда жену Конрада, утешал ее. Потом осмотрел его квартиру — как старый друг и душеприказчик,— и мне стало ясно, что Конрад был уже на пути к спасению того, кого нельзя было спасать, но который хотел спастись. И следовательно, бедняга полицейский, хотя они и не догадывались ни о чем, выполнил даже какую-то функцию в рамках этой ужасной логики, ибо могло случиться так, что Конрад спас бы того человека. Я уничтожил все документы, адреса, телефоны, шифрованные записи. Предчувствие, отец, случай, судьба, стечение обстоятельств. *(Очень тихо, очень серьезно.)* Когда я вернулся из квартиры Конрада, Ева играла с Вублером в четыре руки вариации Шопена, Эрика внимательно слушала... У меня даже не было злости, я ничего не сказал им, лишь вежливо попросил встать, принес из чулана топор и начал рубить рояль — спокойно, пожалуй, учтиво, хладнокровно, как они сказали... а на веранде горел камин. Конечно, все были потрясены, потому что я действовал спокойно, как будто делал нечто само собой разумеющееся... они разбежались, словно я вдруг сошел с ума. О Конраде Флу никто не подумал. Никто, даже Ева, не догадался, что тут есть какая-то причина, не задумался, что это могло означать, что это была жертва. Жертвенное животное, если угодно. Когда все ушли, я сел у камина и закурил трубку. Я думал о моем лучшем друге Конраде Флу, о бедняге полицейском, который не подозревал, что случай этот не случаен... Я был один и с тех пор больше ни разу не садился за инструмент, а колесики-то *(показывает на стол)* мои собственные.

О т е ц. Разве Ева не знала Конрада?

С ы н. Конечно, знала и любила, она плакала, когда его застрелили, была в глубоком трауре, ей, как говорится, очень недоставало его, они часто дискутировали на богословские темы. Вублерам он тоже нравился, и они не удивились бы, если б я в гневе что-нибудь разбил — старое пианино, к примеру,— но целехонький бесценный рояль... тут они поразились, с чего это я вдруг.

О т е ц. И твоей карьере пришел конец... тебя спихнули в Рио, Плуканский обошел тебя.

С ы н. Бери выше: Клунш, мой шеф, потребовал объяснения, а я не мог ничего объяснить — рояль-то был мой. Все равно как если б я сам поджег свою машину. Они даже созвали производственный совет, все выступали против меня, включая тех, у кого я пользовался особой симпатией,— шоферы, конторские служащие. От психиатрического обследования я отказался — ну как объяснишь психиатру, зачем ты принес в память умершего друга столь ценную жертву и разжег жертвенный огонь?.. Уволить меня не могли, и я продолжал вышолнять свой долг и исправно нес службу.

О т е ц. Если не считать Рио.

С ы н. Да, в Рио я попался — там замешались деньги. А деньги — это величина реальная, рациональная, понятная даже психиатрам. Я дал этой девушке денег, она удрала на Кубу, к тому же у меня был с ней роман — все стало ясно. Отдать деньги Федеративной Республики Германии какой-то коммунистке! Конечно, я попал в их руки. Отдать деньги из священных касс учреждения, откуда много кое-чего финансируется! В том числе их нередко тратят и на баб. Она — Ассунта де ла Торре — деньги вернула, иногда присылает мне письма. Стала учительницей, пишет, что если мне потребуется убежище, то Куба предоставит его в любое время. Но мне не нужно убежища и я не хочу на Кубу. Мне нужна работа — юриста.

О т е ц. Поговаривают, что Ева собирается убежать с каким-то кубинцем?

С ы н. Ева на Кубу? Почему бы и нет? Она бы выяснила наконец свои отношения с католической верой, возможно, улучшила бы их. Она такая милая, умная, чуткая и вовсе не такая слабая, как кажется.

О т е ц. Почему вы не разводитесь? Ты бы женился на Катарине, она все-таки мать твоего ребенка.

С ы н. И ты говоришь о разводе, отец? Ева куда консервативнее тебя. Она все еще считает себя моей женой —«пока смерть не разлучит нас». Живет она с Гробшем, но разводиться не желает, хотя она бросила меня, а не я ее. Впрочем, Катарина не пойдет за меня замуж...

О т е ц. Почему? Господи, ну почему не пойдет, почему? Что это еще за новости?

С ы н *(садится, продолжает мастерить, отец стоит перед ним. Карл, очень смущенно).* Мне бы не хотелось объяснять. Тебе это будет больно... понять ты бы все понял, но от этого, быть может, тебе станет еще больнее.

О т е ц. Все равно скажи, может, и не будет так больно. Если я тебе признаюсь, что я и без того перестал понимать мир, наверно, ты легче объяснишь, почему мне будет больно оттого, что Катарина не выйдет за тебя.

С ы н *(очень смущенно).* Не знаю, с чего и начать... Я думаю, да и Катарина тоже, что *(мнется)* на земле и так слишком много графов. Она, между прочим, наполовину графиня; ее внебрачный отец был симпатичным молодым графом, который даже изъявил готовность жениться на ее матери, официантке. Но мать не пожелала производить на свет графов и графинь, и Катарина хочет сохранить эту традицию. *(Поднимает глаза.)* Ты вот граф, тут ничего не изменишь, и ничего худого в этом нет. Я тоже граф, однако меня это только забавляет. Графский титул почему-то внушает почтение, но оно редко бывает оправданно. И если мы сделаем нашего маленького Генриха графом, он в свое время опять будет производить на свет графов и графинь. А Катарине хочется, чтобы его звали Генрих Рихтер. Я с радостью женюсь на ней, если Ева согласится на развод, но раз уж я граф, мне не избавиться от фамильного титула. Ты приглядись, сколько графов мельтешат вокруг Кундта: всякий раз, едва запахнет жареным, около Кундта возникает граф. Ведь и в эту гнусную историю с Моттабакхани меня втянули лишь потому, что я граф. Просто взяли и заслали к нему. Помнишь?

О т е ц. Что-то связанное с нефтью, кажется?

С ы н. Ну да, Клунш решил самостоятельно и в рамках закона провернуть небольшую сделку, погреть руки на нефти. Операция была легальная, но щекотливая. Меня отправили к этому Моттабакхани в посольство — ведь Карл граф фон Крейль звучит весьма солидно. Это было еще в брюссельскую пору. Брюссель, отец, три года Брюсселя... Да тут даже тебя потянуло бы изрубить рояль, на котором, возможно, играл сам Оффенбах. Брюссель, нефть... графский титул имел значение и мог пригодиться, но если бы я был всего-навсего Карлом Крейлем, никто бы не додумался втягивать меня в эту аферу. Сделка не состоялась, не помню уж почему. Кажется, Кундт с его графом опередил нас и действовал более ловко; он послал графа Эрле цу Бербена, а тот оказался умнее меня. Я понимал Клунша — этому парню из северной деревушки хотелось вполне законно отхватить большой куш... Ну так что, отец, ты огорчен, сердишься, что мы не хотим вывести в графы нашего маленького Генриха?

О т е ц. Понимать-то понимаю, и тем не менее я огорчен. Даже если фамилия Рихтер, все равно за ней что-то стоит, что-то с ней связано. Нехорошо отрекаться от родовой фамилии, это огорчительно. Все-таки Ева еще графиня Крейль, и если у нее с Гробшем будет ребенок...

С ы н. Он будет носить девичью фамилию Евы — Плинт, если я не признаю своего отцовства.

О т е ц. А ты признал бы?

С ы н. Если бы об этом попросила Ева и тебе это доставило бы радость, то да. У тебя появился бы тогда графский внук, в котором не было бы ни капли графской крови, ведь Гробш — пролетарий.

О т е ц. Ваш маленький Генрих будет на три четверти граф и носить фамилию Рихтер. А ведь я мог бы его усыновить.

С ы н. Только с согласия матери. Впрочем, ты ей нравишься...

О т е ц. Она мне тоже. Я лишь возражаю, когда дают угаснуть роду... Ты меня удивил тем, что рассказал о Брюсселе. Неужели там тебе было так плохо?

С ы н. Ева старалась делать жизнь сносной, причем титул графини ей очень помогал. Разумеется, мы тоже устраивали приемы для людей из НАТО и ЕЭС, балы, экскурсии, веселились, острили, танцевали... и стреляли — на охоте, понятно... но пустоту ничем не заполнишь, и я начал понимать, что люди от пустоты совершают страшные глупости — либо стреляются, либо спасаются бегством. Впрочем, такого рода людей можно встретить и здесь среди лоббистов и охотников, владельцев роялей Флориана и Бранзена, Капспетера и Кренгеля. И звуки слышатся отнюдь не шопеновские. Кренгеля я тоже встретил тут, он очень мил... и все они тоже плакали, когда он — тот — вскоре умер.

О т е ц. Ты действительно уверен, что его можно было спасти?

С ы н. А как ты полагаешь, из-за каких записей, документов и прочих бумаг посадили в тюрьму это дрянцо Бингерле?

О т е ц. Сегодня его должны выпустить.

С ы н. Да смилостивится над ним господь!

О т е ц. Ты так думаешь или ты в этом уверен?

С ы н. Нет, скорее уверен. На карту опять поставлены интересы государства — вместе с интересами Кундта. Его утробная гениальность ведь состоит в умении смешивать свои интересы с государственными таким образом, что государство оказывается Кундтом, а Кундт — государством.

О т е ц. Все эти предположения и слухи ничего не доказывают.

С ы н. Да, ничего не доказано, ничто из этого не имеет силы доказательства. Я все-таки юрист, отец. Доказательства, однако, могут исчезать и быть уничтожены. Это знает любой правовед.

О т е ц. Ты забываешь, что я тоже юрист. Приговор не может быть вынесен на основании документов, которые считаются пропавшими или уничтоженными.

С ы н. Правильно. И никакого приговора вынесено не будет. Но ты недооцениваешь эффект п р о с а ч и в а н и я. *(Отец смотрит вопросительно.)* Остаются туман, неясности, остается невыясненное, ничто фактически не проясняется. Остается яд, и он просачивается, впитывается, так сказать, в душу народа. Глубоко впитывается. Яд, опасный яд.

О т е ц. Не могу в это поверить.

С ы н *(подняв кофейник).* Еще чашку?

О т е ц. Нет. Не могу поверить, что Хальберкамм и даже Блаукремер...

С ы н. А Элизабет в психушке-люкс?

О т е ц. Она действительно сумасшедшая.

С ы н. Это он свел ее с ума.

О т е ц. Наболтала, а доказать ничего не смогла.

С ы н. Я тоже не могу.

О т е ц. Надеюсь, у тебя есть хоть алиби на прошлую ночь?

С ы н. Лучше не придумаешь: я лежал в объятиях любимой женщины. У нее настолько сильно развито классовое самосознание, что она даже не вернула мне чаевые, которые я дал ей лишь символически. Нет, отец, к Капспетерам спустился с небес ангел божий, а у ангела всегда есть алиби. Следы он оставляет, но их не находят. Разве что чуточку серебряной пыльцы с его крыл.

О т е ц. Опять ты сбиваешь меня с толку метафизическими загадками — как ты похож на свою мать, а ведь ты едва ее помнишь.

С ы н. Ошибаешься, очень хорошо помню. Мне было пять, когда она у ш л а в Рейн, это было недалеко от Клеве, там, где появился Лоэнгрин с лебедем. «Лебедь с голубой лентой» — назывался знаменитый сорт маргарина, который делают в тех местах. Может, лебедь поджидал мою маму под водой, а теперь возит ее в ладье вверх и вниз по Рейну... *(Показывает на другой берег.)* Может, они причаливают к берегу как раз напротив... Она мне часто рассказывала о наших предках, своих и твоих, из которых вышло так много генералов, показывала их скучные портреты. Не было ни одной войны, в которой не участвовал бы хотя б один генерал Крейль или один генерал Скогераге,— ниже полковника в нашем роду не бывало. А в битве при Воррингене[2] случилось даже так, что Скогераге сражался на стороне архиепископа, а Крейль в рядах его противника. Они воевали то за испанцев, то за пруссаков, то против Пруссии, то против царя, то с ним, переходили из лагеря в лагерь еще при Наполеоне. Лишь в восемьсот семидесятом —восемьсот семьдесят первом они ощутили в себе истинную любовь к отечеству, воспылали благородным патриотизмом; под Вайсенбургом[3] или под Седаном сражался один из них, нет, двое — генерал Скогераге и полковник Крейль, а твой отец — увы, в чине майора — пал под Лангемарком[4]. Ну а ты совсем уж не поддержал традиции — всего лишь

---

[2] В битве у Воррингена (1288) было свергнуто владычество архиепископа Зигфрида Кёльнского и его союзников в городе Кёльне.

[3] В сражении под Вайсенбургом (Бавария) в 1870 году немцы одержали первую победу над французами.

[4] Л а н г е м а р к (Бельгия) — место сражения во время первой мировой войны (1914).

капитан, и то запаса. Ах, отец, неужели тебе не хочется убрать со стен портреты этих зануд, увешанных орденами? Стариканы, как видно, неплохо зарабатывали — платили генералам щедро. Сними с себя груз, отец.

О т е ц. Я пытался избавиться от портретов. Безуспешно. Очевидно, они весьма невысокого качества. Не знаешь, никто не подыскивает себе галерею предков, скажем, на ностальгической волне?

С ы н. Плуканский собирает подобную чепуху, но только масло и на холсте,— кстати, тоже хорошо горит... Здесь у нас рамы ценнее картин. Продай Плуканскому холсты, а рамы оставь себе. И не печалься, что наш род *(смеется)* продолжится только в маленьком Генрихе Рихтере.

О т е ц. У нас могло бы быть больше детей, но я не сумел удержать твою мать дома, долгое время я буквально держал ее силой. *(Делает соответствующее движение руками.)* Худо стало, когда у нас появился Эрфтлер-Блюм со своими людьми. Он сделал меня ландратом, потом начальником окружного правления. Время от времени мы устраивали в замке приемы. И она увидела воочию Ширрмахера, Риклера и Хохленера, их как раз отпустили из тюрьмы — навсегда.

С ы н. Теперь я понимаю, почему мама взяла с меня, пятилетнего мальчонки, клятву, что я никогда не надену какой бы то ни было мундир. Я часто думаю о ней. Судя по фотографиям, красивой ее не назовешь.

О т е ц. Да, красотой и фотогеничностью она не отличалась. Несмотря на увешанных орденами генералов, наш род обеднел, род Скогераге тоже. Много денег уплыло в Париже и в амстердамских борделях. Мы с трудом держались на грани приличий: выезжали на охоту, представляешь — даже в охотничьих костюмах, с охотничьими рожками и прочей ерундой, холодной закуской и шампанским. Мы следили, чтобы гости не объедались, и остатки еды потом делили со слугами. Больше всех — и это бросалось в глаза — ели попы, которым жилось куда лучше нашего. Судорожная светская суета доводила нас до изнеможения, и в этом ты похож на свою мать и на меня. Когда нацистская чума миновала, мы надеялись, что теперь-то уж наступит царство Христово. Ведь он, этот Иисус Христос, все время был в нас, мы проклинали его, но избавиться от него так и не смогли, слишком уж глубоко он в нас засел. Наша свадьба произошла как-то судорожно: торжественная месса, охотничьи рожки, прием в зале. Я ведь мало знал твою мать, она меня тоже; в полупаническом состоянии мы наконец отправились в свадебное путешествие на голландское побережье и лишь в номере отеля, впервые оставшись наедине, оба расхохотались — так к нам пришла любовь, и это нас спасло. Мы отдались любви. Шевенинген, пляж, отель, пирс — все было чудесно, мы любили друг друга. Какой-то испанский Скогераге снабдил нас песетами, какой-то голландский Крейль — гульденами. Это давало возможность любить и развлекаться. Аристократия, мой мальчик,— единственно подлинный интернационал. Второй подлинный интернационал — денежная знать. Довольно часто они совпадают. Ее великий князь — Губка... При виде его я испытываю ужас, словно перед Великим инквизитором.

С ы н. А к кому относимся мы — к дворянству или к денежной знати?

О т е ц. Дворянский род наш, разумеется, старый, но к старой денежной знати мы не принадлежим, мы нувориши. Род старый, богачи — новые. Земельные участки, тебе же это известно, Карл, строительные страсти, строительные страхи, строительный бум. Вся страна, вся земля превратилась в земельные участки, деньги посыпались с неба.

С ы н. Может, ты все-таки поедешь к мессе, вызвать тебе такси?

О т е ц *(смотрит на часы)*. Уже поздно, к тому же мне надо еще кое-что обсудить с тобой.

С ы н *(подходит к окну, выглядывает)*. Эрика тоже не поехала, сидит в халате на балконе. Катарины не видно — наверное, на кухне.

О т е ц. Моего отсутствия не заметят, а вот если Эрика Вублер не приедет, могут быть неприятности. Ты знаешь, что Плуканского свергли и его преемником станет Блаукремер?

С ы н. Что? Блаукремер?!

О т е ц. Да, уму непостижимо... Надеюсь лишь, что на сей раз Кундт зашел слишком далеко. Плуканского нельзя было оставлять: всплыла одна старая история времен войны. Вовсе не то, что можно было ожидать,— нет, нет, история эта свя-

зана только с деньгами. Плуканский был офицером по железнодорожным воинским перевозкам и ночью собственноручно перевел несколько стрелок — не символически, а буквально и не для того, чтобы помочь партизанам, а из корысти. Эшелоны с оружием и продовольствием по запасным веткам исчезли во мраке польских ночей. Польские офицеры в родстве с половиной Европы, дворяне, мой мальчик, дворяне перечислили деньги на испанские счета через шотландские банки. Порядочные люди. У польских дворян есть родственники во всех европейских странах. Это большое преимущество, когда твои предки служили генералами, полковниками, да хотя бы и капитанами в иноземных армиях. В чужих странах они пленяли иностранок или захватывали зятьев для своих сестер. Таким путем ты породнился через Крейлей и Скогераге с Эредиа в Испании, с Маккелланами в Шотландии. И если тебе когда-нибудь потребуется убежище, то поезжай не на Кубу, а в Шотландию, Испанию или Италию — мы в родстве с Фанцетти.

Сын. Ты никогда еще так со мной не говорил, отец. Как ты это выдерживаешь? Ведь эти рожи вогнали мою мать в Рейн.

Отец. А как ты выдержал Брюссель, где столько времени бил баклуши? После того как Марта ушла в Рейн, у меня не было женщины, я не мог ни с кем жить, не мог жениться на другой. Я до сих пор не могу ее забыть ни на минуту... Правда, у меня есть ты. *(Вздыхает.)* И я начинаю понимать, почему некто, кого я не знаю и не желаю знать, разбирает на части рояли, оставляя после себя лишь щепотку серебряной пыльцы. Когда я вернулся домой с войны, Эрфтлер-Блюм просто помешался на мне. Я мог тут же стать у него министром: дворянин-католик с Нижнего Рейна и не нацист — что же лучше! Потом он перешел на старых обеленных нацистов. Я никогда не испытывал к нему симпатии. Ведь в стране были и другие люди, не только Эрфтлеры-Блюмы и не только старые нацисты.

Сын. Значит, предстоит еще одно разоблачение. На сей раз — Плуканского.

Отец. На сей раз разоблачение международного масштаба. Докопался до сути один польский историк — впрочем, вопреки желанию своего правительства. Через десять—двадцать лет, того гляди, и вьетнамские партизаны расскажут о самолетах, танках и пушках, которые они купили у американской армии... Налей мне еще кофе... А через пятьдесят лет, когда уже будет поздно, начнут разоблачать Кундта.

Карл наливает из термоса кофе в стаканчик, пододвигает банку молока и сахар. В этот момент на крышку фургона что-то падает, слышится один глухой удар, потом второй.

(С испугом.) Что это?

Сын. Не волнуйся, отец, это упали твои груши или яблоки, а может, и то и другое. Я еще не научился распознавать их по звуку. Наступает осень — время уборки урожая. Иногда они падают ночью — такой приятный, почти домашний звук.

Отец. Почему бы тебе не перебраться домой? О тебе тут хорошо заботятся?

Сын. Отлично. Утром Шнидхубель приносит мне завтрак: горячие гренки, яйца, кофе, джем; около одиннадцати я получаю второй термос кофе, обедаю у Катарины, а если она вечером работает, остаюсь с мальчиком, играю с ним, что-нибудь рассказываю, пока он не заснет. Телефон поставили, теперь у меня все есть... Нет, домой мне не хочется. Мы подыскиваем квартиру, как только найдем, съедемся окончательно — ради мальчика.

Отец. А на какие средства ты живешь? Ведь никаких доходов у тебя нет. Завтрак и фургон — этого недостаточно, а заработка Катарины вряд ли хватит на всех.

Сын. У меня еще есть друзья в ведомстве, и мне симпатизируют гораздо больше, чем Блаукремеру, его, собственно, никто не любит. Могу назвать более десятка людей, которые относятся ко мне хорошо. Они были, правда, шокированы, но зла на меня отнюдь не держали. Некоторые сочли это проявлением своего рода аристократического снобизма — а уж этого-то от меня не ожидали. Потом они уразумели, что снобизмом тут не пахнет, но мои мотивы оставались им неясны. Все-таки народ в производственном совете понял, что это не снобизм, а в крайнем случае какой-то необычайный вид умопомешательства. С Конрадом Флу до сих пор этого так никто и не связал, хотя все знали, что мы с ним давно дружили, его не вырвать из моего сердца точно так же, как из твоего не вырвать многого другого.

О т е ц. Значит, ты зарабатываешь деньги в ведомстве? Оно дает тебе поручения?

С ы н. Странные и тайные задания от тех, что наверху. *(Показывает на разные углы фургона, где могут быть вмонтированы подслушивающие устройства.)* Вот взгляни, например. *(Хватает с полки толстый коричневый конверт.)* Но ничего не говори, пока я не позвоню по телефону. В конце концов я всегда поступал корректно и по закону, даже в Рио, ведь инструкция гласит: в исключительных случаях разрешается оказывать помощь иностранным подданным. *(Тем временем отец вскрыл конверт и вынул из него металлическую эмблему автомобиля марки «мерседес». С удивлением смотрит на сына; тот приложил палец к его губам.)* Помолчи минутку. *(Набирает номер телефона и, чуть подождав, в трубку.)* Привет, это Карл, послушай, я в неловком положении. Мой отец хочет знать, каким путем я зарабатываю деньги... нет, за его молчание ручаюсь... даже Катарине пока ничего не рассказывал... думаешь, этому и так никто не поверит... а доказательств у меня тоже нет... значит, верно... спасибо. *(Кладет трубку; отцу.)* Я ворую мерседесовские звездочки. Вот эта — последняя, на некоторое время придется теперь воздержаться. Эта досталась особенно трудно. Она с машины некоего доктора Верли, богатого банкира из Швейцарии... Полагаю, что и в этом случае тайна будет соблюдена согласно семейной традиции.

О т е ц *(взвешивает мерседесовскую звездочку на ладони и качает головой).* Ты меня не разыгрываешь? Ты делаешь это для ведомства?

С ы н *(деловито).* Уже несколько лет. За каждую звездочку в нашей стране получаю пятьсот марок плюс накладные расходы, звездочка, добытая за границей, стоит тысячу пятьсот марок плюс издержки; на иностранной территории работаешь, как говорится, на свой страх и риск, дома же тебя всегда могут прикрыть. Если я попадусь за границей, помочь мне будет очень нелегко. За гонорары и накладные расходы я должен отчитываться и давать расписки, порядок есть порядок.

О т е ц *(все еще озадачен, явно сомневается).* А может, это проверка твоего мужества, своего рода подготовка к заключительным испытаниям?

С ы н. Нет, если знать всю подоплеку, это — как и многое, кажущееся на первый взгляд безумным,— вполне логично. У них, по-видимому, на крючке какой-то русский агент, питающий патологическую страсть к этим вещицам. Он не желает ни денег, ни баб, ни мальчиков, подавай ему мерседесовские звездочки. Причем они должны быть непременно с машин важных персон. Взамен он, вероятно, шепчет кое-что на ушко.

О т е ц. Но ведь звездочки можно раздобыть более легким путем?

С ы н. Ему предлагали целые коробки новехоньких, но он хочет только краденые, причем с ручательством. И он все проверяет: потерпевшему анонимно звонит по телефону мужской или женский голос — иногда от имени полиции — и интересуется, как, например, сейчас у доктора Верли, цела ли звездочка на его машине, и если нет, то когда хозяин заметил ее пропажу. Потерпевшему ничего не стоит это проверить — достаточно взглянуть на капот. Звездочка Верли подтверждена, завтра могу получить гонорар. *(Берет у отца звездочку и кладет ее обратно в конверт.)* Вот эта обойдется довольно дорого: пришлось приобретать новую одежду, несколько дней торчать в дорогом цюрихском отеле, где за машинами присматривают в оба, так что не подступишься. Еле дождался, когда этот бедняга наконец уехал со своей любовницей в небольшую загородную гостиницу и поставил там машину в сарае. Пока он наслаждался телом и, возможно, душой этой милой особы, я завладел звездочкой. В Цюрихе это было бы слишком рискованно, со швейцарской полицией лучше не связываться. Даже их газеты теперь небезопасны: «Подозрительный немецкий граф обкрадывает автомашины». Это не сделало бы чести нашему роду. У русского коллекционера уже десятка два звездочек, он явно какой-то псих, тяжело травмированный капитализмом. Все расходы я аккуратно записываю, бухгалтерия у меня в порядке. *(Смеется.)* Самое трудное оказалось легче всего — звездочка с «мерседеса» Хойльбука. У него типично рейнский характер — веселость быстро сменяется недовольством, а затем отвращением, к сожалению, Катарина слишком молчалива, иначе бы я знал больше о его характере. Так вот, Хойльбука пригласил в гости мой друг Вальтер Мезод, меня, понятно, тоже знаешь, Вальтер меня в обиду не дает. Машина Хойльбука стояла у подъезда, однако в ней сидел шофер. Я притворился пьяным и, споткнувшись, повалил

на радиатор, пока шофер вылез из машины и помог мне встать на ноги, штучка уже была у меня в кармане. Между прочим, вынуть такую звездочку из гнезда не так просто, сначала надо крепко долбануть по ней кулаком, а потом уж выкручивать. Работаю всегда в перчатках. Тренировался на старых «мерседесах» у торговца подержанными автомобилями, разумеется, с возмещением расходов на ремонт плюс гонорар за любезность.

О т е ц. Тренировался? Специально обучался этому?

С ы н. Конечно. Надо же владеть своим ремеслом. За это прилично платят, значит, и работу надо выполнять как следует. Вот такая у меня теперь профессия. То, что делаю, делаю по всем правилам, даже если дело не совсем порядочное. Катарина ничего об этом не знает. Кстати, ведомство анонимно посылает потерпевшему по почте новую звездочку. Корректность соблюдается.

О т е ц. Хойльбук наверняка отдал бы звездочку добровольно ради вящей славы отечества?

С ы н. Бесполезно. Русский настаивает, чтобы они были украдены. Кстати, звездочка обошлась почти даром, только такси — туда и обратно, ну а Мезод живет недалеко. Как видишь, я и здесь соблюдаю правила приличия. Все-таки, отец, я юрист и у меня правовой образ мыслей.

О т е ц *(показывая на возможные подслушивающие устройства)*. И ты делаешь это по их заданию?

С ы н. Они платят мне и в то же время наблюдают за мной. И живу я на это неплохо. Между прочим, ниже министра русский не признает.

О т е ц. Значит, вскоре наступит черед Блаукремера?

С ы н. Некоторое время придется воздержаться. С меня каждый раз требуют письменное донесение и расписку. Двойная страховка — понимаешь?

О т е ц. А какая гарантия у тебя?

С ы н. Расписка. Мой гонорар даже облагают налогом.

О т е ц. Но расписка-то у них, а не у тебя. Какое письменное подтверждение остается у тебя? Очевидно, никакого. И ты еще считаешь себя выдающимся юристом! У них два десятка доказательств против Карла фон Крейля, у тебя же против них — ни единого. Два десятка признаний в краже! Если дойдет до крайности, кто тебе поверит, что ты действовал по их заданию? Вся эта затея слишком безумна, чтобы в нее поверили: советский человек, собирающий мерседесовские звездочки!

С ы н. Как видно, ему нужен именно этот символ немецкого трудолюбия и капитализма.

О т е ц. Хотя бы и так, но сможешь ли ты доказать, что он существует, этот человек?

С ы н. Доказать я ничего не могу.

О т е ц. Ты уверен в своем заказчике?

С ы н. Это мой старый друг.

О т е ц. Он занимает высокий пост?

С ы н. Весьма. Во всяком случае, ответственный. Он меня не подведет.

О т е ц. Но, может быть, есть другие, которые хотят подвести его?

С ы н. Фамилию его я не могу тебе назвать. Серьезно. Понимаешь, он не один, и они мне желают добра. Однажды я под вымышленной фамилией даже вел слежку за самим собой, причем с большими накладными расходами. Устроил эту фикцию, чтобы подработать. *(Отец недоверчиво смотрит на него.)* Да, да, аккуратно записывал, кто меня посещал, кто мне звонил, куда я ездил — на такси или на велосипеде. Все до последнего пфеннига.

О т е ц. Уж не Герман ли Вублер это?

С ы н. Нет. Для него я при случае делаю переводы, платит хорошо. К тому же он нанял Катарину, хотя *(показывает на потолок)* они были против. И по-прежнему влюблен в Еву, но ее он не получит. Я часто встречаю ее на приемах, иногда навещаю дома.

О т е ц. В присутствии Гробша?

С ы н. Конечно. Мне нравится Гробш, он, правда, не совсем доверяет мне, но парень он все равно симпатичный. Корректный, решительный, циничный, но не продажный. Это новая аристократия, из пролетариев, так же как Катарина. Фамилии этих новых аристократов — Рихтер, Шмиц, Шнайдер или Гробш, кое-кто из

них сидит сейчас в тюрьме. *(Отец с удивлением смотрит на него.)* А почему бы нет? Дворян тоже временами сажали в темницы — по политическим причинам. Гробш один из тех, кто мне мешает уйти в Рейн.

Отец. Мне делается жутко, когда я начинаю понимать, зачем разбирают и рубят рояли...

Сын. С этим, пожалуй, временно покончено. На рояле Кренгеля, вероятно, установлена такая сигнализация, что стоит попасть на него серебряной пыльце с ангельских крыл, как мгновенно поднимется тревога. Возможно, вскоре появится какая-нибудь страховка роялей — страховка банкирских роялей. *(Тише.)* В этом есть что-то очень грустное, отец, почти трагичное, и, знаешь, это меня задевает, даже трогает: ведь они любят искусство, почитают его по-настоящему. Дочь Капспетера — а я мог бы ее полюбить — уже наверняка получила новый инструмент с гарантией, сигнализацией и страховкой, на котором, возможно, бренчал Вагнер. Однако они находятся под какими-то странными чарами, и тот, кто разбивает их рояли, тот ангел, я полагаю, хочет разрушить эти чары. Но их раздражает только потеря имущества, а ведь дело совсем не в ней... Я желаю, чтобы у Адельхайд Капспетер был новый рояль. А вот что бы пожелать Кундту?

Отец. Смерти. Он губит нашу республику.

Сын. Кундт тоже во власти каких-то чар, не знаю только какого рода, он снова и снова твердит о своем долге, долге...

Отец. Эти чары я бы с удовольствием разрушил. Я больше не понимаю Германа Вублера.

Сын. У Вублера есть одно ужасно неприятное качество — он человек верный. Между прочим, оно присуще также Эрике и Катарине. Вублер предан Кундту, а Кундт — Вублеру, да, да, и если такой, как Вублер, вдобавок верен законам государства, то это просто милость божья, как говаривали наши предки. Ни государству, ни Вублеру нельзя причинять вреда — он стоит выше закона. Ты же это понимаешь. Не знаю, что известно Бингерле и какие у него есть доказательства, но если он угрожает государству, то самые корректные и самые некорректные будут против него, чистые вместе с продажными. Хойльбук и Вублер, все чистые и неподкупные, которых ты можешь перечислить, будут на стороне Кундта, потому что вместе с ним подвергается опасности государство. Верующие и неверующие, приверженцы государства, мафии, церкви — все будут на его стороне. Поэтому о скандалах здесь мы никогда не узнаем ничего до конца. Глубоко в нас сидит этот обоготворенный кумир, которому следует приносить жертвы, а сколько их уже принесено... И лишь оттого, что кумир укоренился в нас так глубоко, столько чистых оказываются в сумасшедшем доме, пишут отчаянные письма, протесты, составляют воззвания, выпускают листовки, которые полны оскорблений, и тем не менее остаются без наказания. И вот эти чистые становятся мелочными, делаются доносчиками, чуют коррупцию даже там, где ее нет. Сотни, может быть, даже тысячи этих людей превращаются в подавленных и озлобленных людишек, глупых и несносных... Мне б, отец, не хотелось кончить этим. И Вублер не кончит этим. В его случае возможен только один конфликт: если верность Эрике придет в противоречие с верностью Кундту. Я знаю их обоих, отец, мы слишком долго дружили. Всякие мысли о Кундте выкинь из головы. Ты не сможешь да и не станешь его убивать. Кундту опасен даже не Бингерле, нет,— только Вублер. *(Берет бинокль и смотрит в окно на дом Вублеров.)* В самом деле, она осталась дома... это небезопасно... Может быть, ты все же поедешь, отец, на мессу?

Отец. Пожалуй, успею пробраться в собор во время проповеди... но скажи мне, ты действительно веришь, что Конрада можно было бы спасти?

Сын. Им была нужна жертва, и он должен был стать жертвой не праведных, а продажных.

Отец *(встает, собираясь уходить)*. Если когда-нибудь получишь задание украсть мою звездочку, дай мне знать — мы решим проблему мирно, без применения силы.

Сын *(обнимает его)*. Не сердись и не обижайся на мои слова, но ты, по-моему, уже не относишься к категории лиц, чьи звездочки кто-то жаждет приобрести.

Отец. Как знать, как знать. *(Улыбаясь, уходит.)*

Глава 4

Рейнский променад между Бонном и Бад-Годесбергом в густом тумане. На заднем плане высокая массивная стена, железная калитка. Метрах в трех перед стеной скамейка на берегу Рейна. Слева появляется старая женщина со старой собакой, тихо ворчит на нее: «Ах ты, злючка» — и исчезает в стенном проеме, откуда выходит Е в а П л и н т. На ней белый шерстяной плащ с капюшоном, в руках белая сумочка. Она подходит к скамейке и опирается на спинку.

Е в а П л и н т. Хорошо, что туман, не так боязно. Резкий свет фонарей приглушен, кубические формы соседних зданий смягчены, шума от машин меньше, движение почти парализовано. Из-за угла, с аллеи, время от времени показывается прохожий и медленно, робко шагает дальше Когда Эрнст крикнул мне из двери вдогонку: «Смотри не рассказывай ему лишнего!» — его голос словно донесся из-за реки. *(Показывает перед собой на Рейн.)* Оттуда ничего не слыхать: ни судовых машин, ни громового рокота буксиров, ни даже туманных гудков — тихо, еще тише, чем обычная тишина в самое тихое время дня. «Новости», «Последние известия» — час, когда я каждый вечер убегаю от опостылевшей информации; в этот час Эрнст включает телевизор, минуту терпит неизбежную рекламу, пока не прозвучит музыкальная вставка, предваряющая обзор событий— свобода, экономический застой, обеспечение флангов НАТО, веселье, враждебные действия — Москвы, разумеется,— назначения, поощрения, ноги футболистов, княжеские свадьбы. И под конец — культура, шикарная, глупая, или в качестве лирического финала глубоко озабоченный банкир за завтраком — кажется, он беспокоится из-за яйца всмятку. И только об одном не провозглашают с экрана — что мы смертны, бренны и предназначены для высшей участи.

С тех пор как Неизвестный, пока еще Неизвестный, ночами разбирает на части инструменты и аккуратно штабелирует у каминов, все банкиры боятся за свои драгоценные рояли. В последнее время, как я слышала, он кладет возле штабеля коробку спичек и кусок парафина для растопки, как бы предлагая им собственноручно развести костерчик. Теперь я знаю, как пахнет горящий рояль, каково слушать, когда рояль рубят на части — с холодной решимостью, с ожесточением, расчетливо... Я была его женой и пока остаюсь ею, остаюсь, ибо только смерть может разлучить нас. Я испугалась, когда он это делал, и сбежала от него, хотя иногда встречаюсь с ним; он переезжает сюда на пароме с того берега, садится на эту скамейку, рассказывает мне про ту, у которой от него ребенок, про то, как они живут вместе, а я рассказываю про того, с которым сейчас живу и который не хочет детей; у него было плохое детство, а у меня хорошее. Хорошее. Я люблю их обоих, первого и второго... и вот теперь третьего. Если бы т о т, кто разговаривал с прелюбодейками, присел бы сюда, на скамейку, и спросил меня: «Сколько мужчин было у тебя?» — я бы ответила: «Двое». Хорошо бы, он подсказал, что мне делать... Мужчина, который не хочет детей, политик, важный, относится к своему делу серьезно, и это неплохо, даже если я не все воспринимаю всерьез. Наверное, к политике относятся серьезно только те, у которых было плохое детство. Для других же это игра, профессия, сделка.

С Эрнстом мне не трудно общаться, разве что во время ужина. Он хочет есть, когда передают обзор событий дня. Я понимаю, у него мало времени — заседания, комитеты, он должен выступать, составлять речи для себя и для этого Плуканского. Но у меня аппетит появляется уже к семи, для него это рановато, кроме того, вечером мне хочется супу — должна признаться, что мои супы славятся... Однако он не может глядеть на экран и есть суп — запотевают очки. А негорячий суп — это не суп Итак, около половины восьмого я съедаю свою тарелку, а ему незадолго до восьми подаю бутерброды и салат Это единственное осложнение в нашей жизни. Даже когда мы отправляемся на приемы, я все равно должна перед уходом поесть супу. На приемах я не наедаюсь досыта, хотя закусок там, как правило, достаточно. Ну ладно, я должна поесть супу от семи до восьми вечера, он любит есть около восьми, не отрываясь от «Последних известий». Вот так и сидит одинешенек, впитывая информацию; а поскольку сегодня на десерт политическая дискуссия, которую я также не хочу смотреть, он засел до полдесятого, и у меня полтора часа свободны. Он никак не может понять, что эти дискуссии о молодежи бессмысленны, ярмарочный балаган: Гребентёклер и Кромлах утверждают, что нынешняя молодежь утратила понятие о

ценностях, а Брайтхубер и Ансбухер настаивают на том, что как раз молодежь открыла истинные ценности. А этот самодовольный зануда ведущий, обычно Гусспер... стоит кому-нибудь действительно сказать по существу вопроса, как его перебивают, а если он все же договаривает, то его упрекают, что он вышел из роли. Следовательно, я полагаю, что у всех у них одна и та же роль и выходить из нее им нельзя. *(Закуривает сигарету.)* При нормальном вечернем свете или освещении я не рискнула бы сделать то, что могу позволить себе в тумане,— выкурить сигарету. Женщин, курящих на улице, здесь почему-то все еще считают чуть ли не шлюхами, но я же не такая, пусть даже я прелюбодейка и назначила свидание политику, который меня... меня... да, можно сказать, уважает. Но ведь Эрнст знает, что я пошла на встречу с ним. *(Садится на скамейку.)* Ну вот, теперь во мне нет ничего распутного: сидя на скамейке, немецкая женщина может курить, а вот курить стоя и на ходу нельзя, это публике не нравится... Ни единого фонаря на воде и на том берегу ни проблеска, клубы тумана ползут оттуда, где мой милый Карл живет у своего дорогого отца; ни красных, ни зеленых судовых огней, бросать якорь запрещено. Может, где-то здесь было спрятано сокровище нибелунгов — его, наверное, унесло течением, короны изуродованы, кучка золота давно смыта рейнской водой, ее измолотила и ободрала галька, превратив в подобие какого-нибудь карнавального ордена, который даже не подновишь, чтобы наградить им короля стрелков... О Кримхильда и Брунхильда, по вашим браслетам прокатились «Rolling stones»[5], то есть лавина камней, они обросли речными водорослями и, может, лежат рядом с нацистским значком, который поспешно бросил в Рейн какой-нибудь перепуганный бюргер, когда в город въехали американские танки. Чего там только не перемешалось в зеленом иле: «мертвые головы» и ножны, обвитые черно-бело-красными лентами, честь и слава, выброшенные в панические секунды истории, когда ухмылявшиеся негры разыскивали проклятых German Nazis[6]. О вы, черные братья по НАТО, этих Nazis у нас еще хватает, мой Эрнст мог бы вам многое порассказать, да вы не хотите слушать, вы гоняетесь только за коммунистами. Мой добрый, прилежный Эрнст спец по нацистам. Последнее время он идет по следам некоего Плича, ныне именующего себя Плониусом, которого когда-то называли Кровопийцей. Но никто не слушает Эрнста. Вон там тоже пролилась кровь, кровь дракона. Ах вы, семеро карликов за семью горами, сколько вы могли бы рассказать! Но вас тоже никто не стал бы слушать. Быть может, вы знаете даже, где зарыли моего кузена Алоиза, который оборонял автостраду неподалеку. Я помню его только по фотографии: сияющий юноша, белокурый, кудрявый, с глубоко сидящими темными глазами... Да и кого это интересует, кроме моего отца и дяди... А Карл на том берегу... Вода слишком холодная, слишком глубокая, и к тому же былой любви-то, наверное, нет и в помине. *(Смотрит на часы.)* Он, пожалуй, тоже смотрит «Новости», придет в четверть девятого, а сейчас восемь десять... Он тоже политик, небольшого роста, морщинистый, у него красивые глаза, красивые руки, наверное, и ноги красивые, но я их не видела. Я только играла с ним в четыре руки... на ногах у него, естественно, туфли, на педали всегда нажимал он. В четыре руки на рояле, который потом изрубили и сожгли; его расчленили словно гигантское черное насекомое... сильно пахло лаком... Только колесики Карл оставил себе — а зачем? У партнера по роялю детские руки, детский взгляд, он, этот Альберих[7], всегда стоит у вешалки, когда я ухожу с вечера, хочет подать мне пальто, но всякий раз его опережает другой — мой маленький кубинец, в которого я влюблена... И того, который в меня влюблен, я просила разузнать о том, в которого влюблена. Это жестоко? Я никогда не была жестокой. Мне кажется, он рад этой встрече, рад, что побудет со мной наедине. Но в моем сердце нет места для него... Это, наверно, жестоко? Карл и Эрнст сходятся во мнении о нем: хитер, но не подлец... Как он влечет к себе, Рейн. Мать Карла у ш л а в него, да, у ш л а. Ее так и не нашли. Я все время представляла себе, что у нее на ногах были свинцовые башмаки и она шла, шла вниз по течению к Северному морю. Красотой она не отличалась, моя свекровь, но была статной, пышной блондинкой, настоящей валькирией, дочерью Рейна... она так и не всплыла. Рейн привлекал ее больше, чем послевоенная Германия. Среди ее предков

[5] Название музыкального ансамбля.
[6] Немецких нацистов *(англ.)*.
[7] Король эльфов в германо-скандинавской мифологии.

не было ни одного ниже генерала или полковника... галерея фамильных портретов, грудь в орденах, каждый орден — почти что клад нибелунгов. Одни глупые, некоторые хитрые, даже подлые, наверно. «Уйти в Рейн» — хорошо сказано... когда-нибудь это, возможно, сделаю и я — не потому, что разочаровалась в жизни, нет, но там, внизу, должно быть, красиво... путешествовать по земному илу через историю, пройти по дну моря вокруг Британских островов и выйти обратно на берег во Франции... А в ушах все время эта мелодия Шопена, пронзительно оборвавшаяся, когда Карл ударил топором по клавишам... и струны в огне, спекшиеся в черноватые комки... *(Смотрит на часы.)* Так, теперь начинается дискуссия, Эрнст сидит с ручкой и блокнотом и записывает «решающие показания», как он их называет. Потом на ближайшем заседании он выступит в прениях и заявит: в двадцать часов девятнадцать минут такого-то числа вы, господин Гребентёклер, сказали: «Наша молодежь должна снова научиться приносить жертвы...» А вы, господин Кромлах, в двадцать один ноль три такого-то числа сказали: «Наши рабочие и служащие еще не готовы идти на жертвы в той степени, которая необходима для стабилизации». Да, он любит точность, и это хорошо, он серьезен, неподкупен, его цинизм сказывается в скорби... В Рейн он не уйдет, нет, нет, скорее уж это сделает Карл.

Сзади из железной калитки тихо выходит Герман Вублер и бесшумно садится рядом с Евой. Она вздрагивает, поворачивается к нему.

Ах, это вы... да, вы пунктуальны... хотя могли бы уж кашлянуть.

Вублер. Простите... виной — моя застенчивость. При дневном свете или полном вечернем освещении я бы никогда не отважился сесть рядом с вами. Благослови, господи, туман. Хотя мы знакомы и не можем заподозрить друг друга в каком-либо коварстве. Так близко *(показывает на калитку сзади)* мне еще не доводилось ходить на свидание. Сорок лет назад я впервые обратился на улице к женщине. Во время затемнения, темнота придала мне храбрости... мне было двадцать.

Ева Плинт. Та, с которой вы заговорили, была проституткой?

Вублер. Нет, она была продавщицей в обувном магазине.

Ева Плинт. Эрика, ваша жена! Ее история известна по предвыборным брошюрам. Бедняжка, биография образцовой демократки... это, должно быть, грустно. Мне она всегда нравилась. Как она поживает?

Вублер. Хочет и уехать отсюда и остаться. Странно, многие хотят уехать. Вы, наверное, тоже?

Ева Плинт. Как только подумаю об Эрнсте, опять начинаю колебаться. Это зависит также от того, что вы мне сообщите. Так как же его зовут?

Вублер. Хесус Перес де Легас, тридцать пять лет, кубинец, разумеется, коммунист. Превосходно говорит по-немецки, как вы знаете, учился в ГДР, читал Брехта, Анну Зегерс. Работает здесь в торговом представительстве.

Ева Плинт. Женат?

Вублер. Разузнать это вряд ли возможно. В большинстве случаев они не привозят сюда жен, а доступа к их личным делам у нас нет. Будьте осторожны, милая Ева.

Ева Плинт. Он шпик?

Вублер. Видите ли, все дипломаты в известном смысле шпики. Они пытаются добывать информацию по возможности тактично и легально. Если же они делают это бестактно или же глупо и не совсем легально, то их называют шпионами и выдворяют. Он наверняка не станет расспрашивать вас в лоб.

Ева Плинт. Я всего лишь два раза потанцевала с ним, а танцует он как бог... и всегда подает мне пальто, опередив вас; он кладет мне руки на плечи и глядит в глаза. Ну что я могу ему рассказать? Эрнст ничего не говорит мне о политике. Я знаю не больше того, что пишут газеты и сообщает радио.

Вублер. Желательна любая информация: о Карле, о вашем свекре, о Гробше и прежде всего — о Плуканском, на которого работал Гробш. Плуканский очень выгодная фигура, известно, что он брал взятки и, вероятно, может уступить шантажу...

Ева Плинт. Да, знаю. Нефть, оружие, ковры... исполнительницы танца живота — но ведь этими танцовщицами он еще не торгует или тоже? *(Вублер молчит.)* Может, он только посредничает при заключении договоров, они же артистки... ну и немножко играет в агента?.. Вы молчите?

В у б л е р *(вздыхает)*. Да, молчу.

Е в а П л и н т. Как говорится, не подтверждаете и не опровергаете... то есть скорее все-таки подтверждаете.

В у б л е р *(резко)*. Нет, скорее опровергаю. Вы мне разрешите закурить?

Е в а П л и н т. Пожалуйста. Трубку?

В у б л е р *(кивает, достает из кармана трубку, набивает ее, подносит гаснущую спичку к лицу Евы)*. Да, утром сигареты, вечером трубку... Ваши супы, Ева, лучшие из всех, что я когда-либо ел. Ваш рояль, беседы с вами, Карл и Эрика... жаль, что мы теперь видимся только на обедах да вечерах, пожилому мужчине это грозит перейти от влюбленности к сладострастию. Я готов даже отказаться от «Новостей» или потерять очки, если мне таковые понадобятся... а дискуссии, как сегодняшняя, можно записать на видеокассету и потом на досуге изучить.

Е в а П л и н т. Вы словно подслушали мои мысли.

В у б л е р. Конечно. Я даже не посмотрел «Новости».

Е в а П л и н т *(тихо)*. Не говорите ничего об Эрнсте Гробше, пожалуйста, и о Карле нам не стоит говорить, а Хесус, этот кубинец... странно, его образ уже тускнеет в моих глазах. Мне стало страшно с тех пор, как я начала понимать Карла.

В у б л е р *(тихо)*. Понимал я его всегда... однако понимать — еще мало что значит. Когда я в двадцать пять лет вернулся с войны — сбежал домой, больше всего мне хотелось разрушить уцелевшие города и церкви... и уж подавно — рояли. Я понимаю даже тех, которые поджигают автомобили. Будьте осторожны, не говорите на приемах о Бингерле, Плуканском, Блаукремере... Не шушукайтесь о Блаукремерше-первой. Вы знали ее?

Е в а П л и н т. Так, мимолетно, точно не помню. Я знаю только вторую — с ней я знакома... А болтовня моя не выходит за пределы того, о чем пишется в газетах.

В у б л е р. Когда жена политика болтает о том, что написано в газетах, это выходит за пределы того, что есть в газетах. Такая жена становится, собственно говоря, источником информации, и каждый предполагает, что она знает больше, чем газеты.

Е в а П л и н т. Там что-то насчет документов и... Бингерле. Газеты пишут, что это бризантно.

В у б л е р. Бризантность — это разрывная сила, взрывчатость Бризантны мины, неразорвавшиеся снаряды... если на них наступить или случайно по ним ударить, взлетишь в воздух. Печать может писать о бризантности, но если вы жена политика, заседающего в важных комиссиях, личного секретаря Плуканского, если вы высказываетесь о Бингерле и Плуканском, могут подумать, что вы знаете, где эта мина заложена.

Е в а П л и н т. Но ведь Бингерле и Плуканский — это тема номер один, на приемах только о них и шушукаются.

В у б л е р *(настойчиво)*. Вы этой темы не должны касаться. Знаете, что случилось с Блаукремершей-первой?

Е в а П л и н т. Ходят слухи о сумасшедшем доме, говорят, что ее измотали, доконали... я же все слышу. А недавно всплыло новое имя — Плониус...

В у б л е р *(вздрагивает; очень серьезно)*. Ни слова об этом Плониусе, Ева, ни слова. Гробш говорил с вами о нем?

Е в а П л и н т. Да нет же, он ничего не говорит, а ведь знает массу вещей.

В у б л е р. Зря вы говорите о сумасшедшем доме. Это же санаторий Кульболлен.

Е в а П л и н т. Я слышала, там только женщины.

В у б л е р. Да, те женщины, которые слишком много слышат, много видят, много читают, заглядывают в записные книжки своих мужей, подслушивают телефонные разговоры. Присмотритесь к Карлу и Гробшу, как они себя ведут на приемах: говорят только о погоде, об антиквариате, о модах. Позавчера у Кюстермана вы слишком много говорили. Лучше помалкивайте, улыбайтесь, болтайте о кино, модных песенках. Между прочим, красное платье, в котором вы были у Кюстермана, вам не идет, красное — цвет прихотливый. Вам пошел бы светло-зеленый, а к нему маргаритка из горного хрусталя.

Е в а П л и н т. Я знаю, что мне почти сорок. Вы за шесть лет не постарели.

В у б л е р. Семь лет. В двадцать пять я выглядел почти пятидесятилетним, а сейчас, в шестьдесят два, тоже смотрюсь на пятьдесят... Я часто сидел вон там, поджидая, когда вы в восемь появитесь здесь... Мечтал о шапке-невидимке, не для

того, чтобы подслушивать, нет, а чтобы смотреть на вас, не стесняя вас своим присутствием... Вам идет светло-зеленый, светло-голубой, конечно — белый и вся бежевая гамма. Вы позволите еще немного побыть с вами? Может, сходим куда-нибудь?

Е в а П л и н т. Пригласите меня на стаканчик пива... у стойки в баре Аугуста Крехенса... Я бы частенько туда заглядывала: спокойно посидеть, выпить пивка, покурить, вспомнить о человеке, который не оставил о себе памяти... Но, к сожалению, не вымирают мужчины, считающие себя неотразимыми, и если неотразимый видит женщину, которая одна пьет у стойки пиво, то с вероятностью два из трех он кладет ладонь ей на руку, а это мне еще противнее, чем их болтовня о нечутких женах. Непонятые женщины — явление грустное, но непонятые мужчины и того хуже. Если женщина одна на табурете у стойки, значит, эти непонятые, тяпнув для храбрости, немедленно приступают к действиям: «Сегодня в одиночестве, сударыня?» Или: «Я тоже одинок, а двое одиноких должны объединиться». Так что спокойно пива не попьешь... Хорошо, пойдемте к Аугусту.

В у б л е р *(поднимается).* Иногда я заглядываю в тот бар и сижу в одиночестве.

Е в а П л и н т *(тоже поднимается).* Мы могли бы встречаться там, это совсем неплохо.

В у б л е р *(берет ее за руку).* Давай пошли.

Е в а П л и н т. Не тыкайте, пожалуйста, и не сжимайте так сильно мне руку.

В у б л е р. Сейчас или никогда?

Е в а П л и н т. Пожалуй, никогда. Эрнст, Карл, Хесус... Я не обманывала еще ни одного мужчину.

В у б л е р *(останавливается с Евой у древней стены).* И все-таки у вас репутация легкомысленной, весьма кокетливой женщины. Такова участь многих красивых и хорошеньких женщин — их считают легкомысленными. Действительности это соответствует редко, другие на самом деле куда опаснее.

Е в а П л и н т. Вы знаете это по личному опыту?

В у б л е р. Нет, не по личному, а в результате знаний, приобретенных профессиональным путем. Мне случается иметь дело с уймой дипломатов и их жен. Неприятностей бывает достаточно... нет, я не волокита, неужели я похож на волокиту? Однако я уязвим и подвергался соблазнам... но, как и ваш Эрнст, отношусь к политике очень серьезно.

Е в а П л и н т *(трогает влажную стену).* С этим земельным участком вам не повезет. Он не продаст.

В у б л е р. Вы уверены? Я посредничаю в переговорах с одним эмиратом, где увлекаются рейнской романтикой и мечтают о нашем удивительном климате, где приходят в восторг от пасмурного неба. Видите ли, синева, даже небесная лазурь могут приесться, попросту говоря, наскучить. Предлагают три, четыре миллиона, а вполне возможно, и пять... ведь этот участок стал позорным пятном.

Е в а П л и н т. «Позорное пятно» — удачное выражение, пожалуй, лучше не скажешь. Позорное пятно, памятник позора. Каждый день я прохожу мимо этой поросшей мхом стены, она вся в трещинах, местами осела. Сад одичал, зарос сорняками... Десятилетиями семена и плоды падали в бурьян, он поднялся почти до крон деревьев, лужи, маленькие пруды, настоящие биотопы... вечером здесь слышно, как квакают жабы. Еще заметно, что ворота когда-то были зеленые, вернее темно-зеленые,— лет пятьдесят назад. Когда я прохожу мимо ворот, из бурьяна взлетают дикие голуби, вывеска «Осторожно! Возможен обвал!» уже не нужна, здание давно обрушилось. Иногда школьники пробираются через бурьян, залезают в подвал, где еще не провалился свод... И, разумеется, полиция искала здесь террористов — бурьян, гнилые груши истоптали, светили прожекторами, ни дать ни взять — киносъемочная площадка, где снимают фильм по Эдгару По... Многие интересовались участком, думали построить тут новый дом с видом на Рейн, на другой его берег, где лилась кровь дракона... Как это называется, когда человека убивают из высших соображений? Блаукремерша-первая знала слишком много, я слишком много знаю, Зигфрид тоже знал слишком много — да и Еингерле слишком много знает. Такой человек замыслит месть, и однажды он, быть может, разобьет телевизор, где мы все чаще и чаще видим Кундта и Блаукремера и слушаем самодовольные нудные монологи Гребентёклера, Кромлаха и Ансбухера.

В у б л е р *(сжимает ей руку).* Успокойся, успокойся... мы говорили о продаже земельного участка.

Е в а П л и н т. Участки, которые должны быть оплачены кровью дракона. Повторяю: прошу мне не тыкать и не сжимать так сильно руку. Да, мы говорили об этом участке. *(Стучит по стене.)* Вы, Вублер, представляете покупателей... предлагаете три, четыре, до пяти миллионов. Почему не десять, ведь нефти там неиссякаемые запасы? А Эрнст Гробш представляет возможного продавца, он нашел его после многих лет настойчивых поисков и труднейших расследований — это Иеремия Арглоз, пятнадцати лет, житель Нью-Йорка, он наследник тех, кто превратился в пепел в Освенциме и Треблинке, в прах на кладбищах Иерусалима, Калифорнии и Нью-Йорка. Он был у нас, этот худой, бледный, долговязый мальчик. Вечером я поехала с ним кататься на пароходе по Рейну: цветные фонарики, песни, о веселый рейнский край... Он ел сосиски, мороженое, пил лимонад, ходил здесь по саду, по развалинам в джинсах и фиолетовой рубашке. А за ужином сказал: не продам, никогда не продам. Пусть этот участок останется памятником моему прадеду, который все это построил, моему деду и отцу, которые здесь родились, говорили на здешнем языке и пили пиво у Аугуста Крехенса... пусть это будет памятником... позорным пятном или памятником. Памятником позора...

В у б л е р. Насколько я знаю, деньги бы ему пригодились.

Е в а П л и н т. Очень пригодились бы, он живет у родственников в Нью-Йорке, неких Генри и Клодаг. Живут они не в нищете, но скудно. Однако этот мальчик понимает ценность памятников. Да и чем он жертвует? Дикими голубями, бурьяном и паданцами. «Позорное пятно» — хорошее выражение, «памятник» — тоже... Возможно, Генри и Клодаг охотно продали бы его, но участок, бесспорно, собственность Иеремии, а ему пятнадцать. Придется им немного подождать, но может случиться, что когда ему стукнет восемнадцать, его убьют в Никарагуа... Вот тогда нефтяные шейхи, пожалуй, начнут здесь свое строительство. А теперь пойдемте наконец пить пиво...

Оба сидят у стойки на ящиках из-под пивных бутылок со стаканами в руках, смотрят друг на друга.

В у б л е р. Я не знал, что Эрнст Гробш — еврей.

Е в а П л и н т *(бросает на него удивленный взгляд)*. Он не еврей, с чего вы взяли?

В у б л е р. Потому что блокирует продажу участка — памятника, как вы сказали. Значит, хочет сохранить памятник позора.

Е в а П л и н т. Дед Гробша убит в Освенциме, он был не евреем, а рабочим и коммунистом... участвовал в Сопротивлении вместе с польскими католиками.

В у б л е р *(задумчиво)*. Уважаю... уважаю... как адвокат и посредник он мог бы заработать на этом много денег, мог бы разбогатеть...

Е в а П л и н т. Не делайте из него идеалиста. Он человек реалистический и цену деньгам знает, потому что у него дома их никогда не было.. А памятник такая же реальность, как деньги. Одну реальность он предпочитает другой. Не больше.

В у б л е р. Ладно, ваше здоровье. *(Оба приподнимают стаканы.)* Я не тороплюсь, могу подождать... и надеюсь, мальчик не погибнет в Ливане или Гондурасе, когда ему исполнится восемнадцать. Выпьем за его здоровье.

Е в а П л и н т. Хорошо. *(Оба пьют.)*

В у б л е р. Я адвокат и представляю интересы моих клиентов, не больше. *(Вынимает из кармана старомодные золотые карманные часы.)* Сейчас Кромлах уже говорит об избалованности молодежи.

Е в а П л и н т. Откуда вы знаете?

В у б л е р. Двадцать сорок пять, ему уже предоставили слово. Вас баловали в юности?

Е в а П л и н т. Где уж там! Отец — инженер, долгое время был без работы. Но после войны, когда я подросла, он получал много денег. Лет, когда у него были трудности, я не помню. Я всегда была сыта и тепло укрыта. Вечером отец с матерью подходили к моей кроватке и поправляли одеяло. Мне было три-четыре года. Отец работал на фабрике швейных машин. В то время многого не хватало, особенно иголок к машинам, а всем женщинам хотелось шить и перешивать. Отец развел обширную спекуляцию деталями к швейным машинам, и ко дню денежной реформы у него была уже собственная маленькая фабрика. Ну и у меня появилось все, что бывает у нуворишей: частная школа, уроки музыки, теннис, танцы.

После школы я временно работала у моего кузена, Альберта Плинта, в одной католической организации, потом познакомилась с Карлом, стала графиней — Ева Мария фон Крейль — и остаюсь таковой. Да, я избалована... Никак не могу оправиться от размолвки с Карлом, все думаю о судьбе моей свекрови, которая утонула в Рейне. Да, избалована... Гробш тоже балует меня, он очень мил со мной.

Вублер. Избалованная графиня на Кубе... мне страшно, моя дорогая...

Ева Плинт *(тихо)*. Графиня и избалованность... дело не в этом, но только танцевать и класть руки на плечи... а Гробш, этот католик-отступник с пролетарским лицом, сидит тут один. Нет. Я тоже отступница... А католики не такие уж плохие, как их иногда представляют.

Вублер. Я тоже такой. Отступник и католик.

Ева Плинт. Знаю... Эрика, Кундт и Блаукремер тоже... и Карл. Для Гробша это было уж слишком: графиня — при его антифеодализме! — да еще католичка.

Вублер. И теперь вы хотите его покинуть?

Ева Плинт. Нет, пожалуй... мне только хотелось вытирать носы кубинским детишкам, наливать им суп, сажать на горшки. Танцевать с Хесусом... чувствовать его руки на моих плечах.

Вублер. Я готов показать вам здесь несколько сот детей, которых вы могли бы кормить, вытирать им носы и сажать на горшки, могли бы даже делать это вместе — вы, Эрика, я и Карл... У меня никогда не было возможности вытирать носы собственным детям... Еще пива?

Ева Плинт. Нет, спасибо. Иногда мне кажется, что я способна выпить пять стаканов подряд, но вскоре выясняется, что одного вполне хватает, даже с лишком. Кормить, вытирать носы и сажать на горшки — этим я занимаюсь с племянниками и племянницами Эрнста. Их с детства не балуют. А вас баловали?

Вублер. Нет. Мой отец был мелким почтовым служащим, мы были не то чтобы бедные, но кое-как перебивались. Я страдал оттого, что был вынужден донашивать одежду старших братьев, все перешивалось. Ни разу в детстве я не носил новой обуви — и потому, что был младшим, и потому, что у меня были такие маленькие ноги, что все ботинки оказывались велики. Одежда... никто не знает, что она может значить для человека, а для детей особенно... Ну а потом — армейская форма, ни один размер мне не подходил, ничто никогда не сидело на мне как следует... причем я всегда интересовался модой — возможно, именно поэтому, как знать... Наденьте, пожалуйста, завтра на прием к Блаукремерам светло-зеленое с брошью из горного хрусталя в форме маргаритки.

Ева Плинт. Вам следовало бы открыть салон мод, вместо того чтобы идти на службу к Кундту и жить в обществе блаукремеров и хальберкаммов.

Вублер. Наверное, я мог бы стать модельером... но у этой профессии есть одна печальная сторона, и это меня остановило бы. *(Ева Плинт смотрит на него вопросительно.)* Очень редки женщины с фигурой манекенщицы — я бы вечно испытывал душевный разлад. Но у меня есть и другие сомнения, и, вероятно, потяжелее. Прошу вас, прошу вполне серьезно: забудьте того, кого вы называли Плониусом. А также, пожалуй, вашего Хесуса...

Ева Плинт. Он так хорошо танцует... а если он и коммунист, то не свинцово-тяжелого немецкого сорта... Значит, мне ни о чем больше нельзя болтать? Даже о Плуканском? Ведь говорят, что ему недолго осталось сидеть в кресле? Слишком много нефти, ковров, оружия и... танцев живота.

Вублер. Он слетит не из-за этого. Послушайтесь моего совета.

Ева Плинт *(допивает пиво)*. Мне пора идти... Мы приглашены в гости — поздно вечером домашний концерт у Капспетера. Его дочь Адельхайд — моя школьная подруга, сегодня она играет Бетховена на новехоньком рояле. Специально прилетела из Нью-Йорка, чтобы опробовать.

Вублер. Разрешите мне заплатить за пиво?

Ева Плинт. Разрешаю. Очень было мило с вами. Можем это повторить. *(Уходит.)*

Вублер, налив себе второй стакан, сидит в задумчивости.

Перевели с немецкого Н. БУНИН и Е. ГРИГОРЬЕВ.

(Окончание следует)

ПУБЛИЦИСТИКА

ИГОРЬ КЛЯМКИН

★

КАКАЯ УЛИЦА ВЕДЕТ К ХРАМУ?

...Клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам бог ее дал.

А. С. Пушкин.

Популярный современный фильм кончается коротким выразительным диалогом. «Не эта улица ведет к храму»,— говорит одна еще молодая женщина другой, совсем уже древней, в ответ на ее вопрос. Она знает, что говорит: с улицей, на которой она живет с детства, у нее связаны воспоминания не из приятных. «Зачем же эта улица, если она не ведет к храму?» — спрашивает старушка, понявшая, похоже, к концу дней своих, что все дороги, лежащие в стороне от добра и правды, людям ни к чему, и ее голос отзывается тревожаще-неприятным эхом внутри многих из нас: зачем?

Отзывается одинаково, а отвечают по-разному.

Кто-то спешит вычеркнуть улицу из памяти, стереть ее с карты истории: тупик, дорога в никуда, покаемся, пока не поздно, если мчались по ней с надеждой на лучшее и верой в него, сбросим труп прошлого с обрыва, какой повыше. Очистимся.

А кто-то не торопится, взвешивает, размышляет. Понимая, что легкомыслием легковерие не одолеть, спрашивает себя и окружающих: а была ли другая улица? был ли выбор у сотен тысяч, миллионов современников того героя фильма, который приносит им так много зла? случайны ли его власть и их подчинение, или было во всем этом то, что в древности называли судьбой, в средние века — предопределением, а мы с вами называем исторической закономерностью?

В книге истории, как и в любой другой, легче всего пропустить непонятные страницы, сделать их как бы не бывшими. Но если непонятное не понято, а обойдено и отброшено, то можно ли его оценить? Отрицание прошлого методом его вычеркивания — это отстранение, а не преодоление. К сожалению, мы до сих пор больше вычеркивали и отстранялись, чем преодолевали.

Помню, году в шестьдесят четвертом — я работал тогда в одной центральной газете — мне пришлось готовить к публикации письма и дневники участников войны. Я оставил некоторые места, где говорилось о Сталине, о том, как это имя воспринимали в военные годы солдаты. Простое чувство правды подсказывало: раз это было, вычеркивать нельзя.

Вычеркнули.

Не для того вспоминаю этот случай — рядовой в редакционной жизни тех лет,— чтобы задним числом осудить своих коллег, руководивших газетой. Вычеркивание очень часто осуществлялось не потому, что так положено, а из внутренней потреб-

---

Статья И. Клямкина — первая из ряда намеченных нами к публикации работ, в которых с разных точек зрения обсуждаются проблемы советской истории.

ности. К концу 60-х годов, когда некоторые вычеркнутые места начали восстанавливать, это стало совершенно ясно.

Пионерами восстановления выступили наши известные военачальники, которые подошли к тому возрасту, когда пишут мемуары. И вот после выхода воспоминаний генерала армии Штеменко корреспондент газеты встретился с ним и в числе прочих задал несколько вопросов о Сталине. Из ответов Штеменко следовало, что, по его мнению, Верховный главнокомандующий был человек неглупый и кое-что понимал и в военном деле. И до сих пор перед глазами напряженно-взволнованные лица выступающих на редакционной летучке — ни одна из них не запомнилась так, как эта. Одни говорили, что им стыдно работать в газете, взявшей на себя почин «реабилитации». Другие отвечали, что они реабилитируют историческую правду.

Тогда мы, начинающие журналисты, не могли слушать все это без волнения. Кто-то горячо и безоглядно сочувствовал одной из сторон, кто-то испытывал внутренний разлад: и возврата к прошлому нельзя допустить, и неправда — тоже не дело. Сейчас вспоминать те настроения и споры немножко грустно: вычеркнуть — вписать, вписать — вычеркнуть. Что-то смущало, конечно, и в то время, но — отбрасывали, гнали от себя все сомнения. «Нельзя упоминать это имя, пока история не вынесла окончательный приговор!» — так или примерно так объяснила свою позицию одна журналистка, правдивый, искренний и одаренный человек, и многим казалось, что она безусловно права: ведь имя могло стать знаменем консерваторов. Теперь эти слова воспринимаются по-другому, в них хочется слышать не только искренность и политическую настороженность, но и робость, даже леность мысли: пусть, мол, история вершит приговор после нас и без нас.

А потом пришла пора новых запретов и вычеркиваний, увеличивших число непонятых страниц нашей истории. И так уж получилось, что со временем знание и понимание ее заменил нам смутный образ улицы, не ведущей к храму. Образ этот богаче и точнее той версии советской истории, что до сих пор преподносится школьникам и студентам. Но уже самой отрицательностью своей он лишний раз указывает на то, что мы то и дело ощущаем себя людьми без прошлого. Сказать: улица не ведет — значит вычеркнуть ее. Но оздоровляет ли наш духовный организм такого рода хирургия? Ведь если не ответить себе, почему было то, что было, то никакое покаяние не поможет, так как будет невыношенным, неглубоким.

Вычеркивание имен, вычеркивание «улицы»... Доросли ли мы до серьезного отношения к своей истории? До понимания того, что ни отменить, ни обойти ее нельзя, что вперед можно идти только от той точки, к которой пришли, и с тем багажом, который за спиной?

Не хочется спешить с ответом. Хотя бы потому, что вижу перед глазами вовсе не вымышленных профессиональных блюстителей общественной нравственности, озабоченных тем, как бы не переборщить с критикой прошлого, как бы не повредило это «воспитанию молодежи» и «единству поколений», и думающих, что успех воспитания зависит не от степени правдивости, а от дозировки «отрицательного» и «положительного» в науке, искусстве и пропаганде. На всякий случай предупреждаю, что своими вопросами я не им протягиваю руку. Что касается ответов — тем более. Потому что написанное ниже не претендует на ответы. Это лишь некоторые размышления о нашей исторической улице и о том, могла ли она быть иной. История же должна предстать перед нами такой, какой она была.

Сразу хочу сказать, что в основе всех последующих рассуждений лежит отнюдь не новое представление об историческом развитии России. Вкратце оно сводится к тому, что пролетарская революция 1917 года победила в стране, где капитализм не успел достаточно глубоко преобразовать экономику и политические отношения; где буржуазия была слабой и, как показали восемь месяцев между февралем и октябрем того же 1917 года, не способной подчинить себе ход истории и уступившей инициативу рабочему классу; где на переднем плане оказалась поэтому не либеральная и не буржуазно-демократическая, как в пору революций на Западе, а социалистическая интеллигенция, взявшая на себя не только политическое, но и хозяйственное управление; где крестьянство, составлявшее подавляющее большинство населения, оставалось в массе своей добуржуазным (патриархальным и мелкотоварным), с уровнем потребностей и хозяйственной энергии, недостаточными для товарно-рыночной экономики. Все это не могло не сказаться на облике общества, сложившегося в стране после революции.

О ПРИЧИНАХ НЕЛЮБВИ К КАТКОВУ И ЛЮБВИ К ДРУГИМ

Так как день вчерашний был под запретом, то с тем большим рвением взялись мы в свое время за день позавчерашний.

Сейчас разговоры об очаковских и более поздних временах, когда западники спорили со славянофилами, Достоевский — с Черньшевским, Бердяев и Струве — со всей революционной и нереволюционной интеллигенцией,— сейчас все это, похоже, отошло, отшумело. Все внимание к современности и к тому, что только что перестало ею быть и о чем не могли вовремя высказаться. И, конечно, к будущему, с которым связываем определенные надежды. Разумеется, океанская глубь минувшего и впредь будет манить не меньше, чем небесная гладь предстоящего. Но все же нельзя одновременно смотреть вперед и назад. Либо вперед, изредка оглядываясь на то, что остается за спиной: туда ли бежишь, куда хотел, не сбился ли? Либо назад, потому что впереди ничего не видно, сплошной туман, бежать некуда и не по силам — ноги вязнут в грязи, и нет другого выхода, как использовать время непогоды, чтобы поразмышлять наедине с собой и с близкими друзьями о том, что было, откуда шли и куда забрели, выяснить, где и почему твердый грунт начал превращаться в трясину, вспомнить старых гидов из додедовских времен, советовавших, пока не поздно, свернуть туда-то и туда-то, взять позападнее или повосточнее, снова вслушаться в разноголосицу их предупреждений и пожеланий, выделить в ней созвучное себе и добиваться, чтобы оно стало созвучным другим, а заодно и подумать, почему же все-таки мелодия, находящая сегодня отклик в твоей душе, многим людям в свое время приплась не по вкусу и все случилось так, как случилось.

Куда смотрим и что видим, зависит от того, где стоим. И от того, стоим или бежим. Сейчас мы — в начальной точке разбега. С чем же мы подошли к ней? Если за душой лишь тяжелая, гнетущая мысль об улице, не ведущей к храму, то с ней особо не разбежишься, а тем более не прыгнешь: не даст взлететь, будет тянуть вниз. Может быть, многолетние беседы со старыми гидами укрепили наши духовные силы? Что вынесли, что вобрали мы в себя из национальных культурных традиций? Что отвергли? Проще всего, конечно, сказать, что вобрали разное и отвергли тоже разное — каждый выбирал, что ему ближе. Но было и общее. Было, например, то, чего не выбирал никто.

Никто не выбрал, скажем, своим духовным учителем Каткова. Всесильный редактор «Русского вестника» нашел исследователей, но не последователей. Ни у кого не возникло желания назвать его по имени и отчеству. Симптоматичная антипатия! Ведь сами по себе его идеалы и в нашем веке звучат вполне благозвучно, если не более того. Катков хотел, чтобы в России мыслящие люди (так же, как, например, в Англии) могли свободно, в том числе и в печати, высказывать свои, а не только дозволенные начальством мысли. Он выступал против произвола по отношению к личности; глубокое чувство духовной независимости, человеческого достоинства, самоуважения, развитое правосознание — вот его идеал. Даже против Чернышевского и его сторонников Катков, как известно, шел под флагом свободы, так как революционные демократы, по его мнению, звали не к освобождению индивидуальности от сковывающих ее цепей, а к ее новому, еще худшему порабощению примитивной общинной коллективностью.

И тем не менее редактор «Русского вестника» пришелся не ко двору демократической интеллигенции. Каткову не простили его идейный и политический союз с правительством. Ему не простили «диалектическую» изобретательность ума, воплотившуюся в утверждении, что высшее проявление личной независимости — в добровольном служении престолу и государству, которое одно только и может обеспечить развитие свободной индивидуальности в России. Не простили пропагандистскую кампанию 1863 года, когда Катков призывал задушить восставшую Польшу. Не простили редакторского насилия — тоже во имя свободы — над рукописями лучших романов Достоевского и других писателей.

Не простили по сей день.

Много было реабилитаций в последние три десятилетия, много имен, вычеркнутых из национальной культуры, восстановлено в правах. Реабилитация Каткова не состоялась. И, похоже, не состоится.

Впрочем... Впрочем, давно известно, что желание заглянуть слишком далеко вперед — вовсе не признак дальнозоркости и дальновидности. Так что лучше не спешить с прогнозами.

Катков ведь не сразу стал таким, каким мы его знаем. Во времена Белинского он был просто либералом-западником. Ему и в голову, наверное, тогда не приходило, что сады свободомыслия могут расцвести в стране благодаря заботливому искусству таких садовников, как царь Николай и его министры. Катков становился Катковым по мере размежевания общественных сил в стране. Он тем увереннее и убежденнее протягивал руку правительству, чем громче звучали революционные ноты в лагере нигилистов, чем больший отзвук находили они в читающей публике.

В пору недавнего обращения к истокам и традициям отечественной культуры нашлись, разумеется, защитники и у традиции, представленной именами Радищева, Белинского, Герцена, Чернышевского. Но какими бы яркими и содержательными ни были речи защитников, массового сочувствия и сомыслия эти речи не вызвали. Безотказно работал механизм «вычеркивания-вписывания»: раз цитатами из Чернышевского и Добролюбова мяли и крушили Достоевского или славянофилов, то, стало быть, цитаты эти ни на что другое и не годятся, кроме как мять и крушить... Как долог путь от знания-веры, знания-монолога к знанию-мышлению, знанию-диалогу! И неудивительно: пока в самом обществе все «одномерно» и монологично, до тех пор движение вперед будет сменой монологов, когда победители лишают побежденных слова, до тех пор мы демократы лишь в собственном воображении.

Короче, сломать устоявшееся отношение массового читателя к революционным демократам не удалось. Сказалось и то, что их защитники не сумели объяснить, так как сами не всегда понимали, какое все же отношение имеют идеи Белинского и его последователей к нашим сегодняшним заботам, как их ответы на ими же поставленный вопрос «что делать?» могут помочь в том непростом положении, в котором все мы недавно находились. Настроениям многих из нас больше отвечали другие, не радикальные ответы. Поэтому не так уж удивительно, что у Чернышевского и Добролюбова не много нашлось сознательных последователей. Но именно поэтому, быть может, не нашлось их у противника революционных демократов Каткова, хотя идеи духовной независимости, развитого правосознания, интеллектуальной и эстетической наполненности («личностного начала», как мы научились тогда выражаться) были чуть ли не расхожим штампом печатных и застольных словообменов.

Катков — это либерал, который имеет мужество идти в своих убеждениях до конца и не стесняется, уловив опасность слева, своей готовности поставить либеральную свободу и сосредоточенную в узком культурном слое рафинированную культуру под охрану цензоров, а при необходимости и штыков. Если же на левом фланге все тихо, если там, кроме нескольких «догматических» книг и статей, которые мало кто читает, ничего нет, то стоит ли искушать судьбу, снова и снова вставать на неблагодарную дорожку редактора «Русского вестника»?

Так что не будем гадать, какое будущее уготовано Каткову и есть ли оно у него. Что было, то было. А что будет, то увидим.

Но если Каткова дружно отвергли, то где же искало опору наше либеральное свободомыслие в пору всеобщего хождения к истокам? Оказывается, где угодно, но только не в отечественной либеральной традиции!

Кому интересен был хотя бы Кавелин? И о нем, разумеется, писали. О ком только не писали в те годы! Но писали без тепла и одушевления; никому и в голову не приходило советоваться с ним насчет того, как жить и что делать. А между тем Кавелин, отстаивая ласкающую наш слух мысль о свободе, независимости и достоинстве личности, вовсе не призывал к союзу с правительством, а находился в оппозиции к нему — если не открытой, то внутренней. И предлагал он учиться у европейцев вещам, которым мы до сих пор не научились, остро чувствуем и переживаем это и хотим научиться,— деловитости, умению доводить то, что начали, до конца, а прежде того — желанию браться за какое-либо дело, пусть и не очень видное и громкое, вместо того чтобы предаваться бесплодному восточному «жеванию и пережевыванию самого себя», страдая от невозможности воплотить нравственный идеал во всей его полноте и не испытывая ни малейшей охоты что-либо предпринять.

Разве мало верного в этих устремлениях? Неплохо вроде бы звучат и слова Кавелина о том, что нам нужны европейски образованные специалисты, а не бесчисленные мыслители и идеологи, рассуждающие об общих вопросах. Все здраво, все практично, а Достоевский почему-то считал кавелинскую программу распространения специальных знаний, которая сводилась к реорганизации университетов, к пре-

вращению их в очаги образованности и культуры предоставлением им большей самостоятельности и независимости,— всю эту программу он считал безжизненной, касающейся лишь распространения «формул и категорий», но не затрагивающей духовных основ народного существования и никак не соприкасающейся с ним. И, наверное, прав был писатель: не стал Кавелин учителем жизни — ни для современников, ни для потомков.

Была и еще одна, более ранняя попытка сделать Россию продолжением западной «улицы», не похожая ни на катковскую, ни на кавелинскую. В пору обращения к истокам люди, предпринявшие ее — я имею в виду декабристов,— не были обойдены вниманием. Но опять-таки удивительная вещь: писавшие о них для более или менее широкого читателя и желавшие как-то повлиять на его мысли и настроения обращались не столько к самим идеям декабристов, сколько к их поведению, не к тому, что они думали и что хотели сделать, а к тому, как они делали и что из этого получилось. Декабристы стали в это время близки нам прежде всего драматизмом своего положения в обществе фамусовых и своей исторической судьбой; нас интересовало, как они уживались с чуждым им окружением, как проявляли в повседневной жизни свое неприятие его —подчеркнутой ли книжной серьезностью на фоне светского легкомыслия или тем, что в отличие от всех прочих приходили на балы, демонстративно не снимая шпаг.

Нас интересовали эти детали и подробности, потому что мы сами напряженно искали способы не только внутреннего противостояния тому, что сейчас названо застойными явлениями, но и способы быть услышанными, и нам было очень важно, что жили когда-то люди, умевшие обретать и сохранять духовную независимость в мире, где выше всего почиталось молчалинское умение и желание «зависеть от других». Но именно потому, что нас интересовало это, так тягостно переживали мы признания декабристов на допросах: в правдивых и искренних ответах на вопросы царя Николая читался не недостаток личного мужества (его им было не занимать), а угадывалась зависимость от олицетворяемого царем мира.

Декабристы вошли в наше общественное сознание как бы помимо их западнических идей и политических программ. Идеи и программы в своем академическом кругу обсуждали разве что историки, обладающие счастливой способностью жить в прошедшем времени.

Почему же мы так равнодушны к традиции отечественного западничества?

Недавно вышла интересная книжка о русских революционных мыслителях, авторы которой спрашивают себя: могли ли декабристы победить? Отвечают: да, могли, если бы действовали решительно, если бы им не мешал «революционный дилетантизм». Что же могли они сделать, одержав победу? По какой «улице» могла бы пойти тогда история страны?

Большинство декабристов мечтало о парламентском правлении для России. И большинство из них понимало, что в России о парламентаризме можно лишь мечтать: не только верхи, но — что самое важное — и патриархальные крестьянские низы не испытывали в нем ни малейшей потребности. Парламентаризм вырастает из экономической свободы, которой в России не было. Что же могли здесь сделать, придя к власти, люди, чьи политические идеалы сформировались на европейских образцах?

Авторы отвечают: они могли сделать то, что спустя некоторое время сделает Пруссия, насаждавшая капитализм сверху, путем реформ. Как нам хочется другой истории, другой «улицы», хотя бы в фантазии! А ведь в той же книжке можно прочитать о том, как представлял себе эту «улицу», этот капитализм сверху Павел Пестель — самый, быть может, реалистичный и трезвый политик среди декабристов. Он считал, что подготовить страну к парламентскому правлению может лишь длительная... военная диктатура! Не буду тревожить воображение читателей предположениями о том, что бы это такое могло быть. В этом нет смысла, так как ничего такого быть не могло. Проект Пестеля был отвергнут декабристами: они хотели заменить тиранию демократией, а не новой тиранией. Но ведь для европейской парламентской демократии в России не было почвы. У правоверного «почвенника» это вызывает патриотический энтузиазм и прилив национальной гордости. Гордиться тут нечем. Было бы лучше, если бы и на нашей «улице» почва для демократии была. Ее отсутствие — факт, с которым нельзя не считаться, а не повод для ликования. Факт неприятный. Но он есть. И он-то, наверное, не только предопределил неуспех всех прошлых

попыток либерализации страны, но и выработал в нас стойкий иммунитет к традиции западничества во всех ее разновидностях — от охранительной до революционной.

Наша историческая улица — не лучшая в мире. Но могла ли она быть другой?

Пока Россия копила силы для того, чтобы освободить себя от татарской опеки, Европа накапливала их для прорыва в новую, индустриальную цивилизацию.

Россия вынуждена была пуститься вдогонку. Это стало ее судьбой — догонять, чтобы сохранить независимость. Догонять прежде всего в той области, которая обеспечивает независимость,— в области вооружений. Все остальное приносилось в жертву.

Чтобы ответить на вызов Запада, Россия могла использовать лишь тот инструмент, который был в ее распоряжении и который был создан для борьбы с внешней опасностью,— самодержавие. А самодержавие действовало так, как оно только и могло в то время действовать. Оно ответило на вызов Европы закрепощением крестьян, которое для Запада было уже давним или недавним прошлым. Из крепостных и выкачивали средства и людей для «европеизации» армии и производства.

На Западе вхождение в индустриальную эру сопровождалось ростом свободы. В России — ростом рабства.

На Западе новая цивилизация постепенно и органично прорастала снизу, из развитой торгово-ремесленной среды, сформировавшей энергичного, предприимчивого и дисциплинированного работника с чувством собственного достоинства и с глубокой потребностью в демократических правах и пользовании ими.

Россия то же самое осуществляла в сжатые сроки и сверху, не имея ни нужного работника (города создавались для обороны, ремесло не было развито), ни демократических традиций, ни нужды в них, и могла на первых порах пользоваться лишь принуждением: одних — к руководству мануфактурами, других — к труду на них, превращая крепостных крестьян в крепостных рабочих.

Запад не знал резких культурных и психологических разрывов между образованными слоями и народом; дистанция временами бывала огромной, но пропасти не было.

В России интеллигенция возникла не за несколько столетий, а за несколько послепетровских десятилетий; осваивая научные и технические достижения Европы, она не могла попутно не прихватить и кое-что от европейских общественных идей, либеральных и социалистических, которые в глазах самодержавия чаще всего выглядели крамолой, а патриархальному крестьянину были чужды и непонятны, что и вызвало к жизни до того нигде не виданную «проблему интеллигенции», отщепленной от государства психологически, а от народа — культурно.

На Западе не было резких диспропорций между технико-экономическим и гуманитарным развитием, а если и имело место несоответствие, то заключалось оно в том, что уровень духовности оказывался значительно ниже уровня материального богатства.

В России, наоборот, хозяйственная отсталость сопровождалась в прошлом веке мало с чем сравнимым духовным взлетом: ко времени, когда выражение «догонять Европу» стало синонимом крутой ломки глубинных основ народной жизни, интеллигенция, отчужденная от государства, целиком сосредоточившая свои силы на общечеловеческих и отечественных «проклятых вопросах», накопила колоссальную духовную энергию и сполна проявила ее и в литературе, и в искусстве, и в теоретической мысли, и в революционном движении.

На Западе буржуазия даже до завоевания политической власти чувствовала себя независимой от правительств, которые нуждались в ее деньгах и были ее постоянными должниками.

В России, где самодержавие после поражения в Крымской войне вынуждено было отменить крепостное право и открыть перегороженную до того дорогу капитализму, буржуазия, как правило, находилась в полной зависимости от царизма, его заказов и его покровительства.

На Западе решение крестьянского вопроса, перевод сельского хозяйства на капиталистическую основу хотя и был болезненным, но все же постепенно осуществился.

В России проникновение капитализма в деревню вело к стремительному разрушению патриархального, общинного уклада без замены его новым, что в конце концов и оттолкнуло крестьянина от всегда опиравшегося на него азиатского деспотического правительства, не сделав, однако, самого крестьянина самостоятельным хозяином.

Все по-своему, все иначе, чем «у них». Не просто отстали и догоняли, а догоняли совсем по-другому, не по проложенной ушедшими вперед магистрали, а по российским большакам и проселкам, трясясь на ухабах и мечтая о летящей, как птица, Руси-тройке. Сначала на всех порах к технической цивилизации в обход капитализма, ценой порабощения собственного народа; затем — свой, самобытный, полуазиатский-полуевропейский капитализм, насажденный царизмом, им опекаемый и без него чаще всего беспомощный. Катков лучше многих других либералов понимал это и был последовательнее их, призывая во имя свободы подчиниться самодержавию.

Неудивительно, что в минувшие годы нас больше всего волновало не то, чем похожи мы на других, а то, чем не похожи. В непохожести и пытались угадать свою истину и правду, свою улицу, ведущую к храму. Поэтому, обратившись к национальной культурной традиции, многие быстро, не вчитываясь, перелистали книги и статьи старых западников и, не путая, разумеется, декабристов с Катковым, все-таки отложили их в сторону: не то, не свое, заемное. Что касается революционных демократов, то их даже мало кто и листал. Дело было, напоминаю, в пору застоя, а так как революционным демократам отводилось первое место среди других течений общественной мысли прошлого века, то кое-кто искренне полагал, что «с Чернышевского все и началось».

Кто же ходил тогда во властителях дум?

Вне конкуренции был Достоевский. Примерно те же идеи, что у него, привлекали у Гоголя, нашли читателя «Выбранные места из переписки с друзьями». В определенных литературных кругах самыми выдающимися мыслителями считались славянофилы. Возможно, считаются и сейчас.

То, чем зачитывались, раньше проходило по ведомству реакционного и было «вычеркнуто». Восстановление справедливости, как я уже говорил, сопровождалось несправедливостью по отношению к тем, кто считался прогрессивным официально.

Но все же общий итог был в пользу истины: преодоление примитивной монологичности началось.

Хорошо, что славянофилы — начну с них — не кажутся нам теперь махровыми реакционерами, врагами прогресса, наивно полагающими, что можно при желании вернуться назад, к допетровской старине, и что там было лучше, чем стало потом. О них не только написали много верного, но и самим им дали высказаться перед современным читателем, переиздав некоторые их работы.

Заслуга славянофилов, отмеченная еще Белинским, состояла в том, что они, оправившись от шока, вызванного трагедией 14 декабря, ясно и определенно заявили: Россия — не Запад, у нее своя судьба, а потому нелепо копировать жизнь других народов, надо строить свою собственную, учитывая национальные особенности. Если отбросить полемические перехлесты, то они не отрицали ни значения петровских реформ, ни важности научного и технического развития. Но они считали ненормальным, что реформы эти искусственно разобщили образованных людей и людей из народа: разная одежда, разные манеры, разные привычки, разговаривают на разных языках (и в прямом и в переносном смысле), друг друга не понимают и понять не хотят.

Славянофилы были правы, когда говорили: расколотая нация обречена, она не сможет развить ни науку, ни технику, ни свои духовные силы. Они были правы и тогда, когда выступали против просветительских иллюзий плоского западничества: раз народ темен и забит, то его надо просветить, и тогда, мол, все будет в порядке, пропасть между ним и образованными людьми исчезнет, ее заполнят знания, переданные сведущими несведущим. Славянофилы на это резонно отвечали, что народ не чистый лист бумаги, на котором можно писать все, что вздумается интеллигенции, у него есть своя своеобразная и самобытная культура, она может нравиться или нет, но не считаться с ней нельзя, иначе будешь не просветителем, а проповедником в пустыне. Они хорошо разъясняли, что в основе этой культуры не индивидуальность, не личность, а коллективность, общинность, не «я», а «мы», не сольное, а хоровое начало.

Много верного говорили славянофилы, и совсем неплохо, что нашлись в наше время люди, которые помянули их добрым словом. Жаль только, что, вспоминая их, вспоминали не все. Не вспоминали, а если вспоминали, то не задумывались над тем, почему все же «улица», проложенная воображением славянофилов, оказалась не заселенной ни интеллигенцией, ни народом. Не задумывались или старались забыть, что сама жизнь в какой-то момент перестала уживаться с патриархальным крестьянским «мы», начав его мять и трепать, дробить на единицы, откалывать от него отдельные «я»; что оно, не поддаваясь и сжимаясь могучей пружиной под давлением капитали-

стического рынка, накапливало колоссальной силы революционную энергию, которой больше соответствовали коллективизм и общинность в духе Чернышевского, чем Самарина и братьев Аксаковых; что, наконец, это поэтически изображенное «мы», противопоставленное прозаически-мещанскому западному «я», не только питало фольклорными соками Пушкина и Гоголя, но и служило прочным фундаментом самодержавного национального деспотизма во всех его разновидностях.

Раскол народа и интеллигенции преодолевался в России не так, как мечтали славянофилы. И не так, как хотели ортодоксальные западники. Крестьянина и интеллигента в единую общенародную цепь начал соединять российский рабочий. Ему больше доверяла деревня, он не был для нее чужим, так как сам был чаще всего бывшим крестьянином, пришедшим на фабрику не как западный рабочий, имевший за плечами многовековую традицию городского ремесла и мануфактуры, а прямо от земли и сохи. Ни в одном языке привычное нам словосочетание «рабоче-крестьянский» не обладало такой смысловой наполненностью, как в русском. Но крестьянин, переселившись в город и став рабочим, постепенно привыкал относиться без предубеждения к интеллигенту, в культуре и знаниях которого нуждался, без которого ни свою жизнь, ни себя самого понять не мог.

Потом, после образования этого тройственного союза, много было на нашей улице всякого и разного: и победы, и пьедесталы, которые выше побед, и судьбы, пропущенные через историческую мясорубку. И во всем, что было — и победном, и трагическом, и преступном,— не последнюю роль сыграло то самое крестьянское общинное «мы», о котором с таким воодушевлением впервые заговорили славянофилы, любившие его сильной и пристрастной любовью, наверное, слишком сильной и пристрастной, чтобы различить в любимом не только «хорошее», но и «плохое», и слишком безрассудной, чтобы угадать его будущую судьбу.

А потом... Потом пришла пора долгого, растянувшегося на четверть века, прощания с крестьянской Матёрой. Прощались хорошо, по-доброму. Деревенская проза стала памятником русскому крестьянину, признанием его исторических заслуг перед отечеством, восторженным гимном его трудолюбию и долготерпению, его несуетливости и надежности. Тут-то и пришлись кстати старые славянофильские теоретические мелодии. Но звучали они грустно.

Город всасывал в себя деревню гигантским насосом. Старый уклад жизни исчезал на глазах. Казалось, что вместе с ним исчезает национальный колорит: город слишком высокомерно отстранялся от «деревенщины», слишком быстро перенимал чужие моды, ритмы, идеи. Было в нем что-то суетливое, поверхностное, неотстоявшееся, изнутри не заполненное, сосредоточенное на внешнем.

Публицисты не успевали регистрировать открытия. Открыли новую болезнь, которую неуклюже обозвали вещизмом. Открыли закон, по которому получалось, что чем лучше люди живут, тем хуже становятся, или, говоря по-ученому, рост материального благосостояния не сопровождается, как думалось раньше, ростом духовным, а сопровождается часто тем, что социологи деликатно назвали «отклоняющимся поведением». Открыли, что вместе с коммуналками ушло из нашего быта что-то теплое, сближающее, роднящее нас друг с другом, хотя возвращаться в коммуналку никто не хотел.

Открытия ошеломляли, так как они перечеркивали все прежние представления и ожидания. Думали, все беды от бедности. Оказалось, беда подстерегает у входа в достаток. Потому что он был скудным и, чтобы не уменьшаться, а хотя бы чуть-чуть увеличиваться, требовал каждодневной суеты. Потому что он имел низкий потолок и его наращивание не могло не поглотить все силы человека. Счастье, конечно, не в деньгах, но деньги могут заменить его, если нет границ для их приобретения и приложения. У нас этого заменителя не было. А патриархальное предубеждение к деньгам, которому в интеллигентской душе соответствует обостренная духовность и демонстративная враждебность ко всякому вещизму и мещанству, тем не менее зашаталось и расшаталось. Что же осталось? Остались тоска и маета. Душа застряла между жаждой высшей духовности и соблазнами низкой материальности. Одни и те же люди покупали книги и для того, чтобы читать, и чтобы подороже перепродать, и для «вложения денег». Для многих и многих наступило время беспринципных компромиссов, тайных и нетайных сделок с совестью и самоубийств совести, удивительного лукавства и не менее удивительных самообманов и самооправданий — двойной и тройной бухгалтерии...

Критика требовала от литературы положительного героя. Литература отвечала антигероями Юрия Трифонова; за два десятилетия ничего светлого и цельного не нашла она в нашей городской жизни. И как вызов и укор этому внутреннему разладу звучал деревенский «лад»: Иван Африканыч, привычно и незлобиво тянущий жизненный воз, любящая, заботливая и смиренная душа, не знающая суеты и обиды. Скольким людям дал он теоретическую опору, сколько слов позволил возродить и наполнить живым смыслом: «почва», «корни», «любовь»...

Славный памятник воздвигнули «деревенщики» русскому крестьянину. И старая славянофильская лексика порой неплохо служила им. Но памятники ставят ушедшим. А кто же занял их место? В том-то и дело, что не занял никто! И не хотел занимать. И никто не был в том нехотении виноват, потому что люди оказались втянуты в гигантский общественный водоворот.

Эпохальный сдвиг произошел прямо на наших глазах: Русь крестьянская окончательно исчезла, ее сменила Русь городская.

Политически мы оказались к этому сдвигу совершенно не готовы: продолжали говорить прежние слова, которые уже никто не слушал и не слышал, несмотря на постоянное нагнетание пафоса. Основание общественной пирамиды изменилось. Вершина оставалась прежней.

Если в основании преобладает крестьянство, к тому же разбросанное по огромной территории, малоподвижное, прикованное на всю жизнь к одному месту, то идея национального «мы» воплощается обычно в верхней точке пирамиды, которая (точка) в глазах людей приобретает размеры чуть ли не земного шара: она одновременно и реальная личность и символ. Но если в основании все пришло в движение и тихий, послушный крестьянин превратился в раскованного, непокладистого горожанина, то точка становится просто точкой. Можно по инерции раздувать ее до более солидных размеров, но символа из нее уже не получится. Правда, это искусственное раздувание некоторое время помогает поддерживать единство в верхней, аппаратной части пирамиды. Но между верхней и нижней частями образуется трещина, которая изо дня в день углубляется и расширяется, и никаким пропагандистским и директивным цементом ее не заделаешь.

Не только политически, но и духовно оказались мы не готовы к происшедшему сдвигу. Понадобился трезвый и упрямый талант Василия Шукшина, чтобы не только уловить перемены, но откликнуться на них не тяжким вздохом, не укором, не поэтическим живописанием не очень-то поэтического крестьянского прошлого, а глубоким интересом и сочувствием к внутреннему миру тех, кто оказался вовлеченным в этот водоворот.

Да, в них есть душевный разлад, искусственно заглушаемый слабыми и сильными наркотиками. Кто-то смотрит и вздыхает: «уничтожение народа...». А может быть, наоборот — неумелое сопротивление тому, что «уничтожает», тем условиям жизни, при которых переселение людей из деревни в город ведет к катастрофическим духовным последствиям? Может быть, это разлад преодоления и становления, а не разложения и гниения?

Вы спросите: ну а больничная вахтерша из шукшинской «Кляузы», которая из своей малой власти делает для других большое унижение,— это тоже не гниение? Не будем спешить с ответом, попробуем разобраться. Ведь вахтерша сумела понять нечто важное: есть инструкция, ее надо соблюдать, это — порядок. Если же все живут не по инструкции, если они установили новый порядок, заключающийся в том, что от прежнего можно откупиться полтинником, шоколадкой или чем-то более существенным, а кто-то и инструкцию соблюдать не хочет и шоколадку не дает, то это же бог знает что, крушение основ, конец света. Да кто же ты такой, что и по писаным законам жить не хочешь и неписаные норовишь обойти? А тут еще дежурный врач, наделенный властью большей, чем вахтершина, встает на твою защиту и спокойно разрешает нарушить оба «порядка» сразу! И если все существо женщины взрывается жаждой мести, если мстит она мелко и гадко, то что это? Отвечу: это в ней чувство справедливости так озлобленно выражено. Это — единственно доступный ей способ протеста против бессмысленности и беспорядка. Это — уродливый бунт против такого положения вещей, когда «одним можно, а другим нельзя»; раз другим, то и ей позволено жить вне порядка и закона, и ей можно «власть употребить», наплевав на все инструкции и подписанные начальством пропуска: «Пропуск здесь — я!»

Меньше всего мне хотелось бы испытать на себе эту анархическую месть и эту всегда вырастающую из анархии самочинную власть. Но не хочется и ставить крест на вахтершиной судьбе: в душе женщины с незапоминающимся лицом действительно глубочайший разлад, но он не безнадежен, потому что проснувшееся чувство собственного достоинства может найти себе и другое содержание, тут жизнь своего окончательного слова еще не сказала. Но зато она сказала вполне определенно: прежним «ладом» и «порядком» этот разлад не заменишь, не пересилишь.

Новый городской массовый быт начал складываться в муках, и какие бы моды и ритмы мы ни заимствовали, складывается он вполне «самобытно», хотя это и не всегда повод для радости: много служащих, но мало услуг, много ответственных, но мало отвечающих, много инструкций, но мало порядка. А вот для рассуждений о «почве» в категорическом духе славянофилов сегодня, пожалуй, почвы уже нет. И вопрос о единстве народа и интеллигенции если и встает сегодня, то не так, как раньше. Прежний разрыв между городской (книжной) и сельской (фольклорной) культурой принадлежит истории. И разрыв между «мы» и «я»—тоже. Потому что прежнего патриархального «мы» больше нет. И не надо так уж убиваться, оплакивая его, а тем более заботиться о его возрождении — хотя бы потому, что в нем монолитность и слаженность «хорового начала» были неотделимы от волевого дирижерского нахрапа, от всевластия «отцов» — начиная с «отца семейства» и кончая «отцом народов».

Новое «мы» может сложиться только как взаимодействие миллионов свободных «я». И если шукшинские герои с недоумением и растерянностью спрашивают себя «зачем?», если боль неупорядоченности и бессмысленности бытия глушат не самыми полезными для здоровья напитками и бессмыслицей куража, анархического бунта и нелепого своеволия, то не будем уподобляться недалеким родителям, отсылая детей за ответом в мир, где жили их предки и где они могут найти не ответ, а отсутствие вопроса. В крестьянском мире жизнь и ее оправдание заданы природной и социальной программой и соответствующей ей устойчивостью духовной традиции. Поэтому тут живут, а не рассуждают о смысле жизни, о том, во имя чего и зачем. Но если судьбу твою никто не программирует, если ты должен построить ее сам, если «отцы» за тебя не решают и решить ничего не могут, то твое «зачем?» — это первый крик новорожденной свободной личности, которая еще не готова к свободе, как новорожденный человек не готов к жизни.

Тридцать лет назад авторы газетных статей и очерков вместо обязательного «мы» стали писать «я». Это был гигантский шаг вперед — от коллективной безликости к личному мнению. Это была своего рода культурная революция, переворот в мышлении. Но переворот — это всегда итог и начало. «Я» родилось. Ему предстояло развиться, пройти школу исторического воспитания, наполниться живым национальным и общечеловеческим содержанием.

Не в этом ли смысл едва ли не всех наших разговоров о «личностном начале», «проблеме человека», «проблеме общения» и прочих подобных материях, которые мы ведем с конца 50-х годов?

И вот почему мы все больны Достоевским: распад личности, нравственная неготовность к свободе — одна из основных его тем. Вот откуда интерес к гоголевской «Переписке с друзьями».

Интерес к этой книге, сочувствие к высказанным в ней идеям поначалу кажутся совершенно непонятными и невозможными. Ведь в ней есть страницы, которые возмутили не только Белинского, под ними сам Катков никогда бы не подписался, ведь только из лагеря Булгарина раздались слова поддержки и одобрения, все остальные отшатнулись от Гоголя. Неудивительно: писатель делал ставку на правительство Николая. И тем не менее наши современники, совсем не консервативного образа мыслей, писателю все это простили. Сто с лишним лет спустя после выхода «Переписка» нашла читателя не равнодушного и не предубежденного, а сочувствующего, готового прислушаться к тому, что современники Гоголя слушали и не слышали.

Разумеется, не надеждами на добрую волю правительства Николая I привлек Гоголь внимание. Надежды эти, бывшие когда-то в центре внимания, теперь рассматривались разве что как музейный экспонат, быть может, и важный для дотошных биографов, но не имеющий сегодня никакого общественного значения.

Зато открытием и откровением прозвучала мысль Гоголя (и Достоевского): если мир плох, если многое в нем «горестно и грустно», а то и «просто гадко» и если ты

хочешь изменить его,— н а ч н и с е б я. Прежде чем «приходить в смущенье от окружающих беспорядков,— обращался из другой эпохи к нынешнему читателю автор «Переписки с друзьями»,— недурно заглянуть всякому из нас в свою собственную душу... Лучше в несколько раз больше смутиться от того, что внутри нас самих, нежели от того, что вне и вокруг нас».

Тут начала и концы мысли об улице, ведущей к храму. Улица проходит через нашу собственную душу, и храм — добро, правда, совесть, любовь — тоже в ней, в душе, а не «вне и вокруг нас»... Начать с себя!

Казалось, все проклятые вопросы мигом решаются с помощью этой магической и простой, как все великое, формулы, все общественные недуги излечиваются этим лекарством. Начни с себя, яви живой пример правдивой, честной и совестливой жизни, и ты приведешь в храм и опустошенного шукшинского человека из народа, и среднего интеллигента из повестей Трифонова, обменивающего совесть на метры жилой площади. Внешние обстоятельства? Экономические и политические условия? Никто не спорил: они оставляют желать лучшего, многое в них «горестно и грустно», если не больше того. Но люди, воспитанные на Гоголе и Достоевском и знакомые с нашим историческим опытом, с теми событиями, которые происходили на нашей улице после радикальной октябрьской ломки, в 30-е или, скажем, в 70-е годы, не могли на этом успокоиться.

Теперь все понимают: заменить одни обстоятельства другими — это трудно, но это еще не все; вопрос в том, какими получились новые обстоятельства. Теперь никому не надо объяснять, что если в «переделку мира» вовлекаются «недоделанные» люди, если благородная идея переустройства жизни из головы Ивана Карамазова пересаживается в головы смердяковых и прочей публики из породы «бесов», берущихся быть исполнителями, то вместо храма добра и правды они неизбежно создадут «недоделанный» притон зла и лжи.

Вот почему «Бесы» — самый читаемый в наши дни роман Достоевского. А «начни с себя!» — это как заклинание против «бесовщины» в миростроительных делах, это прививка от порчи совести и одновременно лекарство, необходимое для ее излечения, если она больна.

Хорошо, что в многоголосом эфире духовных традиций мы услышали и выделили голоса Гоголя и Достоевского, что вошли в нас их тревога и боль.

Плохо, что звучащие на соседней волне голоса Белинского и Чернышевского в пору хождения к истокам многими не прослушивались вообще и воспринимались в лучшем случае как помехи в историческом эфире. Потому что это и есть волна нашей национальной улицы, которой суждено было пройти через глубокую народную революцию, а не в стороне от нее.

Да, многое, очень многое из того, о чем предупреждал Достоевский, подтвердилось. Да, былью становились не только сказки с хорошим концом. Да, в наших «уличкомах» часто, очень часто селились «бесы» и становились там хозяевами, вершителями судеб.

Все так, но почему же они там селились и хозяйничали, почему никто не смог помешать им? Откуда у них такая сила, что дает им ее? И почему люди не послушались умных советов и начали застраивать свою улицу там, где начали, и так, как умели, и думали при этом, что она-то и приведет их к храму добра и правды? И как быть им теперь: очищать «уличкомы» от «бесов» в надежде, что без них жизнь на улице станет лучше, или очищаться сначала самим, строить в своих душах высокие и светлые храмы, не трогая «бесов» из опасения, что на их место еще неизвестно кто придет?

Если вы отвечаете: «Начни с себя!» — то вам, хотите или нет, придется разъяснить, что же делать и как жить человеку, у которого хватило сил, чтобы выстроить храм внутри себя. Разъяснить, учитывая, что жить ему предстоит не в келье старца Зосимы, а в мире, где люди, подобные Льву Николаевичу Мышкину или Алеше Карамазову, встречаются не так часто, как прототипы других представителей семейства Карамазовых, и где кроме них есть еще смердяковы и петруши верховенские.

Снова оглядываясь назад, заметим, что в то время, о котором у нас речь, никто себя разъяснениями не утруждал. За Гоголем до конца не решались идти даже самые горячие поклонники «Переписки с друзьями». Из нее брали только основную идею. Выводы, неизбежно вытекающие из этой идеи, не вспоминали. Нашим современникам

не хватало мужества, убежденности и последовательности Гоголя. Или, что то же самое, у них хватило здравого смысла, чтобы не подписываться под практическими советами писателя тем людям, которые искали ответ на вопрос «что делать?».

Потому что нельзя было публично повторять эти советы от своего имени, не ставя под угрозу свою общественную репутацию.

Ведь Гоголь не просто хотел, чтобы каждый воспитал сам себя таким, каким Достоевский выпишет впоследствии Алешу Карамазова. Он предлагал этому еще не рожденному фантазией писателя Алеше взять государственную должность и служить усердно и честно, думая не о своей выгоде, а о пользе дела и благе ближних. Но честная служба в николаевской России с ее кишащими всякой «бесовщиной»-«плутовщиной» департаментами, могла кончиться лишь бесчестием и Сибирью, как справедливо заметил однажды Белинский. Поэтому, чтобы облегчить честному чиновнику жизнь и уберечь от неприятностей, автор «Переписки» ставит над ним честного начальника, а над ним — еще одного начальника, и так — до губернатора, которому, в свою очередь, предлагается целая программа воспитания и перевоспитания младших братьев по службе.

Гоголь объясняет губернатору, что надо не только всячески поощрять честных чиновников, но и воздействовать на бесчестных, причем не строгостью и наказаниями, а совсем иначе. Если, скажем, человек плут, то его нужно узнать «не только как плута, но и как человека», нужно узнать «все душевные его силы, данные ему на добро и которые он поворотил во зло», и тогда... произойдет чудо! Тогда упрек в плутовстве плут воспримет так, будто его упрекают «им же самим», после чего он уже не сможет «найти себе места, куда ему укрыться от самого же себя», и явится в нем вдруг невиданная «отвага быть другим».

Странные вещи происходят на белом свете! Принявшие нынче близко к сердцу главную мысль Гоголя не только не последовали его совету насчет честной службы и перевоспитания плутов любовью, но, наоборот, бежали от должностей в дворники, сторожа, куда угодно, лишь бы сохранить себя, не сломаться, не заключать сделок с чертом. А те честные натуры, которые «Переписку» отвергали или не имели о ней никакого понятия, часто поступали прямо по рекомендации Николая Васильевича: искали место, чтобы «делать дело», занимали должности, порой высокие, призывали других к тому же, чтобы не пускать на ответственные посты «бесов», «плутов» и прочую публику, охочую до карьеры, а не до дела. Порой это было лукавством, но бывало и искренним убеждением. Они ломали себе шеи, зарабатывали инфаркты задолго до пятидесяти и уходили в мир иной, не сдвинув с насиженного места ни одного «бесенка», задолго до шестидесяти, но чаще приспосабливались, смирялись, делали что положено и поддакивали где надо, утешая себя тем, что из корысти не подличают, и оправдываясь перед другими тем, что «такое время», хотя оправданий никто не требовал.

Все они, насколько кто мог, пытались жить «по Гоголю», хотя и не догадывались об этом, а скажи им — удивились бы, а то и обиделись, потому что чувствовали себя наследниками старого революционного максимализма, а не защитников старого режима, даже таких великих, как Гоголь. Все спуталось, все смешалось в нашем доме! И уж конечно, люди эти не подозревали о том, что судьбами своими еще раз опровергли Гоголя, доказав, что жизнь нельзя было обмануть не только сто пятьдесят, но и пятнадцать лет назад.

Если правду не находят на земле, ее ищут выше. Но выше ищут, чтобы устоять перед неправдой на земле. А устоять тем труднее, чем непосильнее жизненная задача. Вспомнив, какую ношу взваливает Гоголь на своего губернатора, мы, быть может, лучше поймем, почему писатель на помощь ему посылает Бога: без его поддержки честному губернатору, живущему в николаевской России, ничего не оставалось, как самому стать Богом, приобретя не только его всесвятость, но и его всемогущество. «Начать с себя» — идея глубоко религиозная, если додумать ее до конца. Но даже будучи продуманной и выношенной, она бессильна в мире, где делами заправляют «бесы» Достоевского и «плуты» Гоголя. Князь Мышкин побеждает по высшему нравственному счету, но от его храма до сих пор не проложено ни одной исторической улицы.

К тому же в жизни «идиотов» не много, гораздо меньше, чем желающих выглядеть ими и учить других их философии. Я знаю людей, которые восприняли умом и глубоко продумали мысль о том, что надо «начать с себя», что прежде, чем менять мир, надо самому «стать иным» и не маскировать отвлеченной, ни к чему не обязы-

вающей «любовью к человечеству» отсутствие любви хотя бы к одному живому человеку. Хорошо говорят об этом, глаза светятся добром и честностью, но доходит дело до повседневных житейских вещей — и выясняется, что «начать с себя» предлагается другим, а себе легко прощается любая необязательность и невключаемость в заботы тех, кто рядом и кого ох как хочется убедить, что нужно меняться и становиться иным и лучшим. Выясняется, что это изнаночная сторона все той же «любви к человечеству», отвлеченная идеологическая схема, все та же потребность общественного самоутверждения на поприще «изменения мира» с сопутствующим вознаграждением славой преобразователя.

Я совсем не хочу сказать, что эти люди хуже тех, кто думает иначе, чем они. Я хочу сказать только, что идея обязывает. Если вы призываете меня стать иным и лучшим, то не рассчитывайте, что я сделаю это раньше вас, а за добрый совет отблагодарю вас признанием вашего верховенства. Нет уж, зовете начинать с себя, так и начинайте. А начнете, то и звать никого, быть может, не надо будет: увидят, оценят и сами пойдут. А двойных бухгалтерий и без того хватает.

Стоило бы подумать и о том, захотели ли бы Гоголь и Достоевский признать своими учениками всех, кто считает себя продолжателями их дела. Идеалы двух наших великих писателей уходят корнями в почву патриархальной крестьянской России. Сейчас этой почвы нет. У Гоголя и Достоевского «начать с себя» было противопоставлено западному политическому либерализму, западным парламентским правам и свободам — как более глубокое, жизненное и нравственное начало. Сегодня же, мне кажется, к идеям Достоевского и Гоголя обращаются в основном люди либеральных умонастроений. Это, конечно, странно. Но это не покажется очень уж странным, если вспомнить, что отечественный либерализм однажды уже этот путь проделал.

1909 ГОД: ПЕРВЫЙ ПРИЗЫВ К ПОКАЯНИЮ

Эту книгу не переиздавали, на нее почти не ссылались в печати, ее как бы не было. В академических изданиях ее порой упоминали как выразительный пример реакционности русского либерализма. Иногда, правда, на нее откликались целыми статьями: книгу переиздавали и широко рекламировали за границей, приходилось с этим считаться. Статьи были резкие, в выражениях авторы не стеснялись. Но чем больше книгу ругали, тем больше ее читали. Ее «вычеркнули», но она жила.

Книга впервые вышла в 1909 году в России и называлась «Вехи». Ее авторами были семь человек с известными литературными именами. Реакционность «Вех» ни у кого, кто хотел для России демократических перемен, сомнений не вызывала. Против идей, изложенных в сборнике, резко выступил не только Ленин; это сделали лидеры всех партий, претендовавших на звание демократических. Даже кадеты во главе с Милюковым посчитали нужным отмежеваться от своих товарищей по партии, выпустив солидный антивеховский сборник.

А сегодня... Сегодня один мой знакомый жалуется, что никак не может прочитать эту книгу: в библиотеках все экземпляры ее почти всегда на руках. Значит, она отвечает каким-то настроениям. А коли так, ее надо не только печатно ругать, но и печатно разбирать. Не глушить ее голос (чем старательнее глушат, тем больше вслушиваются), а предоставить право голоса. И спорить по существу и детально, если есть что возразить. Это и называется гласностью. Это и есть диалог, в котором обе стороны могут высказать все, что они имеют сказать в свою пользу. И если даже с Рейганом вести его не считается зазорным, то Бердяев, Струве и другие авторы «Вех» уж во всяком случае не опаснее.

«Вехи» — это прежде всего обвинительный нравственный приговор русской интеллигенции, революционной в первую очередь и всей остальной между делом. Приговор суровый и категоричный: виновна!

Виновна в том, что кровь, пролитая в годы первой российской революции, была пролита напрасно: политическую свободу завоевать не удалось.

Виновна в том, что до революции многие десятилетия жила и думала не так, как надо, а во время революции делала не то, что надо.

Виновна в том, что вообще что-то делала: общественные перемены — это, конечно, важно и нужно, но к ним надо быть готовыми духовно и нравственно, интеллигенция же готовила себя к борьбе с полицейским режимом, а не к свободе, полагая, что это одно и то же: рухнет самодержавие, не будет внешнего гнета — и нравственные болезни тут же исчезнут, в обществе воцарятся здоровье, бодрость и творчество.

Нет, не исчезнут, в один голос отвечали семь авторов «Вех». Потому что если личность интеллигента порабощена идеей отрицания, если он сжился с мыслью, что во всем виноват только полицейский режим, а ему, интеллигенту, винить себя не в чем, если он живет не настоящим, а будущим, то, когда будущее станет настоящим, он все равно будет чувствовать себя неуютно: нет привычки к повседневному негероическому труду, не выработаны внутренняя собранность, сосредоточенность и дисциплина, не развито чувство долга и личной ответственности, нет потребности в самосовершенствовании. А значит... Значит, не будет никакого будущего! Потому-то и устоял деспотизм в революции, считали авторы сборника, что интеллигенция — единственная культурная сила в России — не смогла ему ничего противопоставить, кроме отрицания и ожидания чуда.

А что не было у нее будто бы за душой ничего кроме этого, выяснилось окончательно, когда революцию разгромили. Чуда не случилось, все осталось почти так же, как было: вместо деспотизма рухнула у многих надежда, что он когда-нибудь рухнет вообще. Отрицание больше не воодушевляло, светлый образ будущего, дающий существованию смысл и оправдание, исчез, растворился в кровавой каше. Тут-то и начался невиданный интеллигентский разброд и распад: опустошенные души судорожно заполнялись чем попало и как попало, а все больше тем, что доступнее всего,— самоутверждением в бесчинствах, хулиганстве, распущенности, возведенным в идеологический принцип, окрашенным в привлекательный цвет духовной оппозиции.

В этой сознательной разнузданности авторы «Вех» усмотрели закономерный итог всей истории русской интеллигенции, озабоченной освобождением от внешнего гнета и беззаботной насчет своего внутреннего состояния, не думавшей о том, что победить деспотизм, порабощающий личность, можно лишь в том случае, если личность, преодолевавшая в себе самой рабство — не только покорности, но и безответственности,— уже сложилась. «Мы освободимся от внешнего гнета лишь тогда, когда освободимся от внутреннего рабства, т. е. возложим на себя ответственность и перестанем во всем винить внешние силы» (Н. Бердяев).

Были, правда, в «Вехах» и смягчающие оговорки, которым авторы придавали важное значение. Отмечалось, что нигилизм, «отрицательность», исказившие интеллигентскую душу, вызваны «застаревшим самовластьем», грехами «нашей болезненной истории, нашей исторической власти и вечной нашей реакции». Отдавалось должное самопожертвованию и самоотверженности революционной интеллигенции, ее «неотмирности», отвращению к духовному мещанству, выстраданному чувству вины перед народом. Но эти оговорки делались не для того, чтобы смягчить приговор, а чтобы точнее определить состав преступления и найти способы исправления и нравственного возрождения обвиняемых.

Поэтому, чтобы лучше понять нынешний интерес к «Вехам», продолжим знакомство с обвинительным заключением.

Самопожертвование и подвижничество интеллигенции, говорится в нем,— это, конечно, хорошо. Плохо, что они направлены не туда, куда надо. Интеллигент, прежде всего социалист, одержим идеей «народного счастья» и всеобщего равенства, он свято верит «в близость социалистического конца и возможность достигнуть этого конца в России чуть ли не раньше, чем на Западе». Но это «народопоклонство» и эта любовь к «уравнительной справедливости», как и своеобразная «классовая пролетарская мистика», парализовали «любовь к истине», отвратили взоры от «объективных условий развития России». Потому что истина не в справедливом распределении и уравнении, а в развитии производства и творчестве, в нравственном здоровье, и в этом-то страна и нуждается в первую очередь.

Интеллигент, читаем на другой странице, с фанатическим пренебрежением относится «ко всякому эгоизму, как личному, так и государственному»; даже не будучи революционером, он стыдится и мучается совестью, если заботится о собственном благополучии и карьере, он никогда не признается, что делает это сознательно и по убеждению.

Но если идея общественного служения, потребность в «сверхличном оправдании индивидуальной жизни представляет собой величайшую ценность», если потребность эта может стать стимулом религиозного возрождения, то она же — источник неисчислимого вреда. Ну что хорошего в том, что большинство интеллигентов, вовсе не безразличных к личному благополучию и преуспеянию, вынуждены скрывать это, оправдываясь тем, что подчиняются печальной необходимости? У западного интеллигента

такого раздвоения нет, общественное мнение не осуждает, а поощряет его эгоизм. Мещанство, пышно расцветающее в этой атмосфере, малопривлекательно, но цинизм, душевное раздвоение рядового русского интеллигента не лучше.

Да и вообще пренебрежительное отношение к эгоизму хотя и не лишено обаяния, но и от него вреда не меньше, чем пользы. «Эгоизм, самоутверждение — великая сила; именно она делает западную буржуазию могучим б е с с о з н а т е л ь н ы м орудием Божьего дела на земле».

Интеллигент-социалист, читаем дальше, готов жертвовать собой во имя будущего народного счастья, но это убивает в нем «конкретное нравственное отношение человека к человеку, живое чувство любви к ближним, к современникам и их текущим нуждам». Он «любит уже не живых людей, а лишь свою и д е ю — именно идею всечеловеческого счастья». Одержимость этой идеей и желание осуществить ее как можно скорее героической самоотдачей, предельным напряжением сил и воли — источник интеллигентского революционного максимализма. Его оборотная сторона — «историческая нетерпеливость, недостаток исторической трезвости», отсутствие самообладания и выдержки, неспособность «нести историческое тягло, ярем исторического послушания».

Эти последние слова, принадлежащие Сергею Булгакову, лучше всего, быть может, выражают и то, что «Вехи» осуждают, и то, что они утверждают. Не поддаваться соблазнам нетерпения, быть послушным по отношению к истории, выработать в себе «интеллектуальное смирение» перед ней, что тоже требует подвижничества, тоже предполагает максимализм, но другой, чем у революционной интеллигенции,— «максимализм в личной жизни, в требованиях, предъявляемых к самому себе». Мысль старая: начинай с себя, все остальное приложится.

А чтобы это началось и приложилось, интеллигенция должна наконец понять, что атеизму, который она позаимствовала у западных соседей и усвоила поверхностно, некритически, превратив в своего рода религиозную веру,— что ему предшествовала многовековая школа христианства, немало сделавшая для воспитания внутренне дисциплинированной личности, способной к систематическому и упорному труду, что и политическая свобода была подготовлена на Западе внутри христианской культуры, а точнее — религиозной реформацией. Если же с дерева европейской цивилизации срезать одну лишь атеистическую ветвь и пересадить совсем в другую почву, в страну, где личность еще не выработалась, то какие плоды вырастут на этой ветви? Ясно какие: дикие, некультурные.

Итак, по мысли авторов «Вех», обновление страны может осуществиться только как «религиозное оздоровление» русской интеллигенции — главной культурной силы, в руках которой и находятся «судьбы Петровой России». Это значит, что ей, интеллигенции, нужно пересмотреть все свое революционное прошлое и отречься от него: «К новому сознанию мы можем перейти лишь через покаяние и самообличение».

Не так уж трудно понять, почему «Вехи» нашли в наши дни читателей и почитателей.

Не успели мы прийти в себя после пятьдесят шестого года, как оказались в тупике «застоя». Тогда мы с беспокойством стали оглядываться назад, вслушиваться в голоса и всматриваться в дела тех, кто проектировал нашу улицу и возводил на ней первые постройки. И чем больше всматривались и вслушивались, тем навязчивее, неотступнее преследовал вопрос: а может быть, никакое серьезное обновление мира и в самом деле немыслимо без глубокого и трудного нравственного самообновления? Этот и сходные с ним вопросы и привели многих к «Вехам».

Глаз безошибочно выхватывал в них то, чем взбудоражен был мозг и болело сердце.

Слова о революционном нетерпении и «историческом послушании»: почему — понятно без слов.

Мысль о том, что истина не в «народопоклонстве» и «уравнительной справедливости», а в развитии производства и творчестве. Почему — понятно тоже: устали от идеологического шума насчет «справедливости» и «блага народа», а еще больше — от труда, убийственного для творчества и бесполезного для производства.

Рассуждение об интеллигентской одержимости идеей будущего всенародного счастья, ради которого следует жертвовать собой и не щадить других: жертв оказалось слишком много, в том числе и невинных, а сказку былью и мечту явью они не сделали.

Соображение насчет «религиозного атеизма»: что-то похожее у всех было на памяти, времена «слепой веры» (не в бога) только что кончились, но атеизм-вера не становился почему-то атеизмом-убеждением, не давал душе нравственной опоры. И думалось: может, потому в нас пустота и разлад, что и здесь поторопились, в порыве нетерпения заменив религию атеизмом? И, быть может, и в самом деле лучше покаяться в том, что поддались искушению перехитрить судьбу и стали ослушниками истории?

Так «Вехи» вошли в духовную жизнь нашей интеллигенции. Не всей, разумеется. Но и не «отдельных отщепенцев».

Они привлекали еще и потому, что удивительным образом соединили религиозную идею с либеральным свободомыслием, с личным самоутверждением и даже с «эгоизмом». Они не растворяли отдельное «я» в коллективном народном «мы», а укрепляли это «я», прописав ему строгую религиозную диету; авторы надеялись к тому же, что диета предохранит его от ожирения, от бескрылого атеистического мещанского эгоизма на западный манер и даст силы не только для хозяйственного и политического, но прежде всего для духовного взлета.

Такова была программа «Вех».

Жизнь покажет, что это была программа обреченных: ее создатели понимали под истиной и «объективными условиями развития России» то, что не было истиной именно потому, что этим условиям не соответствовало. Странно, но, как говорится, ничего не поделаешь: семь авторов «Вех» учили революционеров «историческому послушанию», а сами меньше всего следовали своему совету. Они оказались ослушниками, потому что слушали свою, национальную историю, а слышали чужую, европейскую, примеряли ее к России, думая, что примеряют истину, но костюм европейских свобод был не по фигуре, где-то висел мешком, где-то трещал по всем швам, а авторам сборника казалось, что он просто не идет к лишенному одухотворенности лицу русского интеллигента, что надо запастись терпением и подрасти нравственно — и тогда костюм будет сидеть и смотреться еще лучше, чем на атеисте-хозяине.

Но демократическая интеллигенция оказалась глуха к этим советам. Она не могла и не хотела менять цвет своей «неотмирности» с революционного на религиозный. Не соблазнил ее и заманчивый результат в виде обещаемой «Вехами» новой, нигде не виданной еще культуры: европейский эгоизм и производная от него хозяйственная энергия плюс европейские политические свободы и минус европейский атеизм с сопутствующей ему бездуховностью мещанства.

Революционная интеллигенция отвергла «историческое послушание» в духе «Вех», в духе смирения с тем, что происходило с ней и вокруг нее. Ее «неотмирность» не прибавляла ей религиозности, зато углубляла ее революционность. Она пошла за народом, который расхотел смиряться перед старой властью еще до того, как усвоил себе европейские понятия о свободе. Она шла за народом, который если уж бросает свои каждодневные дела и заботы и поднимается против власти, то, значит, видит он впереди не меньше чем царство «всечеловеческого счастья», а потому и готов на любые жертвы, не жалея ни себя, ни ближних, и требует от своих образованных вожаков того же, передает им свой максимализм и свою «мистику», и их безоглядное «народопоклонство», таким образом, вовсе не ослушание, а самое что ни на есть добросовестное и подвижническое «историческое послушание».

И атеистической революционная интеллигенция была потому, что шла за народом, и если ее безбожие своим горячечным энтузиазмом порой само напоминало чем-то религиозную веру, то потому лишь, что народ, разуверившись в государственной власти, отвернулся и от подчиненной ей в России православной церкви, а веру свою нашел в безбожной идее «всечеловеческого счастья».

Призыв «Вех» к «историческому послушанию» не был услышан, потому что был заглушен гулом реальной, а не выдуманной национальной истории, гулом народного «мы», которое не хотело каяться в грехах 1905 года, так как не видело в них грехов, и медленно, незаметно для незоркого взгляда прокладывало свою улицу дальше, в год 1917-й. И если еще до этого переломного года возникло предчувствие «близости социалистического конца», которого можно достигнуть «чуть ли не раньше, чем на Западе», то не потому ли, что национальная буржуазия, не в пример западной, не выявила ни желания, ни сил стать «орудием Божьего дела на земле», что представлявшая ее либеральная интеллигенция не решалась поднять руку на самодержавие, отреклась от национальной революционной традиции, уступив историческую инициативу зараженному «пролетарской мистикой» рабочему классу и интеллигентам-марксистам?

Авторы «Вех» оглядывались на Запад, где в пору революций идея политического либерализма была общенародной. В революционной России либералы оказались без народа: он шел не с ними и не за ними, а мимо или против них. Он верил в чудо революции как в реальность и не верил в реальность постепенности, считая ее чудом. Озабоченность этим чувствуется в каждой строчке «Вех», и потому их оптимизм кажется несколько натужным, а в горячей проповеди смирения и покаяния улавливается глубокий надрыв и отчаяние. Вот печально знаменитое признание Гершензона, которое навлекло на него десятки упреков в реакционности: «К а к о в ы м ы е с т ь, нам не только нельзя мечтать о слиянии с народом — бояться его мы должны пуще всех казней власти и благословлять эту власть, которая одна своими штыками и тюрьмами еще ограждает нас от ярости народной».

Вот не менее знаменитое умозаключение Струве, который идет еще дальше и рядом с народолюбивой интеллигенцией сажает на скамью подсудимых весь народ: интеллигенция, прежде всего социалистическая, виновна в том, что считает народ всегда готовым и созревшим для лучшей жизни, хотя это совсем не так; не только «неразумное общественное устройство» сковывает его силы и возможности, но и его собственная политическая невоспитанность, его неготовность к исполнению гражданских обязанностей. Поэтому не взывать надо к народной революции, а опасаться ее, так как она может обернуться в конечном счете разрушением, а не возрождением национальной культуры и государственности. Короче говоря, не только интеллигенция, но и народ «не тот»: «Когда интеллигент размышлял о своем долге перед народом, он никогда не додумывался до того, что выражающаяся в начале долга идея личной ответственности должна быть адресована не только к нему, интеллигенту, но и к народу, т. е. ко всякому лицу, независимо от его происхождения и социального положения»

Можно понять возмущение Ленина этими словами Петра Струве: либерал в своей неприязни к революции договорился до того, что в условиях полицейского режима призвал народ к ответственности перед правящими классами! И пусть Струве не так строг и суров по отношению к «меньшому брату», как к его наставнику-интеллигенту, но судит он все же обоих, и в этом он гораздо последовательнее других авторов сборника и глубже их, так как обнажает земные корни их неземной духовности.

Либерализм не нашел своей правды на земле России, в ее народе. Поэтому он не смог скрыть своего недовольства народом. Поэтому устами семи своих пророков он призвал искать правду выше. И если сегодня, как и вчера, какой-нибудь юный или не очень юный друг свободы устремляет свой взор вверх и зовет туда же, куда звали авторы «Вех», то это значит, что под ногами у него пустота. Когда почувствует твердую почву — отложит «Вехи» в сторону и станет читать другие книги

Хочу еще напомнить, что не всегда последователи «Вех», да и сами их авторы, занимались строительством храмов внутри себя. Случалось, что они включались в дела земные и были в них не последними людьми. Петр Струве, например, играл заметную роль в белом движении, был даже министром в правительстве Врангеля. Как и его соавторы по знаменитому сборнику, он считал Октябрьскую революцию «антинациональной» и борьбу против нее — нравственно оправданной, хотя это плохо стыковалось с мыслью о том, что внутреннее совершенствование важнее «внешних форм общежития», и с либеральной идеей о неприемлемости насилия. Понимая, что избирательными бюллетенями большевиков не одолеть, предлагали соглашаться на военную диктатуру, а чтобы согласовать это со своей политической совестью, выдвинуть примиряющий лозунг «Диктатура ради демократии».

В белом движении участвовали многие из тех, кто считал себя учениками «Вех». А когда гражданская война закончилась, некоторые из этих учеников всерьез задумались над тем, что произошло и случайно ли, что в России у власти оказались большевики. Итогом размышлений стал сборник статей, который вышел в 1921 году и назывался «Смена вех». Его авторы, не отрекаясь от идеалов своих учителей, отвергли их оценку Октябрьской революции. Они заявили на весь мир, что национальная дорога к храму проходит через эту революцию, потому что другой дороги не оказалось.

Думаю, что современному читателю, размышляющему о нашей «улице», полезно послушать сменовеховцев. Не для того, конечно, чтобы во всем согласиться с ними, а чтобы знать, за что и почему сложили восторженный гимн Октябрьской революции люди, бывшие и всегда оставшиеся ее врагами, и как эти же люди относились к революции февральской, пытавшейся осуществить их идеалы, от которых они не отрекались никогда.

То, что вы прочтете ниже, принадлежит перу известных сменовеховцев Ю. Ключникова, Н. Устрялова, С. Лукьянова и А. Бобрищева-Пушкина. Выдержки из их работ я для удобства читателя попытался соединить в связный текст. Никаких поправок в размышления авторов я, разумеется, не вносил, если не считать сокращений и нескольких словесных связок, соединяющих выдержки в нечто целое. Кроме сборника «Смена вех» в тексте использованы высказывания Н. Устрялова в его книге «Под знаком революции», вышедшей в 1925 году.

Если я привожу этот монтаж без комментариев, то не потому, разумеется, что готов подписаться под каждым словом авторов. Просто мне хочется, чтобы те, кто зачитывается сборником статей семи авторов или берет их идеи из вторых и третьих рук, услышали живой, ничем не заглушенный и не искаженный голос людей, в котором веховское содержание впервые частично преодолено изнутри, в веховской лексике и стилистике.

Особенно хочу обратить внимание вот на что. Как бы ни коробили ваш слух сменовеховские оценки отдельных явлений национальной истории и культуры, как бы ни были неточны слова «экстремизм», «демагогические лозунги», отнесенные к большевикам и возглавляемому ими массовому движению, как бы ни смущала мысль о том, что по своему психологическому складу все русские интеллигенты одинаковы, так как все они — от белогвардейцев-веховцев до большевиков — «максималисты», «экстремисты», «нигилисты» и «утописты»,— все это не должно заслонить главное: симпатии авторов, воспитанников «Вех» и бывших солдат белой армии, всецело на стороне не белого, а красного большевизма.

Итак, послушаем, что получается, когда под своды храма, наполненного глубокими и чистыми звуками, увлекающими от земли ввысь, врывается земной гул народной улицы.

ОТВЕТ ВОСПИТАННИКОВ «ВЕХ» СВОИМ УЧИТЕЛЯМ

Какое глубочайшее недоразумение — считать русскую революцию не национальной! Это могут утверждать лишь те, кто закрывает глаза на всю русскую историю и, в частности, на историю нашей общественной и политической мысли.

Нет, ни нам, ни «народу» неуместно снимать с себя прямую ответственность за нынешний кризис — ни за темный, ни за светлый его лики. Он — наш, он подлинно русский, он весь в нашей психологии, в нашем прошлом, и ничего похожего не может быть и не будет на Западе...

Подобно тому как современный француз на вопрос, чем велика Франция, нам непременно ответит: «Декартом и Руссо, Вольтером и Гюго, Бодлером и Бергсоном, Людовиком XIV, Наполеоном и Великой революцией», так и наши внуки на вопрос, чем велика Россия, с гордостью скажут: «Пушкиным и Толстым, Достоевским и Гоголем, русской музыкой, русской религиозной мыслью, Петром Великим и великой русской революцией...» А великой русская революция стала лишь в октябре 1917 года.

Петербургский абсолютизм, убитый мировой войной, оставил после себя не взрослого наследника, а лишь беременную вдову в лице Государственной думы. Под шум крушения вековых связей она родила недоношенное дитя — Временное правительство. Оно зажило — это неудачное дитя — жизнью взбудораженной страны, с каждым моментом все беспомощней отдаваясь стихии, пока стихия его не поглотила без остатка...

В этом сказалась историческая закономерность. Чуждая непосредственным стремлениям народных масс и бессильная ими руководить, безвластная мартовская власть во всех своих вариациях оказалась вместе с тем чужда и подлинной логике революционной идеи, выношенной поколениями русской интеллигенции. Большевизм не только сумел вовремя учесть стремления масс — он пришел безоговорочно исполнить и заветы истории русской интеллигенции.

Ростки своеобразного большевизма проявлялись на протяжении всей этой истории — от Радищева и особенно от Белинского до наших дней. Фанатическое, религиозное преклонение перед материальной культурой и материальным прогрессом подготовило активно материалистический культ Октябрьской революции, а систематически воспитываемое недружелюбие к началам нации и государственности («враждебный государству дух») привело к безгосударственному космополитизму идеологии Интернационала.

История русской интеллигенции, развивавшейся, как известно, в условиях исключительно неблагоприятных, не способствовала воспитанию уравновешенных и трезвых

характеров. Вместе с тем длительная невозможность практической деятельности в сфере государственно-политической воспитала в широких интеллигентских кругах одностороннюю «теоретичность», безграничную влюбленность в крайние утопии, в отвлеченные «идеалы»... Жили миражами, тем более прекрасными, чем безобразнее представлялась окружающая действительность. И не хотели в этой действительности видеть и крупиц добра. И не хотели ее совершенствовать — мечтали ее сокрушить. И тогда... «жизнь станет такой прекрасной»... Все новое, радикально новое — «новый мир». На меньшем не мирились. И это очень знаменательно, что та часть нашего культурного слоя, которая приобщалась вплотную к русскому государству (линия Сперанский — Столыпин), даже и не считалась у нас, как известно, принадлежащей к интеллигенции.

Семь авторов «Вех» в конечном счете сами менее всего чужды большевистского духа. Они призывают к смирению. Но это — то самое смирение, которое паче всякой гордости. Авторы «Вех» очень религиозны и хотят, чтобы все были как они. Следовательно, психологических элементов большевизма в них не меньше, а больше, чем в других русских интеллигентах. Так оно и есть в действительности. Недаром в нашем политическом словаре наряду с термином «красный большевизм» утвердился термин «белый большевизм». Белый большевизм пришел в русскую жизнь из «Вех», как красный — из «Искры» и «Вперед». В чем разница между тем и другим большевизмами? Только в их направлении и в окраске, а отнюдь не в напряжении, не в тонусе их максимализма, той их прямолинейности и самоупоенности, той готовности на жертвы и привычки требовать жертв, наконец, того безразличия ко всему относительному и промежуточному, что составляет самую их душу. Не побоимся сказать: исключительно этим изнанковым большевизмом можно объяснить себе тот факт, что Струве, утонченный культурно и этически, Струве, упоенный Богом, величием государственной идеи и гордым национальным пафосом, мог вдруг оказаться идеологом крымской эпопеи конца 1920 года. Он не мог не видеть всех безобразий, которые творились там вокруг него, он не мог не ощущать, что все, что там делалось, было сплошным издевательством и над религией, и над государственностью, и над здоровым национальным чувством. Однако Струве прощает все это, перешагивает через все это, принимает все это за случайное, за временное, за детали... И если бы злополучный врангелевский период не оборвался так скоро, кто может сказать, до каких столпов белого экстремизма пришлось бы дойти Струве с его потенциями типичного русского интеллигента и потому... большевика... Большевизм неразрывно связан в психологическом ряду с нигилизмом. Не в том смысле, что для человека не существует ничего абсолютного, а в том, что для него ничто не существует, ничто не ценно, если не входит в круг его абсолютного... Как ни различны между собой Милюков и Струве решительно во всем, в одной стороне их существа они являются идентичными — в той, благодаря которой они обнаруживают элементы типичного интеллигентского нигилизма при отрицании всего того, что не их Бог или не их идол.

К Струве как представителю «Вех» с полным правом можно было бы обратиться приблизительно со следующей речью:

— Вас возмущает отсутствие смирения в русских интеллигентах и их любовь лезть в спасители России. Так зачем же вы сами мнили себя всероссийскими величествами только потому, что у вас из-под ног еще не был вырван Севастополь? Вы против героических экстазов и против максимализма. Но это ли не максимализм — мечтать сокрушить целую Россию за то, что она красная, поселить ужасающую анархию, с тем чтобы из нее потом родилась еще более ужасная реакция, и все это ради мысли... о постепенном и безболезненном прогрессе? Вы против нетерпимости, утрированной «принципиальности» и революционности. Поверьте, что мало кто теперь больше вас страдает этими грехами, которые еще усиливаются грехом самопротиворечия. Неправда, что вы за государство: вы за ваше представление о государстве, за государство, к которому привыкли с детских лет и которое изжило себя уже задолго до вашего рождения. Неправда, что вы за слияние интеллигенции с народом. Иначе вы не пошли бы в стан тех, кто спит и видит вновь согнуть народ в бараний рог. Вы очень проницательно указали, что идея личной ответственности с интеллигенции должна быть распространена и на весь народ. Спасибо вам за это. Но как же вы не видите, что весь смысл второй, Октябрьской революции в том и заключается, что управление страной перешло к самому народу, чтобы он сам взялся управлять ею, как умеет и как хочет, чтобы он сам делал ошибки, но сам же и расплачивался за них, то есть чтобы

он сам и только он был в будущем ответствен за свою судьбу? Вы принадлежите к тем, кто составляет цвет русской образованности. И вместе с тем вы упорно повторяете нелепую сказку о том, что «все зло в мире от кучки людей», случайно захвативших власть. Чем эта ваша теория революции отличается от той космологии, в силу которой мир стоит на трех китах?

Можно понять «формальных демократов» и радикал-интеллигентов старого типа с их органической ненавистью к «московским диктаторам». Эти по-своему цельные, хотя и малоинтересные люди еще долгое время останутся в России профессионалами подполья и перманентными обитателями Бутырок. Но разве место в их рядах или рядом с ними тем, кто так чуждается «дореволюционной интеллигенции» и постиг до конца логику государственной идеи?

Пусть конечные цели большевиков внутренне чужды идеям государственного и национального могущества. Но не в том ли и заключается «божественная ирония» исторического разума, что силы, от века хотящие «зла», нередко вынуждены «объективно» творить «добро»?..

Противобольшевистское движение силою вещей слишком связало себя с иностранными элементами и поэтому невольно окружило большевизм известным национальным ореолом, по существу, чуждым его природе. Причудливая диалектика истории неожиданно выдвинула советскую власть с ее идеологией интернационализма на роль национального фактора современной русской жизни, в то время как наш национализм, оставаясь непоколебленным в принципе, на практике потускнел и поблек вследствие своих хронических альянсов и компромиссов с так называемыми союзниками...

Россия должна остаться великой державой, великим государством. Иначе и нынешний духовный ее кризис был бы ей непосилен. И так как власть революции — и теперь только она одна — способна восстановить русское великодержавие, международный престиж России, наш долг во имя русской культуры признать ее политический авторитет...

С того момента, как определилось, что советская власть сохранила Россию, советская власть оправданна, как бы основательны ни были отдельные против нее обвинения. Совершенно не понятно, как, говоря о «рабстве» под нею русского народа, можно уверять, что он желает именно того «демократического» строя, который не смог продержаться на Руси и года, никакою народною поддержкою не пользовался. Очевидно, здесь чаяния интеллигенции разошлись с народными чаяниями. И обратно, самый факт длительности советской власти доказывает ее народный характер, историческую уместность ее диктатуры и суровости.

Государственная власть никогда не падает с неба, а вырастает из народной среды, обусловливается тысячами окружающих факторов. В этом смысле всякая власть, если хотите, демократична. Отсюда и хороший афоризм: всякий народ имеет то правительство, которое он заслуживает.

Выдвинутое февральским переворотом Временное правительство повисло в воздухе. Февраль весь был соткан из противоречий, фатально влекших его к гибели. Межеумочный, крикливый, фальшивый, он казался, согласно грубоватому русскому присловью, ни богу свечкой, ни черту кочергой. Недаром его олицетворением стал Керенский — ничтожество из ничтожеств, мыльный пузырь, жалкий актер истории. Стыдно и больно было за Россию в те месяцы, как никогда ни раньше, ни после них. Потом, в годы Октября, подчас становилось с т р а ш н о, т я ж е л о за русский народ, за русское государство. В месяцы Февраля основным чувством ощущался именно с т ы д. Никакого величия, ни грана подлинной трагедии, ни ноты действительного героизма. Разгул мелкого беса, дешевых чувств, кургузых мыслей, дряблых сердец.

Правительства Львова и Керенского, в полгода доведшие (пусть невольно) страну до полного государственного распада методами своей политики, едва ли не в большей степени заслуживают названия «абсолютно и объективно антинациональных», нежели большевизм, сумевший из ничего возродить государственную дисциплину. При Временном правительстве и в первые месяцы существования советской власти налеты и грабежи были повсеместным бичом, теперь преступникам трудно, репрессии против них беспощадны.

Советская власть при всех ее дефектах — максимум власти, могущей быть в России, переживающей кризис революции. Другой власти быть не может — никто ни с чем не справится, все перегрызутся. Относительно того. что никто ни с чем не справится, дало предметный урок Временное правительство, составленное из самых популярных

лидеров всех либеральных партий, из «лучших людей» интеллигенции. Относительно того, что все перегрызутся, дала предметный урок эмигрантская политическая свара. Одна советская власть, против которой была всемирная коалиция, белые армии, занявшие три четверти русской территории, внутренняя разруха, голод, холод и увлекающая Россию в анархию сила центробежной инерции, сумела победить все эти исторически беспримерные затруднения.

Русская революция — социальная революция. На февральской революции она остановиться не могла. Совершенно естественно высшие классы остановились на февральской революции: они от нее получили то, что было им нужно,— политическую реформу. И совершенно естественно классы, одинаково обездоленные при монархии и республике, пошли дальше — до Октябрьской, до экономической, до настоящей революции.

В русском интеллигентском сознании к концу дореволюционного периода русской истории сложилось своеобразно-наивное представление о власти. Либеральные круги склонны были, с одной стороны, переоценивать значение традиции и штыков, а с другой — недооценивать значение социальной базы в вопросе об условиях прочности власти. Этим в значительной степени объясняется не только неумение построить власть в первый период русской революции, но — что более трагично — неумение до сих пор правильно понять и оценить историческое значение нынешней советской власти. Чем как не наивностью можно объяснить все те горячие споры, которые в 1917 году возникли вокруг вопроса о диктатуре Керенского? Неужели для споривших было не ясно, что, каким бы словом ни прикрывалось безвластие Временного правительства, все равно дальше слов о власти эта власть идти не в состоянии? И чем как не наивностью можно извинить не заглохшие и по сие время рассуждения о «кучке негодяев», захвативших и удерживающих власть при помощи так или иначе купленных китайских и латышских штыков? Даже и переход от ссылок на китайские и латышские штыки к ссылкам на террор для исчерпывающего объяснения «прочности большевизма» ничуть не продвигают вперед разрешение проблемы. Во всей своей исторической значительности встает тогда другой вопрос: как же оказалось возможным организовать самый террор? Ведь и для его организации одних слов и купленных штыков недостаточно. Всплывают соображения о «демагогическом обмане», о «социальной иллюзии»... Не правильнее ли, однако, будет говорить об исторической необходимости, о некоей социальной правде, хотя бы реально и не осуществимой?

Временное правительство, связанное в смысле своей социальной базы с отжившими и недостаточными по сравнению с возлагавшимися на Россию задачами элементами русского населения, неизбежно должно было быть реакционным, тогда как отдельные его члены, понимавшие необходимость «более широкой базы», реально были бессильны что бы то ни было сделать... Трудность положения и его понимания заключалась именно в том, что не было вполне готовой, реально ощутимой и сколько-нибудь организованной социальной базы. Кому же в то время могло прийти в голову, что из отрицателей «войны до победного конца», из проповедников крайнего интернационализма, из людей, призывавших сначала к стопроцентному обложению, а затем и к полному уничтожению буржуазии,—что из этих элементов, казалось бы, насквозь антигосударственных и анациональных, может сложиться подлинная основа будущей русской глубоко государственной и вполне «национальной» власти. Чтобы угадать в самодемобилизующейся армии и в истрепанном войной городском пролетариате будущего властелина русской земли, нужно было или обладать пророческой прозорливостью, или верить в немедленную осуществимость неосуществимых лозунгов; ведь трудно было предвидеть, что в процессе революции ход истории обяжет и русскую власть и поддерживающие ее национальные силы хотя бы во имя мировой революции и жажды немедленного установления абсолютной правды и справедливости на земле строить в первую очередь русское государство, русскую нацию и возрождать в России экономическую жизнь.

Но ни исторической прозорливости, ни жертвенного служения исторически неизбежному у Временного правительства не было.

Обвинять Временное правительство в том, что оно не сумело понять создавшегося вследствие отсутствия ясной и одинаково для всех приемлемой социальной базы положения, не приходится. От людей нельзя требовать пророческого прозрения, вступить же на другой, указанный выше путь — поверить в возможность немедленного установления рабоче-крестьянской власти — ни один из членов правительства не мог. К тому же установление этой власти предполагало такое временное погружение в мрак

бесправия, крови и разрушения материальных и культурных ценностей, что пойти по этому пути могли лишь железные люди, твердо верящие не только в установление временной рабоче-крестьянской власти, но и в осуществление подлинного счастья всего человечества, по самой своей профессии — революционеры, не боящиеся вызвать к жизни всепожирающий бунтарский дух, люди, для которых их цель действительно, а не на словах только оправдывает все средства.

Но, быть может, все-таки были правы те члены Временного правительства и поддерживавшие их группы, которые надеялись, что временно власть в состоянии удержаться «на доверии», что массы подождут с выполнением своих требований и что наконец съехавшееся Учредительное собрание сумеет основать Власть Всероссийскую, покоящуюся на авторитете всеобщего равного, тайного и прямого голосования? Позорный провал Учредительного собрания, реальный и моральный, должен был, казалось, открыть глаза даже самым неисправимым мечтателям-оптимистам на подлинный лик революции и ее власть. И если тогда, в момент крушения иллюзий, неумение оценить события во всей их мощной значительности было понятно, то совершенно непростительно нежелание — иначе этого назвать нельзя — объективно осознать политический, социальный и экономический смысл исторического процесса, приведшего к этому крушению, теперь...

Проклинайте эту подлинную деревню как исчадие тьмы или смотрите на нее как на будущую творческую силу, но оплота для переворота в пользу парламентаризма и демократии в ней нельзя никак усмотреть.

Социально-экономическое и культурное состояние русского крестьянства в 1917 году допускало теоретически два пути построения на нем, как на своей базе, власти.

Первый, не выдержавший исторической проверки путь может быть кратко сформулирован следующим образом: сначала успокоение, потом реформы... Этот путь предполагал бы «благожелательную» буржуазию, правовую и «культурную» власть, «искренне» стремящуюся осуществить законные требования народа, затем не менее «искренний» отказ помещиков от своего привилегированного социального и экономического положения и, наконец, сентиментальное доверие русского мужичка к трогательным обещаниям его векового классового врага. Всем этим я отнюдь не хочу сказать, что не верю в искренность отдельных представителей русской интеллигенции, охотно соглашавшихся наделить крестьян землей и привлечь их к делу государственного строительства. Думаю, однако, что история белых движений с достаточной наглядностью показала все бессилие русской интеллигенции в проведении ею своих точек зрения при ее работе в союзе, а следовательно, в военной и экономической зависимости от земельной и промышленной буржуазии. Инстинктов не сдержишь... Хоть бы подождали до Москвы. Но помещики кинулись на свои пепелища. Все, что писалось в советской печати о классовых интересах помещиков, сановников, дворян, генералов, реакционеров, получило с этими необузданными аппетитами яркое предметное доказательство. Первый путь неизбежно, таким образом, приводил к социальной, а за ней и политической реставрации...

Оставался второй путь, который в противоположность первому можно было бы охарактеризовать словами: сначала реформы, потом успокоение. Но что понимать под реформами? Вот тот роковой вопрос, при ответе на который, практическом и теоретическом, провалились все без исключения правительственные партии начиная с партии «Народная свобода» и кончая полулевыми социал-революционерами и меньшевиками. Все они в большей или меньшей мере рассуждали следующим образом: реформы необходимы, но они не должны ослаблять экономической, военной и финансовой мощи страны и разрушать хоть и чуждые большинству народа культурные и правовые ценности. Вот в этой осторожности политических деятелей первой половины 1917 года и была их величайшая, непростительная ошибка их преступление перед революцией, а следовательно, перед Россией Эти люди не понимали, что социальное, экономическое и политическое пересоздание России предполагает выход на поверхность государственной жизни тех социальных элементов, которые в отношении своих культурно-правовых и государственных представлений живут в далеком, отнюдь не прекрасном прошлом, что эти элементы могут выполнить выпавшую на их долю роль социальной базы лишь при условии, что им будут понятны и близки как далекие цели и идеалы власти, так и ближайшие, конкретные ее задачи. Скажу прямо: в условиях русской жизни 1917 года, при отсутствии вполне четко сложившейся и организованно построенной социальной базы государственной власти, заменить такую базу могли только «массы», сознательно

сплоченные демагогическими лозунгами: не определенный класс, а именно «массы». Захват этими «массами» в октябре 1917 года власти и знаменует собой подлинную революцию. С этого момента уже стали возможны реформы, то есть эволюция власти и поддерживающих ее новых социальных слоев... Характерно, что все попытки Временного правительства реформировать царскую армию не приводили ни к чему: армия ждала не реформ, а демобилизации. Эта армия могла быть только распущена, после чего на совершенно уже иных началах и во имя иных целей могла быть организована новая армия, подлинная охранительница революции и России, нового, «социалистического» отечества.

Революция преодолела все преграды, уверенно и властно вошла в русскую жизнь и накрепко укоренилась в ней. Удалось ей это как раз потому, что она не послушалась либералов и всех близких к ним по программе и по темпераменту, а повела большую игру и поставила перед собой большие цели. Русского крестьянина и рабочего соблазнило не то, что он получил в собственность лишних пять десятин земли, и не то, что он сам себе выдаст патент на умеренность и аккуратность в законодательном Учредительном собрании. Его соблазнила мысль пострадать за рабочих и крестьян, за униженных и оскорбленных всего мира. Чисто по-русски — пострадать. Он ничего не понимал, когда ему говорили: воюй с немцем лично ради себя. Он не верил, когда его призывали все взять себе ради его собственной выгоды. Но он поверил и взялся за оружие, когда ему сказали, что он призван убить зло в мире и насадить в нем вечную справедливость.

Колоссальный рост государственного, национального, экономического и социального сознания народных масс в России за время революции — вот то неоспоримое и бесконечно ценное, что уже дала нам Великая Русская Революция, построяя в мучительном процессе своего творчества мощную социальную базу новой России.

Кто бы ни попробовал что-нибудь сделать на пепелище после большевиков, другие непременно его парализуют. Никого нет, кто бы был в состоянии взять в свои руки после большевиков тяжкий меч власти. Во всяком случае надо твердо помнить: за эти годы одни монархисты сумели организовать против советской власти вооруженное сопротивление. Что же скрывать шило в мешке: белые армии, состоявшие почти сплошь из офицеров, были, конечно, монархическими. Тогда вставала дилемма: красный Кремль или Кремль с колокольным звоном царей московских.

Непривилегированные классы России, в деревне и в городе, веками приучены быть неприхотливыми. Поэтому с ними теперь бита всякая карта и на экономическую разруху и на отсутствие гражданских свобод. Итак, ни интервенция, ни русская несуществующая армия, ни взрыв изнутри...

Не будет в России ни монархии английского типа, ни республики типа Соединенных Штатов. Будет что-то свое, выстраданное и выкованное революцией. Памятников или вовсе никому не поставят, или поставят их Ленину. И тут-то станет впервые ясно, что вся русская интеллигенция жила и работала в качестве революционной силы для того только, чтобы создать, испытать и закалить Ленина, чтобы сначала через него дать настоящую русскую революцию, а потом через него же навсегда или надолго преодолеть ее... Большевики — несомненные русские интеллигенты и... наиболее правоверные, наиболее русские и по складу ума и по темпераменту. Но именно в них и произошел тот решительный, органический кризис интеллигенции, который один только был способен вывести ее на широкую творческую дорогу. В большевиках и через большевизм русская интеллигенция преодолевает свое историческое отщепенство от народа и психологическое отщепенство от государства... Случилось чудо: в момент народного пробуждения исчезла вековая пропасть, нашелся общий язык между народными массами и квинтэссенцией революционно-интеллигентского сознания.

Эта «новая жизнь»— результат всей русской истории и всей истории русской культуры. В ней — синтез московской и петербургской России, встреча народа с интеллигенцией, пересечение славянофильства с западничеством, марксизма с народничеством. В ней — великое обетование и великое национальное свершение.

Все это, может быть, и так, возразят мне, но не слишком ли дорогою ценою куплено будущее, к тому же еще проблематичное, благо России? Охотнее всего в ответ на подобные рассуждения я бы указал, что история, к несчастью, не знает ни слишком дорогих, ни слишком дешевых цен; точно так же как в отношении к ней бессодержателен вопрос: могло ли быть иначе? Что же касается Русской Революции, то она неиз-

бежно должна была принять экстремистский характер, который, в свою очередь, в такою же необходимостью должен был найти свое возглавление в лице русского большевизма. Не будь социалистов-большевиков, русская революционная стихия вызвала бы к жизни нечто гораздо более страшное, страшное не убийством и грабежом, а страшное прежде всего тем, что грозило бы вырождением революции в анархию и бунт с их неизбежным заключением — реставрацией-смертью.

Да, у одетой в несокрушимую броню советской власти есть ахиллесова пята. Эта ахиллесова пята — анархия. Это Кронштадт, это — «царь» Махно. Жаль одного: они не правее, а левее большевиков. Это сила не центростремительная, а центробежная.

Махно был анархической отрыжкой векового крестьянского гнета, был стихийным многоголовым «царем»-зверем, который один, безымянный и безликий, мог бы прийти на смену советской власти, если бы она не вздернула, как Медный всадник, Россию на дыбы. Вся Россия была бы отброшена к доисторическому периоду, к безвластию, к грабежу кочующих шаек.

Через мощную, напряженно-волевую власть, и т о л ь к о ч е р е з н е е о д н у, Россия может прийти к экономическому и общенациональному оздоровлению. Какой же смысл расшатывать в таких муках создавшуюся революционную власть, н е и м е я в з а м е н н и к а к о й д р у г о й, да еще тогда, когда наличная власть делает героические усилия восстановить государственное хозяйство?..

Да, авторы новых «Вех» признают правительство русской революции. Тяжбу о власти они считают покончейной.

Не думайте, что мы изменились, признав ваше красное знамя: мы его признали только потому, что оно зацветает национальными цветами. Не думайте, что мы уверовали в вашу способность насадить в нынешней России коммунизм или насильственно зажечь мировую революцию большевистского типа; но мы реально ощутили государственную броню, которой страна через вас себя покрыла, и воочию увидели ваш вынужденный, но смелый разрыв с утопией, губительной для страны.

БЫЛ ЛИ ИГНАТ СОПРОНОВ ТРОЦКИСТОМ?

Под «разрывом с утопией» имелся в виду переход к нэпу. Сменовеховцы думали, что новая экономическая политика приведет не только к оживлению хозяйственной жизни, но и к постепенному перерождению большевистской власти. Они надеялись, что за экономическими уступками неизбежно последуют политические. И тем самым Октябрьская революция окажется воротами в либеральный храм. Сменовеховцы ошиблись, как ошиблись и представители других политических течений, сотрудничавших с большевиками в расчете на неизбежные якобы политические уступки. Ошиблись, в частности, бывшие меньшевики, желавшие для России не западного либерализма (без западного мещанства), как «веховцы» всех призывов, а социализма, который один только может излечить людей от мещанства и всех прочих буржуазных болезней, но который должен вырасти из капитализма и парламентского либерализма, прийти после них, а не вместо них.

Ошиблись все те, кто смотрел на свою страну через европейские очки, вновь и вновь примеряя к ней скроенный западной историей костюм.

Через эти очки нэп выглядел улицей хотя и своеобразной, но чем-то знакомой: все европейские революции так или иначе заканчивались удовлетворением экономических требований крестьян. Что касается коллективизации, то она могла казаться только авантюрой, полным разрывом со всем историческим опытом и выведенными из него законами По этим законам выходило: восстание советских крестьян неизбежно. Его ждали, к нему готовились все, кто считал себя «демократами».

Наверное, пришло время заглянуть и в то время.

Мы о нем очень мало знаем, намного меньше, чем о временах более отдаленных.

Знаем — в учебниках написано,— что шли на нашей «улице» в ту переломную пору тяжелые идейные (и не только идейные) бои, что были в них победители и побежденные, что первым ставили памятники, а от вторых не всегда оставались и могильные плиты, и лишь их имена да наиболее «ренегатские» высказывания высечены в назидание потомкам на пьедесталах победителей.

Все остальное — «вычеркнуто».

Но мы успели узнать и о том, что победители тоже были не святыми, что наломали они, застраивая нашу «улицу», немало дров, а то, что построили, хотя и сгоди-

лось в свое время для жизни и дало силы победить самых сильных врагов, теперь надо перестраивать. Та улица к храму действительно пока не привела, но, чтобы идти вперед, нужно знать немного больше. Прежде чем «вычеркивать» ее, надо бы все же разобраться, можно ли было ту улицу обойти. Были ли другие проекты «уличной застройки», а если были, то кто и почему их отклонил и как к этим проектам относиться?

В 1930 году в Берлине вышла книга «Большевизм в тупике», написанная почтенным старцем европейской социал-демократии Карлом Каутским. Под одной обложкой с ней была помещена большая статья руководителя заграничной организации меньшевиков Федора Дана под названием «Проблемы ликвидации» (большевизма). И вот, читая сегодня их пространные рассуждения о том, «что делать» социал-демократии в случае победоносного крестьянского восстания в Советской России (так прямо и озаглавлена, со ссылкой на заимствование у Чернышевского, одна из глав книги Каутского), не можешь отделаться от ощущения: пишут о коллективизации и ее возможных последствиях, то есть о том, чего никогда и нигде не было, а озабочены больше всего подыскиванием подходящих аналогий из французской истории.

Каутский ищет в ней прототип Сталина и останавливается на Наполеоне. Конечно, оговаривается автор, не во всем они схожи, в чем-то и не похожи: прототип как-никак носил на голове императорскую корону. Но это, так сказать, частности. Главное, что и в том и в другом случае есть режим личной диктатуры и нет демократии, нет политических свобод. То есть в обоих случаях налицо контрреволюция. Коллективизация — последний ее акт в России, отнимающий у крестьян отвоеванную ими во время революции землю. А потому крестьянское восстание более чем вероятно, и оно должно превратиться в новую народную революцию, которая сметет «сталинскую диктатуру».

Что же вместо нее? Вместо нее то, что начали, но не довели до конца в феврале 1917 года: всеобщее избирательное право, Учредительное собрание, парламентская республика. Каутский разъяснял, что предлагаемая им программа выгодна всем: и рабочему, и крестьянину и интеллигенту. На Западе это поняли, значит, поймут и в России. Должны понять. Советскому рабочему не стоит цепляться за свои призрачные привилегии по отношению к крестьянину: демократия даст ему несравнимо больше, только она и может привести его к «настоящему», «свободному» социализму, а не к «государственному рабству». А по всему по этому подлинные русские социал-демократы, то есть меньшевики, должны быть готовы к тому, чтобы возглавить демократическую революцию у себя на родине.

Федор Дан лучше знал свою страну и понимал: по такому проекту в России 1930 года ничего не построишь; светлый храм, срисованный Каутским с западной действительности, там казался мрачной тюрьмой, если не чем-то похуже. Ведь советский рабочий не забыл еще, отмечает Дан, что под знамена демократии звали его белогвардейцы, ведь лозунгом Учредительного собрания и парламентской республики в годы гражданской войны прикрывалась совсем не демократическая контрреволюция, ведь меньшевики в 1918 году вынуждены были даже снять этот лозунг, хотя он полностью соответствовал их политическим убеждениям. Ведь судьба Учредительного собрания уже показала, как мало волнует крестьян все, что касается государственного устройства: их интересовала помещичья земля, а не политическая свобода. Ведь «азартная и безумная политика большевистской диктатуры все еще находит в рабочем классе и рабочей молодежи десятки, если не сотни тысяч бескорыстных и готовых к самопожертвованию исполнителей, фанатически верующих, что путем не только истязания других, но и самоистязания они приведут человечество к социалистическому освобождению». Ведь пишет же в немецкой газете уехавшая из Советской России русская студентка: она — решительно против коммунизма, ее не приняли в советский вуз по причине «буржуазного происхождения», но она «с завистью» вспоминает советскую молодежь, «забывающую все беды сегодняшнего дня в мечтаниях о счастливом коммунистическом будущем», молодежь, «имеющую цель, имеющую идеал, на службу которому она отдает все силы» Как не похожи на нее внутренне опустошенные и безыдейные студенты немецкого университета!

Дан призывает «многоуважаемого учителя нашего» вернуться на грешную землю. Он осмеливается напомнить своему высокоученому оппоненту, что Россия — не Франция, а Россия. Как можно сравнивать Сталина с Наполеоном? Бонапарт возглавлял партию порядка, которая, уничтожив политические свободы, в то же время законодательно закрепила революционные завоевания крестьян и интересы буржуазной собственности вообще. Но Сталин же все делает наоборот! Вместо примирения с

крестьянством он «вступает с ним в острейший конфликт; вместо утверждения собственности — возвращается к грубейшему, почти «военно-коммунистическому» нарушению ее; вместо порядка — поднимает всю страну на дыбы и вносит во все отношения неуверенность, тревогу, азарт, хаос».

Разве похоже все это на наполеоновскую Францию?

Кажется, Дан понимает необычность событий, происходящих в России, их непохожесть на все, что когда-либо переживал Запад. Но нет, и он смотрит на свою страну как на второе издание европейской истории, и он не может обойтись без французских аналогий. Сталин — не Бонапарт, он скорее засидевшийся на своем историческом месте... Робеспьер! Большевики — справедливость требует признать за ними эту заслугу — сказали решающее слово в борьбе против белой реставрации, без них ее одолеть не удалось бы, и в этом они похожи на якобинцев. Но не якобинцы с их террором подвели итог французской революции, не они вывели страну из хаоса в порядок, а Бонапарт. И хотя большевистская диктатура держится не два года, а вот уже тринадцать лет, итоги революции еще не подведены. И если коллективизация приведет к восстанию советской деревни, то... Россия повторит Францию и Сталина сменит русский Бонапарт! Он вернет крестьянам землю, закрепит право собственности соответствующими законами, а им, крестьянам, больше ничего и не нужно, они хотят хозяйственной свободы и равнодушны к политической, и потому под сапогом любого бонапарта они чувствуют себя более чем сносно и даже готовы носить его на руках.

Правда, Дан не был в восторге от такого исхода, считая бонапартизм контрреволюционным режимом, и не призывал к его установлению. Поэтому и к крестьянскому восстанию он относился без всякого энтузиазма, считая, что нужно искать пути к парламентской, а не к бонапартистской законности.

Я пишу не историю меньшевистской эмиграции и потому не собираюсь подробно излагать все, что Дан думал по этому поводу. Мне важно, чтобы нынешний читатель, размышляющий о судьбе нашей исторической улицы, мог наглядно увидеть: все, кто выступал против большевиков под знаменем «демократии», в лучшем случае могли представить их себе как полезных дворников истории выметающих с улицы старый реакционный хлам и освобождающих место для новой застройки по цивилизованным европейским проектам. Не придавали значения ни тому что в России не было такого прораба, как западная буржуазия, способная руководить застройкой в либеральном стиле, ни тому, что ее задачи взял на себя рабочий класс, воодушевляемый не либеральными, а социалистическими проектами, ни тому, что подавляющее большинство уличных жителей составляли крестьяне, лишь несколько десятилетий назад вышедшие из крепостничества, не столько буржуазные и мелкобуржуазные, сколько патриархальные, общинные по своим привычкам и духовному складу и уж во всяком случае отличающиеся от французских мелких земледельцев времен Наполеона Бонапарта.

Не придавали значения, верили в «закон», который рано или поздно восторжествует. А он не торжествовал ни в 1905 ни в 1917, ни в 1930-м.

По «закону» ответом на коллективизацию должно было стать крестьянское восстание, сбрасывающее большевистскую власть. Поэтому его ждали даже те, кто не связывал с ним, вроде Федора Дана, своих политических планов. Восстания не случилось. Мало того: коллективизация не только не ослабила, но укрепила «сталинскую диктатуру»!

В таких случаях говорить о неточности политических расчетов — значит, не сказать ничего. Тут уместны слова о теоретической катастрофе: то, что считалось всеобщим «законом», в Советской России было объявлено вне закона, а законом оказался незаконный колхоз! На судебном процессе 1931 года едва ли не основной мотив всех выступлений обвиняемых-меньшевиков — мы не думали, что коллективизация может закончиться победой правительства и усилить его, этого не должно было случиться, но это случилось, все наши теоретические прогнозы были неправильными.

Что же произошло на рубеже 20—30-х годов? Почему коллективизация, многим казавшаяся немыслимой, оказалась возможной?

Это, можно сказать, вопрос вопросов. Не ответив на него, не ответим и на многие другие.

Вот, например, в журнале «Наука и жизнь» (1987, № 4) специалист по управлению Г. Попов, опираясь на материал романа А. Бека «Новое назначение», размышляет о созданной в предвоенное десятилетие Административной Системе. Очень интересная статья; не удивительно, что она привлекла внимание широкой общественности. Автор не просто пишет о недостатках административных методов управления, а раскрывает перед нами внутренний механизм всей Системы. Мы видим, что в нем все логично и продумано, у каждой детали, каждого винтика свое особое назначение, все «подсистемы» хорошо состыкованы и подогнаны друг к другу, что в нем ничто не случайно, включая такие одиозно-зловещие фигуры, как Берия («подсистема страха»), потому что страх и личная преданность — это и есть два основных принципа, два закона, два кита, на которых держится вся Система.

Г. Попов, по-моему, впервые в нашей печати подошел к Административной Системе не как критик ошибок и злоупотреблений отдельных людей, стоящих во главе ее, а как к особому «объекту исследования». У Системы были достижения, и немалые, потому что в определенных пределах она эффективна. У нее были серьезные сбои и провалы, со временем учащавшиеся, потому что для определенного круга задач она не приспособлена. За ней числятся злоупотребления властью и произвол, но и они для нее по крайней мере не чужеродны.

Небольшая статья эта — большой шаг навстречу нашей истории, прыжок от детски-юношеского «вычеркнуть-вписать» к взрослому «понять». Но один вопрос в статье оставлен без ответа. Вернее, он даже и не поставлен. А он, мне кажется, и есть самый главный.

Административная Система — это система управления. Это верхние этажи общественного здания. Но они же не в воздухе висят, ведь под ними есть и другие этажи, а еще ниже — фундамент, основание. Что же это за фундамент?

Думаю, что ответ надо искать во временах коллективизации — без нее Административную Систему достроить не удалось бы, как не удалось бы завершить индустриализацию. Тогда же начался отбор и широкий приток в Систему новых администраторов-исполнителей: их требовала и сама коллективизация. Кого же и из каких глубин подняла на поверхность та гигантская волна? Кто пополнял ряды сержантов и старшин, младших и старших офицеров административного аппарата, кто заменял оказавшихся для него непригодными?

Не скажу, что вопрос этот новый. Пусть на уровне «сержантов», но он все же ставится. Но ставится очень уж часто не на ноги, а на голову. Ну а стоя на голове, не только много не пройдешь, но и многое не надумаешь.

Писатели-«деревенщики», приступившие в последние десятилетия к художественному освоению залежей коллективизации, один за другим стали выписывать тип злого энтузиаста, во имя «общего дела» готового на дела самые недобрые. Но почему же так выходило, что эти «бесы» и «бесенята» оказывались часто наверху, становились начальством над трудолюбивыми, крепкими и надежными мужиками? Почему именно к никчемному, ленивому и завистливому Игнату Сопронову (из «Канунов» Белова) благоволит судьба, возвышая его до уездного уполномоченного, представителя власти, перед которой у него заслуг не больше, чем перед односельчанами, то есть никаких? Почему худшие получают право командовать лучшими, а лучшие за ними это право хоть и без восторга, но признают и подчиняются?

На этот непростой вопрос крестьяне 1928 года ответить не смогли и оставили его нам как свое завещание. А мы что же? Мы, чтобы облегчить себе работу, начинаем его потихоньку переворачивать с ног на голову. А перевернув, обнаруживаем, что он выглядит теперь гораздо привычнее: не *почему* Игнат Сопронов оказался наверху, а *кто виноват* в том, что он там оказался.

Незначительное вроде изменение, а какое облегчение для ума! Все действующие лица исторической драмы известны и поименованы, выбирай самое тебе неприятное и верши правый суд потомка!

Так Игнашка Сопронов и все другие похожие на него игнашки были кое-кем зачислены недавно в троцкисты. Они, конечно, Троцкого могли не читать и не знать, к чему он зовет и чего хочет; они могли делать в деревне черное Игнашкино дело, известное под названием «перегибов», даже после того, как их идейный вдохновитель был выдворен из страны, но по духу своему и поступкам они самые настоящие леваки-троцкисты. Поверьте, что рассуждение это мной не придумано и что мысль автора, изложенную им в книге о Василии Белове, я передаю точно. Если же я не

называю его фамилию, то потому лишь, что его, к сожалению, уже нет в живых; суждения же его о нашей истории я вспоминаю и разбираю потому, что они — тоже к сожалению — живут и находят сторонников.

В истории действуют разные люди. Одни лучше понимают ее требования, другие хуже, одни побеждают, другие терпят поражение. Но можно ли в ней, в истории, что-либо понять, можно ли вообще всерьез говорить об истории, не изучая ее, не вникая в то, чего хотели и к чему звали ее деятели, в том числе и «отрицательные»?

Это относится и к такой фигуре, как Троцкий.

Среди «вычеркнутых» он, как известно, самый «вычеркнутый». Это соответствовало политической обстановке конца 20-х годов: тогда Троцкий был самым сильным и влиятельным среди противников правительственного курса. Но сейчас-то чем он опасен? Почему даже дореволюционные его работы нельзя прочитать без специального разрешения? Никакой целесообразности в этой усиленной охране нет, а нецелесообразности очень много. Нецелесообразен страх перед собственной историей. Нецелесообразны любые запретные плоды. Нецелесообразна неполнота информации.

В 50 — 60-е годы были опубликованы стенограммы партийных съездов, на которых, как известно, выступал и Троцкий. Но пока не зарегистрировано ни одного случая, чтобы чтение этих стенографических отчетов превращало читающего в троцкиста. Зато какой живой интерес к прошлому, какую жажду понимания его вызвали они у молодежи того времени!

Совсем недавно в «Новом мире» напечатана пьеса Михаила Шатрова «Брестский мир». В ней впервые Троцкий выступает как персонаж с правом голоса. Мы узнаем его позицию в деталях, слышим, как он ее защищает. Можно спорить о том, насколько безупречно ее воспроизведение. Но зато бесспорно другое: нам показывают не «разгром троцкизма», а диалог с ним, живой и полный драматизма. Показывают историю.

А что может быть важнее этого? Современный читатель хорошо знает, кто кого и когда «разгромил». Но он стремится к большему. Ему важно самому разобраться, кто был прав и почему. Он хочет ясно представлять себе ход идейной и политической борьбы, а не только исход ее. Он хочет слышать голоса всех авторов и актеров исторической драмы. Так что не будем мешать ему, а если можем, то и поможем.

Зачисление Игнашки Сопронова в троцкисты не помогает, а мешает. Оно мешает, потому что оставляет читателя в недоумении: как же так получилось, что троцкистов разгромили, а игнашки шли не ко дну, а поднимались со дна на поверхность? Оно мешает и потому еще, что троцкизм игнашек — это и не троцкизм вовсе, хотя чем-то и напоминает его.

Троцкий, конечно, «левак». Но его левачество совсем другое, чем Игнашкино. Рискну даже сказать, что Игнат Сопронов левее Троцкого. Но — вот ведь как бывает! — он левее «левака», зато твердо стоит на ногах, а «левак» болтается в воздухе. Троцкизм именно из-за своего левачества оказался разгромленным, а более левым игнашкам предстояла долгая жизнь хозяев положения, превращение в овечкинских борзовых, потесненных, но не вытесненных до сих пор.

Но в чем же тогда разница между «леваком»-троцкистом и Игнашкой? Разве не прав автор уже упомянутой книги «Василий Белов», когда говорит, что Троцкому было свойственно увлечение администрированием, командованием, казенно-бюрократическое отношение к массам? Прав, конечно, об этом можно прочитать и у Ленина. Но разве Игнат Сопронов не отличается теми же малопривлекательными достоинствами? Да, этих достоинств у него хоть отбавляй. Так в чем же тогда разница и почему Игнашка левее самых левых?

Чтобы лучше понять, в чем дело, обратим внимание на странное несоответствие, которое бросается в глаза при чтении книги «Василий Белов», а точнее — главы, посвященной «Канунам». В главе рассматриваются события 1928 года, а все высказывания Троцкого, которыми автор хочет доказать троцкизм Игната Сопронова, берутся из 1920 года! Почему же так? Неужели нет «левацких» цитат более позднего происхождения? Есть, конечно: ведь троцкистско-зиновьевский «левый уклон» — это середина, а не начало 20-х годов. Цитаты есть, но они «не про то». Автор, похоже, чувствует это — надо отдать ему должное. И что он ищет истоки будущих Игнашкиных «перегибов» в 1920, а не, допустим, в 1925 году, тоже не лишено проницательности. А что получается в итоге?

Приводится, скажем, обширная выдержка из речи Троцкого на IX съезде партии, где говорится о «милитаризации труда», и делается «страшный» вывод: вот что готовили троцкисты советскому народу и советскому крестьянству — они готовили ему судьбу коренного населения Южной Африки, опекаемого «белым меньшинством»! Ну зачем же так? Ведь это же неправда, а неправда — даже если она касается врагов — правому делу еще никогда не служила. Не в самой цитате неправда, а в другом, более важном. Цитата точная: что было, то было. Я даже добавить кое-что могу. Предлагалось, например, превратить Россию в «огромную армию труда», говорилось о том, что надо все внимание перенести «на вопросы трудовой дисциплины, на вопросы трудовых армий», что эти армии наряду с субботниками нужно рассматривать как «осуществление в разных формах социалистического и коммунистического труда», что главный вопрос повестки дня — «милитаризация хозяйства и применение воинских частей для хозяйственных нужд».

Кто же все это предлагал?

В первых трех случаях закавыченные слова взяты из произведений Ленина. В четвертом — из резолюции IX съезда партии о задачах хозяйственного строительства, который, как известно, тоже проходил при участии Ленина, а с упомянутой резолюцией он знакомился заранее.

Ничего неожиданного или странного во всем этом нет. Потому что в 1920 году желание организовать хозяйство по армейскому образцу было нормой, а не отклонением от нее. Неужели надо напоминать, что экономическая политика того времени называлась «в о е н н ы м коммунизмом» и что предложение отменить ее исходило тогда не от Ленина, а от его противников? Если вы хотите сказать, что даже по тем временам увлечение Троцкого командованием и администрированием бывало чрезмерным, вы будете правы и найдете авторитетного союзника в лице Ленина. Но вы же хотите сказать совсем не это!

Пойдем дальше. Был ли Троцкий «леваком» в период нэпа, а точнее — в середине 20-х годов? Да, был: слова «левый уклон», относящиеся к троцкистско-зиновьевскому блоку, передают существо дела правильно. В чем левизна Троцкого и его единомышленников в этот период? В том, что они предлагали средства, необходимые для индустриализации, «взять» у крестьян, подняв цены на промышленные товары и резко усилив налоговое обложение деревни, причем имея в виду не только кулацкую верхушку, но и значительную часть середняков. Но троцкистская левизна имела четкую границу, которую никогда не пересекала. Этой границей был нэп. Ни отменить, ни заменить его чем-то другим оппозиционеры не предлагали. Уже находясь за рубежом, Троцкий весьма пренебрежительно отзывался о коллективизации, считая, что большинство колхозов надо распустить, так как они нерентабельны.

Когда автор книги «Василий Белов» рассуждает о зловещей роли, которую суждено было сыграть игнашкам в советской деревне, он имеет в виду период коллективизации и более поздние времена. Но разве так уж трудно понять, что в посленэповской деревне «перегибы», осуществляемые игнашками, были несравнимо левее всего, что можно было представить себе при нэпе? Что они гораздо больше напоминают методы «военного коммунизма» и уже по одному этому записывать Игната Сопронова задним числом в троцкисты значит вносить в историю, и без того запутанную, новую порцию путаницы?

Игнашка вообще не имеет никакого отношения к «уклонам» 20-х годов, потому что и «левые» (троцкисты) и «правые» (бухаринцы) были за сохранение нэпа и против массовой коллективизации. Так что если вы в документах 30-х годов вдруг обнаружите, что из двух противоположных по значению прилагательных — «правый» и «левый» — научились делать одно («право-троцкистский», то есть «право-левый»), то не ищите в этом особую изворотливость или, наоборот, неповоротливость политического ума. «Право-левые» — это не словесный плод больного воображения, а реальный факт. Потому что по отношению к политическому режиму, который сложился и укрепился после коллективизации, бывшие «левые» стали «правыми». Потому что социализм, который был построен в 30-е годы, ни те, ни другие социализмом не считали. Они не считали его социализмом, так как он не соответствовал их представлениям о новом обществе, а до такого простого согласования идеала и действительности, как словосочетание «реальный социализм», они не додумались. Они не считали его социализмом, так как думали, что только индустриально развитый Запад успел создать для него соответствующие предпосылки, а в отсталой крестьянской России их нет.

Многим, очень многим отличались они от тех, кто представлял себе социализм и движение к нему в духе Федора Дана или Карла Каутского, и прежде всего — неприязнью и нетерпимостью к либерализму в любом его виде: все, что касалось «парламентаризма», «демократии», «свободы» и других терминов из западного политического словаря, они воспринимали в лучшем случае как словесную шелуху, а в худшем — как происки классового врага. Но в тех очках, через которые они смотрели на события в своей стране, одно стекло оставалось европейским. Сквозь него коллективизация выглядела такой же авантюрой, чреватой политической катастрофой, как и сквозь два стекла Каутского и Дана. Но так как катастрофы не произошло, никому из оппозиционеров в отличие от Игната Сопронова на национальной улице нашей не суждено было стать долгожителем.

Улица застраивалась левее их. Бывшие «левые» и бывшие «правые» оказались справа.

Но разве еще до того как это случилось, «левые» не смотрели на мир через очки с разными стеклами? И разве не мешало одно стекло другому, притупляя зрение и смазывая перспективу?

Вот тот же Троцкий. В 1917 году он примкнул к большевикам, потому что понимал: революция в России с ее слабой буржуазией, прикованной исторической цепью к ненавистному крестьянам помещику, может победить, лишь будучи пролетарской. Но он считал также, и был в этом совсем не одинок, что российская революция, решая национальные задачи, должна в то же время стать искрой, из которой возгорится пламя революции мировой, а та, в свою очередь, поможет отсталой крестьянской России решить задачу, своими силами для нее не разрешимую,— построить развитую социалистическую экономику.

Но в середине 20-х годов западный капитализм начал стабилизироваться. Стало ясно, что в ближайшее время мировой революции, а значит, и помощи в строительстве социализма со стороны более развитых стран ждать не приходится, а приходится ждать экономического и военного давления. Так главным политическим и теоретическим вопросом стал вопрос о «социализме в одной стране». На этом плацдарме и развернулись решающие идейные битвы середины 20-х годов.

О принципиальной новизне вопроса говорит хотя бы такая деталь: в апреле 1924 года Сталин еще не решался ответить на него категорическим «да». Но уже в декабре того же года интонация изменилась, и сталинское «да» зазвучало однозначно и непреклонно.

Троцкий и многие вместе с ним ответили столь же однозначным «нет».

«Социализм в одной стране», доказывал он,— это «замкнутое хозяйство», это «национальная ограниченность». Историю не перехитришь, из отсталой страны не прыгнешь сразу в социалистический рай. Надо развивать производительные силы, а для этого надо подключаться к мировому рынку, к международному разделению труда, повышать квалификацию специалистов и рабочих, ездить для этого за рубеж и учиться там уму-разуму, надо оценивать уровень развития экономики не по количеству, сравнивая его с довоенным 1913 годом, а по качеству, сопоставляя его с высшими западными достижениями. Да, но капиталистический рынок может ведь поглотить и проглотить слабую советскую экономику! Может, кто спорит? Но если действовать умно, есть шансы продержаться, а только продержаться нам и нужно, потому что все надежды наши — на европейскую революцию. А если ее нет и еще долго не будет, если капитализм стабилизируется? Не быть ее не может. Это означало бы крушение всех наших теоретических представлений. Если капитализм жизнеспособен, если он в состоянии и дальше развивать производительные силы, то, значит, неверны наши представления об империализме, значит, он не ведет к загниванию и, значит... значит, мы пришли слишком рано!

Что же из этого следует? Что придется уйти?

Ответа не было.

Один глаз видел Советскую Россию, другой косил в сторону Европы. Глаза разбегались, будущее утрачивало ясность очертаний, контуры его размывались; чтобы описать движение к нему, требовалось все больше вопросительных знаков и глаголов в сослагательном наклонении. Но эти знаки и это наклонение меньше всего годятся для политических программ.

Хорошо, спрашивали Троцкого, но как же нам все-таки продержаться? Как подготовиться к возможной интервенции? Троцкий и его единомышленники отвечали: разумеется, нужно начинать индустриализацию. И чем быстрее, тем лучше. Нуж-

на ускоренная индустриализация (в рамках нэпа). «Сверхиндустриализация»! За счет кого? За счет деревни. А если деревня не захочет оплачивать счета? Если ничего не даст? А начнем брать, то не разрушим ли весь экономический механизм нэпа? Ведь мы зависим от кулацкого хлеба! А если повысим цены на промышленные товары, то не оттолкнем ли от себя неплатежеспособных бедняков, на которых в первую очередь и опираемся? Да и рабочих тоже — ведь и они покупают товары?! Повысить зарплату? А из каких средств?

Да, не сводились концы с концами. Главная ставка делалась не на свои, а на чужие силы, на европейских рабочих. Любая другая объявлялась «национальной ограниченностью». Но предлагаемая вместо нее «безграничность» вела в национальный тупик. Троцкий не угадал ни того, что происходило в его время на западной «улице», ни того, что требовалось делать на своей.

Антонио Грамши был прав, когда сказал, что троцкизм «поверхностно национален» и что не менее поверхностен его европеизм.

«Социализм в одной стране» был лозунгом выживания, самосохранения, национальной обороны. Это был лозунг, который позволил соединить идею социализма с идеей национальной независимости, с глубоко укорененным в народе чувством национального достоинства.

К нашему общему несчастью, соединение это нередко осуществлялось такими методами, которые уязвимы не только с нравственной, но и с уголовной точки зрения. Правда, бывало и по-другому, особенно в критические для страны дни и часы: в речи, обращенной к участникам парада на Красной площади 7 ноября 1941 года, Сталин, призвав к защите социалистической родины, напомнил имена «наших великих предков», обратился к национальной патриотической традиции. Впрочем, соединение двух идей началось задолго до этого и впервые осуществилось в ленинском лозунге «Социалистическое отечество в опасности!».

Но бывало и другое. Случалось — и очень нередко,— что в местах стыковки двух идей все грохотало и скрежетало невыносимо, и до сих пор звуки те, доходя до слуха нашего, вызывают ощущение кошмара, отзываются стыдом и болью.

Почитайте стенограммы судебных процессов второй половины 30-х годов (они были в свое время изданы, хотя о полноте и достоверности их судить, разумеется, не берусь), а читая, обратите внимание, как Вышинский настойчиво и методично бьет в одну точку, как важно ему доказать, что подсудимый — тот же Бухарин или кто-то другой — не просто противник правительственного курса и политики партии, а что он непременно связан еще и с германской, японской или какой-то другой иностранной разведкой. Враг социализма, враг советской власти — этого было мало. Враг народа — тоже недостаточно. Только слово «шпион», затрагивающее национальное чувство, обеспечивало народное оправдание любого обвинения и приговора. Вспомните, что даже Берия оказался «английским шпионом»!

Читаешь и вспоминаешь все это — мороз по коже. Тем более что сам в свое время верил, что у руля государства долгие годы могут находиться иностранные разведчики. Да, слово «покаяние» вполне уместно. Но прежде чем каяться, хочется все же понять: почему мы верили в это? И в чем каяться? В том, что мы — это мы? Но мы же не пятьдесят лет назад родились и даже не семьдесят. С чего начинать отсчет грехов? С Московской Руси? С петербургской? Или с советских 30-х годов?

Знаю, слышал от многих: нельзя, не надо было свертывать нэп, это гигантская ошибка, за которую до сих пор расплачиваемся. Говорить сегодня о том времени иначе — рискованно: отлучение от прогресса не заставит себя ждать, как и зачисление в ряды защитников административной старины. И потому еще раз: можно ли было сохранить нэп?

Если вы отвечаете «да», то вам придется переселиться в то время и рассказать, как бы вы решали проблемы, которые возникли во второй половине 20-х годов после завершения восстановительного периода.

Вам придется учесть, что промышленность не могла удовлетворить все возрастающий крестьянский спрос на свою продукцию. Раз деньги, вырученные за хлеб и другие сельскохозяйственные продукты, не обеспечивались товарами, значит, продажа хлеба теряла смысл, хлеб стали придерживать. Придерживать же в первую очередь стали те, у кого денег и хлеба было больше, то есть наиболее зажиточные слои деревни. Но так как доля хлеба, поставляемого этими слоями на рынок, была весьма значительной, то хлебозаготовительные трудности, с которыми столкнулось государство, оказались весьма чувствительными. Говоря иначе, экономический механизм разболтался и давал

сбои. Уже приходилось прибегать к усиленному административному регулированию его в ходе хлебозаготовок, что грозило разрушить его окончательно и создавало в деревне напряженную обстановку. Чтобы увеличить количество промышленных товаров, нужно было технически перевооружить предприятия, а для этого построить новые, которые создавали бы новую технику и давали для нее металл. Но механизм нэпа не вырабатывал средств на индустриализацию. Прибыль, поступающая от промышленности, была мизерной, если сравнивать ее с грандиозностью задач. Чтобы увеличить прибыль, можно было поднять цены, как предлагали «левые», но цены поднять было нельзя, их, наоборот, постоянно снижали, чтобы не создавать преимуществ зажиточным группам населения и не испортить отношения с городским и деревенским большинством, которому высокие цены были не по карману. Но по той же причине были отвергнуты и предложения бухаринской группы о повышении цен на хлеб, до этого тоже сниженных.

Расскажите, как бы вы распутали весь этот клубок проблем, за какую ухватились бы ниточку. И еще не забудьте, что вы отвечаете за обороноспособность страны, что вам надо позаботиться о создании самой современной военной техники, которая требует гигантских затрат и не даст взамен никаких доходов. И не пытайтесь облегчить свою задачу рассуждениями типа того, что надо, мол, еще разобраться, от кого исходила в то время военная угроза, так ли уж велика она была и не прикрывал ли кое-кто ссылками на нее свои черные замыслы и дела. Если даже непосредственной угрозы нет, то ни один государственный деятель, пребывающий в здравом уме, не станет ждать, пока она возникнет, чтобы лишь затем приняться за создание военной промышленности.

Ни у кого из политических деятелей того времени, стоящих на платформе нэпа, я убедительных ответов на все возникшие тогда «как?» и «за счет чего?» не нашел. Если вы вслед за некоторыми из тех деятелей считаете, что индустриализация пошла бы успешнее без неслыханного нарушения пропорций между промышленностью и сельским хозяйством, между тяжелой и легкой индустрией, попробуйте доказать это. Но если даже не найдете решения в прошлом и придумаете его задним числом, все равно не скрывайте его. Это очень важно для понимания нашей истории.

Но если нам с вами сказать нечего, то давайте пересилим себя и не постесняемся произнести вслух: победили тогда сильнейшие, и никто, кроме них, победить не мог, потому что другого «проекта застройки» нашей улицы, способного конкурировать с коллективизацией, в ту пору не было. Признать это — вовсе не значит осудить тех, кто думал тогда иначе. Более того: позиция многих из них выглядит сегодня привлекательней, чем позиция победителей. Речь идет лишь о том, что соотношение исторических сил было в пользу вторых, а не первых. И больше ни о чем. Но даже с этим, зная последующую судьбу нашего крестьянства и сельского хозяйства, трудно примириться. Поэтому рука, послушная рассудку, выводит утвердительный ответ, а душа все мучается и мучается безответным вопросом: а может быть, все же могло быть иначе? Трезвый рассудок неумолим: нет, не могло. Но как хочется, чтобы он ошибся!

Да, все решалось соотношением сил. Но почему оно было таким, а не другим? Почему большинство крестьян примирилось с коллективизацией, которая подвела фундамент под здание Административной Системы? Почему опрокинули они все прогнозы и законы, согласно которым все должно было кончиться падением советской власти? Почему?

Вспомним сцену раскулачивания в только что опубликованном «Котловане» Андрея Платонова. Вспомним жуткий, ничем не остановимый танец, исполняемый деревней, только что сплавившей по реке в никуда своих бывших односельчан. Жуткий, потому что мы знаем и то, что было потом. Пляска на собственных похоронах! Но это было. И это — ответ на интересующий нас вопрос. Большинство крестьян примирилось с коллективизацией, потому что в кулаке видело своего врага. Потому что не успело «обуржуазиться», не было готово к конкурентной борьбе на рынке, боялось его разоряющей стихии еще с дореволюционных времен. Потому что едва-едва вышло, а точнее — выходило только из патриархального и мелкотоварного хозяйствования. Потому что идея коллективизации чем-то напоминала хорошо знакомую и близкую общинную коллективность.

Можно сказать и наоборот: если крестьянин предпочел коллективизацию кулаку, если готов был записать и часто зачислял в кулаки крепкого середняка, если благословил удаление из деревни наиболее зажиточной и приспособленной к свободному рыночному хозяйству, наиболее «буржуазной» части населения, значит, он, крестьянин, в массе своей был добуржуазным. Вот что опрокинуло все прогнозы и опровергло все

«законы», по которым коллективизация должна была привести к политической катастрофе!

А между тем были ведь старые книжки, в которых можно было прочитать, что путь от крестьянской общины к социализму не такая уж аномалия, а вещь вполне естественная, патриархальному крестьянину более понятная, чем «обуржуазившемуся». Об этом можно было прочитать у Чернышевского. Об этом много размышлял и писал Маркс, отвечая на вопросы Веры Засулич. Правда, и Чернышевский и Маркс видели социалистическое коллективное сельское хозяйство несколько в ином свете, чем получилось у нас в 30-е годы. Но я сейчас говорю не об этом, а о том, что предрасположенность добуржуазного крестьянина к коллективному хозяйству выше, чем буржуазного и мелкобуржуазного.

Большинство русских крестьян не были похожи на европейских. Поэтому и вели они себя не по-европейски. А если бы были похожи? Тогда никакие активисты и уполномоченные не заставили бы их делать то, о чем рассказал нам Андрей Платонов. Тогда получилось бы что-то похожее на предсказание Федора Дана: буржуазная и мелкобуржуазная деревня выдвинула бы своего военного диктатора, русского Бонапарта. И была бы новая всероссийская резня, потому что буржуазная деревня может существовать только при буржуазном городе, а советский рабочий начал уже забывать о том времени, когда он нанимался на работу к капиталисту.

Представить себе какой-то третий исход борьбы того времени я не могу. И, соответственно, выход из нэпа — тоже. Вы можете? Очень хорошо. Значит, есть что обсуждать и о чем спорить. А это не так уж мало.

Осталось разобраться с Игнашкой. Почему так часто выбрасывало на поверхность людей этого сорта?

Иногда пишут: что делать, орудием исторической необходимости бывают нередко не лучшие люди. Это похоже на ответ, но это не ответ. Почему же тогда историческая необходимость так неразборчива в выборе слуг?

Чтобы не заблудиться в лесу философских отвлеченностей, вернемся лучше в деревню конца 20-х годов, которая испытывает на себе и терпеливо сносит Игнашкину власть.

Говорят, существует «деревенский космос». Еще говорят о «крестьянской вселенной». Не хочу оспаривать этих выражений. Допускаю, что в них есть свой смысл. Но как бы велика и значительна ни была крестьянская вселенная, она все же простирается лишь до околицы и за ней кончается. Чтобы эта «вселенная» стала частью страны, она должна быть с другими такими же «вселенными», а также с городом чем-то связана. Их может соединить или рынок, или государственные служащие, или то и другое вместе. После того как коллективизация состоялась, рынок отпал, остались служащие, и нужда в них была немалая. Кто же мог пойти на эту работу, если даже предположить, что брали бы всех?

Попробуйте представить себе, что место Игнашки согласился занять крепкий, трудолюбивый мужик-середняк, все мысли которого о хозяйстве, земле, скотине, мысли, без которых он уже и не он. Представили? У меня не получается. Тут, на земле, ему все привычно и понятно, тут он хозяин, знает, что зависит от него, а что нет, тут своя ответственность и свое дело: исполняешь его хорошо — дома достаток, детишки сыты-обуты, односельчане уважают, нет — все наоборот.

А вот про «общее дело», которым занят Игнашка, он не очень-то понимает. У патриархального или полупатриархального крестьянина со словом «обшее», если оно относится к чему-то, что за околицей, отношения сложные. Ему трудно объяснить, что в жизни могут быть законы, которые действуют как бы за спинами людей, независимо от того, что они сами думают и чувствуют. Поэтому когда ему кто-то говорит об «общем деле» или каком другом «общем», он только рукой и может махнуть, как Кузьма Барахвостов из «Бухтин вологодских» все того же Василия Белова. Попал хороший печник Барахвостов на тот свет и увидел самое нелепое, что мог только представить себе. Сидят люди и без конца думают, а о чем — непонятно: «Сначала идут простые мысли. После с развитием головы начинаются мысли об этих мыслях, потом мысли всеобщие. Из всех всеобщих приходит одна наиобщая, самая верхняя. От ее начинаешь все сначала, в том же направлении».

Непонятно нормальному печнику Кузьме Барахвостову, зачем это, чтобы в головах у людей такое творилось и двигалось взад-вперед: от «наиобщего смысла к всеобщему, от всеобщего к общему». Печку сложить, перекурить, дровишек поколоть — это

ясно, тут смысл живой есть и удовольствие. А «общее-всеобщее»... Этим и отличается, наверное, тот свет от этого.

Чтобы Кузьма увидел в бессмыслице смысл, ему надо стать производителем, сбывающим товар на рынке, который и объяснит ему популярно, что есть законы, которые от него, Кузьмы, не зависят. Тогда, предоставленный сам себе, он почувствует, что ему для спокойствия и уверенности нужны и законы, записанные на бумаге, которые тоже от Кузьмы не зависят и для всех одни, то есть «общие-всеобщие»...

Но пока «общее» — это только «общее дело», перед которым у тебя одни обязанности и никаких прав, то даже беднейший из бедных если и вдохновится им, откликнется горячим чувством, именуемым нами энтузиазмом, или чем-то попрохладнее и поумереннее, но достаточно прочным, то ненадолго: разберется что к чему и начнет искать «свое дело».

Так и Кузьма Барахвостов: служил сначала колхозным возчиком, возил силосную массу на ферму, где в передовых доярках ходила его жена Виринея. Дни и ночи проводили они рядом с шестнадцатью стельными коровами, все для них делали, что могли, а в награду Виринея получала похвальные заметки в стенгазете и поездки на слеты, а вместе с Кузьмой — кучу трудодней, аж под тысячу, разумеется, «пустопорожних», и Кузьме пришлось выстругивать и вешать на стенку полочку, чтобы жене было куда зубы класть, когда хлеб кончается и у нее по этому случаю ворчливое настроение получается, а самому податься в печники, то есть подыскать себе дело, которое и односельчанам нужно было бы и ему, Кузьме, давало бы в жизни опору, а самой жизни — оправдание.

Игнашка Сопронов может взяться за «общее дело», потому что своего у него нет. Его ничто не привязывает ни к земле, ни к односельчанам, которые его и за мужика не считают. Он отторгнут своим окружением, он ищет, как бы освободиться от него совсем, и тут-то и находит его Административная Система, ей нужны именно такие люди, которые зависят только от нее и не чувствуют зависимости от тех, над кем стоят. Девиз Системы — «общее дело», и хорошо, если ты служишь ему с верой в его правоту, но если нет святых служителей, сойдет и Игнашка, лишь бы усвоил, что «общее дело» не любит, когда о нем рассуждают, а любит, когда исполняют не рассуждая, а еще больше любит преданность каждого нижестоящего своего служителя вышестоящему.

Административная Система и Игнашка нужны друг другу, и они друг друга найдут.

Что в том мире, куда попал Сопронов, идет своя особая жизнь, не похожая на обычную, мужики, конечно, не догадываются. Перед их глазами не Система, а Игнашка, и, глядя на него, они судят не о Системе (власти), а о том, как служит ей Игнашка.

Но если бы знали и могли понять немного больше, то ничем бы им их знание не помогло. Они ничего изменить не могут. Попади они сами в Административную Систему, они должны или принять ее условия, или убираться из нее подобру-поздорову. И нельзя сказать, что попадали и закреплялись в ней одни игнашки; она находила среди тех же крестьян и людей иного масштаба, поднимала их наверх, ставила во главе хозяйственных отраслей и строек, армий и фронтов, под их руководством одерживались победы, сделавшие бы честь самым великим полководцам всех времен и народов. Но все же в первую очередь Система требовала и порождала добросовестных исполнителей, способных лишь беспрекословно и любой ценой исполнять идущие сверху указания, не останавливаясь перед произволом и беззаконием. И со всем этим люди мирились. Хотели или нет, крестьяне 1928-го и многих последующих годов должны были терпеть Игнашкину власть над собой, потому что она означала какой-никакой, а «общий порядок», которому они никакого другого противопоставить не могли, так как другой связи между крестьянскими и некрестьянскими островами-«вселенными» они не знали.

И до тех пор, пока они это не знают, они будут терпеть Игнашкин произвол, не теряя веры в правду власти, а правда власти видится им в том, что там, на самом верху, все-таки есть что-то такое, на чем все держится и не разваливается, «одна наиобщая, самая верхняя мысль», но не сама по себе мысль, а в голове живого человека, который один за всех думает и за всех отвечает и который если б знал, то, конечно, давно уже разогнал бы всех непутевых игнашек.

Вы скажете, что Кузьме Барахвостову и слова о «самой верхней мысли» тоже кажутся чужими, потусторонними. В ответ на это возражение могу напомнить, что на

тот свет Кузьма ходил, когда уже крестьянство его в прошлом осталось, хотя горожанином он смог стать только в детях своих, а не сам.

Пока же крестьянин остается крестьянином, мысль о «верхней мысли» обессмыслиться не может. А это значит, что «общее-всеобщее» в его голове сидит, причем прочно и основательно, но оно обязательно должно быть олицетворено: недоступное, оно должно быть доступно созерцанию на портретах, должно быть пишущим статьи, в которых излагаются самые главные, «самые верхние» мысли, и выступающим по радио в самые важные минуты с самыми важными словами; оно — живое воплощение закона и высшей справедливости.

Пока крестьянин так думает, пока все разговоры о другом, более отвлеченном и безличном «общем-всеобщем» ему непонятны и неинтересны, пока в его представлении все вытекает из самой верхней точки пирамиды и все стекается к ней, пока безостановочная циркуляция от многих «простых мыслей» к одной наивысшей и обратно кажется живой, хотя и не явной реальностью, а не потусторонним бредом, пока не вытеснилось все это из сознания в мир иной, пока все это жизнь, а не смутное воспоминание о чем-то давно ушедшем из нее,— до тех пор у Административной Системы надежный фундамент, до тех пор все игнашки, на которых держится Система, будут восприниматься как чуждые ей, пролезшие в нее случайно и делающие свое черное дело под видом дела общего только потому, что там, на самом верху, об этом еще не знают. До тех пор никакие испытания Системе не страшны: пойдет крестьянин воевать, если надо, и биться будет так, как никто, и одолеет врагов, дотоле не одолимых никем.

Так что же теперь — все оправдать и снова слагать хвалебные гимны? И жертвы невинные уже не жертвы, что ли? И ложь и цинизм — все необходимо было? И все это... Все это из народа вышло, и потому неподсудно? И каяться не в чем — все правильно было, все нормально?

Вопросы, от которых не отмахнешься.

Два года назад я прочитал в «Вопросах литературы» (1985, № 6) интересную статью Л. Вильчек «Вниз по течению деревенской прозы», в которой автор размышляет о тех же вещах и примерно в том же ключе, что и я. Автор доказывает, что коллективизация была неизбежной, что две разных экономики долго мирно сосуществовать не могли. Правда, пишет Л. Вильчек, была не только на стороне деревенских мужиков, кто испытал на себе все тяготы и последствия той ломки, но и на стороне государства: «...ее имя — необходимость». Всегда есть две правды: правда Петра и правда Евгения из пушкинского «Медного всадника», и одна не может торжествовать над другой, «разрешение конфликта двух правд пролегает через трагедию».

На первый взгляд логично и убедительно. И тем не менее неверно. Совсем неверно!

Нельзя, недопустимо просто у р а в н и в а т ь две правды. Если равенство верно, то это означает конец всего. Тогда все ничто и все незачем.

Один крутит ручку исторической мясорубки, его рукой водит сама Необходимость, его величество Интерес Государства. У него своя правда. Другой — внутри мясорубки, его прокручивают через нее, от его крика некуда спрятаться, и разве убаюкаешь совесть утешительными словами: «Терпи, милый наш Евгений, ничего не поделаешь, но мы знаем, что и у тебя есть своя правда»?! Неужели вымолвятся слова эти, произнесутся вслух?

Нет, две правды — это неправда.

Петр — орудие необходимости, Евгений — ее жертва. Петр велик, Евгений мал. Но правда на стороне Евгения, на стороне того, кто страдает. И больше ни на чьей! Потому что иначе правда Евгения — это правда навоза истории, пушечного мяса. И ничуть не больше.

Хорошо, что мы начинаем поворачиваться лицом к истории, хотим понять ее, а не просто «вычеркивать» события, которые нам не нравятся, и имена их виновников. Только начинаем, а уже опасность: как бы не переборщить! Иначе понимание незаметно обернется оправданием, реабилитацией Пока мы убеждены, что было две равноценных правды, мы — одной ногой в прошлом, мы не вышли из него, и ничто не ведет вперед, к его преодолению.

Поэтому что касается Правды, то признаем ее только за миллионами безымянных Евгениев. В этом — единственная надежда, что человечество захочет и сможет расстаться с мясорубкой, используемой как орудие прогресса. В этом — единственная гарантия, что, отвечая на вопрос «почему?», мы не забудем и о вопросе «кто виноват?»

и сумеем отличить трагическую вину от уголовной и различить переход первой во вторую.

Преодолеть мясорубку, не «вычеркивая» ее из прошлого, а отдав себе полный отчет о ее роли и ее несовместимости с Правдой,— это и значит покаяться. Не будем только очень уж долго предаваться приятному созерцанию собственной очищенности, а займемся будничным делом очистки нашей улицы и ее новой застройки.

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ИЛИ ВМЕСТО НАЧАЛА

То, что мы сейчас переживаем и что обозначаем словом «перестройка», ни на что в нашем прошлом не похоже. Пока мы, кажется, все еще под гипнозом привычности давно известных слов: «внедрять достижения НТР», «совершенствовать технологию», «осуществлять реконструкцию». Звучит не так уж «революционно», и мало кто сроднился с мыслью, что ничего похожего никогда еще на нашей национальной улице действительно не происходило.

Перевод промышленности на новую техническую основу всегда был в России непростым делом. В начале прошлого века страна располагала приличными мануфактурами, продукция многих из них пользовалась признанием на мировом рынке. А в середине века Россия оказалась отброшенной далеко назад, что и показала Крымская война. Запад за полвека успел осуществить промышленный переворот. Пришлось пуститься вдогонку, отменять крепостное право, дать хоть какой-то простор хозяйственной инициативе, но... индустриализацию страны удалось завершить лишь после трех революций, в 30-х годах нашего века.

Но то, что предстоит сделать сейчас, несравнимо с тем, что закончили перед войной. Я имею в виду даже не принципиальную новизну современной технологии, но прежде всего масштабы и методы нынешней «второй индустриализации».

В 30-е годы задача сводилась к созданию нескольких промышленных отраслей, способных обеспечить обороноспособность и удовлетворить самые элементарные потребности населения. Жизнь показала, что такую задачу можно было решить административными методами, доведя до предела централизацию и политизацию хозяйственного управления. Ее можно было решить, имея гигантский (три четверти населения!) крестьянский тыл, на который в результате коллективизации удалось переложить значительную часть расходов, необходимых для индустриализации. Ее можно было решить, используя не очень квалифицированного и сравнительно нетребовательного работника, в большинстве своем вчерашнего крестьянина, терпимого к дисциплинарному нажиму. Ее можно было решить, имея в распоряжении особую разновидность рабочей силы — многочисленную и почти бесплатную, легко перебрасываемую в любые районы страны, в любую горячую точку.

Сегодня ничем из того давнего опыта воспользоваться нельзя. Ничем!

Не поможет уже сверхцентрализация, превратилась в городскую крестьянская Русь, нет особых отрядов несвободной, но мобильной рабочей силы, нет и нельзя быстро подготовить, как бы мы ни ускорялись, нового работника.

Сегодня, семьдесят лет спустя после Октябрьской революции, нужно отчетливо представить себе: мы переживаем совершенно новый этап не только советской, но и национальной и мировой истории.

И тем не менее в завтрашний день можно войти только из нынешнего и вчерашнего. Преодолев, а не отбросив их. Сказать: «Улица не ведет к храму» — это значит вычеркнуть ее, ничего не вписав взамен. На какой ракете и с какой точки стартовать нам теперь, чтобы добраться до храма наверняка?

Говорят о новом мышлении. Что это такое? Это мышление-диалог. Готовы ли мы к нему? Или так: подготовили ли нас к нему последние два десятилетия, когда мы обратились к традициям и истокам национальной культуры?

В чем-то — да, но по большей части — нет.

Главный итог хождения к истокам: дореволюционная духовная культура вошла в общественное сознание разными голосами своими, многое вычеркнутое восстановлено, получило права гражданства и нашло горячих последователей. Но мышление-то при этом не менялось, оставалось старым, монологичным! Конечно, не может быть никакого диалога, если некому в нем участвовать, если все друг с другом согласны, а несогласные молчат, потому что сказать не позволяют. Но если участники подобрались, если все получили право слова и даже сели за один круглый или некруглый стол, но при этом

слышат лишь себя, заранее настроившись, что другому и сказать-то нечего, то какой уж тут может быть диалог! Будет много монологов, каждый из которых претендует на истину в конечной инстанции, на превращение в некий новый монопольный «изм».

Ведь нашелся же смелый человек, начал звать других под свое идейное знамя, развернул полотнище, чтобы все видели, и было начертано на том знамени... «достоевизм»! Я не придумал: было и такое в одной из недавних бесчисленных книжек о великом писателе.

Так что общий итог обращения к дореволюционной истории я бы сформулировал так: одноголосие сменилось многоголосием не слышащих друг друга солистов и хоровых коллективов. Это шаг вперед, но не такой уж значительный, к тому же не без потерь.

С послеоктябрьской историей дело обстоит и того хуже. Тут до сих пор все монологично в самом примитивном смысле. Голосов участников не слышно. Кроме победителей, все лишены слова.

Восстановить историю духовной культуры страны как остродраматический диалог разных традиций и направлений, как историю исканий и ошибок, борьбы и творчества, а не одних лишь «разгромов» — это и значит перестроить сознание, это и значит мыслить по-новому. Потому что о прошлом мыслим так же, как о настоящем. И наоборот: как к современности относимся, так и к истории. Если новое сводится исключительно к тому, чтобы подобрать в истории какую-то идейную традицию и заменить ею все другие, то это проявится и в отношении к делам сегодняшним. И будет это старым мышлением на новый лад.

Почему монолог — это плохо? Потому что сама действительность многоголоса, разные люди и группы людей хотят сказать вслух о своих интересах, не всегда совпадающих, и надо всем дать слово, чтобы выяснить, чей же голос звучит сильнее и чище, кого можно сделать солистом, не подавляющим другие голоса, а задающим тон всему хору. Если же вы просто хотите заменить один монолог на другой, то возникает подозрение, что действительности для вас не существует: ведь надо еще доказать, что один из многих голосов ее, который вы уловили и выделили среди других,— что он-то и есть самый главный, что в нем содержание жизни выражено полнее и глубже, чем во всех остальных. У действительности, говоря по-ученому, есть закон ее развития, пробивающий себе дорогу независимо от ваших и моих почтений и предпочтений, а вы о нем знать ничего не хотите. Это значит, что с «общим-всеобщим» у вас такие же взаимоотношения, как у Кузьмы Барахвостова.

Утрата представления об общественном законе — это, быть может, самая большая наша духовная потеря, не вернув которую о новом мышлении и помыслить трудно.

Случилось на первый взгляд прямо противоположное тому, что должно было случиться. Ведь все книжки, которые нам положено было с детства читать, вся «официальная» идеология наша основана на том, что есть законы общественного развития, не зависящие от воли и сознания людей. Это — одна из основных идей революционных демократов, которую они заимствовали у Гегеля и использовали по-своему. Это — основная идея марксизма. И вот эта-то идея идей осталась для нас чужой, и все мы не так уж далеко ушли от Кузьмы Барахвостова.

Потому что общество, в котором мы жили, оно как бы никаким законам не подчинялось. Конечно, в учебниках «законы» присутствовали там, где им положено быть. Когда в начале 50-х годов некоторые участники всесоюзной экономической дискуссии вторично додумались до популярной в 20-е годы мысли, что при социализме вообще не может быть законов, которые действовали бы независимо от воли и сознания людей, Сталин решительно возразил: нет, законы есть, как это без законов? Но со временем стало выясняться, что законы, которые имел в виду Сталин,— что они вроде бы и не законы вовсе, так как не о том говорят, что есть и почему есть так, а не иначе, но о том скорее, как должно быть. Должно же быть не так, как при капитализме, а наоборот.

Если закон капитализма — извлечение прибавочной стоимости, идущей в карман буржуазии, то закон социализма — удовлетворение потребностей людей. Если при капитализме анархия и кризисы, то при социализме — планомерность и пропорциональность. А если потребности удовлетворяются не очень, если с пропорциональностью не все ладно? Значит, без должной почтительности относились к закону, не поняли вовремя, чего он от нас требует.

Получалось, что на одном полюсе расположились «законы» («сущность», «природа») социализма, в соответствии с которыми все должно происходить так-то и так-то,

на другом — люди, служители законов, которые не поняли, чего требует от них законхозяин, и потому наделали «ошибок». Но что же это такие за законы, что они сплошь и рядом нарушаются? Одна ошибка — это ошибка. Вторая на том же месте — это уже подозрительно. Но если по отношению к закону совершается целая цепь «ошибок», то позволительно спросить: почему закон, хотя он и постоянно нарушается,— это все же закон, а «ошибки», которые постоянно повторяются,— это нарушения закона?

Я к тому веду речь, что новое мышление означает действительно революционную ломку. Мы прожили семьдесят лет и пережили много радостных и печальных событий, и даже неискушенный взгляд улавливает в них определенную повторяемость. Короче говоря, мы видели и знаем о себе столько, чтобы понять: реальный социализм — это не просто капитализм наоборот, в нем успели проявиться какие-то свои особые закономерности. Сравнительно недавно с высокой трибуны прозвучало: до сих пор мы почти не знаем общество, в котором живем! А не знаем прежде всего потому, что не изучаем, не пытаемся выяснить те реальные законы, которым оно подчиняется. А не выясняем и не изучаем потому, что когда-то решили, будто законы эти нам известны раз и навсегда. Не пора ли уже серьезнее относиться к нашим «ошибкам» и учиться видеть в них не только отступление от закономерности, но и проявление ее? Не пора ли избавиться от всякого идеологического лукавства?

А до тех пор, пока не избавились, мы вопрос «почему?» будем растворять без остатка в вопросе «кто виноват?».

Перестройка началась, а подмена одного вопроса другим, между прочим, продолжается. Правда, теперь уже с учетом духа самой перестройки.

Недавно довелось прочитать яркое похвальное публицистическое слово закону стоимости. Автор вспоминает все «ошибки», связанные с нарушением этого закона, и рассказывает, как он, закон, мстил своим обидчикам: ведь он настоящий закон и таких вещей не прощает. Отступили от него в пору «военного коммунизма», он напомнил о себе, пришлось посчитаться. Отступили в 30-е годы — снова напомнил в начале 50-х, опять извинились и исправились. Отступили в конце 50-х — опять напомнил, пришлось идти на поклон в середине 60-х. Снова обошлись неласково — ну и вот имеем то, что имеем... А ведь как хорошо, как эффективно получалось в те недолгие промежутки времени, когда перед законом открывали шлагбаум!

Но если наша история идет такими циклами, если экономические и административные методы управления периодически вытесняют друг друга, то, быть может, надо повнимательнее присмотреться к этим повторяющимся циклам? Неужели перед нами действительно непрекращающаяся борьба истины и заблуждения, закона и его нарушителей?

Знать действительные законы развития реального социализма — вот что сейчас нужнее всего и важнее всего.

Это новое мышление будет одновременно и возрождением и обогащением марксистской традиции. Тогда, быть может, пережив увлечение противниками Белинского и Чернышевского, вновь вспомним наших революционных демократов и прочитаем их заинтересованно и непредубежденно. Тогда, быть может, снова понадобится «темный» Гегель.

Вовсе не то хочу я сказать, что сначала надо изучать, а потом перестраивать. Перестройка началась вовремя, даже с опозданием. Идет она трудно. Уже пошли споры насчет того, что важнее: критика консерваторов или положительный опыт? Я бы ответил так: важнее всего сейчас критический анализ всего опыта перестройки. К ее ходу надо тоже относиться в духе перестройки, здесь тоже нужно новое мышление.

Если у кого-то что-то получилось, то надо не только срочно готовить наградные листы и «распространять опыт», а прежде всего ответить на вопрос «почему?». Ведь успех на каком-то участке вовсе не обязательно окажется результатом тех перемен, которые происходят в хозяйственном механизме страны. Ведь отдельные успехи были и во времена застоя. Но и неудачи теперь нельзя уже сводить к привычному «кто виноват?». Если мы этому вопросу отведем положенное ему скромное место и сделаем его производным от «почему?», то можно будет сказать, что сделан важный шаг от старого мышления к новому.

Но любое «почему?» упирается в объективные законы развития общества. Если мы их не знаем или знаем плохо, это будет нам мешать. Значит, помеху придется устранять. Значит, углубленное изучение законов реального социализма — это не побочная,

не второстепенная, не умозрительная задача, уводящая от живого дела перестройки, а задача самой перестройки.

Чем глубже она пойдет, тем чувствительнее затронет она интересы разных групп людей, и не только бюрократов-аппаратчиков: если бы они были сами по себе, если бы не опирались на настроения и опасения определенных слоев населения, то и проблем бы особых не было. Борьба идет не просто между бюрократами и небюрократами, а между общественными группами, на которые опираются те и другие. И главный вопрос в том и состоит: кто сумеет повести за собой массовые силы, действительно заинтересованные в перестройке, в научно-техническом и культурном прогрессе и выступающие его основными носителями, а тем самым и носителями общенародного интереса,— рабочих высшей квалификации, олицетворяющих самые передовые производительные силы, научно-техническую и гуманитарную интеллигенцию?

Перестройка не снимет все противоречия, а, наоборот, углубит их. Бояться этого нечего: противоречия, как известно, не тормозят, а ускоряют общественное развитие. Но чтобы противоречия не застали врасплох, надо быть к ним готовыми, а подготовиться нельзя, не разобравшись в законах, которым подчиняется наша с вами жизнь.

Решив эту задачу, мы, быть может, и ответим на вопрос, как нам, не сходя с нашей улицы, дойти до храма.

ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ОКТЯБРЯ

★

Литература об Октябре поистине безбрежна. Тысячи книг и статей, сотни мемуарных и документальных сборников, множество пьес, фильмов и романов воссоздают не только день за днем, но и час за часом октябрьские события. Кажется, что сегодня нечего и добавить к этой картине.

Но удивительное дело — чем внимательнее всматриваешься в эту рукотворную картину, тем явственнее проступают в ней схемы и штампы, тем однообразнее становятся и действующие лица. Возникает впечатление, что главной опасностью и главным врагом в Октябре был опереточный Керенский и некие близорукие, в постоянно падающих пенсне «Гоцлиберданы», то есть эсеры и меньшевики, и лишь потом, уже в годы гражданской войны, появляются на свет божий такие зловещие фигуры, как Деникин, Колчак, Врангель и другие генералы.

Это впечатление не случайно. Направление основного удара: изоляция мелкобуржуазной демократии (меньшевики, эсеры)» — эта концепция (см.: И. В. Сталин. Сочинения, т. 6, стр. 152—153), увековеченная на страницах «Краткого курса истории ВКП(б)», оказалась довольно живучей. Европейская демократия под эгидой правительства Керенского и министров-социалистов типа Церетели и Чернова или «большевистская диктатура» — такова согласно этой точке зрения альтернатива Октября. Но это не альтернатива. И совсем не потому, что она кому-то нравится или не нравится, а потому, что в реальной обстановке 1917 года ее просто не существовало.

Уходя от решения кардинальных проблем — прекращения кровавой и мучительной для всего народа войны, передачи помещичьей земли крестьянам,— не давая ничего рабочим и угнетенным народам национальных окраин, Временное правительство лишь загоняло эти острейшие проблемы вглубь, все более обостряя общеполитический и экономический кризис, погружая Россию в хаос, разруху, голод...

Резкая поляризация борющихся сил, характерная для всех революций, привела к тому, что во главе буржуазно-помещичьего контрреволюционного лагеря встала реакционная военщина. Не буржуазной демократии, а военной диктатуры жаждала она. И российский Кавеньяк — генерал Корнилов готов был ради реставрации многих прежних порядков «железной рукой» обуздать революционную Россию, залить ее кровью.

Итак, либо контрреволюционная военная диктатура вплоть до реставрации монархии, либо власть Советов, диктатура пролетариата — такова была, по Ленину, реальная историческая альтернатива России 1917 года.

Упования соглашателей на несуществующий «третий путь» вели на деле лишь к подчинению мелкобуржуазной демократии буржуазии, укрепляя тем самым почву для контрреволюционной диктатуры. «Вот в чем суть,— писал Ленин.— Не Церетели или Чернов лично и даже не Керенский призван играть роль Кавеньяка — на это найдутся иные люди, которые скажут в надлежащий момент... «отстранитесь»,— но Церетели и Черновы являются вождями такой мелкобуржуазной политики, которая делает возможным и необходимым появление Кавеньяков» (В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 32, стр. 345).

Историки Октября могут гордиться тем, что они принимали самое активное участие в политических битвах современности, и в частности во внутрипартийных дискуссиях 20-х годов. Попытка встать над спорами своего времени никогда не была достоинством обществоведов. Но участие в этих дискуссиях, отстаивание генеральной линии партии апелляцией к истории, вовлечение в политический оборот фактов и событий 1917 года имели неоднозначные последствия. Это приучало порой к сугубо

Предисловие и подготовка текстов доктора исторических наук *В. Т. ЛОГИНОВА* и доктора исторических наук *Г. З. ИОФФЕ*.

конъюнктурным подходам и оценкам, к превращению самой науки истории в «политику,— как выражался М. Н. Покровский,— опрокинутую в прошлое», в политиканство.

«А правда не должна зависеть от того,— указывал Ленин,— кому она должна служить» (В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 54, стр. 446). А при таком конъюнктурном подходе те или иные трактовки и оценки определялись уже не правдивым и объективным научным анализом самого 1917 года, а конкретной потребой дня сегодняшнего. «Но человека, стремящегося *приспособить* науку к такой точке зрения, которая почерпнута не из самой науки (как бы последняя ни ошибалась), а *извне*, к такой точке зрения, которая продиктована *чуждыми* науке, *внешними* для нее интересами,— такого человека я называю „низким"» — эту нравственно-этическую позицию в науке сформулировал Маркс (К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 26, ч. II, стр. 125).

Единственно чья роль в революции никогда не оспаривалась и не подвергалась сомнению, а признавалась всеми, была роль В. И. Ленина, вдохновителя, организатора, вождя Октября. А дальше взгляды многих авторов претерпевали значительные изменения.

В ноябрьские дни 1918 года, когда отмечалась первая годовщина Октября, И. В. Сталин опубликовал в «Правде» статью «Октябрьский переворот». В статье говорилось: «Вдохновителем переворота с начала до конца был ЦК партии во главе с тов. Лениным... Вся работа по практической организации восстания проходила под непосредственным руководством председателя Петроградск. Совета т. Троцкого. Можно с уверенностью сказать, что быстрым переходом гарнизона на сторону Совета и умелой постановкой работы Военно-Революционного Комитета партия обязана прежде всего и главным образом тов. Троцкому. Товарищи Антонов и Подвойский были главными помощниками товарища Троцкого» («Правда» от 6 ноября 1918 года).

Но вот отгремели дискуссии 1921, 1923, 1924 годов, и после борьбы с троцкистской оппозицией Сталин в 1924 году в работе «Троцкизм или ленинизм?» пишет: «Я далек от того, чтобы отрицать несомненно важную роль Троцкого в восстании. Но должен сказать, что никакой особой роли в Октябрьском восстании Троцкий не играл и играть не мог, что, будучи председателем Петроградского Совета, он выполнял лишь волю соответствующих партийных инстанций, руководивших каждым шагом Троцкого» (И. В. Сталин. Сочинения, т. 6, стр. 327—328).

Кому же принадлежала эта «особая роль»? На этот вопрос Сталина уже в 1938 году ответил «Краткий курс». В нем говорится: «16 октября состоялось расширенное заседание ЦК партии. На нем был избран *Партийный центр* по руководству восстанием во главе с тов. Сталиным. Этот Партийный центр являлся руководящим ядром Военно-революционного комитета при Петроградском Совете и руководил практически всем восстанием» («История Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков). Краткий курс». М. 1938, стр. 197).

Или другой пример.

О «штрейкбрехерстве» Каменева и Зиновьева Ленин написал сразу же после того, как они опубликовали в «Новой жизни» свое заявление. Оценка Владимиром Ильичем этого поступка была беспощадной: он предложил исключить обоих из партии Из публикуемых документов видно, что ряд членов ЦК, в том числе и Сталин, не принял это предложение.

Но прошло время... и в конце 1920 года Ленин говорит: «Перед самой Октябрьской революцией в России и вскоре после нее ряд превосходных коммунистов в России сделали ошибку, о которой у нас неохотно теперь вспоминают. Почему неохотно? Потому, что без особой надобности неправильно вспоминать такие ошибки, которые вполне исправлены» (В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 41, стр. 417).

Сталин пошел еще дальше. В 1924 году, защищая в полемике с Троцким Каменева и Зиновьева, он говорил: «...несмотря на разногласия, мы имели в лице этих товарищей старых большевиков, стоящих на общей платформе большевизма... Раскола не было, а разногласия длились всего несколько дней потому и только потому, что мы имели в лице Каменева и Зиновьева ленинцев, большевиков» (И. В. Сталин. Сочинения, т. 6, стр. 327).

Но это утверждение нисколько не помешало тому же Сталину в 1938 году квалифицировать в «Кратком курсе» и того и другого не только как «капитулянтов», но и как презренных «изменников» и «предателей».

Могут возразить, что и Ленин в 1922 году вновь вернулся к оценке поступка

Каменева и Зиновьева. «...Октябрьский эпизод Зиновьева и Каменева,— писал он,— конечно, не являлся случайностью». Так, значит, эпизод? Эпизод в политической биографии? Но он «также мало может быть ставим им в вину лично,— продолжает Ленин,— как небольшевизм Троцкому» (В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 45, стр. 345).

«...также мало может быть ставим им в вину лично...»? Почему? Может быть, потому, что их ошибку нельзя свести к личным чертам характера или личным взглядам? К «добродетельности» одних и «порочности» других? К тому, что сами-то взгляды данного человека есть лишь отражение более глубинных процессов, происходящих в сознании масс? Эту мысль Ленин пояснил еще на Апрельской конференции РСДРП(б) 1917 года. Известно, как жестко и беспощадно критиковал на ней Ленин оппортунистические взгляды Каменева...

Но вот начинаются выборы в ЦК, и один из делегатов отводит кандидатуру Каменева. Ему отвечает Ленин: «Инцидент исчерпан. Никаких данных о колебании нет. Деятельность Каменева продолжается 10 лет и она очень ценна. Он ценный работник... Простирать дальше инцидент нельзя. То, что мы спорим с т. Каменевым, дает только положительные результаты. Присутствие т. Каменева очень важно, так как дискуссии, которые веду с ним, очень ценны. Убедив его, после трудностей, узнаешь, что этим самым преодолеваешь те трудности, которые возникают в массах» («Седьмая (Апрельская) Всероссийская конференция РСДРП(б). Протоколы». М. 1958, стр. 322). По непонятным причинам, а может быть, напротив, по вполне понятным эта речь не вошла в Полное собрание сочинений В. И. Ленина, оставшись лишь в протоколах Апрельской конференции.

Нужны ли какие-либо комментарии к сказанному?

История Октябрьской революции не нуждается ни в приписках, ни в недописках, ни в переписках. Она прекрасна и величественна сама по себе.

Помещаемая ниже подборка материалов (документов, газетных сообщений, мемуаров), как нам представляется, поможет читателю-неспециалисту представить себе ту реальную политическую обстановку, которая обусловила принятие большевистской партией судьбоносного решения об Октябрьском восстании. Оно не было и не могло быть легким: огромная ответственность ложится на большевистскую партию. И оно было принято. Россия первой в истории пошла по социалистическому пути...

Материалы, содержащиеся в этой подборке, подтверждают точность оценки, данной Октябрю в Обращении ЦК КПСС в связи с 70-летием Октябрьской революции: Октябрь был и остается высшей национальной гордостью советских людей.

В. И. ЛЕНИН. ГРОЗЯЩАЯ КАТАСТРОФА И КАК С НЕЙ БОРОТЬСЯ

10—14 (23—27) сентября 1917 г.

(В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 34, стр. 155—156, 190—193)

...Катастрофа невиданных размеров и голод грозят неминуемо. Об этом говорилось уже во всех газетах бесчисленное количество раз. Неимоверное количество резолюций принято и партиями и Советами рабочих, солдатских и крестьянских депутатов,— резолюций, в которых признается, что катастрофа неминуема, что она надвигается совсем близко, что необходима отчаянная борьба с ней, необходимы «героические усилия» народа для предотвращения гибели и так далее.

Все это говорят. Все это признают. Все это решили.

И ничего не делается.

Прошло полгода революции. Катастрофа надвинулась еще ближе. Дошло до массовой безработицы. Подумать только: в стране бестоварье, страна гибнет от недостатка продуктов, от недостатка рабочих рук, при достаточном количестве хлеба и сырья,— и в такой стране, в такой критический момент выросла массовая безработица! Какое еще нужно доказательство того, что за полгода революции (которую иные называют великой, но которую пока что справедливее было бы, пожалуй, назвать гнилой), при демократической республике, при обилии союзов, органов, учреждений, горделиво именующих себя «революционно-демократическими», на деле ровнехонько ничего серьезного против катастрофы, против голода *не* сделано? Мы приближаемся к краху все быстрее и быстрее, ибо война не ждет, и создаваемое ею расстройство всех сторон народной жизни все усиливается.

А между тем достаточно самого небольшого внимания и размышления, чтобы

убедиться в том, что способы борьбы с катастрофой и голодом имеются, что меры борьбы вполне ясны, просты, вполне осуществимы, вполне доступны народным силам и что меры эти *не* принимаются *только* потому, *исключительно* потому, что осуществление их затронет неслыханные прибыли горстки помещиков и капиталистов.

...Эта мера: контроль, надзор, учет, регулирование со стороны государства, установление правильного распределения рабочих сил в производстве и распределении продуктов, сбережение народных сил, устранение всякой лишней траты сил, экономия их. Контроль, надзор, учет — вот первое слово в борьбе с катастрофой и с голодом. Вот что бесспорно и общепризнано. И вот чего как раз *не делают* из боязни посягнуть на всевластие помещиков и капиталистов...

Предшествующее изложение легко может у читателя, воспитанного на ходячих оппортунистических идеях эсеров и меньшевиков, вызвать такое возражение: большинство описываемых здесь мер, в сущности, не демократические, а *уже* социалистические меры!..

Услужающие буржуазии горе-марксисты, к которым перешли и эсеры и которые рассуждают так, не понимают (если рассмотреть теоретические основы их мнения), что такое империализм? что такое капиталистические монополии? что такое государство? что такое революционная демократия? Ибо поняв это, нельзя не признать, что нельзя идти вперед, не идя к социализму...

Ибо если крупнейшее капиталистическое предприятие становится монополией, значит оно обслуживает весь народ. Если оно стало государственной монополией, значит государство (т. е. вооруженная организация населения, рабочих и крестьян, в первую голову, при условии *революционного* демократизма) — государство направляет все предприятие — в чьих интересах?

— либо в интересах помещиков и капиталистов; тогда мы получаем не революционно-демократическое, а реакционно-бюрократическое государство, империалистическую республику,

— либо в интересах революционной демократии; тогда *это и есть шаг к социализму*...

Середины нет.

И в этом основное противоречие нашей революции.

Стоять на месте нельзя — в истории вообще, во время войны в особенности. Надо идти либо вперед, либо назад. Идти вперед, в России XX века, завоевавшей республику и демократизм революционным путем, *нельзя*, не *идя* к социализму, не делая *шагов* к нему (шагов, обусловленных и определяемых уровнем техники и культуры: крупное машинное хозяйство нельзя «ввести» в земледелии крестьян, его нельзя отменить в сахарном производстве).

А если бояться идти вперед, *это значит* идти назад, чем гг. Керенские [1], при восторгах Милюковых [2] и Плехановых [3], при глупом пособничестве Церетели [4] и Черновых [5], и занимаются.

Диалектика истории именно такова, что война, необычайно ускорив превращение монополистического капитализма в государственно-монополистический капитализм, *тем самым* необычайно приблизила человечество к социализму.

---

[1] Керенский А. Ф. (1881—1970) — эсер, с июля 1917 года глава Временного правительства. Летом 1918 года нелегально уехал за границу, где продолжал борьбу с советской властью. Умер в США.

[2] Милюков П. Н. (1859—1943) — лидер партии конституционных демократов (кадетов). После Февральской революции до мая 1917 года министр иностранных дел Временного правительства. Позднее эмигрант. Умер во Франции.

[3] Плеханов Г. В. (1856—1918) — один из основателей РСДРП(б); с 1903 года один из лидеров меньшевизма. К Октябрьской революции отнесся отрицательно, считал ее «нарушением всех исторических законов», но в борьбе с советской властью не участвовал.

[4] Церетели И. Г. (1881—1959) — один из лидеров меньшевизма и эсеро-меньшевистского ВЦИК 1-го созыва, избранного в июне 1917 года I съездом Советов рабочих и солдатских депутатов, министр внутренних дел Временного правительства. С 1919 года член Учредительного собрания меньшевистской Грузии. Эмигрант.

[5] Чернов В. М. (1873—1952) — один из лидеров партии эсеров, министр земледелия Временного правительства. В январе 1918 года председатель Учредительного собрания, распущенного советской властью. С 1920 года в эмиграции.

В. И. ЛЕНИН. БОЛЬШЕВИКИ ДОЛЖНЫ ВЗЯТЬ ВЛАСТЬ

Письмо Центральному Комитету, Петроградскому и Московскому комитетам РСДРП(б) 12—14 (25—27) сентября 1917 г.

(В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 34, стр. 239—241)

Получив большинство в обоих столичных Советах рабочих и солдатских депутатов [1], большевики могут и *должны* взять государственную власть в свои руки.

Могут, ибо активное большинство революционных элементов народа обеих столиц достаточно, чтобы увлечь массы, победить сопротивление противника, разбить его, завоевать власть и удержать ее. Ибо, предлагая тотчас демократический мир, отдавая тотчас землю крестьянам, восстанавливая демократические учреждения и свободы, помятые и разбитые Керенским, большевики составят такое правительство, какого *никто* не свергнет.

Большинство народа *за* нас. Это доказал длинный и трудный путь от 6 мая до 31 августа и до 12 сентября: большинство в столичных Советах есть *плод* развития народа *в нашу сторону*. Колебания эсеров и меньшевиков, усиление интернационалистов среди них доказывают то же самое...

* *
*

Вопрос идет не о «дне» восстания, не о «моменте» его в узком смысле. Это решит лишь общий голос тех, кто *соприкасается* с рабочими и солдатами, с *массами*.

Вопрос в том, что наша партия теперь на Демократическом совещании [2] имеет фактически *свой съезд*, и этот съезд решить *должен* (хочет или не хочет, а должен) *судьбу революции*.

Вопрос о том, чтобы *задачу* сделать ясной для партии: на очередь дня поставить *вооруженное восстание* в Питере и в Москве (с областью), завоевание власти, свержение правительства. Обдумать, *как* агитировать за это, не выражаясь так в печати.

Вспомнить, продумать слова Маркса о восстании: *«восстание есть искусство»* и т. д.

* *
*

Ждать «формального» большинства у большевиков наивно: ни одна революция этого не ждет. И Керенский с К° не ждут, а готовят сдачу Питера[3]. Именно жалкие колебания «Демократического совещания» должны взорвать и взорвут терпение рабочих Питера и Москвы! История не простит нам, если мы не возьмем власти теперь.

Нет аппарата? Аппарат есть: Советы и демократические организации. Международное положение *именно* теперь, *накануне* сепаратного мира англичан с немцами, *за нас*. Именно теперь предложить мир народам — значит *победить*.

Взяв власть *сразу* и в Москве и в Питере (неважно, кто начнет; может быть, даже Москва может начать), мы победим *безусловно и несомненно*.

Н. Ленин

---

[1] После провала корниловского мятежа (конец августа 1917 года), во многом обусловленного решительным сопротивлением революционных масс во главе с партией большевиков, началась полоса быстрой большевизации Советов. 31 августа (13 сентября) Петроградский, а 5(18) сентября Московский Совет приняли большевистские резолюции «О власти». Они требовали разрыва коалиции с буржуазией и создания рабоче-крестьянской советской власти.

[2] Демократическое совещание было созвано в Петрограде 14(27) сентября из представителей политических партий, Советов, профсоюзов, кооперативов, национальных учреждений и др. Совещание было задумано соглашателями как инструмент блокирования социалистической революции, как противовес большевизирующимся Советам. Но оно явилось на свет фактически мертворожденным. Из-за разногласий и противоречий, раздиравших его, совещание зашло в тупик. Большевистская фракция Демократического совещания разоблачала его политику, требовала решения вопроса о власти на II съезде Советов как единственном выразителе воли трудящихся масс.

[3] Мнение о том, что Временное правительство ради разгрома революции способно сдать Петроград, было широко распространено после падения Риги в двадцатых числах августа. Так, бывший председатель Государственной думы октябрист М. В. Родзянко в одном из выступлений говорил: «Я думаю, бог с ним, с Петроградом... Опасаются, что в Петрограде погибнут центральные учреждения. На это я возражал, что очень рад, если все эти учреждения погибнут, потому что, кроме зла, России они ничего не принесли...»

ЗАСЕДАНИЕ ЦК
15 (28) сентября 1917 г.

(«Протоколы Центрального Комитета РСДРП(б). Август 1917 — февраль 1918». М. 1958, стр. 55)

Присутствовали: Троцкий, Каменев, Рыков, Ногин, Сталин, Свердлов, Бубнов, Бухарин, Оппоков (Ломов), Коллонтай, Дзержинский, Урицкий, Иоффе, Шаумян, Сокольников, Милютин.

Порядок дня:

Письма Ленина [1].

Решено в ближайшее время назначить собрание ЦК, посвященное обсуждению тактических вопросов.

Тов. Сталин [2] предлагает разослать письма в наиболее важные организации и предложить обсудить их. Решено перенести на ближайшее заседание ЦК [3].

Ставится на голосование вопрос, кто за то, чтобы был сохранен только один экземпляр писем. За — 6, против — 4, воздержалось — 6.

Тов. Каменевым [4] вносится предложение принять следующую резолюцию:

ЦК, обсудив письма Ленина, отвергает заключающиеся в них практические предложения, призывает все организации следовать только указаниям ЦК и вновь подтверждает, что ЦК находит в текущий момент совершенно недопустимым какие-либо выступления на улицу. ЦК вместе с тем обращается к тов. Ленину с требованием разработать в особой брошюре поставленный в его письмах вопрос об оценке текущего момента и политике партии.

Резолюция отвергается.

В заключение принимается постановление:

Членам ЦК, ведущим работу в Военной организации [5] и в ПК [6] поручается принять меры к тому, чтобы не возникло каких-либо выступлений в казармах и на заводах.

---

[1] Имеются в виду письма Ленина «Большевики должны взять власть» и «Марксизм и восстание», в которых Владимир Ильич ставил вопрос о восстании.

[2] Сталин И. В. (1879—1953) — член партии с 1898 года; в 1917 году член ЦК РСДРП(б), в октябрьские дни член Партийного центра по руководству восстанием. С 1922 года Генеральный секретарь ЦК партии.

[3] В последующих протоколах заседаний ЦК сведений об обсуждении данного вопроса не имеется.

[4] Каменев Л. Б. (1883—1936) — в большевистской партии с 1901 года. В 1917 году член ЦК, в октябрьские дни выступал против решения о вооруженном восстании. После Октября заместитель председателя СНК. Был членом Политбюро ЦК. Неоднократно исключался из партии за оппозиционную деятельность. В 1936 году расстрелян.

[5] Военная организация РСДРП(б) («Военка») была создана 31 марта (13 апреля) 1917 года для работы в армии.

[6] Петербургский комитет РСДРП(б).

А. И. ДЕНИКИН [1]. ОЧЕРКИ РУССКОЙ СМУТЫ

(Т. 2, «Борьба генерала Корнилова. Август 1917 — апрель 1918». Париж. 1923, стр. 81—82)

...После августовских дней в словаре революции появился новый термин — «корниловцы». Он применялся и в армии и в народе, произносился с гордостью или возмущением, не имел еще ни ясных форм, ни строго определенного политического содержания, но выражал собою, во всяком случае, резкий протест против существовавшего режима и против всего того комплекса явлений, который получил наименование «керенщины».

К половине октября буржуазная пресса открыла кампанию в пользу реабилитации Корнилова [2] а на возобновившемся многолюдном «Совещании общественных деятелей» [3] в Москве вновь послышалась «осанна» мятежному Верховному. Сначала робко... потом смелее — устами А. И. Ильина [4]. «Теперь в России есть только две партии: партия развала и партия порядка. У партии развала — вождь Александр Керенский. Вождем же партии порядка должен был быть генерал Корнилов...» Мало-помалу положение стало проясняться. Снова начинало организовываться сбитое с толку в августов-

ские дни общественное мнение, теперь уже явно сочувственное корниловскому движению.

---

[1] Деникин А. И. (1872—1947) — один из сподвижников генерала Корнилова. В годы гражданской войны возглавлял южную белогвардейщину — Вооруженные силы юга России (ВСЮР). Белоэмигрант. Умер в США.

[2] Корнилов Л. Г. (1870—1918) — с июля 1917 года верховный главнокомандующий русской армией. Правыми, экстремистскими силами рассматривался как потенциальный военный диктатор. При их поддержке в конце августа 1917 года пытался осуществить контрреволюционный переворот. После провала мятежа генерал Корнилов Временным правительством был обвинен в измене и арестован. Вместе с некоторыми другими участниками мятежа (Деникиным и другими) содержался под охраной в Быхове. В ноябре 1917 года бежал из Быхова на Дон, где возглавил Добровольческую армию. Убит в 1918 году в бою под Екатеринодаром.

[3] Реакционная организация, в которую входили представители правых партий до кадетов включительно; собиралась и заседала в Москве. Сыграла важную роль в организации белого движения.

[4] Ильин А. И.— один из будущих идеологов белогвардейщины.

В. И. ЛЕНИН. КРИЗИС НАЗРЕЛ

29 сентября (12 октября) 1917 г.

(В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 34, стр. 280—283)

...Что же делать? Надо aussprechen was ist, «сказать, что́ есть», признать правду, что у нас в ЦК и в верхах партии есть течение или мнение за *ожидание* съезда Советов, *против* немедленного взятия власти, *против* немедленного восстания. Надо *поборо́ть* это течение или мнение.

Иначе большевики *опозорили* себя навеки и *сошли* на *нет*, как партия.

Ибо пропускать такой момент и «ждать» съезда Советов есть *полный идиотизм* или *полная измена*...

«Ждать» съезда Советов есть идиотизм, ибо съезд **ничего не даст**, *ничего не может дать!*

«Моральное» значение? Удивительно!! «Значение» резолюций и разговоров с Либерданами [1], когда мы знаем, что Советы *за* крестьян и что крестьянское восстание *подавляют!!* Мы сведем этим *Советы* до роли жалких болтунов. Сначала победите Керенского, потом созывайте съезд.

Победа восстания *обеспечена* теперь большевикам: 1) мы можем* (если не будем «ждать» Советского съезда) ударить *внезапно* и из трех пунктов, из Питера, из Москвы, из Балтийского флота; 2) мы имеем лозунги, обеспечивающие нам поддержку: долой правительство, подавляющее крестьянское восстание против помещиков! 3) мы *в* большинстве в *стране;* 4) развал у меньшевиков и эсеров полный; 5) мы имеем техническую возможность взять власть в Москве (которая могла бы даже начать, чтобы поразить врага неожиданностью); 6) мы имеем *тысячи* вооруженных рабочих и солдат в Питере, кои могут *сразу* взять и Зимний Дворец, и Генеральный Штаб, и станцию телефонов, и все крупные типографии; не выбить нас оттуда,— а агитация в армии пойдет такая, что *нельзя* будет бороться с этим правительством мира, крестьянской земли и т. д. ...

Не взять власти теперь, «ждать», болтать в ЦИК, ограничиться «борьбой за орган» (Совета), «борьбой за съезд» значит *погубить революцию.*

Видя, что ЦК оставил *даже без ответа* мои настояния в этом духе с начала Демократического совещания, что Центральный Орган *вычеркивает* из моих статей указания на такие вопиющие ошибки большевиков, как позорное решение участвовать в предпарламенте, как предоставление места меньшевикам в президиуме Совета и т. д. и т. д.— видя это, я должен усмотреть тут «тонкий» намек на нежелание ЦК даже обсудить этот вопрос, тонкий намек на зажимание рта, и на предложение мне удалиться.

Мне приходится *подать прошение о выходе из ЦК,* что́ я и делаю, и оставить за собой свободу агитации *в низах* партии и на съезде партии.

Ибо мое крайнее убеждение, что, если мы будем «ждать» съезда Советов и упустим момент теперь, мы *губим* революцию.

Н. Ленин

---

* Что сделала партия для *изучения* расположения войск и проч.? для проведения восстания как «искусства»? — только разговоры в ЦИК и т. п.!! *(Прим. В. И. Ленина.)*

Р. S. Целый ряд фактов показал, что *даже* казацкие войска не пойдут против правительства мира! А сколько их? где они? А вся армия разве не отрядит частей *за* нас?

[1] Презрительная кличка меньшевиков, образовавшаяся из соединения фамилий меньшевистских лидеров М. И. Либера и Ф. И. Дана. Распространилась после фельетона Демьяна Бедного «Либердан».

ЗАСЕДАНИЕ ЦК
3(16) октября 1917 г.

(«Протоколы Центрального Комитета РСДРП(б)», стр. 74)

Присутствовали: Каменев, Сокольников, Свердлов, Урицкий, Бубнов, Ломов (Оппоков), Иоффе, Дзержинский.

Председатель Свердлов.

Порядок дня:

...2) Об Ильиче...

2) Принято решение предложить Ильичу перебраться в Питер, чтобы была возможной постоянная и тесная связь [1]...

[1] По некоторым свидетельствам (например, М. В. Фофановой, хозяйки квартиры, где скрывался В. И. Ленин), Владимир Ильич возвратился в Петроград еще в двадцатых числах сентября. Вопрос этот до сих пор остается спорным.

А. И. ДЕНИКИН. ОЧЕРКИ РУССКОЙ СМУТЫ

(Т. 2, стр. 97—98)

...Между тем в Быхове слагался определенный взгляд на характер дальнейшей деятельности. Вскоре после прибытия бердичевской группы [1] на общем собрании заключенных поставлен был вопрос:

— Продолжать или считать дело оконченным?

Все единогласно признали необходимым «продолжать». Загорелся спор о формах дальнейшей борьбы. По инициативе, кажется, Аладьина [2] нашлось немало защитников создания «корниловской политической партии». Я решительно протестовал против такой своеобразной постановки вопроса, так не соответствовавшей ни времени и месту, ни характеру корниловского движения, ни нашему профессиональному призванию. Я считал, что имя Корнилова должно стать знаменем, вокруг которого соберутся общественные силы, политические партии, профессиональные организации — все те элементы, которые можно объединить в русле широкого национального движения в пользу восстановления русской государственности. Что, став в стороне от всяких политических течений, нам нужно лишь восполнить пробел прошлого и объявить строго деловую программу — не строительства, а удержания страны от окончательного падения. Этот взгляд был принят, и в результате работы небольшой комиссии при моем участии появилась утвержденная Корниловым так называемая «корниловская программа».

«1) Установление правительственной власти, совершенно не зависимой от всяких безответственных организаций,— впредь до Учредительного собрания.

2) Установление на местах органов власти и суда, не зависимых от самочинных организаций.

3) Война в полном единении с союзниками до заключения скорейшего мира, обеспечивающего достояние и жизненные интересы России...»

[1] В Бердичеве дислоцировался штаб западного фронта. Командующий фронтом генерал Деникин и другие штабные генералы оказали поддержку мятежу Корнилова и по приказу Керенского были арестованы. В сентябре их из Бердичева перевели в Быхов.

[2] Аладьин А. Ф.— бывший член Государственной думы; в дни мятежа находился в ближайшем окружении Корнилова в ставке (в Могилеве).

ЗАСЕДАНИЕ ЦК
10 (23) октября 1917 г.

(«Протоколы Центрального Комитета РСДРП(б)», стр. 83—88, 90, 92)

Присутствуют: Ленин, Зиновьев, Каменев, Троцкий, Сталин, Свердлов, Урицкий, Дзержинский, Коллонтай, Бубнов, Сокольников, Ломов (Оппоков).

Председатель Свердлов[1].

...4) Текущий момент.

*Слово о текущем моменте получает т. Ленин**.

Он констатирует, что с начала сентября замечается какое-то равнодушие к вопросу о восстании. Между тем это недопустимо, если мы серьезно ставим лозунг о захвате власти Советами. Поэтому давно уже надо обратить внимание на техническую сторону вопроса. Теперь же, по-видимому, время значительно упущено...

Абсентеизм и равнодушие масс можно объяснить тем, что массы утомились от слов и резолюций.

Большинство теперь за нами. Политически дело совершенно созрело для перехода власти.

Аграрное движение также идет в эту сторону, ибо ясно, что нужны героические силы, чтобы притушить это движение. Лозунг перехода всей земли стал общим лозунгом крестьян. Политическая обстановка таким образом готова. Надо говорить о технической стороне. В этом все дело. Между тем мы, вслед за оборонцами, склонны систематическую подготовку восстания считать чем-то вроде политического греха.

Ждать до Учредительного собрания, которое явно будет не с нами[2], бессмысленно, ибо это значит усложнять нашу задачу.

Областным съездом[3] и предложением из Минска[4] надо воспользоваться для начала решительных действий.

Тов. Ломов (Оппоков)[5] берет слово для информации о позиции Московского областного бюро и МК, а также и о положении в Москве вообще.

Тов. Урицкий[6] констатирует, что мы слабы не только в технической части, но и во всех других сторонах нашей работы. Мы выносили массу резолюций. Действий решительно никаких. Петроградский Совет дезорганизован, мало собраний и пр.

На какие силы мы опираемся?

40 000 винтовок есть в Петрограде у рабочих, но это не решает дела; это — ничто.

Гарнизон после июльских дней не может внушать больших надежд. Но во всяком случае, если держать курс на восстание, то нужно действительно что-либо делать в этом направлении. Надо *решиться* на действия определенные.

Тов. Свердлов информирует о том, что ему известно о положении дел во всей России.

Принимается резолюция в следующем виде:

«ЦК признает, что как международное положение русской революции (восстание во флоте в Германии как крайнее проявление нарастания во всей Европе всемирной социалистической революции, затем угроза мира ** империалистов с целью удушения революции в России),— так и военное положение (несомненное решение русской буржуазии и Керенского с К° сдать Питер немцам),— так и приобретение большинства пролетарской партией в Советах,— все это в связи с крестьянским восстанием и с поворотом народного доверия к нашей партии (выборы в Москве), наконец явное подготовление второй корниловщины (вывод войск из Питера, подвоз к Питеру казаков, окружение Минска казаками и пр.)— все это ставит на очередь дня вооруженное восстание.

Признавая таким образом, что вооруженное восстание неизбежно и вполне назрело, ЦК предлагает всем организациям партии руководиться этим и с этой точки зрения обсуждать и разрешать все практические вопросы (съезда Советов Северной области, вывода войск из Питера, выступления москвичей и минчан и т. д.)».

Высказываются за 10, против 2.

Тов. Дзержинский[7] предлагает создать для политического руководства на ближайшее время Политическое бюро из членов ЦК.

После обмена мнений предложение принимается. Политическое бюро создается из 7 чел. (редакция+двое+Бубнов[8]).

Затем ставится вопрос о создании Политического бюро ЦК. Решено образовать бюро из 7 чел.: Ленин, Зиновьев, Каменев, Троцкий, Сталин, Сокольников, Бубнов.

---

* В подлинной секретарской записи фамилия Ленина тщательно зачеркнута.

** В 6-м томе Сочинений И. В. Сталина (стр. 345) им сделано следующее примечание к данному тексту: *Очевидно, должно быть: «сепаратного мира». И. Ст.*

ЗАЯВЛЕНИЕ КАМЕНЕВА И ЗИНОВЬЕВА [9]

Петроградскому, Московскому, Московскому областному, Финляндскому областному комитетам РСДРП, большевистской фракции ЦИК, Петроградскому Исполнительному комитету Советов р. и с. д., большевистской фракции съезда Советов Северной области

К текущему моменту

...Мы глубочайше убеждены, что объявлять сейчас вооруженное восстание — значит ставить на карту не только судьбу нашей партии, но и судьбу русской и международной революции.

Нет никакого сомнения, бывают такие исторические положения, когда угнетенному классу приходится признать, что лучше идти на поражение, чем сдаться без бою. Находится ли сейчас русский рабочий класс именно в таком положении? *Нет, и тысячу раз нет!!!*...

Шансы нашей партии на выборах в Учредительное собрание превосходны. Разговоры о том, что влияние большевизма начинает падать и тому подобное, мы считаем решительно ни на чем не основанными. В устах наших политических противников эти утверждения просто прием политической игры, рассчитанной именно на то, чтобы вызвать выступление большевиков в условиях, благоприятных для наших врагов. Влияние большевизма растет. Целые пласты трудящегося населения только еще начинают захватываться им. При правильной тактике мы можем получить треть, а то и больше мест в Учредительном собрании...

Только на Советы сможет опереться в своей революционной работе и Учредительное собрание. Учредительное собрание плюс Советы — вот тот комбинированный тип государственных учреждений, к которому мы идем...

Говорят: 1) за нас уже большинство народа в России и 2) за нас большинство международного пролетариата. Увы! — ни то, ни другое не верно, и в этом все дело.

В России за нас большинство рабочих и значительная часть солдат. Но все остальное — под вопросом. Мы все уверены, например, что если дело теперь дойдет до выборов в Учредительное собрание, то крестьяне будут голосовать в большинстве за эсеров. Что же, это — случайность? Солдатская масса поддерживает нас не за лозунг войны, а за лозунг мира. Это крайне важное обстоятельство, не учтя которого мы рискуем все наши расчеты построить на песке. Если мы, взявши власть сейчас одни, придем (в силу всего мирового положения) к необходимости вести революционную войну, солдатская масса отхлынет от нас. С нами останется, конечно, лучшая часть солдатской молодежи, но солдатская масса уйдет.

...Поскольку выбор зависит от нас, мы можем и должны теперь ограничиваться *оборонительной позицией*. Временное правительство часто бессильно провести в жизнь свои контрреволюционные намерения. Оно расшатано. Силы солдат и рабочих достаточны, чтобы не дать осуществиться таким шагам Керенского и компании...

Перед историей, перед международным пролетариатом, перед русской революцией и российским рабочим классом мы не имеем права ставить теперь на карту вооруженного восстания все будущее. Ошибкой было бы думать, что теперь подобное выступление в случае неудачи привело бы только к тем последствиям, как 3—5 июля. Теперь дело идет о большем. Дело идет о решительном бое, и поражение *в этом* бою было бы поражением революции...

Против этой губительной политики мы подымаем голос предостережения.

Г. Зиновьев
Ю. Каменев

---

[1] Свердлов Я. М. (1885—1919) — член партии с 1901 года. В 1917 году член ЦК. В дни Октября член Партийного центра по руководству восстанием. В ноябре 1917 года избран председателем ВЦИК.

[2] Политическое положение так быстро менялось, что голосование при выборах в Учредительное собрание не отражало происходившего процесса большевизации масс.

[3] Речь идет о съезде Советов Северной области, который собрался в Петрограде 11—13 (24—26) октября 1917 года. Поскольку большевистское влияние в этом регионе (особенно среди дислоцировавшихся здесь войск и на Балтийском флоте) было наиболее ощутимым, В. И. Ленин рассматривал его как важную базу будущего восстания.

[4] Речь идет о готовности большевиков Минска, опираясь на местный гарнизон, разоружить контрреволюционные части.

[5] Ломов А. (Оппоков Г. И.; 1888—1938) — большевик с 1903 года. В 1917 году член Московского областного бюро и Московского комитета РСДРП(б), кандидат в члены ЦК РСДРП(б). Первый нарком юстиции. В 1937 году арестован по ложному обвинению. Посмертно реабилитирован.

[6] Урицкий М. С. (1873—1918) — с 1903 года меньшевик, с 1917 года большевик, одни из руководителей Октябрьского вооруженного восстания. В 1918 году, будучи председателем Петроградской ЧК, убит эсером.

[7] Дзержинский Ф. Э. (1877—1926) — член партии с 1895 года. В 1917 году член ЦК. Один из руководителей Октябрьского вооруженного восстания. С декабря 1917 года председатель ВЧК, затем председатель ВСНХ.

[8] Бубнов А. С. (1883—1940) — член партии с 1903 года. В 1917 году член ЦК РСДРП(б), член ВРК, один из руководителей вооруженного восстания в Петрограде. В 1929—1937 годах нарком просвещения РСФСР. В 1937 году арестован и расстрелян по фальсифицированному обвинению. Посмертно реабилитирован.

[9] Зиновьев Г. Е. (1883—1936) — в большевистской партии с 1901 года. В 1917 году член ЦК, в октябрьские дни выступал против решения о вооруженном восстании. С декабря 1917 года председатель Петроградского Совета. Неоднократно исключался из партии за оппозиционную деятельность. В 1936 году расстрелян.

ЗАСЕДАНИЕ
16(29) октября 1917 г.

(«Протоколы Центрального Комитета РСДРП(б)», стр. 93—105)

Присутствовали члены: ЦК, Исполнительной комиссии ПК, Военной организации, Петроградского Совета, профессиональных союзов, фабрично-заводских комитетов, Петроградского окружного комитета и железнодорожников.

Председательствует т. Свердлов...

1) Доклад о прошлом собрании ЦК

Тов. Ленин оглашает резолюцию, принятую ЦК на предыдущем заседании. Сообщает, что резолюция была принята против двух голосов. Если возражавшие товарищи пожелают высказаться, то можно развернуть прения, пока же мотивирует эту резолюцию.

Если бы партии меньшевиков и эсеров порвали с соглашательством, можно было бы предложить им компромисс. Это предложение было сделано, но ясно было, что данными партиями этот компромисс был отвергнут. С другой стороны, к этому периоду уже ясно определилось, что массы идут за нами. Это было еще до корниловщины; в доказательство приводит статистику выборов в Питере и в Москве. Корниловщина же еще решительней толкнула массы к нам. Соотношение сил на Демократическом совещании. Положение ясное: либо диктатура корниловская, либо диктатура пролетариата и беднейших слоев крестьянства. Настроением масс руководиться невозможно, ибо оно изменчиво и не поддается учету; мы должны руководиться объективным анализом и оценкой революции. Массы дали доверие большевикам и требуют от них не слов, а дел, решительной политики и в борьбе с войной и в борьбе с разрухой. Если в основу положить политический анализ революции, то совершенно ясным станет, что даже анархические выступления теперь подтверждают это...

Что касается практических выводов из резолюции, то их удобнее сделать после заслушания докладов представителей центров.

Из политического анализа классовой борьбы и в России и в Европе вытекает необходимость самой решительной, самой активной политики, которая может быть только вооруженным восстанием.

2) Доклады представителей

Тов. Свердлов от ЦК докладывает от имени Секретариата ЦК о положении дел на местах.

Рост партии достиг гигантских размеров; можно считать, что теперь она объединяет не менее 400 тыс. (приводит доказательства).

Точно так же возросло наше влияние особенно в Советах (доказательства), то же самое в армии и во флоте. Далее сообщает факты относительно мобилизации контрреволюционных сил (Донецкий район, Минск, Северный фронт).

Тов. Бокий[1] от ПК. Сообщает по районам: Васильевский остров — боевого настроения нет, боевая подготовка ведется. Выборгский район тоже, но готовятся к восстанию; образован военный совет; в случае выступления массы поддержат... 1-й Городской район. Настроение трудно учесть. Красная гвардия есть. 2-й Городской район.

Настроение лучше. Московский район. Настроение бесшабашное, выйдут по призыву Совета, но не партии. Нарвский район. Стремления выступить нет, но упадка авторитета партии нет. На Путиловском заводе усиливаются анархисты. Невский район. Настроение круто повернулось в нашу пользу. За Советом пойдут все. Охтенский район. Дело плохо. Петербургский район. Настроение выжидательное. Рождественский район. Тоже, сомнение, выступят ли, усиление влияния анархистов. Пороховской район. Настроение улучшилось в нашу пользу. Шлиссельбург. Настроение в нашу пользу.

Тов. Крыленко[2] от Военного бюро сообщает, что у них резкое расхождение в оценке настроения.

Личные наблюдения приводят к тому, что настроение в полках поголовно наше, но сведения от товарищей, работающих в районах, расходятся; говорят, что для выступления нужно, чтобы что-нибудь их решительно задело, а именно: вывод войск. Бюро полагает, что настроение падает. Большая часть бюро полагает, что не нужно заострять вопроса практически, но меньшинство думает, что можно взять на себя инициативу...

Тов. Володарский[3] от Петроградского Совета. Общее впечатление, что на улицу никто не рвется, но по призыву Совета все явятся.

Тов. Равич[4] подтверждает это и добавляет, что некоторые указали, что и по призыву партии.

Тов. Шмидт[5] от профессиональных союзов. Общее число организованных свыше 500 тыс. Влияние нашей партии преобладающее, но в союзах более ремесленных наше влияние слабо (особенно у конторщиков, печатников), но и там начинает возрастать, особенно ввиду недовольства тарифными ставками. Настроение таково, что активных выступлений ожидать не приходится, особенно ввиду боязни расчетов. До известной степени это является сдерживающим элементом. Ввиду определенных экономических условий можно ожидать в ближайшее время колоссальной безработицы; в связи с этим и настроение выжидательное. Все признают, что вне борьбы за власть нет выхода из положения. Требуют всей власти Советам.

Тов. Шляпников[6] для дополнения сообщает, что в союзе металлистов влияние большевиков преобладает, но большевистское выступление не является популярным; слухи об этом вызвали даже панику. Настроение и по России у металлистов преобладает большевистское: принимаются резолюции большевистские, но сознания возможности самим организовать производство нет. Перед союзом стоит борьба за повышение заработной платы. В связи с этой борьбой будет поставлен вопрос о контроле.

Тов. Скрыпник[7] от фабрично-заводских комитетов. Констатирует, что повсюду замечается тяга к практическим результатам; резолюции уже не удовлетворяют. Чувствуется, что руководители не вполне выражают настроение масс; первые более консервативные; замечается рост влияния анархо-синдикалистов, особенно в Нарвском и Московском районах.

Тов. Свердлов в дополнение сообщает, что в Москве в связи с резолюцией ЦК предприняты шаги для выяснения положения о возможном восстании.

Тов. Москвин[8] от *железнодорожников*. Железнодорожники голодают, озлоблены, организация слаба, особенно среди служащих телеграфов.

Тов. Шмидт в дополнение сообщает, что в связи со стачкой у железнодорожников произошел перелом. В московском узле особенно наблюдается неудовольствие против комитета. Вообще питерский и московский узлы ближе к большевикам.

Тов. Бокий. *О почтово-телеграфных* служащих. Отдельной организации нет. У телеграфных аппаратов сидят больше кадеты. Почтальоны сообщают, что в решающий момент смогут овладеть почтамтом.

Тов. Шмидт. Союз почтовиков более радикален, чем железнодорожный. Низшие служащие по существу большевики, но высшие служащие нет; с ними приходится вести борьбу, пока они держат в своих руках союз.

3) О текущем моменте

Тов. Милютин[9] считает, что на основании всех докладов нужно более конкретизировать резолюцию. Полагает, что лозунг «Вся власть Советам» уже вполне назрел, особенно в провинции, где местами власть фактически в руках Советов. Вопрос действительно не идет об агитации, нужны уже дела, а не слова. Вопрос решается не настроениями, не бюллетенями, а организованными силами. Либо мы делаем первый шаг, либо этот шаг будет сделан нашими врагами. В резолюции недостаточно учтена возможность второй перспективы, т. е. возможность не восстания, которое предполагает

нашу инициативу, но столкновения, которое является результатом объективных условий. Сам полагает, что мы не готовы для нанесения первого удара. Низложить, арестовать в ближайшие дни власть мы не можем.

Встает другая перспектива: вооруженное столкновение; доказывает, что оно нарастает, возможность его приближается. И к этому столкновению мы должны быть готовы. Но эта перспектива отлична от восстания. Считает нужным развернуть резолюцию в этом смысле.

Тов. Шотман[10] говорит, что на городской конференции и в ПК и в Военке настроение было гораздо более пессимистично. Доказывает, что мы не можем выступать, но должны готовиться.

Тов. Ленин полемизирует с Милютиным и Шотманом и доказывает, что дело не в вооруженных силах, дело не идет о борьбе с войском, но о борьбе одной части войска с другой. Не видит пессимизма в том, что здесь говорилось. Доказывает, что силы на стороне буржуазии не велики. Факты доказывают, что мы имеем перевес над неприятелем. Почему ЦК не может начать? Это не вытекает из всех данных. Чтобы отбросить резолюцию ЦК, надо доказать, что разрухи нет, что международное положение не приводит к осложнениям. Если профессиональные деятели требуют всей власти, то они отлично понимают, что хотят. Объективные условия доказывают, что крестьянство нужно вести, за пролетариатом оно пойдет.

Боятся того, что мы не удержим власть, но у нас именно теперь особенные шансы удержать власть.

Выражает пожелание, чтобы дебаты велись в плоскости обсуждения резолюции по существу.

Тов. Крыленко заявляет, что в одном сходилось все бюро, именно в том, что вода достаточно вскипела; выносить резолюцию, которая брала бы эту резолюцию назад, было бы величайшей ошибкой. Наша задача — поддержать восстание вооруженной силой, если бы оно где-нибудь вспыхнуло. Но настроение, которое здесь характеризовали, является результатом наших ошибок.

В вопросе о том, кто и как будет начинать, расходится с В. И. Лениным. Считает ненужным вдаваться слишком в технические подробности восстания и, с другой стороны, определенно назначить его признает тоже нецелесообразным. Но вопрос о выводе войск есть именно тот боевой момент, на котором произойдет бой...

Тов. Рахья[11] доказывает, что массы сознательно готовятся к восстанию. Если бы питерский пролетариат был вооружен, он был бы уже на улицах вопреки всяким постановлениям ЦК. Пессимизма нет. Наступления контрреволюции ждать не приходится, ибо оно уже есть. Массы ждут лозунга и оружия. Массы высыпят на улицу, ибо их ждет голод. По-видимому, уже наш лозунг стал запаздывать, ибо есть сомнение, будем ли мы делать то, к чему зовем. Наша задача — не перерешать, а, наоборот, закрепить.

Тов. Григорий (Зиновьев). По-видимому, резолюция воспринимается не как приказ, иначе по ней нельзя было бы высказаться. По существу же выражает сомнение, обеспечен ли успех восстания. Прежде всего не в наших руках железнодорожный и почтово-телеграфный аппарат. Влияние ЦИК достаточно сильно еще.

Вопрос решится первым же днем и в Питере, ибо в противном случае начнется деморализация. На подкрепления из Финляндии и Кронштадта рассчитывать не приходится. А в Питере мы не имеем уже такой силы. Кроме того, у наших врагов громадный организационный штаб. Наш трезвон за последнее время неправилен даже с точки зрения резолюции ЦК. Ибо зачем нам надо давать подготовиться...

Я предлагаю: если 20-го соберется съезд, мы должны ему предложить не разъезжаться до того момента, пока не соберется Учредительное собрание. Должна быть оборонительно-выжидательная тактика на фоне полной бездеятельности Временного правительства. Нельзя ставить себя в положение полной изолированности. Учредительное собрание тоже не освобождает от гражданской войны, но оно является очень серьезным этапом. Нужно пересмотреть резолюцию ЦК, если это возможно. Мы должны сказать себе прямо, что в ближайшие 5 дней мы не устраиваем восстания.

Тов. Каменев. С принятия резолюции прошла неделя, и эта резолюция потому и показывает, как нельзя делать восстание: за эту неделю ничего не было сделано и только испорчена та диспозиция, которая должна была бы быть. Недельные результаты говорят за то, что данных за восстание теперь нет. Нельзя говорить, что резолюция только возбудила мысль, она требовала перехода от слов к делу. А этого нет.

Аппарата восстания у нас нет; у наших врагов этот аппарат гораздо сильнее и, наверное, за эту неделю еще возрос.

...Социально говоря, кризис назрел, но нет никаких доказательств, что мы должны дать бой до 20-го. Вопрос не стоит так: или сейчас, или никогда. Я больше верю в русскую революцию; социальные битвы перед нами стоят, и, готовясь к Учредительному собранию, мы вовсе не становимся на путь парламентаризма. Мы недостаточно сильны, чтобы с уверенностью в победе идти на восстание, но мы достаточно сильны, чтобы не допускать крайних проявлений реакции. Здесь борются две тактики: тактика заговора и тактика веры в движущие силы русской революции.

Тов. Фенигштейн[12] считает, что вопрос вооруженного восстания — вопрос не недель, а дней. Это — политическая позиция; с ней согласен, но с немедленным переходом в штыки не согласен. Доказывает далее, что технически вооруженное восстание нами не подготовлено. Мы не имеем еще даже центра. Мы идем полусознательно к поражению. Бывают моменты, когда все же нужно идти. Но если этого нет, то надо подходить с практической стороны.

Тов. Сталин. День восстания должен быть целесообразен. Только так надо понимать резолюцию.

Можно говорить, что нужно ждать нападения, но надо понимать, что такое нападение; повышение цен на хлеб, посылка казаков в Донецкий район и т. п.— все это уже нападение. До каких пор ждать, если не будет военного нападения? То, что предлагают Каменев и Зиновьев, это объективно приводит к возможности контрреволюции сорганизоваться; мы без конца будем отступать и проиграем всю революцию. Почему бы нам не предоставить себе возможности выбора дня и условий, чтобы не давать возможности сорганизоваться контрреволюции. Переходит к анализу международных отношений и доказывает, что теперь больше веры должно быть. Тут 2 линии: одна линия держит курс на победу революции и опирается на Европу, вторая не верит в революцию и рассчитывает быть только оппозицией. Петроградский Совет уже встал на путь восстания, отказав санкционировать вывод войск. Флот уже восстал, поскольку пошел против Керенского.

Тов. Калинин[13] толкует резолюцию, что она не значит завтра выступать, но она переводит вопрос из политики в стратегию и призывает к определенному действию. Заговоров бояться не приходится, заговор всегда должен быть в виду; не нужно сходить на путь парламентской борьбы. это было бы неправильно. Ждать, пока нападут, тоже не следует, ибо сам факт наступления дает шансы победе.

Тов. Свердлов характеризует резолюцию. С одной стороны, это был приказ, но правильно, что вопрос из области политической перешел в область техническую. Говорит о контрреволюционной подготовке. Полемизирует с каменевским утверждением, что слабая сторона резолюции — ее практическая неосуществленность до сих пор. Отсюда вывод, что нужно предпринять более энергичную работу. Говорить о том, что большинство против нас, не приходится, оно только еще не за нас. В Питере же сила наша; юнкера не страшны, особенно если мы выступим первыми. Не разделяет того пессимистического настроения к гарнизону, которое здесь проявлялось. Соотношение сил в нашу пользу. Резолюции отменять не приходится, но внести коррективы, что техническая подготовка должна быть энергичнее.

Тов. Скрыпник. Если у нас нет сил, то их позже больше не станет; если мы теперь не удержим власти, то потом будет еще хуже. Говорят, что выгодно оборонятьсяся,— быть может! Но у нас потом не будет сил и для обороны.

Все доводы, которые здесь приводились,— только отсрочка. Гарантии победы нет. Здесь повторяют то, что говорили меньшевики и эсеры, когда им предлагали брать власть. Теперь мы слишком много говорим, когда надо действовать. Массы с нас спрашивают и считают, что если мы им ничего не даем, то мы совершаем преступление; нужна подготовка восстания и призыв к массам.

Тов. Володарский. Если резолюция — приказ, то он уже не выполнен. Если вопрос о выступлении ставится как вопрос завтрашнего дня, то мы должны прямо сказать, что у нас для этого ничего нет. Я выступал ежедневно, но утверждаю, что массы с недоумением приняли наш призыв; за эту неделю произошла перемена.

Если бы не было в ЦК течения, которое хочет классовую борьбу свести к парламентской, то мы были бы готовы теперь к восстанию, но не в данный момент. Положительная сторона резолюции — то, что она заставила нас пойти в массы с новым

лозунгом. Резолюцию надо понимать как курс на восстание, мы не должны прекращать нашей технической подготовки.

Конкретное предложение: техническую подготовку продолжать и внести этот вопрос на съезд, но не считать, что этот момент уже пришел.

Тов. Дзержинский думает, что Володарский ошибается, когда думает, что партия наша ошибалась, когда вела, как он выражается, парламентскую тактику. Как раз наоборот, изменившаяся ситуация и привела к перемене нашего решения. Два месяца назад не были изжиты те иллюзии, которые еще были, и поэтому тогда нельзя было ставить вопроса о восстании. Заговорщичеством именно и является требование, чтобы к восстанию было все технически подготовлено. Когда будет восстание, тогда будут и технические силы. Так же и с продовольствием.

Тов. Равич. Отмена резолюции была бы отменой всех наших лозунгов и всей нашей политики. Массы именно уже усвоили себе взгляд, что восстание неизбежно. Если массы слишком революционны, тогда начинается снизу, но может быть и призыв сверху, никто не сомневается, что в этом случае массы поддержат. Отказываться нельзя.

Тов. Сокольников[14]. Возражения Каменева лишены убедительности. Он обвиняет, что мы раззвонили свое выступление, т. е. именно требуется заговор. Величайшая особенность и наша сила именно в том, что мы открыто готовим выступление. Напоминает события февральские, когда тоже ничего не было подготовлено, однако революция победила. Более благоприятного соотношения сил ожидать нельзя.

По поводу резолюции совершенно напрасно толковали так, что резолюция — приказ выступать.

Если бы оказалось, что события дадут нам отсрочку, то мы, конечно, ею воспользуемся. Возможно, что съезд будет раньше. Если съезд примет всю власть Советам, тогда нужно задать вопрос о том, что делать, вызывать ли массы или нет.

Тов. Скалов[15] доказывает, что для перехода власти к Советам нужно соответствующее соотношение сил. Власть Советов разрешит продовольственный вопрос. Теперь мы становимся оборонцами; если мы не возьмем власти, то, может быть, флот оставит свои позиции и армия тоже. Говорит о расторжении договоров и т. п. Думает, что до созыва съезда Советов нельзя устраивать восстания, но на съезде нужно взять власть.

Тов. Милютин. Резолюция была написана иначе, чем ее толковали теперь; ее так толкуют, что вопрос идет о курсе на восстание. Это было еще в сентябре намечено. Говорят все не о технической, а о политической постановке вопроса. Насчет курса никто не спорит. Говорящие о восстании представляют его себе очень примитивно. Нужно прежде всего брать власть и сменить старую, а действовать по трафарету — это абсурд. Мы выиграли оттого, что 3—5 июля не было восстания, и теперь если не будет, мы не погибнем. Эта резолюция должна быть для внутреннего употребления.

Тов. Иоффе[16] доказывает, что резолюцию нельзя понимать как приказ выступать, это есть отказ от тактики удержания от выступления и признание возможности и обязательности восстания при первом подходящем случае. В этом смысле ее надо приветствовать. Но с другой стороны, неверно, что теперь вопрос чисто технический; и теперь момент восстания должен быть рассмотрен с политической точки зрения. Смысл резолюции — необходимость воспользоваться первым подходящим случаем для захвата власти, и поэтому ее нужно приветствовать.

Тов. Шмидт. Теперь вопрос становится яснее и возражать против подготовки революции не приходится.

Тов. Дядя (Лацис)[17]. Печально, что резолюция в ход не пущена до сих пор. Я убежден, что резолюция будет принята. Я взял слово, чтобы внести коррективв оценку настроения масс. Показателем настроения является охота, с которой массы хватаются за оружие. Странная у нас стратегия. Когда говорят о юнкерах, то я уже говорил, что их можно вычеркнуть.

Тов. Ленин. Если бы все резолюции так проваливались, то лучшего желать нельзя было бы. Теперь Зиновьев говорит так, что лозунг «власть Советам»— долой, и давить на правительство. Если говорить, что восстание назрело, то говорить о заговорах не приходится. Если политически восстание неизбежно, то нужно относиться к восстанию как к искусству. А политически уже оно назрело.

Именно потому, что хлеба только на день, мы не можем ждать Учредительного собрания. Предлагает резолюцию подтвердить, к подготовке решительно готовиться и предоставить ЦК и Совету решить, когда.

Тов. Зиновьев. Сравнивали революцию эту с революцией Февральской. Сравнивать нельзя, ибо тогда ничего не было на стороне старой власти, а теперь война всему буржуазному миру. Лозунг «власть Советам» не ставился нами и абстрактно. Если съезд будет давить на Учредительное собрание, то этого нельзя сравнивать с меньшевистской политикой. Если восстание ставится как перспектива, то возражать нельзя, но если это — приказ на завтра или послезавтра, то это — авантюра. Пока не съедутся наши товарищи и мы не посоветуемся, мы не должны начинать восстания.

Тов. Степанов[18]. Резолюция имеет историческое значение; я смотрел на нее как на барометр, показывающий на бурю. Далее возражает Каменеву по поводу его доводов относительно отсутствия продовольствия.

Помимо Черемисовского совещания[19], моментом для восстания может явиться уменьшение солдатского пайка.

Объективная обстановка нарастает с каждой минутой, и эта резолюция сыграла великую роль. Она нам многое уяснила. Доказывает, что массы разбираются между ЦИК и Питерским Советом; предлагает эту резолюцию оставить в качестве барометрического показателя.

Тов. Каменев доказывает, что нынешняя интерпретация резолюции есть отступление, ибо раньше говорили, что выступление должно быть до 20-го, а теперь говорят о курсе на революцию. Вопрос поставлен политически. И назначение восстания есть авантюризм. Мы обязаны разъяснить массам, что в эти 3 дня на выступление не зовем, но считаем, что восстание неизбежно.

Предлагает проголосовать резолюцию и поставить предложение о том, чтобы в ЦО было напечатано, что до съездов к выступлениям не зовут.

Тов. Скрыпник предлагает обратиться к массам с призывом готовиться к восстанию.

Тов. Ленин возражает Зиновьеву, что нельзя противопоставить эту революцию революции Февральской.

По существу предлагает резолюцию:

«Собрание вполне приветствует и всецело поддерживает резолюцию ЦК, призывает все организации и всех рабочих и солдат к всесторонней и усиленнейшей подготовке вооруженного восстания, к поддержке создаваемого для этого Центральным Комитетом центра и выражает полную уверенность, что ЦК и Совет своевременно укажут благоприятный момент и целесообразные способы наступления».

Зиновьев. Отвечает Ленину относительно Февральской революции. В историю нашей партии эти два месяца не войдут худшей страницей. По существу предлагает свою резолюцию:

Не откладывая разведочных подготовительных шагов, считать, что никакие выступления впредь до совещания с большевистской частью съезда Советов недопустимы.

Голосуется резолюция т. Ленина в основу. За 20, против 2, воздержалось 3...

Резолюция в целом: за — 19; 2 — против; воздержалось — 4.

Резолюция т. Зиновьева: за — 6; против — 15; воздержалось — 3.

ЦК заседает один и принимает следующее постановление: ЦК организует военно-революционный центр в следующем составе: Свердлов, Сталин, Бубнов, Урицкий и Дзержинский. Этот центр входит в состав революционного Советского комитета.

16 (29) октября 1917 г.

Мы настоятельно требуем немедленного телеграфного созыва пленума ЦК.

Г. Зиновьев
Каменев

16 (29) октября 1917 г.

В ЦК РСДРП

Не имея возможности защищать точку зрения, выразившуюся в последних решениях ЦК и определяющую весь характер его работ, и находя, что эта позиция ведет партию и пролетариат к поражению,— прошу ЦК считать, что я более членом ЦК не состою.

Ю. Каменев

В ЦК РСДРП

Уважаемые товарищи!

Поданное нами заявление просим передать для опубликования в ЦО.

В. Ногин[20]
В. Милютин
А. Рыков[21]

---

[1] Бокий Г. И. (1879—1937) — член партии с 1900 года. В 1917 году секретарь Петербургского комитета РСДРП(б). В октябре член ВРК В 1937 году арестован по ложному обвинению, расстрелян. Посмертно реабилитирован.

[2] Крыленко Н. В. (1885—1938) — член партии с 1904 года. Один из руководителей Военной организации большевиков. В ноябре 1917 года был назначен Верховным главнокомандующим. В 1937 году арестован по ложному обвинению, расстрелян. Посмертно реабилитирован.

[3] Володарский В. (1891—1918) — с 1905 года меньшевик, с 1917 года большевик. Активный участник Октябрьской революции. Член президиума Петросовета. Летом 1918 года убит эсерами.

[4] Равич С. Н. (1879—1957) — член партии с 1903 года. В 1917 году члеи Петербургского комитета РСДРП(б).

[5] Шмидт В. В. (1886—1940) — член партии с 1905 года. В 1915—1917 годах секретарь Петербургского комитета РСДРП(б). Член ВРК. В 1937 году арестован по ложному обвинению. Посмертно реабилитирован.

[6] Шляпников А. Г. (1885—1937) — член партии с 1901 года. В 1917 году член Русского бюро ЦК РСДРП(б) и Петербургского комитета РСДРП(б) и Исполкома Петросовета. В начале 20-х годов один из руководителей так называемой рабочей оппозиции. В 1937 году расстрелян.

[7] Скрыпник Н. А. (1872—1933) — член партии с 1897 года. В 1917 году председатель Центрального совета фабзавкомов Петрограда. Член ВРК. В 1933 году покончил с собой.

[8] Москвин И. М. (1890—1939) — член большевистской партии с 1911 года. В 1917 году партийный организатор Железнодорожного района Петрограда. В 1937 году по ложному обвинению арестован. Реабилитирован посмертно.

[9] Милютин В. П. (1884—1937) — член партии с 1910 года. Председатель Саратовского Совета. На VI съезде избран членом ЦК РСДРП(б). В 1937 году арестован по ложному обвинению. Посмертно реабилитирован.

[10] Шотман А. В. (1880—1937) — член партии с 1899 года. В 1917 году был связным ЦК, поддерживал связь ЦК с В. И. Лениным. В 1937 году арестован по ложному обвинению. Посмертно реабилитирован.

[11] Рахья И. А. (1887—1920) — рабочий, член партии с 1902 года. Один из основателей компартии Финляндии. Убит финскими контрреволюционерами.

[12] Фенигштейн Я. Г. (1888—1937) — деятель польского и русского революционного движения, член партии с 1904 года. В 1917 году член Исполнительной комиссии ЦК РСДРП(б), член ЦК СД Польши и Литвы. В 1937 году покончил с собой.

[13] Калинин М. И. (1875—1946) — член партии с 1898 года. В 1917 году член Петербургского комитета РСДРП(б), гласный Петроградской городской думы. Участник Октябрьского вооруженного восстания в столице. После победы Октября городской голова Петрограда, с конца марта 1919 года председатель ВЦИК. В январе 1938 года был избран председателем Президиума Верховного Совета СССР.

[14] Сокольников Г. Я. (1888—1939) — член партии с 1905 года. В 1917 году член МК и Московского областного бюро РСДРП(б), член ЦК РСДРП(б). В 1937 году по ложному обвинению арестован. Посмертно реабилитирован.

[15] Скалов С. И.— член Исполкома Петроградского Совета.

[16] Иоффе А. А. (1883—1927) — с 1903 года меньшевик, с 1917-го — большевик. Кандидат в члены ЦК РСДРП(б). В октябре 1917 года член ВРК. Впоследствии дипломат (полпред в Германии, Китае и Австрии). В 1927 году покончил с собой.

[17] Лацис М. И. (1888—1938) — член партии с 1905 года. В 1917 году один из руководителей организации большевиков Выборгской стороны в Петрограде, член ВРК. В 1937 году арестован по ложному обвинению. Посмертно реабилитирован.

[18] Степанов С. Ф.— в 1917 году работал в Петроградской окружной организации РСДРП(б).

[19] Для очистки Петрограда от революционных войск главнокомандующий северным фронтом генерал Черемисов отдал приказ о выводе на фронт войск питерского гарнизона. Для обсуждения этого вопроса Черемисовым было созвано 17(30) октября совещание представителей гарнизона. Но собрание представителей полковых комитетов постановило передать вопрос на решение Петросовета, а тот отказался санкционировать вывод войск.

[20] Ногин В. П. (1878—1924) — член партии с 1898 года. В 1917 году член ЦК, председатель Моссовета, член московского ВРК.

[21] Рыков А. И. (1881—1938) — в большевистской партии с 1899 года. В 1917 году член ЦК РСДРП(б). В 1918—1921 годах председатель ВСНХ. Позднее (1924—1930) председатель Совнаркома СССР. В 1938 году расстрелян.

ЧЕРНОВАЯ ЗАПИСЬ ЗАКРЫТОГО ЗАСЕДАНИЯ ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
17 (30) октября 1917 г.

(«Исторический архив», 1960, № 5, стр. 83—85)

...В. Большевики.

Кишкин[1]:

...Полковников[2] подчинен Северному фронту, имеет право ввода военного положения. Военное министерство формально не вмешивается; оно себя мало проявляет, ибо гарнизон недостаточно верен, сейчас большевизм в большинстве... Все агитаторы на свободе и ждут момента, чтобы встать во главе при удаче. Может быть, пора себя проявить. У нас достаточно сил, чтобы подавить в начале беспорядки, а для наступления, думаю, что силы недостаточны. Мы выжидаем и не принимаем некоторых мер; например, закрытие газет, призывающих к восстанию, не закрываем митингов в Цирк-Модерн[3]... Наша тактика «ожидания событий» уже вредна. В продовольственном отношении страшна возможность голодных бунтов.

Предполагалось на завтра захватить Петропавловскую крепость, но отложили; силы не собраны, массы не подготовлены, Путиловский завод. Теперь начало на 23...

Гвоздев[4]: На заводах настроение благоприятное; надо ждать выступления солдат, они хотят погромов в ближайшие дни; ждать нельзя. Выступление неизбежно с двух сторон: большевики и правое офицерство за реставрацию. Важно лицо, которое будет руководить подавлением выступления рабочих и солдат,— я не знаю Полковникова. И нельзя допустить перехвата власти, чтобы не очутиться в руках победителя.

Малянтович[5]: Просьба: слухи нелепы про меня, я прошу сделать доклад о моих принципах, методах и планах.

Третьяков[6]: Настроение в Москве к Временному правительству отрицательное. Полковников давал объяснения в С. Р. Р.— очень неутешительные,— ни плана, ни силы. Полковников только и готовится к нападениям. Больше так продолжать нельзя, сидеть в дураках больше нельзя.

Кишкин: Главное — это лицо, надо ему верить и подчинить его непосредственно Временному правительству. Сейчас дискредитируют правительство, и чем дальше, тем хуже. Мы ждать не можем — надо действовать. Уголовное преследование всех уголовных дел. Надо закрывать митинги. Раз, два, может, и не удастся, а если удастся, то уже будет успех.

Терещенко[7]: Надо идти на верную победу, и можно даже вызвать их, большевиков, на преждевременное выступление. Погромные митинги, призывы к низвержению Временного правительства и пр., газеты и разгрузка продо.

Салазкин[8]: Действовать или нет — вот что надо решить. Могут нас обвинить, что мы допустили это выступление и вовремя не приняли меры.

Гвоздев: Как лицо, я предлагаю Керенского; надо выработать общий план и отдельных мер не принимать. Если Полковников, то пусть он нам все доложит.

Малянтович: Я боюсь... когда будет голод, будет поздно; поэтому проверить свои силы, принять меры, вызвать выступление и его подавить. Нельзя отдельные меры. Лицо — это московский командующий войсками. Надо держать инициативу в своих руках.

Верховский[9]: Скучно слушать. Активно выступать нельзя. План есть, надо ждать выступления другой стороны. Большевизм в Совете рабочих депутатов, и его разогнать нет силы. Я не могу предоставить реальной силы Временному правительству и поэтому прошу отставку.

Никитин[10]: Положение Временного правительства поколебалось, и я боюсь, что вызов большевикам может быть истолкован против Временного правительства. Керенскому поручать нельзя и надо оставить Полковникова.

Прокопович[11]: Я в выступление не верю, но боюсь отказа полков выступить на фронт. Маразм в нас, ибо мы не можем создать власть в стране. Пока силы не будет, ничего сделать нельзя.

Вердеревский[12]: Провокации не надо.

Керенский: 1) Лицо, которое бы несло ответственность. Главкосев[13] только начальник войск, а выступление войск должно быть в руках политических. Должен быть даже штатский, пользующийся широким доверием, а Полковников ему подчинен и исполнитель приказаний. Требуются политические знания.

2) Наши разговоры — это следствие гипноза Петроградом, а не думаем о России. О Петрограде должен думать особый человек с широкими полномочиями. Я спасаюсь в Ставку, чтобы отдохнуть от Петрограда. Полковников не подходит. Пальчинский [14] очень подходящий человек, но Прокопович его не желает.

---

1) Просить Гвоздева отменить съезд.

2) Керенский, Никитин, Верховский и Гвоздев.

---

[1] Кишкин Н. М. (1864—1930) — один из лидеров кадетской партии. Накануне Октября министр государственного призрения; был наделен особыми полномочиями по «водворению порядка» в Петрограде. В 1921 году арестован за антисоветскую деятельность. После освобождения с 1923 года работал в Наркомздраве.

[2] Полковников Г. П. (1883—1918) — бывший корниловец, в дни провала корниловского мятежа переметнувшийся на сторону Временного правительства. С сентября 1917 года командующий Петроградским военным округом. После Октября бежал на Дон. В 1918 году расстрелян по приговору Ревтрибунала.

[3] В цирке «Модерн» происходили многочисленные митинги рабочих и солдат, на которых особой популярностью пользовались большевистские ораторы.

[4] Гвоздев К. А.— меньшевик, перед Октябрем министр труда Временного правительства.

[5] Малянтович П. Н. (1870—1939) — адвокат, министр юстиции Временного правительства. Репрессирован в 1937 году.

[6] Третьяков С. Н — председатель так называемого Экономического совета при Временном правительстве. Впоследствии белоэмигрант.

[7] Терещенко М. И (1886—1956) — промышленник, миллионер. Перед Октябрем министр иностранных дел Временного правительства. Впоследствии белоэмигрант.

[8] Салазкин С С.— министр народного просвещения Временного правительства.

[9] Верховский А И (1886—1938) — генерал, военный министр Временного правительства Ушел в отставку перед Октябрем (22 октября 1917 года). С февраля 1919 года служил в Красной Армии, профессор Академии Генштаба РККА. В 1937 году репрессирован

[10] Никитин А М.— меньшевик, юрист. С июля 1917 года министр почт и телеграфов, затем министр внутренних дел Временного правительства

[11] Прокопович С. Н. (1871—1955) — экономист, член ЦК партии кадетов; министр торговли и промышленности и министр продовольствия Временного правительства. В 1922 году был выслан из Советской России за антисоветскую деятельность.

[12] Вердеревский Д Н (1873—1946) — накануне Октября морской министр Временного правительства После Октября эмигрант, незадолго до смерти принял советское гражданство.

[13] Речь идет о главнокомандующем северным фронтом (штаб в Пскове) генерале В. А. Черемисове (впоследствии эмигрант).

[14] Пальчинский П. И. (1875—1929) — инженер; в 1917 году товарищ министра торговли и промышленности Временного правительства. В дни Октября начальник обороны Зимнего дворца. В 1929 году расстрелян.

А. И. ДЕНИКИН. ОЧЕРКИ РУССКОЙ СМУТЫ

(Т. 2, стр. 90—103)

...Чтобы облегчить нам вынужденный уход из Быхова, в особенности если бы пришлось идти походом с текинцами [1], принимались меры к постепенному освобождению арестованных.

В этом нам содействовали и Ставка, и Верховная следственная комиссия [2].

...В конце октября Корнилову привезли из Москвы около 40 тыс. рублей, которыми он мог удовлетворить важнейшие нужды. Между тем на этой почве в столице и других местах развивался крупный шантаж. В Быхов начали поступать сведения, что к состоятельным людям и в банки приходят какие-то неведомые лица и обращаются с требованием больших сумм на «тайную корниловскую организацию». Предъявляют записки московских общественных деятелей, иногда «собственноручные» якобы письма Корнилова...

Куда уходить в случае нужды?

Только на Дон. Вера в казачество была сильна по-прежнему; совет казачьих войск [3], находившийся в постоянных сношениях с Быховом, гальванизировал эту веру... В Быхове составлялась преподанная Ставке дислокация казачьих частей для занятия важнейших железнодорожных узлов на путях с фронта к югу чтобы в случае ожидаемого крушения фронта сдержать поток бегущих, собрать устоичивый элемент и обеспе-

чить продвижение его на юг. В то же время шла деятельная переписка между Корниловым и Калединым [4].

Каледин сам еще находился в опале и в совершенно неопределенном служебном положении. В дни корниловского выступления Временное правительство, обвинив его в «мятеже и в желании путем занятия донскими частями железнодорожных узлов отрезать Донецкий бассейн от центра», отдало приказ об отрешении Каледина от должности, об аресте его и предании суду. Дон не выдал своего атамана и не допустил его устранения...

Каледин едва ли не трезвее всех смотрел на состояние казачества и отдавал себе ясный отчет в его психологии. Письма его дышали глубоким пессимизмом и предостерегали от иллюзий. Даже на прямой вопрос, даст ли Дон убежище быховским узникам, Каледин ответил хотя и утвердительно, но с оговорками, что взаимоотношения с Временным правительством, положение и настроение в области чрезвычайно сложны и неопределенны... Корнилов был склонен приписывать это освещение субъективным побуждениям казачьих верхов. В этом убеждении его усиленно поддерживал Завойко [5], пробравшийся в Новочеркасск. В каждом своем письме он рисовал широкими мазками народные якобы настроения: «...Ваше имя громадно, его двигает вперед уже стихия; за ним стоят не отдельные силы или люди, а в полном смысле слова — стихия»... Цель Завойко, отдаленного от Быхова, довольно определенно сквозила в строках одного из писем: «Помните, что стихия за Вами; ничего, ради бога, не предпринимайте, сторонитесь всех; Вас выдвинет стихия; Вам не надо друзей, ибо в должный момент все будут Вашими друзьями. За Вами придут — это делаю и я»...

А стихия действительно бушевала. Но стихия, всецело враждебная корниловскому движению. В его орбите оставалось только неорганизованное офицерство и значительная масса интеллигенции и обывательщины, распыленная, захлестываемая, могущая дать искреннее сочувствие, но не силы, нужные для борьбы.

---

[1] Речь идет о Текинском конном полке, в котором служили главным образом выходцы из Средней Азии (туркмены). Полк фактически исполнял функции личного конвоя Корнилова в бытность его командующим юго-западным фронтом и верховным главнокомандующим. В Быхове текинцы несли внутреннюю охрану.

[2] После провала корниловского мятежа Временное правительство создало Чрезвычайную комиссию по расследованию дела о генерале Корнилове и его соучастниках. Эта комиссия, состоявшая в основном из лиц, сочувствовавших мятежу, стремилась увести подследственных генералов от наказания.

[3] Прокорниловская организация (штаб-квартира находилась в Петрограде).

[4] Каледин А. М. (1861—1918) — контрреволюционный генерал, атаман Войска Донского; находился в тесном контакте с Корниловым и поддерживал его мятеж. В 1918 году перед взятием Красной Армией Новочеркасска застрелился.

[5] Завойко В. С. — промышленник и журналист; с апреля 1917 года находился в близком окружении Корнилова, фактически являлся одним из его главных политических советников. Белоэмигрант.

Ю. КАМЕНЕВ О «ВЫСТУПЛЕНИИ»

(«Новая жизнь» (Петроград), 18 (31) октября 1917 г.)

...Ввиду усиленного обсуждения вопроса о выступлении я и тов. Зиновьев обратились к крупнейшим организациям нашей партии в Петрограде, Москве и Финляндии с письмом, в котором решительно высказывались против того, чтобы партия наша брала на себя инициативу каких-либо вооруженных выступлений в ближайшие сроки.

Должен сказать, что мне неизвестны какие-либо решения нашей партии, заключающие в себе назначение на тот или на другой срок какого-либо выступления.

Подобных решений партии не существует. Все понимают, что в нынешнем положении революции не может быть и речи о чем-либо, подобном «вооруженной демонстрации». Речь может идти только о захвате власти вооруженной рукой, и люди, ответственные перед пролетариатом, не могут не понимать, что идти на какое-либо массовое «выступление» можно, только ясно и определенно поставив перед собой задачу вооруженного восстания. Не только я и т. Зиновьев, но и ряд товарищей-практиков находят, что взять на себя инициативу вооруженного восстания в настоящий момент, при данном соотношении общественных сил, независимо и за несколько дней до съезда Советов было бы недопустимым, гибельным для пролетариата и революции шагом.

Ни одна партия, и менее всего наша партия, внутри которой все больше сосредоточиваются надежды и доверие масс, не может не стремиться к власти, к тому, чтобы

средствами государственной власти осуществить свою программу. Ни одна революционная партия, и менее всего наша партия, партия пролетариата, городской и сельской бедноты, не может, не имеет права отказываться, зарекаться от восстания. Восстание против власти, губящей страну,— неотъемлемое право трудящихся масс, и в известные моменты — священный долг тех партий, которым массы доверяют. Но восстание, по выражению Маркса, есть искусство. И именно потому мы полагаем, что наша обязанность сейчас, в данных обстоятельствах, высказаться против всякой попытки брать на себя инициативу вооруженного восстания, которое было бы обречено на поражение и повлекло бы за собой самые гибельные последствия для партии, для пролетариата, для судеб революции. Ставить все это на карту выступления в ближайшие дни — значило бы совершить шаг отчаяния. А наша партия слишком сильна, перед ней слишком большая будущность, чтобы совершать подобные шаги отчаяния.

В. И. ЛЕНИН. ПИСЬМО К ЧЛЕНАМ ПАРТИИ БОЛЬШЕВИКОВ

18 (31) октября 1917 г.

(В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 34, стр. 419—422)

...Подумать только! В партийных кругах известно, что партия с сентября обсуждает вопрос о восстании. Ни об одном письме или листке ни одного из названных лиц никто ничего не слыхал! Теперь, накануне, можно сказать, съезда Советов двое видных большевиков выступают *против* большинства и, явное дело, *против ЦК*. Это не говорится прямо, и от этого вред для дела еще больше, ибо намеками говорить еще опаснее.

Из текста заявления Каменева и Зиновьева ясно вполне, что они пошли против ЦК, ибо иначе их заявление бессмысленно, но какое именно постановление ЦК они оспорили, не сказано.

Почему?

Ясное дело: потому, что его не публиковал ЦК.

Что же это такое выходит?

По важнейшему боевому вопросу, накануне критического дня 20 октября, двое «видных большевиков» в *не* партийной печати, и притом именно в такой газете, которая по данному вопросу идет *об руку с буржуазией против рабочей партии*, в такой газете нападают на *не* опубликованное решение центра партии!

Да ведь это в тысячу раз подлее и *в миллион раз вреднее* всех тех выступлений хотя бы Плеханова в непартийной печати в 1906—1907 гг., которые так резко осуждала партия! Ведь тогда шло дело только о выборах, а теперь идет дело о восстании для завоевания власти!

И по такому вопросу, *после* принятия центром решения, оспаривать это *неопубликованное* решение перед Родзянками и Керенскими, в газете непартийной — можно ли себе представить поступок более изменнический, более штрейкбрехерский?

Я бы считал позором для себя, если бы из-за прежней близости к этим бывшим товарищам я стал колебаться в осуждении их. Я говорю прямо, что товарищами их обоих больше не считаю и всеми силами и перед ЦК и перед съездом буду бороться за исключение обоих из партии.

Ибо рабочая партия, которую жизнь все чаще и чаще ставит лицом к лицу с восстанием, не в силах решать эту трудную задачу, если неопубликованные постановления центра, после их принятия, оспариваются в непартийной печати и в ряды борцов вносятся колебания и смута.

Пусть господа Зиновьев и Каменев основывают свою партию с десятками растерявшихся людей или кандидатов в Учредительное собрание. Рабочие в такую партию не пойдут...

Что касается до положения вопроса о восстании теперь, так близко к 20 октября, то я издалека не могу судить, насколько именно испорчено дело штрейкбрехерским выступлением в непартийной печати. Несомненно, что *практический* вред нанесен очень большой. Для исправления дела надо прежде всего восстановить единство большевистского фронта исключением штрейкбрехеров.

Слабость идейных доводов против восстания будет тем яснее, чем больше мы вытащим их на свет божий. Я послал на днях статью об этом в «Рабочий Путь», и если редакция не сочтет возможным поместить ее, члены партии, вероятно, ознакомятся с ней в рукописи.

Сводятся эти «идейные», с позволения сказать, доводы к двум: во-первых, к «ожиданию» Учредительного собрания. Подождем, авось дотянем,— вот и весь довод. Авось с голодом, с разрухой, с истощением терпения солдат, с родзянковскими шагами к сдаче Питера немцам, с локаутами авось еще дотянем.

Авось да небось, в этом вся сила довода.

Во-первых, крикливый пессимизм. У буржуазии и Керенского все отлично, у нас все плохо. У капиталистов все подготовлено чудесно, у рабочих все плохо. «Пессимисты» насчет военной стороны дела кричат во всю глотку, а «оптимисты» молчат, ибо перед Родзянкой и Керенским открывать кое-что едва ли кому, кроме штрейкбрехеров, приятно.

Трудное время. Тяжелая задача. Тяжелая измена.

И все же таки задача будет решена, рабочие сплотятся, крестьянское восстание и крайнее нетерпение солдат на фронте сделают свое дело! Теснее сплотим ряды,— пролетариат должен победить.

Н. Ленин

В. И. ЛЕНИН. ПИСЬМО В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ РСДРП(б)

19 октября (1 ноября) 1917 г.

(В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 34, стр. 423—427)

Дорогие товарищи!

Уважающая себя партия не может терпеть штрейкбрехерства и штрейкбрехеров в своей среде. Это очевидно. А чем больше вдуматься в выступление Зиновьева и Каменева в непартийной прессе, тем более бесспорно становится, что их поступок представляет из себя полный состав штрейкбрехерства. Увертка Каменева на заседании Петроградского Совета есть нечто прямо низкое; он, видите ли, вполне согласен с Троцким[1]. Но неужели трудно понять, что Троцкий *не мог*, не имел права, не должен перед врагами говорить больше, чем он сказал... Увертка Каменева просто жульничество. То же самое надо сказать про увертку Зиновьева. По крайней мере его «оправдывающееся» письмо (кажется, в Центральный Орган), письмо, которое я только и видел (ибо особого мнения, «якобы особого мнения», о коем трубит *буржуазная* печать, я, член ЦК, *до сих пор* не видал).

...Зиновьев имеет бесстыдство утверждать, что «партия не опрошена» и что такие вопросы «не решаются десятью человеками» Подумайте только. Все цекисты знают, что на решающем собрании присутствовало больше десяти членов ЦК, что присутствовало *большинство пленума*, что сам Каменев на этом собрании заявил: «Это собрание решающее», что про отсутствующих членов ЦК было досконально известно, что *большинство* из них *не согласно* с Зиновьевым и Каменевым. И вот, *после* решения ЦК на собрании, которое и Каменев признал *решающим*, член ЦК имеет наглость писать: «Партия не опрошена». «Такие вопросы десятью не решаются»; это полный состав штрейкбрехерства. До съезда партии решает ЦК. ЦК решил. Каменев и Зиновьев, не выступавшие письменно *до* решения, стали *оспаривать* решение ЦК *после* того, как оно состоялось...

Каменев и Зиновьев *выдали* Родзянке и Керенскому решение ЦК своей партии о вооруженном восстании и о сокрытии от врага подготовки вооруженного восстания, выбора срока для вооруженного восстания. Это факт. Никакими увертками нельзя опровергнуть этого факта. Двое членов ЦК кляузной ложью перед капиталистами *выдали* им решение рабочих. Ответ на это может и должен быть один: немедленное решение ЦК.

«Признав полный ссстав штрейкбрехерства в выступлении Зиновьева и Каменева в непартийной печати, ЦК исключает обоих из партии».

Мне нелегко писать это про бывших близких товарищей, но колебания *я* считал бы здесь преступлением, ибо иначе партия революционеров, не карающая видных штрейкбрехеров, *погибла*...

И *после этого* еще Зиновьев имеет наглость писать: «Так едва ли укрепляют единство партии».

Извольте это назвать иначе, как угрозу расколом.

Я на такую угрозу отвечаю, что пойду до конца, добьюсь себе свободы слова перед рабочими и, *во что бы то ни стало*, буду клеймить штрейкбрехера Зиновьева как штрейкбрехера. На угрозу раскола я отвечаю объявлением войны до конца, за исключение обоих штрейкбрехеров из партии...

---

[1] На заседании Петроградского Совета 18(31) октября Троцкий заявил, что ни большевики, ни Петроградский Совет восстания и выступления на ближайшие дни не готовят и никаких вооруженных выступлений не назначали. Но если бы по ходу вещей Совет был принужден назначить выступление, рабочие и солдаты как один человек выступили бы по его зову. Выступивший после него Каменев заявил, что он подписывается под каждым словом Троцкого.

ЗАСЕДАНИЕ ЦК

20 октября (2 ноября) 1917 г.

(«Протоколы Центрального Комитета РСДРП(б)», стр. 106—108)

Присутствовали: Троцкий, Сталин, Сокольников, Дзержинский, Урицкий, Иоффе, Свердлов, Милютин, позже тов. Коллонтай.

...Тов. Свердлов оглашает письмо тов. Ленина в ЦК.

Тов. Дзержинский предлагает потребовать от Каменева полного отстранения от политической деятельности, принимая во внимание, что Зиновьев и без того скрывается и в партийной работе участия не принимает.

Тов. Сталин считает, что предложение тов. Ленина должно быть разрешено на пленуме, и предлагает в данный момент не решать.

Тов. Милютин присоединяется к мнению тов. Сталина, но доказывает, что вообще ничего особенного не произошло.

Тов. Урицкий сообщает о настроении в провинции; доказывает, что большинство делегатов в Москве высказалось против вооруженного восстания; по вопросу же о Каменеве и Зиновьеве тоже требует передачи вопроса на рассмотрение пленума.

Тов. Свердлов доказывает, что громадная разница между поступком Каменева и Ильича; считает, что поступок первого ничем не может быть оправдан; но ЦК не имеет права исключать из партии; считает, что вопрос должен быть разрешен сейчас, собрание достаточно авторитетно и должно дать ответ и на заявление Ленина и на заявление Каменева о выходе из ЦК. Отставка Каменева должна быть принята.

Тов. Троцкий[1] объясняет свое заявление в Совете, разъясняет, что оно было вынуждено тов. Каменевым, и считает, что создавшееся положение совершенно невыносимо и недопустимы письма в ЦО (Зиновьева и Луначарского, равно и заметка от редакции), опубликованные сегодня; считает, что отставка Каменева должна быть принята.

Тов. Иоффе предлагает заявить о том, что Зиновьев и Каменев не являются членами ЦК, и принять резолюцию, что ни один член партии не может выступать против решений партии, в противном случае в партию вносится невозможный разврат.

Тов. Сталин считает, что Каменев и Зиновьев подчинятся решениям ЦК, доказывает, что все наше положение противоречиво: считает, что исключение из партии не рецепт, нужно сохранить единство партии; предлагает обязать этих двух тт. подчиниться, но оставить их в ЦК.

Тов. Сокольников сообщает, что не принимал участия в заявлении от редакции по поводу писем Зиновьева и т. п., считает это заявление ошибочным[2].

Тов. Троцкий просит занести в протокол его заявление о том, при каких обстоятельствах он сделал свое заявление в Совете, т. е. что он был вынужден на это заявлением Каменева о том, что он намерен огласить свою резолюцию.

Принимаются решения: вопрос о Каменеве и Зиновьеве решить сейчас. Принять отставку Каменева. За — 5, против — 3.

Отложить решение до пленума — отвергается.

Вменяется в обязанность Каменеву и Зиновьеву не выступать ни с какими заявлениями против решений ЦК и намеченной им линии работы. За — 6.

Предложение тов. Милютина, чтобы ни один член ЦК не имел права выступать против принятых решений ЦК,— единогласно.

Тов. Сталин заявляет, что выходит из редакции.

Постановлено: ввиду того, что заявление тов. Сталина в сегодняшнем № сделано от имени редакции и должно быть обсуждено в редакции, решено, не обсуждая заявления тов. Сталина и не принимая его отставки, перейти к очередным делам...

---

[1] Троцкий Л. Д. (1879—1940) — в большевистской партии с августа 1917 года. В дни Октября член ЦК, председатель Исполкома Петроградского Совета. После Октябрьской революции нарком иностранных дел, председатель Реввоенсовета. В 1927 году за оппозиционную деятельность исключен из партии, а в 1929 году выслан из СССР. В 1940 году убит в Мексике.

[2] В № 41 «Рабочего пути» от 20 октября 1917 года появилось следующее письмо в редакцию:

«В «Письме к товарищам», помещенном во вчерашнем номере «Рабочего пути», тов. Ленин полемизирует с взглядами «двух товарищей», одним из которых являюсь я.

По ряду обстоятельств я вынужден отказаться сейчас от подробного ответа на эту полемику. Скажу только, что действительные мои взгляды по спорному вопросу очень далеки от тех, которые оспаривает тов. Ленин. Присоединяясь к вчерашнему заявлению т. Троцкого в Петроградском Совете рабочих и солдатских депутатов, я думаю, что мы вполне можем сомкнуть ряды и отложить наш спор до более благоприятных обстоятельств.

Г. Зиновьев».

Письмо сопровождалось следующим заявлением: «ОТ РЕДАКЦИИ. Мы в свою очередь выражаем надежду, что сделанным заявлением т. Зиновьева (а также заявлением т. Каменева в Совете) вопрос можно считать исчерпанным. Резкость тона статьи тов. Ленина не меняет того, что в основном мы остаемся единомышленниками», Написано Сталиным.

«НОВАЯ ЖИЗНЬ»
20 октября (2 ноября) 1917 г.

Министр юстиции П. Н. Малянтович предписал прокурору судебной палаты сделать немедленное распоряжение об аресте Ленина. Прокурор судебной палаты, во исполнение этого распоряжения, обратился к главнокомандующему войсками Петроградского военного округа с просьбой приказать подведомственным ему чинам оказать содействие гражданским властям в производстве ареста и в доставлении Ленина, в случае задержания его военными властями, судебному следователю по особо важным делам П. А. Александрову.

ЗАСЕДАНИЕ ЦК
21 октября (3 ноября) 1917 г.

(«Протоколы Центрального Комитета РСДРП(б)», стр. 117—118)

Присутствовали: Троцкий, Свердлов, Дзержинский, Сталин, Иоффе, Сокольников, Муранов, Милютин.

...1) Доклад о Северном фронте.

Тов. Свердлов сообщает о положении дел на Северном фронте.

2) Петроградский Исполнительный комитет Совета рабочих и солдатских депутатов.

Тов. Дзержинский сообщает о полной дезорганизации в Исполнительном комитете, предлагает обязать всех членов Исполнительного комитета — большевиков непременно работать в Исполнительном комитете или же выйти оттуда.

Постановлено: ввести в Исполнительный комитет для работы тт. Володарского, Юренева, Милютина, Скалова, Пахомова, Зорина, Дзержинского, Сталина, Лашевича, Иоффе...

4) Издание брошюры письма т. Ленина[1].

Тов. Дзержинский сообщает о том, что в типографию сдано письмо Ленина для издания брошюрой. Предлагает не издавать брошюрой.

Решено отдельной брошюрой не издавать.

5) О съезде Советов.

Тов. Сталин предлагает подготовить доклады на темы: 1) о войне; 2) о власти; 3) о контроле; 4) о национальном вопросе; 5) о земле.

Тов. Сокольников предлагает добиться открытия съезда непременно 25-го.

Тов. Троцкий говорит по вопросу о президиуме, считает, что способ создания президиума, принятый на прошлом съезде, нам не выгоден, и предлагает создавать президиум по норме представительства 1 на 100.

Тов. Свердлов считает необходимым предварительное совещание фракции, нужна специальная работа; для этой работы во фракции намечает Свердлова, Сталина, Милютина. К подготовке тезисов докладов необходимо привлечь Ильича.

Тов. Сталин предлагает послать в Москву товарища с требованием немедленного приезда московской делегации; наметить круг вопросов, по которым нужны тезисы:

О земле, о войне, о власти — поручить тов. Ленину.

О рабочем контроле — тов. Милютину.

О национальном вопросе — тов. Сталину.

Доклад о текущем моменте — тов. Троцкому.

Тов. Милютин предлагал еще доклад о регламенте и поручить его тов. Свердлову.

Все это принимается.

[1] Речь идет о статье Ленина «Письмо к товарищам», написанной 17(30) октября 1917 года, в которой Владимир Ильич опровергал аргументы противников восстания.

В. И. ЛЕНИН. ПИСЬМО Я. М. СВЕРДЛОВУ

22 или 23 октября (4 или 5 ноября) 1917 г.

(В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 34, стр. 434)

Тов. Свердлову.

Только вчера вечером узнал, что Зиновьев *письменно* отрицает свое участие в выступлении Каменева в «Новой Жизни».

Как же это вы ничего мне не присылаете???

Все письма о Каменеве и Зиновьеве я посылал *только* членам ЦК.— Вы это знаете; не странно ли после этого, что Вы точно сомневаетесь в этом.

На пленуме мне, видно, не удастся быть, ибо меня «ловят». По делу Зиновьева и Каменева, если *вы* (плюс Сталин, Сокольников и Дзержинский) требуете компромисса, внесите *против* меня предложение о сдаче дела в партийный суд (факты ясны, что и Зиновьев *срывал* умышленно): это будет отсрочкой.

«Отставка Каменева принята»? Из ЦК? Пришлите текст его заявления.

Отмена демонстрации казаков[1] есть гигантская *победа*. Ура! *Наступать* изо всех сил и мы победим вполне в несколько дней! Лучшие приветы! Ваш.

[1] На 22 октября (4 ноября) 1917 года в Петрограде был назначен казачий «крестный ход». Контрреволюция рассматривала его как смотр своих сил. Однако представители казачьих полков заявили, что не пойдут против рабочих и крестьян. Правительство отменило «крестный ход».

А. Ф. КЕРЕНСКИЙ. ГАТЧИНА

(«Октябрьская революция. Мемуары». М.—Л. 1926, стр. 170—171)

...24 октября было уже совершенно очевидно, что восстание неизбежно, что оно уже началось. Около 11 часов утра я явился в заседание Совета Республики[1] и попросил Н. Д. Авксентьева[2], председателя Совета, предоставить мне как председателю Временного Правительства немедленное слово для срочного сообщения, которое я должен сделать Совету Республики. Получив слово, я заявил, что в моем распоряжении находятся бесспорные доказательства организации Лениным и его сотрудниками восстания против Революционного Правительства. Я заявил, что все возможные меры для подавления восстания приняты и принимаются Вр. Пр., что оно будет до конца бороться с изменниками родины и революции, что оно прибегнет без всяких колебаний к военной силе, но что для успешности борьбы правительству необходимо немедленное содействие всех партий и групп, представленных в Совете Республики, нужна помощь всего народа. Я потребовал от Совета Республики всей меры доверия и содействия. Для того чтобы восстановить себе атмосферу того времени, представить себе настроение собравшихся, достаточно вспомнить, что во время моей речи члены Совета Республики не раз стоя, с особым подъемом свидетельствовали о своей полной солидарности с Временным Правительством в его борьбе с врагами народа. В минуты этого всеобщего национального взрыва только некоторые вожди партий и группировок, тесно связанных с двумя крайними флангами русской общественности, не могли преодолеть в себе жгучей ненависти к правительству Мартовской Революции: они продолжали сидеть, когда все собрание поднималось как один человек. Эти непримиримые были — с. д. интернационалист Мартов[3], к.-д. Милюков и два-три корниловских казака.

Уверенный в том, что представители нации до конца сознали всю исключительную тяжесть и ответственность положения, я, не ожидая голосования Совета,

вернулся в штаб к прерванной срочной работе, уверенный, что не пройдет и $1^1/_2$ часа, как я получу сообщение о всех решениях и деловых начинаниях Совета Республики в помощь правительству.

Ничего подобного не случилось.

---

[1] Постоянный орган, созданный Демократическим совещанием. Официальное название — Временный совет Российской республики. Рассматривая предпарламент как контрреволюционное учреждение, большевистская фракция вышла из его состава. 25 октября 1917 года предпарламент был распущен.

[2] Авксентьев Н. Д. (1878—1943) — один из лидеров партии эсеров. В 1917 году председатель предпарламента. Впоследствии (в 1918 году) глава антисоветской Директории в Омске, свергнутой в результате колчаковского переворота. Белоэмигрант.

[3] Мартов Ю. О. (1873—1923) — один из лидеров меньшевизма. В 1917 году возглавлял группу меньшевиков-интернационалистов (левое крыло меньшевизма). Умер в эмиграции.

«НОВАЯ ЖИЗНЬ»
25 октября (7 ноября) 1917 г.

В течение всего дня 23 октября в Зимнем дворце и штабе округа происходили совещания о мерах борьбы с большевиками в связи с телефонограммой Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов об установлении контроля над действиями штаба со стороны Военно-революционного комитета. Правительство предъявило ультимативное требование об отмене этого распоряжения Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов... По распоряжению полковника газеты «Живое слово» и «Новая Русь», «Рабочий путь» и «Солдат» были закрыты.

В ночь на 24 октября Временное правительство проявило большую нервность. А. Ф. Керенским было принято, по-видимому, решение, не выжидая выступления большевиков, начать активные действия. Что же касается закрытия корниловских газеток, то вызвано оно, по-видимому, желанием проявить перед лицом умеренной демократии видимость беспристрастия. В ту же ночь были отданы распоряжения во все юнкерские и военные училища, находящиеся как в Петрограде, так и в ближайших окрестностях, быть в полной боевой готовности.

С утра 24 октября начались уже активные действия правительства. Утром к Зимнему дворцу подошли юнкера и сменили несших дежурство самокатчиков. Затем подошел женский батальон, который, продемонстрировав верность правительству, удалился. К 2 часам дня все мосты были заняты юнкерами, и с 3 часов движение через мосты автомобилей, извозчиков, подвод и трамваев было прекращено. Около 4 часов дня мосты начали разводиться. В то же время наряды юнкеров заняли электрическую станцию, вокзалы, правительственные учреждения, и были расставлены пикеты на углах больших улиц. Автомобили и извозчики задерживались пикетами, требовавшими предъявления удостоверения личности.

Утром в Зимнем дворце произошло обычное заседание членов правительства под председательством Коновалова...

Около 3 часов дня прибывший на несколько минут в Зимний дворец А. Ф. Керенский распорядился удалить из дворца всех женщин, после чего уехал. Чем вызвано это распоряжение — неизвестно, но оно произвело панику. Зимний дворец опустел.

Сам А. Ф. Керенский все время, кроме того, когда он был в Предпарламенте, находился в штабе округа, лично руководя действиями юнкеров и отдавая распоряжения. По-видимому, Керенский ожидал, что разрыв отношений между правительством и Военно-революционным комитетом вызовет отпор со стороны последнего. Члены штаба чуть не каждые четверть часа докладывали ему о настроении петроградского гарнизона. Обратившись за поддержкой к Предпарламенту и к ЦИК, Керенский, не дождавшись их решения, вновь отправился в штаб.

ЗАСЕДАНИЕ ЦК
24 октября (6 ноября) 1917 г.

(«Протоколы Центрального Комитета РСДРП(б)», стр. 119—121)

Присутствуют: Дзержинский, Каменев, Ногин, Ломов (Оппоков), Милютин, Иоффе, Урицкий, Бубнов, Свердлов, Троцкий, Винтер (Берзин).

Тов. Каменев предлагает, чтобы сегодня без особого постановления ЦК ни один член ЦК не мог уйти из Смольного. Принято.

Сговориться с Исполнительной комиссией Петербургского комитета относительно их дежурств и в Смольном и в ПК. Принято...

1) Доклад тов. Каменева.

Сообщает о переговорах с представителями штаба [1].

2) О типографии и газете.

Постановлено: немедленно же отправить в типографию охрану и озаботиться своевременным выпуском очередного номера газеты [2].

3) Об отношении к бюро ЦИК[3].

Тов. Ногин настаивает на необходимости выяснить отношение к бюро ЦИК, ибо железнодорожники подчинятся постановлению ЦИК, и в случае несогласия с последним мы будем отрезаны от остальной России.

Другие тт. возражают против этого опасения относительно железнодорожников.

Тов. Троцкий предлагает отпустить в распоряжение Военно-революционного комитета двух членов ЦК для налаживания связи с почтово-телеграфистами и железнодорожниками; третьего члена ЦК — для наблюдения за Временным правительством. По отношению к ЦИК на сегодняшнем заседании при любом составе делегатов заявить, что ЦИК, полномочия которого давно истекли, подрывает дело революционной демократии.

Тов. Винтер (Берзин)[4] возражает, что распылять ЦК рискованно, поэтому лучше привлекать не только членов ЦК.

Тов. Каменев считает необходимым использовать вчерашние переговоры с ЦИК, которые теперь нарушены закрытием «Рабочего пути», поэтому разрыв с ЦИК должен произойти именно на этой почве. Далее считает необходимым войти в переговоры с левыми эсерами и войти в политический контакт с ними.

Тов. Свердлов считает нужным поручить тов. Бубнову связь и с железнодорожниками и с почтово-телеграфными служащими. Предлагает немедленно же нашим тт. из бюро ЦИК заявить о своей несолидарности с последними.

Голосуется первое предложение тов. Троцкого о делегировании членов ЦК для указанных функций: (1) ж.-д., 2) почт.-телеграф., 3) продовольствие). Принято.

Тов. Бубнов — на жел. дороги.

Тов. Дзержинский — почту и телеграф.

Тов. Дзержинский возражает и предлагает т. Любовича[5], который имеет связи с почтой и телеграфом.

Назначается ответственным тов. Дзержинский: он должен организовать это дело.

Тов. Милютину поручается организовать продовольственное дело.

Поручить тов. Подвойскому[6] организовать наблюдение за Временным правительством и его распоряжениями.

(Возражения против тов. Подвойского; поручается тов. Свердлову.)

Предлагается троим поручить переговоры с левыми с.-р.; предлагают одного.

Поручается тов. Каменеву и тов. Винтеру (Берзину).

Поручается тт. Ломову и Ногину немедленно информировать Москву обо всем здесь происходящем.

Москвичи доказывают, что необходимо хоть одному ехать в Москву.

Тов. Милютин предлагает создать постоянный контакт с Москвой; поэтому не отпускать Ломова и Ногина, но только одного; завтра один поедет, а через несколько дней — другой. Вносится поправка, что один уедет сегодня, а другой — завтра.

Тов. Троцкий предлагает устроить запасный штаб в Петропавловской крепости и назначить туда с этой целью одного члена ЦК. Поручается тов. Каменеву и тов. Винтеру (Берзину).

Тов. Каменев считает, что в случае разгрома Смольного надо иметь опорный пункт на «Авроре».

Урицкий вносит поправку относительно миноносца.

Тов. Троцкий настаивает, чтобы политический пункт был в Петропавловской крепости.

Тов. Свердлов предлагает поручить верховное наблюдение т. Лашевичу[7], а не члену ЦК.

Решено всех членов ЦК снабдить пропусками в крепость.

Общее наблюдение поручить Лашевичу и Благонравову[8].

Поддерживать постоянную связь с крепостью и поручить Свердлову.

---

[1] Еще 12 октября Исполком Петроградского Совета создал Военно-революционный комитет (ВРК) — практический штаб восстания. 22 октября он направил в воинские части комиссаров с целью установления своего контроля над гарнизоном. Контрреволюционный штаб Петроградского военного округа заявил о непризнании ВРК, но 22 октября вынужден был вступить с ним в переговоры. Командующий округом Полковников требовал аннулировать обращение ВРК к солдатам о неподчинении приказам штаба округа, но соглашался на создание при штабе округа совещания из представителей Петросовета. Он также соглашался, чтобы комиссары ВРК утверждались комиссаром меньшевистско-эсеровского ВЦИК при штабе округа. Переговоры не дали результата и вскоре были прекращены.

[2] Бюро ВЦИК 1-го созыва (с меньшевистско-эсеровским большинством) поддерживало Временное правительство. Потеряв влияние в массах, бюро имело определенную опору в некоторых верхушечных организациях, в том числе, например, во Всероссийском исполнительном комитете железнодорожного профсоюза (Викжель). Несколько дней спустя Викжель действительно предпринял попытку ликвидировать советскую власть, потребовав создания так называемого однородного социалистического правительства.

[3] Речь идет о попытке отряда юнкеров по приказу Керенского утром 24 октября закрыть газету «Рабочий путь». Посланные ВРК в редакцию революционные солдаты обеспечили выход газеты.

[4] Берзин Я. К. (1889—1938) — член партии с 1905 года. В октябрьские дни член Выборгского и Петербургского комитетов РСДРП(б). Впоследствии на командных должностях в Красной Армии. В 1937 году арестован по ложному обвинению. Посмертно реабилитирован.

[5] Любович А. М. (1880—1938) — член партии с 1907 года. В октябрьские дни комиссар Кексгольмского полка. С 1918 года на государственной и партийной работе. В 1937 году арестован по ложному обвинению. Посмертно реабилитирован.

[6] Подвойский Н. И. (1880—1948) — член партии с 1901 года. Один из руководителей Октябрьского восстания в Петрограде и штурма Зимнего дворца. Впоследствии был на военной работе.

[7] Лашевич М. М. (1884—1928) — член партии с 1901 года. В октябрьские дни командовал солдатами Кексгольмского полка и отрядом балтийских матросов. Впоследствии был на военной работе.

[8] Благонравов Г. И. (1896—1938) — член партии с 1917 года. В дни Октября был комиссаром Петропавловской крепости. Позднее работал в органах ВЧК и ОГПУ и Наркомате путей сообщения. В 1937 году арестован по ложному обвинению. Посмертно реабилитирован.

ПИСЬМО М. ЖАКОВА[1] К ВАСИЛЬЧЕНКЕ[2]

Петербург, 25 октября (7 ноября) 1917 г.

(«Пролетарская революция», 1922, № 10, стр. 88—92)

Сегодня в 3 часа заседание фракции[3], в 5 час.— съезда. Мы настояли на этом. Прибывших 560—570 чел. Наша фракция 320—340 чел. Вчера был большой день. Я пишу о самом существенном. В 2 ч. дня заседание фракции[4].

Троцкий делает доклад о текущем моменте. Положение ясно определилось. Некоторая часть нашей партии не представляла себе последствий наших собственных лозунгов. Если бы мы не сделали шагов к осуществлению их, то поступили бы как соглашатели. С тех пор как мы в большинстве, лозунги утратили агитационное значение, они компрометировали нас, поскольку мы не делали шагов к осуществлению. В последнее время в партийных кругах дискуссии. Крайние полюсы: 1) заговор, 2) никаких реальных последствий в тактике. Ленин указывал, что заговор не противоречит принципам марксизма,— при условии, если классовые и политические отношения складываются в сторону резкого конфликта, если заговор вытекает из тех отношений. Физический барьер на пути к власти надо преодолеть ударом, силой.

Столкновение было неизбежно, и оно произошло на почве приказа о выводе на фронт гарнизона[5]. Гарнизон состоит главным образом из раненых, эвакуированных и т. д. Левые эс-эры требовали санкций, приказа, но мы не могли пойти на это: мы не знаем, действительно ли это боевой приказ, но его политическое значение мы хорошо знаем (Родзянко и сдача Питера)[6]. Неожиданно мы получили поддержку не только Солдатской секции Совета, но и гарнизонного совещания (из полковых комитетов)[7] по всем вопросам о власти, о мире и по вопросу о выводе. Полки резко повернули к нам. У семеновцев не дали говорить после меня Скобелеву. Петропавловская крепость и артиллерия — наши; самокатчики — тоже. У правительства только юнкера

(6000), которые, впрочем, заявляют, что они не за правительство, а за ЦИК независимо от его состава,— и броневики, которые переходят один за другим к нам. Только ударники[8] остаются нерасшатанными (4 батальона). Впрочем, 1 батальон ударников из Царского Села сегодня ночью не пошел на призывы правительства.

Сегодняшняя ночь (23—24) была критической. Мы не спали. Пораделов[9] и Черемисов предлагали нам компромисс. Уже раньше по поводу бесконтрольной раздачи оружия из Кронверкского склада Петропавловской крепости контрреволюционерам мы повсюду назначали наших комиссаров. Их встретило начальство грубо и с угрозами, но через час — полтора, видя, что приказы без санкции Воен.-Рев. Ком. солдатами не выполняются, политика изменилась.

Троцкий прерывает доклад, так как его ждет делегация Центр. гор. думы. Возвратившись через 30—40 минут, продолжает:

Троцкий. Была делегация гор. управы. Поставила несколько вопросов: 1) Предполагаем ли мы выступления, какие, когда? Ей, видите ли, нужно не менее чем за 24 часа знать заранее. 2) Какие меры приняты Советом для охранения безопасности и порядка? Я ответил на первый изложением диалектически-материалистического взгляда на революцию и предложил участвовать через 1 делегата в работах Воен.-Рев. К-та. Если правительство пустит в ход железо, естественно, ему ответит сталь. На вопрос я сказал, что ночью нами приняты решения о беспорядках и что если кто может подавить их, то только мы. Спросили: не начнутся ли завтра утром повальные обыски? (Я, видите ли, не учел тонкой нервной организации наших гласных на одном из митингов, где говорил об описи всех наличных запасов и конфискации излишков.) Я успокоил г.г. гласных. Спрашивают: будете ли вы разгонять нас за то, что мы против лозунга «вся власть Советам»? Я ответил: «Дума отражает вчерашний день; но если бы возник конфликт, мы предложили бы вам перевыборы вокруг лозунга о власти». Гласные сообщили мне, что Керенский собирается передать власть городской управе. Мне показалось это маловероятным.

«Аврора» (броненосец), стоящая на Неве, получила сегодня ночью приказ выйти в море. Воен.-Рев. К-т дал контрприказ, и «Аврора» придвинулась ближе к Николаевскому мосту во избежание его разведения. В близких гарнизонах настроение в нашу пользу, кроме Луги, где 11 000 колеблющихся. Мы разослали радиотелеграммы всем гарнизонам (близким). Военное положение для нас в высшей степени благоприятное. Теперь все зависит от съезда. Если размякнет, то революционные полки вышли бы на улицу, а остальные заколебались бы (нейтральный 14 казачий полк и др.). Единственное спасение — твердая политика съезда.

Арест Врем. Правительства не стоит в порядке дня как самостоятельная задача. Если бы съезд создал власть, а Керенский ей не подчинился бы, то это был бы полицейский, а не политический вопрос. Было бы ошибкой командировать хотя бы те же броневики, которые «охраняют» Зимний дворец, для ареста правительства, но зато не ошибка постановление Воен.-Рев. К-та открыть типографию «Рабочего пути» и возложить охрану вместо юнкеров на доблестный Литовский полк.

Это оборона, товарищи, это оборона. (Бурные аплодисменты.) Если бы правительство вздумало нас арестовать, то на крыше Смольного установлены пулеметы. Это тоже оборона, товарищи. (А ночью оно думало об этом — вызвало войска, собирало адреса, объявило Воен.-Рев. Ком. арестованным.)

Гражданская война, кровавая гражданская война, может быть, не по нашей вине. Власть может перейти мирно. Конечно, есть затруднения. Нас могли бы взять измором; но есть хорошее средство не выпускать правительства. Я сегодня предложил это гласным. Вы помните нашу кампанию против бегства правительства. Оно испугалось. Мала связь с железнодорожниками, но наша поддержка их стачки обеспечивает нам сочувствие. Не забывайте, товарищи, что три недели тому назад, когда мы только приобрели большинство, мы были только фирмой без типографии, без кассы, без отделов, а теперь депутация Гор. Думы идет к «арестованному» Воен.-Рев. К-ту. В провинции поддержка Советов нам обеспечена.

Троцкому задают несколько вопросов. Он отвечает: (Мне) «Таймс» рекомендует употребить против нас картечь и броневики. О деятельности Бьюкенена[10] и др. послов мы не имеем сведений, о положении в провинции вам знать лучше. ПТА[11] еще не в наших руках. (Другим) Продовольствие — 1—2 дня. Неизбежна (уже приняты меры комиссаром Милютиным) конфискация грузов, следующих по Северной и Пермь-Кот-

ласской ж. д. за границу. Переход власти облегчит продовольствие. Приказы конфисковать землю встретят «лучший ответ, чем карательная экспедиция Керенского». Затем демобилизация, промышленная организация обмена и покупок под гарантии правительства в доставке орудий и машин. По ж.-д. делам командирован Бубнов.

Далее было заседание съезда совместно с Питерским Советом, на котором Троцкий повторил свой доклад. Характерные места: «Керенский, который называл Корнилова первым солдатом республики и т. д. ...бросил нам обвинение в близости к контр.-рев. Но если кто не допускает погромов, то это не Керенский, а мы»... Неисполнение приказа, конечно, нельзя назвать строгой дисциплиной, но правительство, которое ждет только взмаха исторической метлы, чтобы уступить власть, которое стоит перед альтернативой — передать власть Гор. управе или утопить в крови население при помощи броневиков, о которых она не знает — ее ли это броневики, такая власть не вправе ждать дисциплины... Троцкому подают записку, и он говорит: «Тов., меня предупреждают, что в 12 час. может потухнуть электричество. У города нет угля. Так не подумайте, что это атакует нас Керенский,— это будет означать только, что Керенский не в состоянии даже два лишних часа освещать Смольный институт»...

в) Заседание фракции.

Ларин [12]. Только что в предпарламенте произошел раскол. Коалиция рухнула. За переход земли до Учр. собр. и за требование начать мирные переговоры большинство в 26 голосов. Когда Мартов читал резолюцию, кадеты кричали ему: «Министр иностранных дел», «Пломбированный вагон». Дана назвали скрытым большевиком. Кричали: «измена», «предательство».

Только что на съездовской фракции м-ков-оборонцев принято 2 резолюции:

1) осуждая большевистское восстание, не оказывать ему противодействия, но дать вооруженный отпор правительству, если оно силой оружия будет подавлять б-ков (46 за, 4 против, 10 возд.);

2) в случае восстания мы умрем на баррикадах вместе с пролетариатом.

Лозовский[13] дополняет: «В предпарламенте кадеты вносили предложение об усмирении б-ков оружием. Предложение провалено». Переизбрано (2-ой съезд) бюро. Я опять включен в список (о моей «карьере» хлопочет Свердлов).

Сталин делает доклад о последних сведениях у Ц. К. (Р. С.-Д. Р. П.). С фронта идут на нас. Один латышский полк шел за нас, задержан. Во Врем. Правит. колебания. Сегодня в 5—6 час. присылали для переговоров.

(Сообщ. Сталина) Ц. К. П. с.-р. спрашивал, какая цель у Воен.-Рев. К-та — восстание или охранение порядка? Если первое — отзовем своих (в К-те дельные левые эс-эры). Мы, конечно, ответили: порядок, оборона. Они оставили своих. Матросы арестовали 50 юнкеров. В Воен.-Рев. К-те 2 течения: 1) немедленное восстание, 2) сосредоточить сначала силы. Ц. К. Р. С.-Д. Р. П. присоединился ко 2-му...

---

[1] Жаков М. П.— делегат на II Всероссийском съезде Советов от Ростовского Совета рабочих и солдатских депутатов. Впоследствии историк.

[2] Васильченко С. Ф.— один из руководителей Ростово-Нахичеванского комитета РСДРП(б).

[3] Речь идет о заседании большевистской фракции II Всероссийского съезда Советов 25 октября.

[4] Речь идет о заседании большевистской фракции II съезда Советов 24 октября.

[5] См. комментарий № 19 к протоколу заседания ЦК 16(29) октября 1917 года.

[6] См. комментарий № 3 к письму В. И. Ленина «Большевики должны взять власть».

[7] Имеется в виду гарнизонное совещание 17(30) октября (см. комментарий № 5).

[8] Солдаты и офицеры так называемых ударных батальонов, с которыми Временное правительство и фронтовое командование связывали свои расчеты в борьбе с революцией.

[9] Пораделов Н. Н.— подполковник, в канун Октябрьской революции генерал-квартирмейстер штаба Петроградского военного округа.

[10] Бьюкенен Дж. У. (1854—1924) — в 1917 году посол Англии в России.

[11] Петроградское телеграфное агентство.

[12] Ларин Ю. (1882—1932) — член партии с 1917 года. В октябрьские дни член Исполкома Петроградского Совета. В последующие годы на хозяйственной работе.

[13] Лозовский С. А. (1878—1952) — член РСДРП(б) с 1901 года. В 1917 году секретарь ВЦСПС. В декабре 1917 года за выступление против политики партии исключен из рядов РСДРП(б). В конце 1919 года был вновь принят в РКП(б). Впоследствии на профсоюзной и дипломатической работе.

И. В. СТАЛИН. ЧТО НАМ НУЖНО?

(Передовая газеты «Рабочий путь» (Петроград), 24 октября (6 ноября) 1917 г.)

...Рабочие, солдаты, крестьяне, казаки, все трудящиеся!

Хотите ли вы, чтобы вместо нынешнего правительства помещиков и капиталистов стало у власти новое правительство рабочих и крестьян?

Хотите ли вы, чтобы новое правительство России объявило согласно требованию крестьян отмену помещичьих прав на землю и передало все помещичьи земли без выкупа крестьянским Комитетам?

Хотите ли вы, чтобы новое правительство России обнародовало тайные договоры царя, признало их необязательными и предложило всем воюющим народам справедливый мир?

Хотите ли вы, чтобы новое правительство России обуздало вконец локаутчиков и спекулянтов, намеренно обостряющих голод и безработицу, разруху и дороговизну?

Если вы хотите этого, соберите все свои силы, встаньте все поголовно, как один человек, устраивайте собрания, выбирайте делегации и изложите свои требования через них съезду Советов, который открывается завтра в Смольном.

Если вы все будете действовать дружно и стойко, никто не посмеет сопротивляться воле народа. Старое правительство уступит место новому тем более мирно, чем сильнее, организованнее и мощнее выступите вы. И вся страна пойдет тогда смело и твердо к завоеванию мира народам, земли крестьянам, хлеба и работы голодающим...

В. И. ЛЕНИН. ПИСЬМО ЧЛЕНАМ ЦК

24 октября (6 ноября) 1917 г.

(В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 34, стр. 435—436)

Товарищи!

Я пишу эти строки вечером 24-го, положение донельзя критическое. Яснее ясного, что теперь, уже поистине, промедление в восстании смерти подобно.

Изо всех сил убеждаю товарищей, что теперь все висит на волоске, что на очереди стоят вопросы, которые не совещаниями решаются, не съездами (хотя бы даже съездами Советов), а исключительно народами, массой, борьбой вооруженных масс.

Буржуазный натиск корниловцев, удаление Верховского показывает, что ждать нельзя. Надо, во что бы то ни стало, сегодня вечером, сегодня ночью арестовать правительство, обезоружив (победив, если будут сопротивляться) юнкеров и т. д.

Нельзя ждать!! Можно потерять все!!

Цена взятия власти тотчас: защита *народа* (не съезда, а народа, армии и крестьян в первую голову) от корниловского правительства, которое прогнало Верховского и составило второй корниловский заговор.

Кто должен взять власть?

Это сейчас неважно: пусть ее возьмет Военно-революционный комитет «или другое учреждение», которое заявит, что сдаст власть только истинным представителям интересов народа, интересов армии (предложение мира тотчас), интересов крестьян (землю взять должно тотчас, отменить частную собственность), интересов голодных.

Надо, чтобы все районы, все полки, все силы мобилизовались тотчас и послали немедленно делегации в Военно-революционный комитет, в ЦК большевиков, настоятельно требуя: ни в коем случае не оставлять власти в руках Керенского и компании до 25-го, никоим образом; решать дело сегодня непременно вечером или ночью.

История не простит промедления революционерам, которые могли победить сегодня (и наверняка победят сегодня), рискуя терять много завтра, рискуя потерять все.

Взяв власть сегодня, мы берем ее не против Советов, а для них.

Взятие власти есть дело восстания; его политическая цель выяснится после взятия.

Было бы гибелью или формальностью ждать колеблющегося голосования 25 октября, народ вправе и обязан решать подобные вопросы не голосованиями, а силой; народ вправе и обязан в критические моменты революции направлять своих представителей, даже своих лучших представителей, а не ждать их.

Это доказала история всех революций, и безмерным было бы преступление революционеров, если бы они упустили момент, зная, что от них зависит ***спасение ре-***

волюции, предложение мира, спасение Питера, спасение от голода, передача земли крестьянам.

Правительство колеблется. Надо добить его во что бы то ни стало!

Промедление в выступлении смерти подобно.

В. И. ЛЕНИН. ЗАПИСКА М. В. ФОФАНОВОЙ [1]

24 октября (6 ноября) 1917 г.

(В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 49, стр. 453)

Ушел туда, куда Вы не хотели, чтобы я уходил. До свидания.

Ильич

[1] Фофанова М. В. (1883—1976) — в революционном движении с 1902 года, член партии с 1917 года. Депутат Петросовета. В июле и октябре в ее квартире скрывался В. И. Ленин.

А. Ф. КЕРЕНСКИЙ. ГАТЧИНА

(«Октябрьская революция. Мемуары», стр. 171—173, 169)

Никогда я не забуду следующей поистине исторической сцены. Полночь на 25 октября. В моем кабинете, в перерыве заседания Вр. Правительства, происходит между мной и делегацией от социалистических групп Совета Республики достаточно бурное объяснение по поводу принятой наконец левым большинством Совета резолюции по поводу восстания, которой я требовал утром. Резолюция эта, уже никому тогда не нужная, бесконечно длинная, запутанная, обыкновенным смертным мало понятная, в существе своем вместо доверия и поддержки правительству, если прямо и не отказывала ему в этом, то, во всяком случае, совершенно недвусмысленно отделяла левое большинство Совета Республики от правительства и его борьбы. Возмущенный, я заявил, что после такой резолюции правительство завтра же утром подает в отставку, что авторы этой резолюции и голосовавшие за нее должны взять на себя всю ответственность за события, хотя, по-видимому, они о них имеют очень мало представления. На эту мою взволнованную филиппику спокойно и рассудительно ответил Дан[1], тогда не только лидер меньшевиков, но и и. д. председателя ВЦИК... Прежде всего Дан заявил мне, что они осведомлены гораздо лучше меня и что я преувеличиваю события под влиянием сообщений моего «реакционного штаба». Затем он сообщил, что неприятная «для самолюбия правительства» резолюция большинства Совета Республики чрезвычайно полезна и существенна для «перелома настроения в массах», что эффект ее «уже сказывается» и что теперь влияние большевистской пропаганды будет «быстро падать». С другой стороны, по его словам, сами большевики в переговорах с лидерами советского большинства изъявили готовность «подчиниться воле большинства Советов», что они готовы «завтра же» предпринять все меры, чтобы потушить восстание, «вспыхнувшее помимо их желания, без их санкции». В заключение Дан, упомянув, что большевики «завтра же» (все завтра!) распустят свой военный штаб, заявил мне, что все принятые мною меры к подавлению восстания только «раздражают массы» и что вообще я своим «вмешательством» лишь «мешаю представителям большинства Советов успешно вести переговоры с большевиками о ликвидации восстания». Для полноты картины нужно добавить, что как раз в то время, как Дан делал мне это замечательное сообщение, вооруженные отряды «красной гвардии» занимали одно за другим правительственные здания...

Нужно признать, большевики действовали тогда с большой энергией и не меньшим искусством...

Да, я в особенности настаиваю на том, что мы боролись на два фронта. И никто никогда не будет в состоянии опровергнуть ту несомненную связь, которая существовала между большевистским восстанием и усилиями реакции свергнуть Временное правительство и повернуть государственный корабль вспять к берегу социальной реакции.

После безуспешной для заговорщиков и столь несчастной для государства попытки свергнуть Временное Правительство вооруженной рукой ген. Корнилова общественные группы, поддерживающие «диктатора» и связанные с ним, постановили: не оказывать правительству в случае столкновения его с большевиками никакой помощи.

Их стратегический план состоял в том, чтобы сначала не препятствовать успеху вооруженного восстания большевиков, а затем, после падения ненавистного Временного правительства, быстро подавить большевистский «бунт». Таким образом должны были быть достигнуты наконец цели, поставленные корниловскому восстанию.

Военные и штатские стратеги, авторы этого замечательного плана, были твердо убеждены в том, что большевистский триумф не представит собой никакой серьезной опасности и что в 3—4 недели «здоровые элементы» русского народа справятся с бунтующей массой и установят в России «сильную власть». Увы, выполнив блестяще первую, так сказать, пассивную часть своего плана — свергнув руками большевиков Временное Правительство,— наши «патриоты» оказались совершенно неспособными к осуществлению его второй, активной, действенной части — оказались неспособными победить большевиков не только в три месяца, но и в три года!

---

[1] Дан Ф. И. (1871—1947) — один из лидеров меньшевизма. В 1917 году исполняющий обязанности председателя Президиума ВЦИК 1-го созыва. В 1922 году выслан за границу. Умер в США.

СООБЩЕНИЕ АНКЕТНОЙ КОМИССИИ II ВСЕРОССИЙСКОГО СЪЕЗДА СОВЕТОВ РАБОЧИХ И СОЛДАТСКИХ ДЕПУТАТОВ О ЧИСЛЕННОМ И ПАРТИЙНОМ СОСТАВЕ СЪЕЗДА

(«Великая Октябрьская социалистическая революция. Документы и материалы. Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде». М. 1957, стр. 437)

...По точным данным бюро всех фракций к началу открытия съезда, считая и беспартийных и сочувствующих, записавшиеся во фракции распределяются следующим образом:

Большевиков — 390, с.-р.— 160, с.-д. (интернационалисты) — 14, с.-д. (объединенцы) — 6, украинцев — 7, меньшевиков — 72. Итого — 649.

И в конце съезда, после ухода меньшевиков и правых с.-р., данные по фракциям распределяются следующим образом: большевиков — 390, с.-р.— 179, с.-д. (интернационалистов) — 35, украинцев — 21. Итого 625 человек.

Таким образом, количество окончательно ушедших со съезда делегатов достигает от 25 до 51 человека, что является самым ничтожным процентом по отношению к оставшимся. Объясняется это тем, что многие делегаты с.-д. меньшевики и с.-р. из центра не последовали за вождями или вернулись и продолжали принимать участие как в работах фракций, так и на пленарных заседаниях съезда. Одни эти голые цифры достаточно свидетельствуют, как неосновательны доводы старого ЦИК, который в своем органе «Голос солдата», от 26 октября, объявляет съезд частным совещанием, неправомочным съездом Советов р. и с. д.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ II СЪЕЗДА СОВЕТОВ РАБОЧИХ И СОЛДАТСКИХ ДЕПУТАТОВ ОБ ОБРАЗОВАНИИ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ

26 октября (8 ноября) 1917 г.

(«Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде», стр. 432)

Всероссийский съезд Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов постановляет:

Образовать для управления страной, впредь до созыва Учредительного собрания, временное рабочее и крестьянское правительство, которое будет именоваться Советом Народных Комиссаров. Заведывание отдельными отраслями государственной жизни поручается комиссиям, состав которых должен обеспечить проведение в жизнь провозглашенной съездом программы, в тесном единении с массовыми организациями рабочих, работниц, матросов, солдат, крестьян и служащих. Правительственная власть принадлежит коллегии председателей этих комиссий, т. е. Совету Народных Комиссаров.

Контроль над деятельностью народных комиссаров и право смещения их принадлежит Всероссийскому съезду Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов и его Центральному Исполнительному Комитету.

В настоящий момент Совет Народных Комиссаров составляется из следующих лиц:

Председатель Совета — *Владимир Ульянов (Ленин);*

Народный комиссар по внутренним делам — *А. И. Рыков;*

Земледелия — *В. П. Милютин;*

Труда — *А. Г. Шляпников;*

По делам военным и морским — комитет в составе: *В. А. Овсеенко (Антонов)*[1], *Н. В. Крыленко и П. Е. Дыбенко*[2];

По делам торговли и промышленности — *В. П. Ногин*;

Народного просвещения — *А. В. Луначарский*[3];

Финансов — *И. И. Скворцов (Степанов)*[4];

По делам иностранным — *Л. Д. Бронштейн (Троцкий)*;

Юстиции — *Г. И. Оппоков (Ломов)*;

По делам продовольствия — *И. А. Теодорович*[5];

Почта и телеграф — *Н. П. Авилов (Глебов)*[6];

Председатель по делам национальностей — *И. В. Джугашвили (Сталин)*;

Пост народного комиссара по делам железнодорожным временно остается незамещенным.

---

[1] Антонов-Овсеенко В. А. (1883—1939) — с мая 1917 года член РСДРП(б). Активный участник Октябрьского вооруженного восстания, один из руководителей штурма Зимнего дворца, арестовал Временное правительство. Впоследствии на военной и дипломатической работе. В 1937 году арестован по ложному обвинению, расстрелян. Посмертно реабилитирован.

[2] Дыбенко П. Е. (1889—1938) — член партии с 1912 года. В октябрьские дни руководил формированием и отправкой в Петроград отрядов военных моряков и военных кораблей. Впоследствии на военной работе. В 1937 году арестован по ложному обвинению, расстрелян. Посмертно реабилитирован.

[3] Луначарский А. В. (1875—1933) — член партии с 1895 года. В 1917 году член городской думы Петрограда, заместитель городского головы. Участник Октябрьского вооруженного восстания. С 1917 по 1929 год нарком просвещения.

[4] Скворцов-Степанов И. И. (1870—1928) — член партии с 1896 года. В 1917 году член МК РСДРП(б), главный редактор «Известий» Московского Совета.

[5] Теодорович И. А. (1875—1937) — член партии с 1895 года. В 1917 году заместитель председателя Петроградской городской думы.

[6] Авилов Н. П. (Глебов; 1887—1942) — член партии с 1904 года. В 1917 году член Исполнительной комиссии Петербургского комитета партии. После победы Октября нарком почт и телеграфа. В дальнейшем на профсоюзной, партийной и хозяйственной работе.

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ВЛАДИМИР КОСТРОВ

★

ЛИТЕРАТУРА КАК ДЕЯНИЕ

Я стою за искусство, которое делает человека лучше в о о б щ е, а не по какой-нибудь отдельной, административно-хозяйственной или, скажем, санитарно-домостроительной отрасли.

Л. Леонов, «Вор».

Явление подлинной литературы напоминает нам явление природы, узнаваемое и каждый раз уникальное, грозное и величественное, исполненное возвышающего очарования.

Гроза, рассвет, первый снег в лесу обладают неизъяснимой художественной силой: ими творится жизнь.

И всегда чувство и разум поддаются искушению найти метафору, широкое суждение, проясняющее великое творчество жизни, раскрывающее могучую суть его.

И самое удивительное — жизнь, равная лишь самой себе, и литература, порою равная самой жизни, поддаются иногда сильному умозрительному нетерпению и, подобно солнечному диску в плотном утреннем тумане, приоткрывают нам краешек истины.

Легионы звезд и мириады планет в неодолимой бесконечности обнаружены первоначально не хитроумным физическим прибором, но внутренним взором Николая Коперника и Джордано Бруно.

Так был разрушен навсегда несокрушимый хрустальный небесный свод с фиксированными звездами.

Таковы практические последствия обобщающего суждения.

Коррективность систематики более присуща литературоведу и критику, жаждущим концептуальности, подобно математику оформляющему в изящных формулах физическую истину.

Для литератора же классика XIX и начала XX века, семьдесят лет советской литературы, суждения великих предшественников подобны системе створных знаков на вечной реке жизни. Да, по краям появились новые омуты и свежие мели, но глубокое русло реки этой лежит в твердых, почти не размываемых породах.

Вот о чем вспоминаю я накануне непреходящего праздника отечественной истории — семидесятилетия Великого Октября.

Пожалуй, ни у кого не вызывает сомнений, что общество, самая жизнь наша, а значит, и литература как часть жизни, как орган ее самосознания находятся под беспощадным давлением Времени. Именно оно пробуждает в нас упорство крестьянина, проведшего сложный, противоречивый, во многом не сложившийся сезон. Какой прок, если работники будут только стенать, предъявлять взаимные претензии и каяться?

Чтобы получить надежду на будущий урожай, нужно с тщательностью и верой вновь распахать, засеять и возделать поле. Именно весной. Именно в короткие агротехнические сроки.

Да, да — лучшей формой преодоления ошибок, лучшим «покаянием» может быть упрямая конструктивная работа. Только она поможет преодолеть естественную рефлексию и меланхолию. Только ей присущ великий оптимизм необходимости, ибо, работая, ты можешь потерпеть неудачу, не работая — потерпишь ее наверняка.

Именно в такие исторические моменты, когда конкретика движения к цели еще недостаточно ясна (а полностью ясной она и быть не может), неизбежно возрастает роль общего здравого суждения.

«Тому в Истории мы тьму примеров слышим».

Вспомним хотя бы речь Л. Н. Толстого, произнесенную в Обществе любителей российской словесности 4 февраля 1859 года. Короткая эта речь молодого, а по нынешним нашим меркам — весьма молодого (тридцатилетнего!) прозаика настолько значительна, что не худо ее процитировать для сегодняшних «любителей русской словесности»:

«Милостивые государи. Избрание меня в члены общества польстило моему самолюбию и искренно обрадовало меня. Лестное избрание это я отношу не столько к моим слабым попыткам в литературе,

сколько к выразившемуся этим избранием сочувствию к той области литературы, в которой были сделаны эти попытки. В последние два года политическая и в особенности изобличительная литература, заимствовав в своих целях средства искусства и найдя замечательно умных, честных и талантливых представителей, горячо и решительно отвечавших на каждый вопрос минуты, на каждую временную рану общества, казалось, поглотила все внимание публики и лишила художественную литературу всего ее значения. Большинство публики начало думать, что задача всей литературы состоит только в обличении зла, в обсуждении и в исправлении его, одним словом, в развитии гражданского чувства в обществе... Увлечение это было благородно, необходимо и даже временно справедливо. Для того, чтобы иметь силы сделать те огромные шаги вперед, которые сделало наше общество в последнее время, оно должно было быть односторонним, оно должно было увлекаться дальше цели, чтобы достигнуть ее, должно было одну эту цель видеть перед собой. И действительно, можно ли было думать о поэзии в то время, когда перед глазами в первый раз раскрывалась картина окружающего нас зла и представлялась возможность избавиться от его. Как думать о прекрасном, когда становилось больно! Не нам, пользующимся плодами этого увлечения, укорять за него. Распространенные в обществе бессознательные потребности уважения к литературе, возникшее общественное мнение, скажу даже, самоуправление, которое заменила нам наша политическая литература, вот плоды этого благородного увлечения. Но как ни благородно и ни благотворно было это одностороннее увлечение, оно не могло продолжаться, как и всякое увлечение. Литература народа есть полное, всестороннее сознание его, в котором одинаково должны отразиться как народная любовь к добру и правде, так и народное созерцание красоты в известную эпоху развития... Послышались толки о том, что темные картины зла надоели, что бесполезно описывать то, что мы все знаем, и т. п. И общество было право. Это наивно выраженное неудовольствие значило то, что общество поняло теперь, не из одних критических статей, но опытом дознало, прожило ту кажущуюся простой истину, что как ни велико значение политической литературы, отражающей в себе временные интересы общества, как ни необходима она для народного развития, есть другая литература, отражающая в себе вечные, общечеловеческие интересы, самые дорогие, задушевные сознания народа, литература, доступная человеку всякого народа и всякого времени, и литература, без которой не развивался ни один народ, имеющий силу и сочность.

...Проникшее в общество сознание о необходимости и значении двух отдельных родов литературы служит лучшим доказательством того, что словесность наша вообще не есть, как еще думают многие, перенесенная с чужой почвы детская забава, но что она стоит на своих прочных основах, отвечает на разносторонние потребности своего общества, сказала и еще имеет сказать многое и есть серьезное сознание серьезного народа».

Я прошу прощения у образованного читателя за столь обширную цитату, но согласитесь, что речь эта весьма и весьма современна.

Да, возможно, Лев Николаевич, знай он весь свой путь, дополнил бы речь эту проповедью нравственного совершенствования.

Но разве вечная идея, состоящая в том, что литература должна не только и не просто изображать процесс, но и прежде всего воспитывать в читателе мировоззрение, потускнела бы, изменила бы свой знак?

Понятно, постановка цели и конкретная эмпирическая работа над средствами ее достижения — далеко не одно и то же. Признаем и то, что прийти к общему суждению все-таки легче, чем найти средства к его осуществлению на практике.

Однако когда начинаешь вдумываться в мысли великого писателя, возникает почти физическое ощущение «значительности» его «пророчеств». Начинает казаться, что он обладает априорно быстрым, снимающим или пропускающим доказательства методом постижения действительности в ее существенных качествах. Может быть, именно озарения интуиции, материализованная игра генетических факторов и привели человечество к идее творца, демиурга, бога.

Понятно, мало родиться гением, нужно еще им стать.

Но и отсутствие такой личности не снимает с литературы необходимости вырабатывать, особенно в переломное, революционное время, здравое общее суждение. Суждение, порожденное не групповой корыстью, но исходящее из плане-

тарной «корысти» народа и человечества.

Да, я думаю, что здравое суждение узнается помимо прочего по его бескорыстию.

«Подлинная оценка человека состоит в том, в какой степени и в каком смысле он смог добиться освобождения от собственного „я"»,— говорил А. Эйнштейн.

Корыстное сознание признает прежде всего примат силы и действует в соответствии с этой установкой. Честное же сознание, признавая принцип силы, ограничивает его моральными постулатами, которые выстраданы человечеством, а не придуманы в лабораторных условиях. На первых порах особенно внятно здравое суждение может быть обращено к прошлому. Это тем более необходимо, ибо различные литературные течения стараются получить из прошлого ответ, подтверждающий их сегодняшний социальный, национальный или групповой интерес.

И бесконечное разнообразие форм исторической действительности дает широкие возможности для политических и культурных спекуляций. Правду истории, однако же, слышит только желающий ее слышать. Иначе история будет слишком уж зависеть от того, кто ее спрашивает и зачем.

Значение речи Л. Н. Толстого состоит, на мой взгляд, прежде всего в том, что в ней сформулирован классический принцип отечественной литературы — забота о будущем. Смысл и назначение литературы раскрываются здесь как деяние, направленное на очеловечивание личности и общества. А главной целью становится воспитание личности, обладающей активно-гуманистическим мировоззрением, способной изменить общество в направлении идеала. Тревога о будущем, забота о нем стали сутью творчества Толстого, Тургенева, Достоевского, Чехова, Горького. Эти писатели были современны, более того, злободневны, ибо понимали: у прошлого можно спросить, но с него нельзя спросить.

Понятно, что я говорю о литературе как ценности, которую, по меткому определению В. Г. Белинского, нельзя измерять «на счет и вес». Конечно, давнее литературное произведение или критическая работа, подобно айсбергу, принадлежат прошлому, погружены в него. Да, обычно литература решает тактические задачи современной борьбы идей, отвечает злободневной потребности жизни. Но на поверхность сегодняшнего общественного внимания поднимает ее стратегическая выталкивающая сила устремления в будущее.

В 1908 году прогрессивное человечество отмечало восьмидесятилетний юбилей Л. Н. Толстого.

Давно, а как будто бы сейчас, писал В. И. Ленин в статье «Лев Толстой, как зеркало русской революции»:

«Легальная русская пресса, переполненная статьями, письмами и заметками по поводу юбилея 80-летия Толстого, всего меньше интересуется анализом его произведений с точки зрения характера русской революции и движущих сил ее. Вся эта пресса до тошноты переполнена лицемерием, лицемерием двоякого рода: казенным и либеральным. Первое есть грубое лицемерие продажных писак, которым вчера было велено травить Л. Толстого, а сегодня — отыскивать в нем патриотизм и постараться соблюсти приличия перед Европой. Что писакам этого рода заплачено за их писания, это всем известно и никого обмануть они не в состоянии. Гораздо более утонченно и потому гораздо более вредно и опасно лицемерие либеральное. Послушать кадетских балалайкиных из «Речи»— сочувствие их Толстому самое полное и самое горячее. На деле рассчитанная декламация и напыщенные фразы о «великом богоискателе»— одна сплошная фальшь, ибо русский либерал ни в толстовского бога не верит, ни толстовской критике существующего строя не сочувствует. Он примазывается к популярному имени, чтобы приумножить свой политический капиталец, чтобы разыграть роль вождя общенациональной оппозиции, он старается громом и треском фраз *заглушить* потребность прямого и ясного ответа на вопрос: чем вызываются кричащие противоречия «толстовщины», какие недостатки и слабости нашей революции они выражают?»

Это современно и напоминает борьбу нынешних «казенщиков» и «либералов» вокруг творческого наследия, скажем, Платонова или Булгакова.

Однако сегодняшний смысл работы В. И. Ленина не только и не столько в злободневных культурных параллелях. На мой взгляд, Владимир Ильич в этой известной всем работе сделал и этический анализ художественного творчества. Он применил к творчеству Толстого его же идею о сближении этического и эстетического, о генетической близости, родстве правдивого и художественного.

Вообще говоря, цели социалистичес-

кой философии и политики, представляемые Лениным, и подлинно художественной, демократической литературы Толстого совпадают — это устремление к полной общественной справедливости. Ленин восхищается реалистической силой художественного метода Толстого, признает его как существенную часть глубокого познания действительности.

Впоследствии в декрете «Об объединении театрального дела», подписанном Лениным в 1919 году, будет сказано, что искусство должно приближаться «к народным массам и их социалистическому идеалу, без нарушения художественной ценности...».

На мой взгляд, установление правильного соотношения этического — эстетического есть коренной вопрос философской эстетики.

Мы, конечно, понимаем, что этическое и эстетическое полностью не совпадают, что эстетическое шире, ибо оно включает в себя и понятие формы и саму сияющую природу, которая, по словам Роберта Майера, «в ее простой истине является более великой и прекрасной, чем любое создание человеческих рук, чем все иллюзии сотворенного духа».

Полностью согласиться с этим суждением нам мешает убеждение, что «сотворенный дух» есть такая же часть природы, как, скажем, зеленый лист или скачущая лошадь. Не может нас удовлетворить и известная формула «красота есть правда», в сущности, провозглашающая тождество этического и эстетического. Я ощущаю избыточный рационализм в утверждении теоретика модернизма Конрада Фидлера, что искусство «это не что иное, как язык, с помощью которого вещи переводятся в сферу познающего сознания».

Как это было бы просто! Но тогда искусством можно было бы назвать машинную программу или, скажем, электронный микроскоп.

Увы, само рациональное познание, даже в сфере естественнонаучной, часто нуждается в эстетических (не рациональных!) критериях.

Великий рационалист нашего времени Альберт Эйнштейн критериями выбора научной теории считал, например, принципы «внешнего оправдания» и «внутреннего совершенства».

С первым принципом все понятно: теория должна удовлетворять эмпирическому опыту. Но вот второй несомненно связан с эстетической эмоцией, со своеобразным «катарсисом», просветляющим переживанием.

Сама идея социализма, не чувствуй мы, что она внутренне совершенна, не будь она так справедлива и эмоциональна, ненадолго занимала бы практичное сознание общества. И хотя «сильный разум не может заменить искусных пальцев» и качество нашей практики отстает еще от качества идеи, будущее несомненно за идеей.

Эстетическая интуиция, художественный талант зовут к деянию, зовут творца к стремлению воздействовать не только на определенный круг ценителей его творчества, но и на самое народное и общечеловеческое бытие.

В памятном 1908 году 13 ноября на заседании религиозно-философского общества Александр Блок выступил с докладом «Россия и интеллигенция» (впоследствии — статья «Народ и интеллигенция»), поставившим этапный, по словам автора, «самый больной», вопрос о разделении народа и интеллигенции, о возможности преодоления этого разделения. Именно с доклада и началось «движение» Блока к революции, к «Возмездию», к «Скифам» и «Двенадцати». Полемизируя с докладом Германа Баронова «О демотеизме» (обожествлении народа в «Исповеди» Максима Горького), Блок говорил: «Не опровергая положений Баронова по существу и признавая всю важность затронутого им вопроса, я хочу сначала определить свое воззрение на творчество Горького (с воззрением Баронова несогласное) и перейти затем к важнейшему для меня вопросу об отношениях между интеллигенцией и народом. Эти отношения представляются мне не только ненормальными, не только недолжными. В них есть нечто жуткое; душа занимается страхом, когда внимательно приглядишься к ним; страшно становится, когда интеллигент начинает чувствовать себя «животным общественным», как только сознает он, что существует некоторая круговая порука среди «людей культуры», что каждый член культурного общества, без различия партий, литературных направлений или классов,— представляет из себя одно из слагаемых какого-то целого. Это общественное чувство, перешедшее в сознание, и заставляет интеллигента почувствовать ответственность свою перед целым, хочет он или не хочет, подойти к вопросам о болезнях всероссийских; и мне думается, да и сама действительность показывает, что

насущнейшим из таких вопросов является вопрос об «интеллигенции» и „народе"».

Итак, А. Блок задал «проклятый» вопрос о «согласительной черте», связующей народ и интеллигенцию. Он будет отвечать на него всю жизнь и всей жизнью — в статьях «Ирония», «Стихия и культура», «Интеллигенция и революция». «Всем телом, всем сердцем, всем сознанием — слушайте Революцию»,— скажет поэт впоследствии.

Но он же скажет и так:

«Мы умираем, а искусство остается. Его конечные цели нам неизвестны и не могут быть известны. Оно единосущно и нераздельно.

Я хотел бы, ради забавы, провозгласить три простых истины:

никаких особенных искусств не имеется; не следует давать имя искусства тому, что называется не так; для того чтобы создавать произведения искусства, надо уметь это делать.

В этих веселых истинах здравого смысла, перед которым мы так грешны, можно поклясться веселым именем Пушкина».

Не правда ли, не слабо сказано?!

По моему суждению, выделение интеллигенции в некое «целое», обособление ее «культурно» и обсуждение ею народной жизни, лишь постольку поскольку это связано с собственным интересом,— знамение не только предреволюционного времени. Все это зримо стоит и перед нами. И сегодня. Реальная народная жизнь, а не воспоминание о ней — вот живительный источник, уберегающий эстетическое от элитарного вырождения.

Она возрождает эстетическое подобно струе свежей плебейской крови в боярском или царском семействе.

Друг другу мы тайно враждебны,
Завистливы, глухи, чужды,
А как бы и жить и работать,
Не зная извечной вражды!
. . . . . .

Предатели в жизни и дружбе,
Пустых расточители слов,
Что делать! Мы путь расчищаем
Для наших далеких сынов!
Когда под забором в крапиве
Несчастные кости сгниют,
Какой-нибудь поздний историк
Напишет внушительный труд...
. . . . . .
Печальная доля — так сложно,
Так трудно и празднично жить,
И стать достояньем доцента,
И критиков новых плодить...
Зарыться бы в свежем бурьяне,
Забыться бы сном навсегда!
Молчите, проклятые книги!
Я вас не писал никогда!

А. Блок, «Друзьям».

Прошу мне поверить: настоящие заметки мои продиктованы не очевидной страстью к литературному теоретизированию, не стремлением блеснуть эрудицией по принципу «и мы читали». Нет. Пером моим водит ностальгия по реальным и значительным проблемам литературы и жизни, обсуждавшимся великими предшественниками.

В безрассудстве стихотворца — что с него взять!— я пишу о тоске по подлинной философско-критической мысли, с презрением отвергающей мышиную возню «вопрекистов» и «благодаристов», борцов с «хорошим» во имя «лучшего» и т. д. Мне, например, трудно читать очередную, но как бы бесконечную дискуссию о положительном герое, ибо чиновники от литературы наивно мечтают: вот будет написан такой герой, придет в жизнь, и экономику наладит, и молодежь воспитает. Нет. Герои рождаются другим, более прозаическим способом, они живут, действуют и лишь потом приходят в литературу. И в прошлом, когда таких дискуссий было меньше, героев подобного рода было, пожалуй, больше.

Я принадлежу к людям, которые осуждают методы группового подавления и дискредитации чужого интеллекта путем апелляции к государственной власти. Полемика, не донос — и литераторы должны разбираться в литературной ситуации сами.

Мне претит метод развязывания узлов, предложенный Александром Македонским. Я не люблю литературную брань и люблю культуру аргументации.

Мне нравится высказывание Герцена, обращенное к славянофилам:

«Да, мы были противниками их, но очень странными. У нас была одна любовь, но не одинакая... И мы, как Янус или как двуглавый орел, смотрели в разные стороны, в то время как сердце билось одно».

Академик Д. С. Лихачев как-то высказал идею: целью общественного развития является достижение высшей культуры во всех областях человеческой деятельности. И средством достижения такой цели является тоже культура, которую надо вносить в любое живое дело.

Если это суждение справедливо, а, по-моему, оно справедливо, то культура сама должна развиваться культурно.

Я, например, верю в успех перестройки не потому, что на этот счет сделаны соответствующие заявления. Я верю потому, что действительно начинают устанавливаться гласность и демократизм, а значит,

и культура нашей политики, культура партийного руководства.

Реализм экономический, отрицающий бюрократический романтизм,— несоизмеримо более высокая ступень и не может не дать обнадеживающих результатов.

По моему разумению, возросшая культура политики должна неизбежно привести нас к политике культуры. И это не софизм.

Не мной замечено, что избыточная политизация литературы столь же непродуктивна, как и отсутствие в ней здоровой социальной идеи.

Избыточная политизация приводит к тому, что политическое становится расхожим местом, теряет эмоциональность, более того, начинает восприниматься как неэстетическое, отторгаться сначала чувством, а затем и сознанием. «Идея, как партизан,— по веселой метафоре М. Светлова,— должна работать так, что ее вроде бы и не видно, а она хозяин положения».

Мне пришлось быть свидетелем праздника есенинской поэзии, который был превращен неумными «политиками» в партийно-хозяйственный актив. И какими благодарными овациями зала было встречено выступление одного из писателей, открыто объявившего, что это праздник отечественной культуры, а не партактив, что «каждому овощу свое место», ибо «не хлебом единым сыт человек».

И как прямое отрицание такого рода «пролетарской культуры» звучат сегодня слова В. И. Ленина: «...взять всю культуру, которую капитализм оставил, и из нее построить социализм».

...Политика культуры несомненно приведет нас к уточнению, а в чем-то и пересмотру некоторых экономических и литературно-критических постулатов.

После XXVII съезда и в два последних года понятие «советская литература» существенно и плодотворно расширилось. В него вошли произведения и писатели, которые несомненно станут классикой советской литературы или ее весьма существенной частью. И все более и более возникает ощущение неполной тождественности понятий «советская литература» и «литература социалистического реализма». Как-то странно звучит, например, возможный термин «фантастика социалистического реализма». Или как объединить с ним (социалистическим реализмом) сказы Бажова, романтические притчи Грина, лирику Цветаевой, «Мастера и Маргариту» Булгакова?

Если художественный метод есть совокупность эстетических и общемировоззренческих принципов автора, которые нашли воплощение в его творчестве, то получается, что литература социалистического реализма в некоторой своей части написана разными методами. Так что же это за часть, которая не несет в себе существенных признаков целого?

Скажем, метод Гоголя, Достоевского, Льва Толстого, Тургенева, Гончарова — критический реализм. Но мировоззренчески люди эти очень разные. Так что даже в самом определении художественного метода нам есть над чем задуматься. Сказать же о литературе XIX века как о литературе критического реализма мы вообще не можем. Куда мы тогда денем, куда отнесем хотя бы одного А. К. Толстого?

Дело ведь не просто в уточнении терминов, хотя и это чрезвычайно важно. Без уточняющей типологии можно было бы и обойтись, будь советская литература эмпирически-эклектической в целом. Но ведь в целом мы действительно продолжаем строительство социалистической культуры при неизмеримо большей эстетической свободе и свободе по существу. Так не стоит ли нашей философско-критической мысли уже сейчас задуматься над более универсальной и обязательно более внятной для читателя формулой?

Формула «критический реализм» понятна читающей публике, она указывает границу метода, цель его и средства достижения этой цели. Но тот же «критический реализм» заставит нас непременно еще раз испытать на прочность термин «реализм социалистический».

От общественной мысли теперь ждешь нового качества суждений, перевешивающих количество защищенных кандидатских и докторских диссертаций.

На мой взгляд, в целом современное буржуазное искусство, пусть и не без исключений, устремлено к коммерческому успеху и не налагает ограничений на средства его достижения. Массовая культура там и частично у нас приобретает все более натуралистический, утробный характер. И есть большой общечеловеческий смысл противопоставить этому гуманизм как реализм подлинно культурного мышления.

Можно было бы, к примеру, повести речь о принципе социалистического гуманизма, который объединял бы всех литераторов, воистину отрицающих любые формы подавления личности, и прежде всего экономические и националистические.

Так уж сложилось исторически, что «поэт в России — больше чем поэт», литература в отечестве нашем — больше чем вид искусства. Поэтому здравое общее суждение о принципах ее строительства в момент перестройки так же важно для народа, как и реальный экономизм производства.

Такие вопросы, как народ и интеллигенция, непреходящее и злободневное, этическое и эстетическое — это вопросы строительства нашей культуры и важнейшей ее части — литературы. Если мы снимем вопрос о принципе, на котором базируется искусство, то придем к массовой культуре, к «коммерческому» творчеству. И если рынок в товарной экономике может оказывать благожелательное влияние на качество товара, то товарный подход к литературе заведомо приведет к успеху «познавательного» и «развлекательного».

Особую тревогу вызывает проблема «иерархии» ценностей. Ну, скажем, представление о советской классике. Уже довольно длительное время мы то сепарируем литературу до «эстетических» сливок, то обмолачиваем ее до повседневного жита. В зависимости от группового интереса те или иные имена то произвольно объявляются «великими», то вычеркиваются из литературы умолчанием или невниманием.

Подтверждение или установление советской классики — вопрос принципиальный, вопрос критериев. И передоверять его кому-либо общество просто не имеет права. Это в его собственных интересах.

Подлинная литература объединяет людей, а не разъединяет их.

Взгляните на ваши книжные полки: Л. Толстой, Достоевский, Тургенев, Герцен — едины здесь, как никогда при жизни.

Установление и утверждение советской классики необходимо еще и потому, что за рубежом давно, а у нас с недавних пор в разговорах или выступлениях нет-нет да и промелькнет идея о якобы примирении нашей литературы с практикой культа личности. Да разве те потери, те изъятия, те грандиозные разгромы, учиненные чиновниками от культа над многими лучшими писателями, не говорят об обратном? Мы знаем, в каких экстремальных условиях работали Шолохов и Леонов, Твардовский и Симонов, А. Толстой и Пастернак. Как трудно было Ю. Трифонову. Какие испытания пришлось пережить А. Ахматовой, Я. Смелякову, Н. Заболоцкому, М. Цветаевой и многим, многим другим.

И если соглашение было, то было оно со всемирной идеей социальной справедливости, с активно-гуманистическим мировоззрением социализма. Но никак не с культом личности. Сама же наша литература осуществляла и осуществляет художественное отрицание порочной практики культа. Но люди, купленные на корню, не верят в бескорыстие.

Принципиальная искренность, провозглашенная М. С. Горбачевым на январском Пленуме ЦК КПСС, может и должна стать основой развития прежде всего философско-критической мысли, ибо, как бы ни шифровал писатель свои убеждения — в иносказание ли, аллегорию, притчу,— объективное содержание проявится обязательно, если мы имеем дело с подлинным художником.

Но сама критика не имеет языка намеков и иносказаний, она не изображает действительность в художественных образах, и верю — поднимется до лучших своих работ. Время не ждет, хотя публицистика и журналистика во многом взяли на свои плечи заботу о текущей жизни. Но повторим Л. Н. Толстого: «Литература народа есть полное, всестороннее сознание его, в котором одинаково должны отразиться как народная любовь к добру и правде, так и народное созерцание красоты в известную эпоху развития».

Это сказано не почти сто тридцать лет назад, это сказано для нас сейчас, сегодня.

Народ ждет от литературы слова, равного деянию. Время торопит. Но надо «вовремя взяться за ум. Надо проникнуться спасительным недоверием к скоропалительно быстрому движению вперед, ко всякому хвастовству и т. д. Надо задуматься над проверкой тех шагов вперед, которые мы ежечасно провозглашаем, ежеминутно делаем и потом ежесекундно доказываем их непрочность, несолидность и непонятость. Вреднее всего здесь было бы спешить». (В. И. Ленин. «Лучше меньше, да лучше»)

В годовщину Великой революции, на знаменах которой написаны святые понятия: мир, труд, свобода, равенство, братство,— на разделенной и опасной для жизни планете советская литература должна напомнить всем народам мира о непреходящих общечеловеческих ценностях — истине, добре и красоте.

МАРК СОБОЛЬ

★

МОИ ДОРОГИЕ

— Мальчик мой, вы, оказывается, изрядно напиханы годами,— сказал мне Михаил Аркадьевич Светлов накануне моей «квадратной даты», сорокалетия.

С тех пор прошло — неужели вправду?— тридцать лет...

— Знаешь, как я жил раньше?— Это уже Ярослав Смеляков конца 60-х годов.— Новый год, Восьмое марта, Первое мая, День Победы, День Конституции, октябрьская годовщина... А теперь: Новый год, Новый год, Новый год!..

И еще один разговор мне припомнился, совсем недавний. Некий молодой поэт спросил:

— Чем вы сейчас живете?

Он-то подразумевал, наверно, материальную сторону, но я захотел понять иначе и потому ответил:

— Воспоминаниями.

— Воспоминаниями?— переспросил он.— А что это такое?

...Полтора века назад князь Петр Андреевич Вяземский писал В. Жуковскому и И. Дмитриеву: «Время уходит, и мы уходим. Многое из того, что видели мы сами, перешло уже в баснословные предания или и вовсе поглощено забвением. Надобно сдавать свою драгоценность в сохранное место».

Его сиятельство прав: надобно сдавать, а то не успеешь. Вранье, что незаменимых нет,— на самом деле нет заменимых. О многих, поскольку речь идет о писателях, уже опубликованы тома воспоминаний, однако это не помеха: то, что знаю лично я и в ряде случаев только я, никто не рассказал и не расскажет.

Есть известная формулировка жанра: штрихи к портрету. Я пытался сделать нечто иное — набросать штрихи характера. Разбросанность штриховки — от анекдота до станковой живописи — меня, признаюсь, мало смущает. Опаснее если невольно промелькнет в строчках или между ними что-то похожее на «я с Пушкиным на дружеской ноге». Надеюсь, что старый солдат-строевик сумел соблюсти дистанцию.

Без тех, о ком расскажу, меня как человека и писателя не было бы. Свой долг перед ними чувствую постоянно; оказаться несостоятельным должником стыдно. Вот почему (еще раз вспомним Вяземского) сдаю свою драгоценность в сохранное место.

МГНОВЕНИЯ

Я слишком мало и не близко знал Александра Трифоновича Твардовского, чтобы иметь право на многостраничные воспоминания. Вообще, к слову говоря, некоторые воспоминатели о великих меня порой ошеломляют. Даже барон Мюнхгаузен не выдавал себя за лучшего и любимейшего друга той или иной выдающейся особы. Однажды при мне Твардовский сказал: «Я совершил в жизни много ошибок, но, пожалуй, главная — это то, что я первым напечатал поэта Х. Меня подкупила нужная тема». А ныне Х. много и охотно печатает мемуары о взаимной любви, где Александр Трифонович ахает над его строчками («ахает» я не придумал, так и написано), превозносит его талант и т. п. По-моему, единственным из современников, кого Твардовский влюбленно хвалил, был Самуил Яковлевич Маршак. Об остальных, даже о дорогих ему людях он говорил и писал куда сдержаннее.

Кое-что из «сердца горестных замет» в память запало, о некоторых я и решаюсь рассказать.

Лет этак тридцать пять тому назад (теперь уже не стыдно об этом говорить) меня песочили на бюро секции поэтов за неплатеж алиментов — я в ту пору был

перманентно безденежен. Гонорары выручали до ужаса нерегулярно.

— Сколько вы должны платить?— спросил Александр Трифонович.

— Шестую часть...— пробормотал я.

— ...с названьем кратким «Русь»? — хмыкнул Александр Трифонович.

Честно говоря, я обиделся. А после бюро Твардовский отозвал меня в какой-то угол, вынул из кармана несколько бумажек, в ту пору больших и красочных, и, не глядя, не считая, сунул их мне.

— Прославитесь — вернете!

Это было произнесено тоном приказа. Он ушел так быстро, что мое «спасибо» вряд ли до него долетело.

Очень он разгневался, когда на общем писательском собрании стали выдвигать на премию, которая ныне именуется Государственной, одного поэта. Как ни странно, я начисто забыл, кого именно (ей-богу, правда!). Впрочем, если бы вспомнил — все равно от вас утаил бы. Твардовский, стоя на трибуне, громко читал его стихи, комментируя их пока что лишь каменностью скул и перебегающими по лицу тенями. Но в какой-то момент, после какой-то строчки — взорвался:

— Да я любого теленка в неделю научу писать такие стихи!

Вероника Тушнова, сидевшая рядом со мной, шепнула мне в ухо, очень довольная:

— Слышишь, любого! Даже самого бездарного.

Говорили потом, что Твардовский лично, по-житейски, совсем не худо относился к этому поэту. Но если речь шла о Поэзии, даже вообще о литературе, он был бескомпромиссен, формулировал порой беспощадно, не милуя ни друга, ни самого себя.

Все я приму поученья, внушенья,
Все наставленья в дорогу возьму,
Только за мной остается решенье,
Что не принять за меня никому.

Сказано очень спокойно, вроде бы даже с почтительным отношением к советчикам, но это спокойствие крутой скалы. Таким он был всегда, и говорится в его приведенных выше строчках не только о стихах, но и об оценках.

Вот эпизод, при котором я присутствовал. Не надо бы, конечно, но так вышло. Был один из писательских съездов, в перерыве меня подозвал Илья Григорьевич Эренбург. И в ту же минуту к нему подошел Твардовский. После коротких ритуальных «добрый день», «как поживаете?» и т. п. Илья Григорьевич сразу сказал:

— Я очень рад, Александр Трифонович, что вам понравилась моя книга «Люди, годы, жизнь».

Твардовский чуть нахмурился. Потом спросил:

— Можно по секрету и честно? Мне она вовсе не нравится.

Эренбург выпятил нижнюю губу: признак негодования или великого недоумения.

— Тогда почему вы ее печатаете?

— Во-первых, это Илья Эренбург. Во-вторых, это за советскую власть. В-третьих, это литература и история. По-моему, необходимо печатать, нельзя не печатать. А что касается моих личных вкусов и пристрастий, то вы уж не обижайтесь...

Я не знаю, существуют ли сейчас такие редакторы.

Твардовский не взял мои стихи в «Новый мир». Они прошли все инстанции, но споткнулись о главного редактора. И тот их, как говорится, зарезал. Я об этом еще ничего не знал. Я был уверен, что их опубликуют. И, конечно, по молодости лет поспешил похвастаться. Друзья мои радовались и откровенно — мы все тогда были нараспашку друг перед другом — завидовали.

Поздно вечером мне позвонил Александр Трифонович и объявил свой не подлежащий обжалованию приговор. Форма отказа вряд ли была дипломатичной, но суть — неопровержимой. Он четко и коротко объяснил, почему мои стихи ему «не показались». Я понимал, что речь его ни в коей мере не подготовлена, но она сложилась в его мозгу как бы юридически сформулированной. Я стоял у телефона нашей коммунальной квартиры почти что по стойке «смирно». Если б Твардовский владел высокопарно-официальным слогом, он бы, наверное, начал так: «Именем поэзии...»

Прошло время, и однажды, улучив подходящую минуту (кто помнит Твардовского, тот знает, что минуты у него бывали разные),— словом, случилось так, что я смог задать вопрос, тысячу раз у меня возникавший.

— Почему, Александр Трифонович,— спросил я,— вы лично, да еще по телефону сообщили, что не будете печатать эти стихи? Ведь то же самое мог сделать любой сотрудник редакции в письменном виде, отнюдь не ссылаясь на вас. Почему лично вы мне в ту ночь позвонили?

Твардовский ответил мгновенно:

— Я знал, что это вас огорчит. А от

меня вам огорчение перенести легче. Неужели лучше получить стандартную отписку?

А потом засмеялся, потрепал меня по плечу и лукаво-торжественно произнес дермонтовскую строчку:

— И звезда с звездою говорит...

Те стихи так и остались (если остались) в пыльной сумятице моего архива. Однако историю неудачи с ними я все-таки вспоминаю с удовольствием. Даже, честно говоря, с гордостью.

В те годы, когда все поголовно ходили на праздничные демонстрации, у писателей существовала некая заслуживающая уважения традиция. Пока наша колонна, застряв на улице Герцена возле консерватории, топталась на месте, начальство наше — Александр Трифонович был в его составе — успевало с трибун посмотреть военный парад, затем с Красной площади добраться до нас и влиться, так сказать, в массы. А потом все вместе мы торжественно шагали по гулкому булыжнику мимо кремлевской стены, Мавзолея Ленина, храма Василия Блаженного...

Стоять у консерватории было занудно. Для поднятия духа многие заправлялись пивом, им торговали чуть ли не в каждой подворотне. И вот однажды пиво исчезло. Начисто! Одна газировка без сиропа, отвратительно теплая, не утоляющая жажды гортани и души. Напрасно мы с боевым журналистом и писателем, бывшим летчиком Леонидом Коробовым шныряли по подворотням — всюду одни проклятые сатураторы.

Вдруг я услышал повелительное:

— Соболь!

Александр Трифонович Твардовский — в шляпе, в роскошном коричневом плаще реглан с широкими карманами, большой и празднично импозантный — стоял неподалеку и манил меня эдак пальчиком

— Вы чего тут с Лешкой мечетесь? Пива ищете? Эх вы... надо было предвидеть. Беги за стаканами.

Я, осчастливленный и еще не веря счастью, добыл у газировщицы три граненых стакана. Мы зашли в подворотню. Александр Трифонович Кио извлек из каждого кармана по бутылке. А когда все до капли было прикончено, Твардовский вдруг погрустнел.

— Вы оба моложе меня,— сказал он,— я умру раньше вас. И поставят мне памятник на Миусской площади. И буду я стоять вот так.— Он показал как: величественно, по-наполеоновски скрестил на груди руки, закинул голову и устремил взор в горние дали.— А вы придете однажды утречком, выпьете, трахнете бутылку о пьедестал, посмотрите на меня, заплачете и скажете: «А мы с ним в подворотне пиво пили...»

Почему он вообразил себя именно на Миусской площади? Может, потому, что она ближайшая к той прямой магистрали, к тому кратчайшему пути, что лег по Москве от Пушкина к Маяковскому и Горькому? В ту пору площадь была большой и пустынной. А может, просто так, беспричинно сказал, подвернулось нечаянно и сорвалось с языка...

Леня Коробов ушел раньше, чем Александр Трифонович. На Миусской площади давно стоит памятник А. А. Фадееву в окружении его героев.

Но памятник Твардовскому, я уверен, когда-нибудь поставят. И я, если буду жив, приду однажды утречком, выпью, трахну бутылку о пьедестал, посмотрю вверх и заплачу...

ВОЛШЕБНИК С АВОСЬКОЙ

Поздней осенью шестьдесят пятого года заехал ко мне старый друг, сибиряк по рождению, характеру и месту жительства, ровесник и литератор. Бывает, что и у таких крепких людей как-то не заладятся обстоятельства, личные и деловые невзгоды начнут наслаиваться друг на друга, остается одно спасительное средство: дорога. Дорога и надежные товарищи.

Мы сидели, грустили, я давал добрые и, наверное, не слишком разумные советы, чем окончательно запутал гостя. Вдруг среди разговора он схватил телефонную трубку, начал набирать номер... Только начал, а потом остановился, словно что-то его испугало, и, медленно бледнея, положил трубку на место.

— Я хотел позвонить Михаилу Аркадьевичу... — тихо сказал мой друг.

Он забыл, на минуту забыл, что уже больше года нет на земле доброго волшебника Михаила Светлова. Человека, который делился «всем своим запасом волшебства», умел выручать и любил дарить. Я писал когда-то, что «в каждом человеке скрыт волшебник»,— надо было добавить, что запасы у всех неодинаковые.

Весь вечер потом мы вспоминали Михаила Аркадьевича — не его стихотворения и книги, а того Светлова, что так уютно сидит рядом, сыплет пепел себе на пиджак и, забавно прищурясь, говорит: «Мальчик мой...» Вспоминали черточки, бытовые мелочи, не опасаясь оскорбить или как-ли-

бо измельчить память о нем, по крупице воскрешая для себя его облик.

Не знаю, в какой таре приносил свои дары Гарун аль-Рашид. Деду-морозу положен мешок, а у Светлова была авоська. Она, если можно так выразиться, очень шла ему.

Вот он подходит ко мне и заговорщически просит взаймы странную сумму — девятнадцать рублей.

— Понимаете, в чем дело..., — чуть смущенно говорит он. — Сегодня у гардеробщика Кузьмы Афанасьевича день рождения, ему шестьдесят четыре года. Сейчас поздно что-то купить, и я хочу подарить ему шестьдесят четыре рубля. (По-сегодняшнему 6 рублей 40 копеек.)

Я встречаю Светлова на зимней московской улице. Вопреки времени и погоде он похож на «дачного мужа»: в обеих руках по авоське, там картошка, кульки, торчит рыбий хвост, разнокалиберные свертки...

— Идемте вместе,— зовет он меня. — Художник М. вчера, устроив тотальную мобилизацию ресурсов, закатил свадьбу по высшему разряду, а сегодня они одиноко припухают в огромной холодной мастерской... Им будет приятно, если мы зайдем.

Кстати, хоть чуть ли не все знакомые разрешали себе обращаться к Светлову на «ты», мы с ним всю жизнь были на «вы»; с годами он стал для меня Миша, Мишенька, я с первой же встречи — Маркони. Алеша Фатьянов изобрел Маркел, но это не привилось. Для старых друзей я по-прежнему тезка знаменитого итальянского радиотехника...

Вернувшись с целинного Алтая — чуть не полгода «только пыль, пыль, пыль» от крутящихся колес попутных машин по Кулунде, степным и предгорным районам, Чуйскому тракту,— возвратясь в Москву, Светлов написал пьесу в стихах «С новым счастьем». Я, его спутник по алтайским странствиям,— комедию со стихами и песнями. Поначалу он собирался писать обязательно прозу, я — категорически поэму. Должно быть, целина сама по себе была драматургична. Некоторые места из светловской пьесы я с упоением цитировал всем и всюду. Например, у него приезжает на Алтай городской наивный мальчик типа «очкарик». Бывалый приблатненный парень насмешливо спрашивает: «И ты за славой?» «Нет, я за Клавой»,— смущенно отвечает юноша. Так вот Светлов просит дать ему почитать мою пьесу. Я жду его оценки с понятной робостью.

— Понимаете, Маркони... — чуть тянет он по телефону.— Если взять все лучшее, что есть у вас, и все лучшее, что есть у меня, была бы одна неплохая пьеса...

На каком-то из совещаний тех дней бойкий молодой человек наставлял поэта: надо изучать жизнь, без точного знания материала нельзя браться за перо и т. п.

— Простите,— перебил его Михаил Аркадьевич,— а вы точно знаете, что Серый Волк съел Красную Шапочку?

Это я вычитал в рукописи режиссера Оскара Ремеза. А вот что рассказывает поэт Марк Юдалевич. Где-то на Алтае ему и Светлову встретился великий враль и хвастун в облике колхозного бригадира: и целину-то без него не освоили бы, и подходящую погоду именно он предсказал, а может, и обеспечил... Когда бригадир на минуту вышел, Светлов спросил у Юдалевича:

— Как ты думаешь, у него есть зимняя шуба?

— Наверное...

— А вот и нет! Если была б — он бы ее носил и летом...

Милых дежурных по гостинице, к их удовольствию, Миша называл «прелестницы при лестнице»...

Я пишу это отнюдь не для пополнения «светловианы», антологии знаменитого светловского юмора. Я пытаюсь показать характер, в котором остроумие было одним из самых главных проявлений — во всяком случае, наиболее заметным. Но если чутко прислушаться, где-то на самом донышке, в глубинной сути, затаены, законспирированы грусть и одиночество. Общеизвестна его блестящая шутка: «Что такое вопросительный знак? Это состарившийся восклицательный!» Господи, был когда-то молодой, быстрый, уверенный, а годы согнули, ссутулился, притих, в чем-то покорился: чего изволите? Думаю, что из всех острот Светлова эта самая характерная. Не «смех сквозь слезы», а за смешным афоризмом — нелегкая наша жизнь. Не «кавалерия острот», а Росинант печального весельчака.

Но недаром же Михаил Аркадьевич был волшебником! Однажды он сказал: «Стихи должны быть инфекционными». Он и в жизни заражал нас всех чуть ли не мальчишеской (по его биографии — комсомольской) верой в прекрасное, неприметно заставлял открыться с лучшей стороны, мы все становились какими-то (здесь вовсе не каламбур) просветленными. Я мог бы поименно перечислить тех, кого мне сегодня до скрежета зубовного не хватает, первым назову Светлова.

У него была аллергия к фальши. Он был бы встревожен растущей угрозой инфля-

ции святых слов «добро», «истина», «совесть». Уж очень ловко ими сейчас манипулируют люди, у которых, как давным-давно сказал Михаил Аркадьевич, «совесть — женская болезнь мужчины».

Вернемся, однако, к житейской прозе. Светлов был мастером по введению в стихи прозаизмов; последую его примеру.

...Июль. Жарко. Мы, несколько друзей, усаживаемся в моторку: нам плыть за «Солнечную поляну», километров пятьдесят по каналу Москва — Волга, в деревню Юрьево, где Светлов поселился у какой-то гостеприимной старушки и уговаривает нас устроиться по соседству. Авоська доброго волшебника на сей раз наполнена флакончиками духов, шоколадными плитками, засунут сверток с какими-то салфеточками...

— Мужиков там трое: два инвалида войны и один пастушонок,— рассказывает Михаил Аркадьевич. (Дело было в конце первого послевоенного десятилетия.) — Кругом женщины, и все далеко не амазонки... Амазонкам до них далеко, как воробьихе до Мариэтты Шагинян.

Тогда мы не доехали до Юрьева — застряли на дебаркадере «Солнечная поляна». Там служил начальником дебаркадера отставной морской офицер, тяжело раненный в боях,— Леонид Кузьмич. Конечно же, замечательный парень и уже один из лучших друзей поэта. Ему нужны были какие-то срочные советы, и... словом, мы задержались у Кузьмича до глубокой ночи.

А среди ночи вдруг стал причаливать заблудший пароходишко. Напрасно Кузьмич звал каких-то Васька и Петра, те давно растворились в непроглядной, дурманящей пахнувшей сеном темноте июльской ночи: звезды, наверное, задохнулись от духоты. Мы подскочили к борту дебаркадера, там не горело ни единой лампочки. Кузьмич замахал длинным, цилиндрической формы фонарем и заорал:

— Светлов — на корму! Соболь — на нос! Светлов, трам-тарарам, хватай чалку!

Михаил Аркадьевич старательнейшим образом исполнял все команды, прослоенные непереводимыми российскими подбадриваниями. Пароход — во всяком случае, с нашей стороны — был пришвартован быстро и по всем правилам. Ручаюсь, что в эти минуты Светлов чувствовал себя, как везде и всегда, на своем месте. Он оставался невозмутимым при любых изменчивых обстоятельствах. Он делал свое, нужное в данную минуту дело.

На фронт его сперва не пускали, а он считал, что в данную минуту нужен именно там. Когда все-таки прорвался, отметился в штабе или политотделе, то предпочел исчезнуть из поля зрения начальства. Стали искать — все же не просто свой корреспондент из дивизионки, а Михаил Светлов! — и выяснилось: находится в боевом охранении батальона, дальше на передовой только ничейная полоса, а за нею немцы...

Мне сложно объяснить более молодым друзьям, что такое передовая и боевое охранение, попробуйте представить себе по фильмам или книгам. Перед высоким начальством Светлов смог появиться лишь через четверо суток.

— Небось хватанули страху? — зло спросило начальство. — Головы небось нельзя высунуть?

Михаил Аркадьевич спокойно ответил:

— Можно. Только отдельно.

Мне хочется отдалить расставание с ним, до сих пор тоскливо и страшно приближаться к черте, за которой кунцевская больница, редкие всплески надежды, неожиданные его появления то в ЦДЛ, то в южном доме творчества («И под кипарисом можно дать дуба»), а потом 2-я Градская и безысходность...

Еще немного расскажу, потому что кто же, если не я. Иногда у Светлова спрашивали — мол, помнишь, ты говорил то-то и то-то? Миша отмахивался:

— Спросите у Маркони, он лучше знает.

Знать-то я знал, только, дурак, не записывал. Я в ту пору слово «склероз» произносил еще с ухмылкой.

Многое все-таки отпечаталось в памяти дословно. Попробую сейчас кое-что изобразить, заранее ощущая горестные потери при переводе с устной речи на письменную. Вступления мои, остальное — М. А. Светлова.

Представьте себе боевого майора, сразу после войны приехавшего в Грузию, чтобы познакомиться с родственниками жены Родам Ираклиевны из славной, возможно княжеской, фамилии Амирэджиби. Под чинарой накрыт пиршественный стол. Во главе стола — дедушка. По обеим сторонам — дяди и тети, от старшего к младшему. Внимание, рассказывает Светлов:

«Первым встал младший по возрасту дядя.

— Уважаемые гости и родственники! Я хочу выпить этот бокал за то, чтобы был жив и здоров наш дорогой зять («зя-ат»— произносит Миша с грузинско-еврейским акцентом), который не зря носит имя Михаил, которое носил великий русский поэт Михаил Юрьевич Лермонтов, а наш зять тоже пишет стихи.

Тетя пропускается. Встает следующий по старшинству дядя.

— Уважаемые гости и родственники! Я не хочу быть банальным и не люблю вторичности, но и я хочу выпить за то, чтоб был жив и здоров наш дорогой зять, который, как правильно сказал предыдущий оратор, не зря носит имя Ми-ха-ил, которое носил великий русский полководец Михаил Илларионович Кутузов, а наш зять тоже военный человек.

Тетя пропускается. Встает дядя.

— Уважаемые гости и родственники! Я также, как здесь уже было сказано, не хочу повторяться и не люблю банальности, но и я пью за то, чтоб был жив и здоров наш дорогой зять, который, как правильно сказали предыдущие ораторы, не зря носит имя Ми-ха-ил, которое носил великий русский ученый Михаил Васильевич Ломоносов, а наш зять тоже кое-чего понимает.

Пауза. Все смотрят на дедушку.

— А я не буду пить за то, чтоб был жив и здоров наш дорогой зять,— неожиданно говорит дедушка. И, наслаждаясь эффектом, повторяет: — Да, я не буду пить за то, чтобы был жив и здоров наш дорогой зять!

Очень долгая пауза. Дедушка радостно хохочет и сразу становится умилительно торжественным.

— Когда наш дорогой зять подъезжал к городу Тбилиси, на проводах сидела птичка. (Миша произносит «п'тичка».) И эта птичка п е р в а я своим чириканьем приветствовала нашего дорогого зятя. Выпьем за эту птичку!»

Меру доподлинности в рассказах Светлова определить не берусь, тем более что детали порой варьировались. Но вот случай, как я полагаю, стопроцентно достоверный.

Москва, улица Горького. Лето. Жарко. С Мишей идет его сын, восьмилетний Сандрик.

— Папа,— говорит мальчик,— а ведь ты когда-нибудь станешь старенький и не сможешь работать. А я вырасту большой и буду много зарабатывать. И ты придешь и попросишь: «Сандрик, дай мне на сто грамм». И я дам тебе на сто грамм. Хорошо это, папа?

— Замечательно.

— Ну вот,— удовлетворенно кивает Сандрик. — А пока что купи мне мороженого.

Дважды я видел Михаила Аркадьевича обиженным. Первый раз — в дни, когда всемирно отмечался юбилей Леонардо да Винчи. Кто и чем обидел Светлова — ей-богу, не помню. Я пытался утешить его, кто-то из товарищей решил это сделать с помощью лести:

— Вы, автор прославленной «Гренады»...

Я не успел вмешаться: Миша не слишком любил, чтобы все, написанное им, сводили к одной «Гренаде».

— Мальчик мой, это было так давно, что мне кажется, будто меня зовут Гренада да Винчи...

А потом был случай с одной литературной дамой. Она взялась учить Михаила Аркадьевича поведению на собраниях: что дозволено высказывать и от чего следует воздержаться. Указания, понятно, шли от имени народа. Поэтесса приобщилась к народу, попав на некоторое время в осажденный город. Однако паек она там получала далеко не по общей норме. Светлова ее кудахтанье почему-то крупно огорчило. Я удивился: он же давно знаком с нею, пора бы привыкнуть.

— Вы правы! — оживился Михаил Аркадьевич. — Она в бомбоубежище занималась вязанием и с тех пор думает, что спицы приняты на вооружение.

...2-я Градская больница. Отдельная палата. В соседней недавно умер Василий Гроссман, Миша о его смерти не знает. Он и сам-то вот-вот уйдет, если... Ярослав Смеляков принес лекарство, которое, может быть... Лекарство, добытое с немыслимым трудом, называется НРВ, о нем восторженно говорят врачи, это какой-то особый экстракт на основе нефти. Светлов просит дать понюхать бутылочку с темно-коричневой жидкостью.

— Дело пахнет керосином...

В следующий раз, когда мы опять пришли вдвоем со Смеляковым, Светлов пытается заговорить, но у него уже нет сил.

— Что ты хочешь? — допытывается Ярослав.

Еле слышно:

— Подняться...

Он тяжко расставался с надеждой. Однажды в минуту краткого полегчания попросил отпустить его домой — был какой-то праздник. Врач разрешил.

— Поедете вместе с медсестрой, к вечеру вернетесь. Согласны?

Светлов не ответил. Потом врач услышал не шепот, а шелест:

— Бессмысленно...

ЯР

Хочу рассказать об удивительном поэте и очень нелегком для себя и других человеке. И сразу — миллион сомнений над каждым эпизодом: а надо ли, а можно ли?

Марк Твен сказал: когда сомневаетесь — говорите правду.

...Время как город: в нем площади и проспекты, но есть или существовали кривоколенные переулки и тупики...

Фамилия моего следователя была — Онегин. Ко мне он относился, видимо, неплохо. Во всяком случае, предупредил, что ночной вызов из камеры с вещами — лишь для перевода в другое место заключения. «Подарочек ко дню рождения»,— подумал я: завтра, 4 января, мне исполнится семнадцать.

Посреди асфальтового двора, ослепленного прожекторами, стоял автофургон, «воронок». За спиной захлопнулась дверь с решетчатым окошком, я прошел через тамбур, узкий коридор между отдельными отсеками, и очутился как бы в салоне, в тускло освещенном помещении, где за столом барачного типа сидели человек семь-восемь, разные по виду и возрасту, но чем-то похожие друг на друга. Какая-то общая тень, подобие пыли, лежала на их лицах и даже одежде. Я сел на скамейку рядом с парнем в кепке. Все остальные были в зимних шапках: мороз, на коротких прогулках схватывало уши...

Захотелось курить: мы, по традиции, отдали остатки табака соседям по камере — на новом месте утречком получим паек. Но машина все не трогалась. Мы стали выворачивать карманы — вдруг высыпятся хотя бы пылинки курева. Полетело на пол мельчайшее черт те что: обрывки трамвайных билетов, обломки спичек, всяческая труха...

И тут парень в кепке, ткнув перстом в образовавшуюся на полу кучку, торжествующе заявил:

— Вот!

— Что — вот?

— Теперь я понял, за что меня посадили.

Я поглядел на парня внимательнее, он мне понравился. Невысокий, худощавый, постарше меня, но не так чтоб намного. Кепка сдвинута чуть не до бровей, нос крючком, губы книзу. А в общем, чем-то похож на моих соучеников по рабфаку. Только с таким с ходу не заговоришь: взгляд исподлобья, в глазах невыговоренное «отстань!». Но все-таки я рискнул, спросил, откуда он, как зовут. Парень ответил ошарашившим вопросом:

— Стихи любишь? Поэтов знаешь?

Я больше разозлился, чем удивился. Псих он, что ли,— нашел время и место для разговоров о поэзии! Я молча отвернулся, но он, должно быть, что-то про меня угадал. Схватил за плечи, развернул к себе, по-ястребиному вонзился в глаза.

— «Любку Фейгельман» читал?

Господи, «Любку»?! Да мы же все наизусть знали это стихотворение, для наших ребят в ту пору любимее и знаменитее не было. «Отошли вагоны, отцвела трава...»

— А кто ее написал — знаешь?

Только тут я ответил:

— Ярослав Смеляков.

Он сразу отпустил меня, расслабился, руки повисли. И лицо его снова стало угрюмым.

— Я и есть Ярослав Смеляков.

...Ему было назначено жить «безо всякого отъезда в дальнем городе Инте». Так он скажет много лет спустя в стихотворении «Воробышек», стихи войдут в книгу «День России». В 1967 году Ярослав Васильевич Смеляков за «День России» получит Государственную премию СССР. В шестом томе Краткой литературной энциклопедии мы прочтем: «По необоснованному обвинению был репрессирован»... Но это футурум цвай, второе будущее время.

В Инте Ярослава ждали. По некой таинственной цепочке, по «лагерной параше», долетел слух. И добрые люди заранее добились для поэта привилегированной должности — не то счетовода, не то хлебореза (вот где житуха!). Словом, обеспечили, чтоб ему быть не в «доходягах», а в «придурках».

Ярослав категорически отказался. Только на общие работы!

— Я не хочу думать! — заявил он.

«Кайло и лопата» в его стихах подлинны. Валуны мозолей от этого, как говорят в армии, шанцевого инструмента были на его ладонях. Он имел право сказать от первого лица:

> ...железо и камень тесал
> и сам я от этой работы
> железным и каменным стал.

Однако «я» в этом стихотворении куда больше, чем личное местоимение. Пойдем дальше по строкам. Стихи написаны в иное время, в другой обстановке. Они называются «Мое поколение» — стало быть, речь идет не от имени персонально Ярослава Смелякова, а от имени поколения, если не вообще советского Рабочего Человека. Вслушайтесь в интонацию: поэт уверен в своем равноправии с героем, в единстве с ним. Поэтому и чудится, будто говорит живой монолит:

> Я стал не большим, а огромным —
> попробуй тягаться со мной!

Как Башни Терпения — домны
стоят за моею спиной.

Вот в чем дело! Вот почему он пошел не в хлеборезы, а в рудокопы. Вовсе не из-за желания ни о чем не думать (как будто это возможно!), а по великой душевной необходимости делать г л а в н о е, быть вместе со страной, ее пятилетками, ее людьми, ощущать себя на переднем крае, какими бы, как ныне говорят, экстремальными ни были обстоятельства.

Пусть реальный мир ограничен вышками и колючей проволокой. В себе он их стер, как в черновике стирают строчки чернильной резинкой, терзая бумагу и собственную кожу — там, где в кончиках пальцев нервные окончания.

Он действительно не хотел думать о том, что отбывает срок. Он шел в забой приполярной шахты «не в услуженье, а на службу», добывая право на слово от имени всех, кто в самом прямом смысле трудится, своими руками создает материальное богатство страны...

Отложите недоумения, если они у вас возникли, погодите возражать, пока не дочитаете этот раздел до конца. Я припас безоговорочное доказательство.

...Весть о том, что Ярослав возвращается в Москву, грянула нежданно. Он думал, что телеграфирует жене, но Дуся давно уже была не его женой. Она лишь согласилась на два-три дня освободить комнату, когда Ярослав приедет.

Кто-то взволнованно сострил: Яр верен себе, он прибывает на вокзал своего имени — Ярославский.

Мы пришли туда скопом: старшие товарищи, ровесники, молодые, даже не знакомые с ним лично ребята. Марк Лисянский хлопнул себя по лбу: черт, не догадались, надо было перехватить поезд за две-три остановки, а то приедет в чем был. Тех, кто знал Смелякова раньше, тревожило: каким вернется? остался ли прежним, порой до грубости прямым, резким, только не равнодушным? Пусть будут от него злые обиды, пусть нахамит, случалось и такое, лишь бы не оказался сломленным.

Поезд шел вдоль перрона так медленно, будто под колесами не рельсы, а тесто.

В дверях вагона показался Ярослав. Он был хорошо, даже элегантно одет. В шляпе, при галстуке. Сухощавый, безулыбчивый, немногословный. Поздоровался спокойно и корректно, это насторожило: не в его характере.

Все ушли, вагон опустел. Не помню, почему я задержался на перроне. И увидел, как бочком-бочком, сторожко оглядываясь, из вагона вышел Михаил Луконин. То-то мне показалось, что на Ярославе знакомое пальто! А Миша и Яр одного роста. Вот кто, значит, куда раньше нас учуял первейшую необходимость. Нет, неточно сказано; вот кто был (потом оказалось — на всю жизнь) самым истинным другом.

В маленькой комнате в Спасо-Песковском уже шумело застолье. Все суетились, восклицали, перебивали друг друга, Ярослав сидел молча и отчужденно, словно между ним и нами некая невидимая преграда. Но вот постепенно включился в разговор, потом захохотал, хлопнул соседа по плечу, громко и властно сказал:

— Тихо! Буду читать стихи.

Когда в накаленных дыханьем потемках
над пеной твоею, морская волна,
наш флаг поднимал броненосец «Потемкин»,
хваталась за Яшкину руку она.

Но в эту минуту, объятый отвагой,
он сам, кроме красного флага того,
он сам, кроме этого алого флага,
не видел, не слышал, не знал ничего.

«Строгая любовь»!.. Кажется, тогда поэма называлась как-то иначе. Не в этом дело. Перед нами воочию и слышимо творилось чудо. Ликующе воскресала молодость страны, первая ее пятилетка, сплав энтузиазма и нищеты, соловьиное самозабвение сердец и «отформованный из железа» максимализм — и пронзительны были в строчках мудрая ирония и торжественная ностальгия поэта. Мы забыли, что это стихи,— мы жили. В 30-е годы и сию минуту. Вместе с героями поэмы, включая самого автора.

Несколько тетрадок — вот почти весь багаж, привезенный Ярославом из Приполярья. В них все, чем он жил, все, что нажил. И оказалось это — событием. Забавно и грустно читать нынешние анонсы иных поэтических вечеров: автор написал десяток стихотворений, вызвавших в узком кругу шумок, а на афише — «Новые веяния в поэзии». Реклама — она, конечно, двигатель, но зачем заранее окуривать помещение фимиамом? Осенним вечером на Спасо-Песковском никто высоких слов не произносил. Была минута ошеломления — и Евгений Винокуров прямо-таки выхватил тетрадку из рук Ярослава. Он, Винокуров, тогда заведовал поэзией в журнале «Октябрь». Чуть ли не в ту же ночь «Строгую любовь» прочел главный редактор «Октября» Федор Иванович Панферов. И втиснул поэму в очередной, полностью сверстанный, готовый к печати номер.

Прошел месяц — и уже не только мы, друзья поэта, но вся читающая Россия

взволнованно повторяла полузабытое имя: Ярослав Смеляков...

«Сказал, что у него «слоновья шкура», которой не пробить никакой пулей. На самом деле он жил и без обыкновенной человеческой кожи». Это Эренбург о Маяковском. А я цитирую Илью Григорьевича потому, что тут все применимо к Смелякову, хоть Яр о «слоновьей шкуре» ни разу, насколько знаю, не говорил. Просто считал себя непробиваемым, а был до мельчайшего кровеносного сосудика незащищенным.

Поэты (особенно малозначительные) не прочь напомнить, что они существа ранимые. К сожалению, это правда. Но кто из великих позволял себе скулеж? Пушкин, измочаленный унижением и ревностью, грызя ногти, писал «Памятник». Полумертвый Блок величаво кланялся Пушкинскому Дому — последняя строка начинается со слова «тихо»; поэт меньшего масштаба написал бы «низко»...

Я приметил, и это подтверждают воспоминания и биографии, что выдающиеся поэты (они, как правило, удобные мишени) инстинктивно создают вокруг себя некий заслон, ограду — словом, «не тронь меня!». Порой спроста, уходя в Москву кабацкую, порой крутя перед собой тяжкую палицу из арсенала словесности. А иногда спасаясь за частоколом острот; подробнее скажу об этом, если примусь писать книгу о Михаиле Светлове. Умнейший Твардовский по-крестьянски основательно, хоть вряд ли с заранее обдуманным намерением, сумел возвести забор из собственной неуправляемости...

Для Ярослава способом защиты было нападение. Не дожидаясь повода, не соблюдая правил. Никаких формальных ограничений не существовало, ранг или возраст атакуемого во внимание не принимались. В писательской — тем более в окололитературной — среде легенды о его, скажем прямо, грубости живы и сегодня. Кто-то придумал о нем: раненый медведь. Да, в общем, похоже: тут еще и походка вразвалку, мгновенное бешенство взгляда, угрожающе склоненная голова. Даже маленькие кисти рук тяжелы...

Более нежного человека, чем Ярослав, я не знал.

Попробуем разобраться.

Он любил знаменитые тютчевские строки «И нам сочувствие дается, как нам дается благодать». Сегодня «сочувствие» стало как бы синонимом слова «жалость», а высокая русская «благодать» низведена в быт. Смеляков любил повторять, что во времена Тютчева «сочувствие» означало сопричастность, обостренное сопереживание, со-чувствие. Однажды Ярослав сказал мне: «Ты же знаешь, как я к тебе нежно отношусь»,— и это хрипловато и небрежно брошенное наречие меня не удивило. Просто мы числим нежность по ведомству любви, а ее куда больше именно в сочувствии.

Расскажу один случай.

1966 год, Кемерово, зональное совещание молодых писателей. Комнаты, в которых ведут семинары Смеляков и я,— по обе стороны коридора, дверь в дверь.

Среди моих «семинаристов» — Жанна, крохотулька, дюймовочка, не поверишь, что ей восемнадцать, уже не школьница. Только начала читать стихи — и вдруг является Ярослав. Он объявил у себя перерыв и теперь воеводой обходит владенья. Я вижу, как Жанна бледнеет. Она знает: никакой дипломатии, никакого смягчения приговора иронией тут не будет. Голос ее, и без того тоненький, срывается в жалобный писк. Но дочитывать надо.

Бац! — это Смеляков бьет ладонью об стол.

— Развел, черт бы тебя взял, детский сад! Говорим по-крупному о поэзии, а здесь колибри чирикают! У меня один Витя Крещик — поглядишь в глаза: ведь убьет кого-нибудь. А ты каких себе нахватал?..

И пошел, и понес. Жанна заплакала. Молодые поэты были в восторге — они, как правило, кровожадны. А я с великим трудом уговорил Ярослава уйти и не мешать нам работать. Утешать плачущих девушек не умею, поэтому тут же предложил перекур. Стихи у Жанны были плохие, но нельзя же добивать человека.

После конца совещания в ту пору полагался банкет. Я пригласил Жанну за свой стол, она все еще была подавлена. Знаю, на себе испытал: синяки от ударов Смелякова проходят не скоро.

Впрочем, застольное балагурство — отличный допинг. Но в какой-то миг я увидел в ее глазах смятение, почти ужас. По залу, несомненно кого-то разыскивая, шел Ярослав. Он шел, как боксер на ринг, чуть враскачку, набычив голову, стиснув кулаки. Молча остановился у нашего столика, помолчал, посопел. Мы тоже молчали. Неожиданно Ярослав разжал кулак и выронил на скатерть перед Жанной какой-то черно-красный комок. Что-то натуго смятое и влажное. А потом круто повернулся и зашагал обратно к своей компании. Жанна потрогала комок, от него отделилось нечто вроде легкого перышка. И тут вдруг

она разрыдалась. Я ничего не понимал, пока сам не взял в руки черно-красный шарик.

Это была — роза.

...Много лет подряд Ярослав был председателем нашей московской секции поэтов (теперь она именуется творческим объединением; по-моему, тут очень кстати русская поговорка насчет хрена и редьки). На одном из перевыборных собраний раздался женский вопль: нельзя Ярослава, он хам!

— Ну и что? — лениво спросил Ярослав. — А когда вы меня впервые выбрали, я был иным, что ли? Вот если б я на этой должности сделался хамом, тогда другое дело...

Но сколько тогдашних молодых до сих пор вспоминают о его поддержке, о добрых, пусть колючих, его напутствиях! Честно говоря, он порой старался оправдать нелестную репутацию: давая юному — стало быть, неимущему — поэту безвозвратную десятку, тут же расписывался на ней: дарю автограф! Стихи свои — высокую поэзию — читал с эстрады как бы нехотя. Пробить его панцирь легче всего было юмором, я часто прибегал к этому способу. Вот Смеляков, за что-то озлясь, кричит мне:

— Сколько ты написал на меня доносов?

Я отвечаю:

— Скажи сам сколько, и я соглашусь, а то я скажу «десять», а ты будешь спорить — нет, двенадцать.

Яр смеется и поднимает руки: сдаюсь.

Многое я про него понял — точнее, почувствовал — на спектакле Театра имени Ермоловой «Пушкин». Не знаю, хороша или нет была пьеса, не знаю, каков был спектакль. Но артист Всеволод Якут в роли Пушкина меня потряс. Он сыграл — Поэта! Каким чудом ему это удалось? Как наш общий с Ярославом друг Сева Якут проник в то, чего поэты сами про себя не знают, во что-то неуловимое, но угаданное и воплощенное пронзительно точно? На сцене жил просто человек, но он был велик. Просто поэт, но — это Пушкин.

После спектакля я помчался за кулисы. В коридоре стояли Сева и Яр. Может быть, Пушкин и Смеляков, я не различил. Они схватились, сцепились в объятие, они молчали, и по лицу Ярослава лились слезы.

А наутро Ярослав был обычным, всегдашним. Кто-то ехидно заметил, что одна строчка в его стихах заимствована у поэта Б — кого.

— Сама-то по себе строчка удачная? — спросил Смеляков. — Тогда зачем же ей стоять в хреновых стихах, пусть лучше будет в хороших.

Да, Ярослав не раз утверждал, что пишет лучше всех нас, что он, так сказать, поэт номер один. Но это ведь тоже входило в его систему обороны. Печальный опыт обрек его на ежеминутное ожидание удара — беспричинного, с самой неожиданной стороны, исподтишка. Он инстинктивно, сам того не ведая, создавал для себя призрачную гарантию неприкосновенности. Но мне памятны его ночные звонки (Светлов говорил: дружба — понятие круглосуточное), выверка стихов на чужой слух, признания в собственной беспомощности. Мы жили в одном подъезде, Ярослав, случалось, приходил с новыми строчками в три, в пять утра, бил себя кулаком в лоб: маразм, склероз, опять не получилось! Наедине он умел спокойно выслушивать самую безжалостную критику.

Однажды он собирался зайти ко мне под вечер, а явился во втором часу ночи грустный и непривычно растерянный.

— Скажи мне правду! — потребовал он.— Когда я перед тобой выхваляюсь, тебе очень тошно?

Я не решился ответить, лишь пожал плечами.

— Понимаешь,— сказал Ярослав,— я три часа просидел с таким-то (имени не назову.— *М. С.*). И все три часа он втолковывал мне, что он первый поэт России. Это так противно!

Существует байка. Поэтам, как солдатам, дана команда рассчитаться по номерам. И все до единого выкрикивают: первый, первый, первый!.. На деле-то некоторые признают себя вторыми, но уж десятым — никто. Терпеть не могу эту мелкотравчатую арифметику! Сошлюсь на свою строчку: «А кто есть кто — века распределят».

Не знаю, как насчет номеров, но одно несомненно: Ярослав Смеляков — огромное явление в нашей поэзии. Я бы взялся это доказать, но, во-первых, стихи сами по себе есть доказательство, а во-вторых, тут не рецензия и не статья. Если помните, я вначале приводил поэтические строчки, мне хотелось делать это и дальше, но поймал себя на том, что пойдут сплошные цитаты. «Я своих поэтов знаю наизусть»,— говорил Смеляков еще в памятной «Любке». Об одних его эпитетах можно смело писать диссертацию: «Смотрел м у ч и т е л ь н о Марат»; молодой Пушкин, «мальчик черный, прокурат и либерал», «п о - н а х а л ь н о м у покорно» назвал своим учи-

телем Дениса Давыдова; «мертвая жизнь Колчака»; «зыбкая кровля дождя»... К выходу книги Ярослава «День России» я, имея на руках еще только верстку, написал большую статью, заглавием была его строчка: «Непременный гражданин».

...Во 2-й Градской больнице умирал Михаил Светлов. Ярослав однажды произнес на удивление необычные для него слова: «Уходит мой старший брат и учитель». В больницу мы с ним часто ходили вместе.

А Мише становилось все хуже и хуже. Мне выпало на долю провожать многих, но тут я боялся, что не выдержу. Я убегал из палаты покурить, а на самом деле отплакаться. Такого со мной никогда еще не было. Ярослав понимал: на эти минуты меня лучше оставить одного.

— Я его люблю,— говорил он.— А ты его обожаешь.

И вот — сентябрьский день, занавешены зеркала в Центральном Доме литераторов, толпа в здании и у входа, посреди зала лежит странно помолодевший Михаил Аркадьевич.

Надо вставать в почетный караул, а меня бьет дрожь. Вдруг сообщают: идти не четверками, а по восемь; там, где стоял один человек, теперь встанут двое. Я не приметил, как Смеляков что-то шепнул руководителям церемонии, только подумал: с кем выпадет стоять? Уже на ходу Ярослав пристраивается ко мне, мы вдвоем плечо к плечу заступаем на горестный пост. Ярослав сильно, крепко-накрепко стискивает мою руку. Теперь я могу стоять спокойно.

Если бы только это одно, только это мгновение нашей жизни соединяло нас, я б все равно остался навсегда благодарным Ярославу.

* * *

Очень хотелось бы, чтоб чуть выше в скобках стояло «продолжение следует». Но одного желания мало, хотя многое, как говорится, в работе.

Л. Н. Толстой в дневниках и письмах последних лет частенько употреблял некий шифр «е. б. ж.». Это означало «если буду жив». Брать пример с классиков не грех, поэтому разрешу себе закончить так: продолжение следует, е. б. ж.

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

★

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Евг. Канчуков. Ветер века.— **Микола Рябчук.** Собор в строительных лесах.— **В. Камянов.** Таежный пейзаж с медведем.— **С. Вайман.** Душа, не знающая меры.

ПОЛИТИКА И НАУКА

Константин Кедров. Обновленная утопия.— **Сергей Яковлев.** В объятиях левиафана.— **М. Вашкевич.** Теоретик, публицист, издатель.

Литература и искусство

ВЕТЕР ВЕКА

Октябрь в советской поэзии. 1917—1987. Л. «Советский писатель». 1987. 779 стр.

Предисловие к книге «Октябрь в советской поэзии» Г. Филиппов закончил цитатой из Евтушенко. Тем самым он словно замкнул полный круг, очерченный антологией, соединил поэта-современника и открывающего книгу Маяковского. Не будь этого подчеркнутого соседства, не возникло бы, наверное, и переклички голосов Владимира Маяковского в «Оде революции» и куда более позднего Вознесенского:

...тебе,
изъязвленная злословием штыков,
восторженно возношу
над руганью реемой
оды торжественное
«о»!
О, звериная!
О, детская!
О, копеечная!
О, великая!

Любая антология, даже составленная из рук вон, уникальна прежде всего динамикой своего движения сквозь время. Под ее обложкой зримо для читателя соседствуют великие б ы л о, е с т ь, б у д е т.

Любая реальность много мудрей толкований о ней. Однако чем мудрей толкователи и чем больше их, тем верней проявляется то, о чем они ведут разговор.

Октябрьская революция — реальность, которая и по сей день кажется фантастикой в силу исполинских своих масштабов.

«Она сродни природе...— писал Александр Блок 9 января 1918 года.— Революция, как грозовой вихрь, как снежный буран... она жестоко обманывает многих; она легко калечит в своем водовороте достойного; она часто выносит на сушу невредимыми недостойных; но — это ее частности, это не меняет ни общего направления потока, ни того грозного и оглушительного гула, который издает поток. Гул этот все равно всегда — о в е л и к о м».

Именно поэтому перед составителями антологии, взявшимися представить нам Октябрь в советской поэзии, стояла задача чрезвычайной сложности. И спрос с них особый. Вдвойне еще и потому, что увидела свет эта книга в год юбилея революции.

Сразу нужно сказать, что блоковских «частностей» составителям удалось избежать. Сегодня (а книга сдана в печать в феврале 1987 года), когда «открыты» имена, на

долгое время отодвинутые в тень, мы вправе бы рассчитывать увидеть их в общем ряду, но нет, дальше прихожей (предисловия) их пока не пустили. И дело здесь, думаю, не в опасениях, что могут они хоть как-нибудь повлиять на «общее направление потока» (еще Булгаков аршинными буквами выводил в своем письме Советскому правительству очевидное: «ПАСКВИЛЬ НА РЕВОЛЮЦИЮ ВСЛЕДСТВИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ ЕЕ ГРАНДИОЗНОСТИ НАПИСАТЬ НЕВОЗМОЖНО»), дело здесь скорее в том, что введение в антологию стихотворений З. Гиппиус, Д. Мережковского, того же В. Ходасевича, даже М. Цветаевой потребовало бы совершенно иной концептуальной конструкции книги.

«Октябрь в советской поэзии» — третье издание, и воспользовалось оно опытом двух предыдущих. Слов нет, хронологический способ построения обладает целым рядом неоспоримых достоинств (вполне реализованных, к слову, в настоящем издании), но важнейшее на сегодня дискуссионное начало к ним не относится...

Впрочем, все это скорее пожелания, чем претензии.

Книга «Октябрь в советской поэзии» структурно поделена на пять крупных частей (1917—1921, 1922—1940 и т. д. до наших дней), в которых представлены, без преувеличения, все или почти все произведения нашей поэзии за семь десятилетий, так или иначе трактующие октябрьскую тему. По сравнению с предыдущим изданием книга обновлена почти на треть. Причем изменения эти отнюдь не косметического характера и все они, в общем, целесообразны. Каждое новое стихотворение, как новый штрих, как мазок, как виток бинта на лице уэллсовского человека-невидимки, лепит образ совершенно бесплотного, всегда ускользающего и все же необходимого для каждого из нас понятия, имя которому Время.

Трудно представить, скажем, что до настоящего издания пореволюционный раздел не включал знаменитую хрестоматийную «Балладу о гвоздях» Н. Тихонова, строки которой «Гвозди б делать из этих людей крепче б не было в мире гвоздей» — на устах, уверен, даже у тех, кто и понятия не имеет о содержании баллады и о том, кто ее автор.

Н. Тихонов представлен в антологии широко (в этом издании шире чем в предыдущем), и это справедливо. Но Тихонов 20-х — поэт выбора, математически, шахматно точного «да» и «нет». Всеобщее ощущение того, что

В изверившейся, немощной Европе
Мы — первые строители-вожди.

Мы — первые апостолы дерзанья,
И с нами все: начало и конец...

Это ощущение порождало позицию:

Поэт-мудрец, безумствуй и пророчь,—
Иль новый день в невиданном сиянье,
Иль новая, невиданная ночь!

Позиция такая тогда действительно была приоритетной (ее диктовало время, и она мощно представлена в антологии классикой: Маяковским, Есениным, Блоком), но позиция эта была не единственной. Между тем в новом издании вдруг сократился А. Белый, странно переосмыслился В. Хлебников («Волю всем» дали в другой редакции — тем дело и кончилось). Русский космизм в итоге оказался едва приметным ручейком, а Вл. Нарбут чуть ли не единственным, кто — традиционно по тем временам,— попирая «околевшее Вчера», пел «обетованную страну» Сегодня. Но о Завтра он писал:

И Завтра... веки чуть приподняты,
Но мглою даль заметена.

Между тем время песен «о ветре, о ветре, обутом в солдатские гетры» (Вл. Луговской),— это время уже было на пороге, исторически подтверждая предвидимую поэтом мглу.

Следующий раздел (1922—1940), на мой взгляд, лучший в книге. Наверное, можно б заметить... ну, скажем, что на Мандельштама здесь опять не хватило места, а он в тридцать пятом в Воронеже написал, кажется, специально для этой антологии, помните:

Да, я лежу в земле, губами шевеля,
Но то, что я скажу, заучит каждый школьник:

На Красной площади всего круглей земля...

Но ведь насколько удачным оказалось введение в этот раздел Н. Клюева (жаль только — в этот, в предыдущем, я думаю, он был бы еще более кстати), П. Васильева, Н. Ушакова. Существенно шире представлены национальные поэзии наших республик. Рядом с Маяковским, Тихоновым, Корниловым, Берггольц, Кульчицким, Светловым имена Кулешова, Айбека, Хаким-заде, другие; и имена эти — не декор: их голоса полновесны, значимы в общем соборе. Очень точно, мне кажется, здесь выделены составителями (за счет умелого подбора) интонации времени: от летящих, песенных Б. Корнилова, М. Светлова вплоть до мало

известной широкому читателю ностальгии по Октябрю, всерьез зазвучавшей во второй половине 20-х.

Семь лет
не одни подогнуло колени.
За эти
семь лет —
Качнуло Японию,
умер Ленин.
Марс подходил к Земле.

Как раз с середины 20-х Октябрь и Ленин становятся ключевыми образами советской поэзии, знаками бытия, прочной опорой в драке с бытом, пожирающим завоевания революции, самую память о ней:

Он вновь поднялся.
Октябрем разбитый,
Копейками дней звеня...
(Товарищ критик,
не я против быта,
а быт —
против меня!)

Дальше следует уже только куда менее декларативный, но необыкновенно выразительный, осязаемый почти физически «Герой» Н. Ушакова — апофеоз размеренного, что дождь за окном, существования:

Когда-нибудь за пять минут
тебя тромбоны отпоют.
И на гражданской панихиде
оратор по наряду
выйдет
и скажет слово как-нибудь,
что в жизни,
а не в смерти суть,
что жизнь воспринимают разно
у нас
и в странах буржуазных.

Очистительным глотком после этой все крепчающей «качки» приходит следующий раздел книги (1941—1945). Он короток, тверд и однозначен. По праву. Земля наша не знала больше такого противостояния.

Каждый второй из членов писательской организации ушел на фронт, каждый третий из них не вернулся.

Их не нужно жалеть, ведь они б никого не жалели. Нужно помнить. И утверждением этой памяти в антологии раньше всего звучат четыре строки П. Когана, восстановленных в его «Лирическом отступлении». Строки-водораздел, написанные на грани Великой Отечественной, они воистину служат обеспечением иных, тех самых, из письма Когана с фронта сорок второго: «Знаешь, здесь оказалось, что сумбурная наша юность мудрей, чем мы предполагали. Об очень многом мы очень правильно догадывались». Так и было.

Но, людям Родины единой,
Едва ли им дано понять,
Какая иногда рутина
Вела нас жить и умирать.

За этим водоразделом — уже война. Двадцать четвертая годовщина Октября в стихах таджика Абулькасима Лахути, двадцать пятая — в прекрасном посвящении Бориса Пастернака «1917—1942» («Заколдованное число!..»).

Заколдованное число!
Ты со мной при любой перемене.
Ты свершило свой круг и пришло.
Я не верил в твое возвращенье.

Военный раздел книги, пожалуй, самый цельный. И все же новые включения здесь иногда не совсем удачны. Я понимаю и разделяю добрые чувства составителей к литературному наследию Семена Гудзенко, но не уверен, что без его «Баллады о знамени» этот раздел обеднел бы заметно (речь, конечно, не о качестве стихов — о соответствии их тематике книги). То же и в отношении «Гоним эмира» Н. Ушакова, поэта, так ярко прозвучавшего в довоенные годы.

Но уж совсем непостижимым кажется отсутствие ряда имен (и в их числе Эренбурга, Слуцкого) в следующем, послевоенном разделе (1946—1967). «Ленина звали «Ильич» и «Старик»...», «Я перевел стихи про Ильича...», наконец, «Декабрь 41-го года» Бориса Слуцкого, ставшее классикой советской поэзии, где «Ленин учит нас презренью к смерти. как прежде воле к жизни обучал»... Как миновали они страницы этой книги? Неясно. А куда улетел «Спутник» Эренбурга из предыдущего издания?..

Послевоенные годы — это смена поэтических поколений. Рядом с уже прославленными тогда именами Твардовского, Симонова, Заболоцкого — имена, слава которых только грядет: Межелайтис, Рождественский, Евтушенко. Одновременно происходит крайне важный для понимания поэзии того времени процесс дальнейшей персонификации революции и Октября в образе вождя, в образе Ленина. Стихи Твардовского, Солоухина, Гамзатова, наконец, «Лонжюмо» Вознесенского (здесь дан полный текст поэмы), помещенные в антологии, позволяют читателю проследить этот процесс в деталях. Одновременно усложнялись представления о революции, ее родословной, ближних подступах, истоках, делались первые попытки восстановления исторической памяти (Мартынов, Наровчатов, Винокуров).

Сны революции и ее ветер становятся знаками лирического и публицистического начал революционной темы в советской поэзии. А строки Твардовского:

За годом — год, за вехой — веха.
За полосою — полоса.
Нелегок путь.

Но ветер века —
Он в наши дует паруса —

могут быть подняты на знамя поэзии Октября в 50 — 60-е годы. Да и не только в этот период.

Процессы, происходящие в поэзии последних двух десятилетий, а именно их объемлет завершающий раздел книги (1967—1987),— процессы эти очень сложны, болезненны и всерьез изучены крайне слабо. Конечно, нет дистанции еще между нами и этим двадцатилетием, но дело, похоже, не только в этом.

Первое, что сразу же бросается в глаза при чтении последнего раздела,— обилие поэм. Действительно: «Огонь революции» Анатолия Аквилева, «Ленин, том 54» Виталия Коротича, «Казанский университет» Евгения Евтушенко, «Двести десять шагов» Роберта Рождественского — все это поэмы... В стихотворениях повороты поэтической мысли осторожны, острых углов и резких теней, в общем, не много.

Октябрь, ты—мой отец, а мать—держава,
Как верный сын, скажу вам, не тая:
«Когда в мой уголок заглянет слава,
То это — слава ваша, не моя!»

Здесь все на виду. В поэмах вопросы ставятся и решаются куда резче, но там, на большом поэтическом пространстве, им легче и затеряться. Тем более что в последние десятилетия хроника, документ, факт обращают на себя все большее внимание поэзии. А освоение их уже само по себе как бы даже вменяет в обязанность автору чисто научную методу: неспешную трактовку, предположительность выводов. Да и время к этому подталкивало. И все это в антологии тоже подмечено и проведено очень открыто. Но, к чести составителей, ими замечено и другое: очистительная сила Октября, социальной памяти.

Оживают старые фотографии у Кирсанова:

...глядят со стен
и подтверждают сами,
что тот,
кто был ничем,
стал всем
и всеми нами!

Возникает и разговаривает с поэтом «девочка из города Казани»:

...в берете голубом,
народоволка с чистым детским лбом,
с косой жгутом, с осанкой благородной,—
не дочь циничной бомбы водородной,
а дочь наивных террористских бомб.

Наконец, приходит на Красную площадь лирический герой Рождественского и просит:

Дай мне
уверенности твоей,
Красная площадь!
И помоги мне
себя отыскать —
завтрашнего...

«Мы и революция»,— говорили раньше, теперь все чаще звучит: «революция и ты». Ты, конкретный человек, житель нашей земли, нашего времени.

...Семь десятилетий, представленные нам составителями книги «Октябрь в советской поэзии», непросто подвести под общий знаменатель. Вопрос, собственно, так и не ставился, думаю... И все-таки. Возможность соотнесения личности и Октября, необходимость поверки собственной личности высокими идеалами революции безо всяких скидок на время и обстоятельства — такая возможность и необходимость утверждаются в книге как обязанность, как гражданский долг каждого. В этом — главный итог антологии, с лихвой искупающий все претензии и замечания к ее составителям.

В 1956 году Евгений Евтушенко написал строки о революции:

Ты —
мужество решений,
направленность судьбы,
и празднества свершений,
и будничность борьбы.
Ты —
чувств и мыслей зрелость,
ты — знамя, и рычаг,
и смелость,
смелость,
смелость
в поступках и речах.

С упоминания этих строк я начал разговор о книге «Октябрь в советской поэзии», ими закончу. Образ революции, созданный в них поэтом, на мой взгляд, точно соответствует духу книги и требованиям, которые сегодня время предъявляет к каждому из нас.

Евг. **КАНЧУКОВ.**

★

СОБОР В СТРОИТЕЛЬНЫХ ЛЕСАХ

Олесь Гончар. Собор. Роман. Перевод с украинского. «Роман-газета», 1987, № 7.

В конце 70-х годов на встрече со студентами Олесь Терентиевич Гончар получил записку, ребячливую по тем временам: «Что Вы можете сказать о своем романе «Собор»?» Писатель ответил коротко: «Могу сказать, что я его написал».

Более подробных разъяснений никто и не требовал: среди студентов еще жили предания о массовых исключениях за чтение не одобренных в инстанциях книг и наличие о них собственного мнения, да и писательские «покаяния в содеянном» в памяти пока не стерлись.

Олесь Гончар в «содеянном» не раскаивался, хотя его «Собор», напечатанный в 1968 году, был сразу же изъят из библиотек. Усердствовали соискатели ученых степеней, проявлял бдительность академик Шамота, возмущались романом Гончара в коллективных письмах «шахтеры» и «металлурги».

Но пока пресса дружно поносила, а потом долгие годы замалчивала роман, народ читал «запрещенную» книгу, передавая ее из рук в руки.

Сегодня, когда роман вышел в переводе на русский язык сразу двумя изданиями (в приложении к журналу «Дружба народов» и в «Роман-газете»), общим тиражом около трех миллионов экземпляров, термин «застойные явления», применяемый к развитию русской или, скажем, грузинской культуры недавней поры, звучит по отношению к украинской культуре по крайне мере эвфемистично: точнее было бы говорить о репрессивных мерах, осуществленных в 1972—1973 годах и направленных против многих талантливых писателей, деятелей искусства, культуры, образования. Красноречивы многие публикации в республиканской периодике того времени. Автор одной из них, например, обличает «апологию кулачества» в произведениях Г. Тютюнника и Е. Гуцало, другой — выискивает у В. Коротича проявления украинского буржуазного национализма и даже чувство умиления перед немецкими асами, бомбившими Киев...

В энергичном разгроме романа Гончара определенную роль сыграла, быть может, и узнаваемость его отрицательного героя. Но главное — в другом. «Собор» засвидетельствовал выход украинской прозы на новый уровень проблемности и реалистичности. Тому есть многие доказательства — достаточно вспомнить хотя бы «Набережную, 12» В. Шевчука, «Мертвую зону» Е. Гуцало, рассказы Г. Тютюнника, «Как на войне» Ю. Щербака, «Катастрофу» В. Дрозда (опубликованную в журнале «Вітчизна», 1968, № 2 и не переизданную до сих пор). Поворот украинской прозы от былого благодушия к острой аналитичности «Собором» обозначен с особой четкостью. Написанный в характерной для украинской прозы 50-х годов романтико-поэтической манере, сбивающийся подчас на высокий слог старинных трагедий, «Собор» содержал в себе нечто принципиально новое: с поразительной интуицией Олесь Гончар заметил, а еще больше — почувствовал синдром опаснейшей социальной болезни, именуемой приспособленчеством. Пожалуй, впервые за долгие годы и даже десятилетия самым большим (и социально важным!) открытием украинской прозы стал образ отрицательного героя — «выдвиженца».

У Володьки Лободы (а речь о нем), правда, нет своеобразного лоска, «элегантности», ловкости, свойственных, скажем, героям В. Дрозда, С. Есина, Ю. Трифонова или Э. Ветемаа (его «Монумент» был написан до «Собора», но в переводе на русский и украинский языки появился тоже в 70-е годы). Неповоротливость мысли, даже туповатость (чего стоят, например, все его «культурные» новшества!) выдают в нем, безусловно, птицу невысокого полета, типичного провинциального бюрократика («...был я инструктором, а теперь сам инструкторишек гоняю»,— хвастливо заявляет он). И все же есть что-то, не позволяющее нам снисходительно улыбнуться над жалкой «имитаторской» суетой этого водевильного, в общем-то, «выдвиженца», по недомыслию посаженного кем-то «на культуру». Теперь мы отлично знаем, как опасна бывает воинственная посредственность на руководящем посту, в какое жутковатое новое качество способно преобразоваться непомерно разросшееся количество таких вот взалкавших карьеры и власти деятелей. Вспомним хотя бы статью М. Захарова «Сколько стоит некомпетентность» в «Советской культуре» (от 29 ноября 1986 года)! Или совсем недавнее выступление писателя из Ивано-Франковска С. Пушика в журнале «Украина» (1987, № 23), где слишком уж зарвавшиеся местные «разрушители соборов» названы наконец поименно! Но всех ведь не перечислишь!..

Впрочем, сказав о «соборах», вспомним чернобыльскую катастрофу, ее административно-бюрократические истоки и предпосылки.

«Дай вам волю,— говорит Володьке Лободе его старый отец,— все сокрушите! Ничего святого для вас... Вам лишь бы крошить, ломать, людей сгонять с их родных мест!..» «Ох,— вторит ему другой персонаж,— сколько у нас еще забирает энергии такой труд-суетня, труд-показуха, деятельность мнимая, изнурительная, а на самом

деле никому не нужная и, по сути своей, бессмысленная...»

Лобода — гений показухи; он, собственно, и карьеру свою начал с «гениальной» идеи: к юбилею Переяславской Рады посоветовал одеть собор в строительные леса. Реставрировать его, естественно, никто не собирался, но «внимание» к памятникам старины имитировалось таким способом вполне успешно. После этого Лобода подал немало других идей: крытый рынок, например, построить на месте собора или молодежное кафе — такое, «что в области ахнут». Вот это «ахнут» (заметят! оценят! повысят!) — пожалуй, главная движущая пружина всей «имитаторской» деятельности выдвиженца. Да еще желание во что бы то ни стало покончить с собором, ставшим уже притчей во языцех вместе с его «потемкинскими» лесами. При этом Лобода готов даже слезу пустить над «национальным наследием»: «Да разве я против традиций? Разве я безбатченко какой-нибудь, бродяга беспачпортный? В казацком стиле ведь можно все оформить...»

Жизнь превосходит все литературные ожидания: одна украинская газета напомнила недавно о принятом двадцать лет назад решении создать на острове Хортице историко-культурный заповедник «Запорожская Сечь». За двадцать лет построили... ресторан «в казацком стиле». Впрочем, и насчет «стиля» не следует обольщаться: минет несколько лет после 1967 года — и тот же Лобода, почувствовав новую конъюнктуру, со рвением примется искоренять из вверенной ему отрасли все эти нежелательные словечки вроде «Сечь», «запорожцы», «казаки» и прочие и прочие — вплоть до «сепаратистского» слова «киевский» в названии гостиницы «Киевская Русь».

Лозунг «Не давай пощады старосветчине!», изреченный В. Лободой, мог бы смело поместить на своей обложке, скажем, «Украинский исторический журнал», долгие годы трактовавший историю Украины исключительно в пределах XX века и почти не допускавший на свои страницы материалы, выходящие за эти рамки.

Жизнь действительно превзошла многие опасения и предчувствия, высказанные О. Гончаром в «Соборе», где, в частности, речь идет о грозной экологической ситуации, надвигающейся на идиллический мирок рабочего поселка на берегу Днепра, поглощаемого огромным индустриальным городом. На эти темы уже много писали и пишут: о кислотных дождях, прожигающих листья, о ядовитых дымах, висящих над промышленными районами, о миллионах гектаров плодородных земель, затопленных искусственными «морями» («Собирались море сделать, а сделали болото! — возмущается старый сталевар Изот Лобода.— Гнилью цветет, на всю Украину смердит! Летчики носы затыкают, когда пролетают над ним... энергетики задрипанные!»). Публицистический пафос «Собора», как справедливо замечает в послесловии к роману С. Баруздин, актуален и поныне. Здесь показаны самые разные проявления администрирования — начиная с какой-нибудь нелепой борьбы местных властей с козами, якобы виноватыми в нехватке в стране белого хлеба, или с урезывания приусадебных участков и кончая бездумным сжиганием газа («Это наши денежки горят»,— замечает один из героев романа).

При всем разнообразии и даже несоизмеримости подобных явлений их нетрудно объединить одним словом: бесхозяйственность. И конкретную личность за каждым из этих явлений увидеть тоже нетрудно: наш старый знакомец В. Лобода! Володька Лобода — не какое-то там «родимое пятно капитализма». Наоборот, он — что ни на есть самый настоящий продукт нового общества, а точнее — продукт каких-то весьма серьезных нарушений в его устройстве и функционировании.

Это открытие, мне кажется, испугало в какой-то степени даже самого автора — не случайно ведь многие проницательные суждения он вложил все-таки в уста «скептика» Ромчика, а не главного положительного героя Миколы Баглая. Хотя тот же Микола, по свидетельству автора, «чувствовал какую-то правду в словах Ромчика», в его «укусах и приперчиваниях». «Он — сила! — говорит Ромчик о Лободе.— Не Архимед, не Галилей — чиновник идет по свету, он задает тон... Его мечта — видеть вокруг себя легионы одинаково мыслящих, на меня и на тебя он смотрит как на сырье, как на руду, из которой нужно болванку выплавить». (В украинском издании 1968 года эта реплика, кстати, отсутствует.)

«Приперчивание» ли это? Или, быть может, вполне трезвый взгляд на серьезнейшую социальную опасность, силу, пытающуюся и сегодня всю нашу перестройку окружить эдакими бутафорскими строительными лесами, видя в них цель своей имитаторской деятельности?

«Теперь стало модно карьеризмом ругаться,— рассуждает Володька Лобода.— А давайте вдумаемся. Что плохого, когда работник стремится к здоровой карьере?

Разве это не стимул?.. В конце концов, кому в нашей жизни открыт путь к карьере (разрядка моя.— *М.Р.*)? Тому, кто лучше работает, кто напористей, инициативнее, кто больше сделал для общества... Работай лучше, пойдешь выше... Таков закон жизни». В другом месте он излагает этот «закон жизни» достаточно откровенно: «Жизнь такова, батя, что нужно напробой идти, живохватом! Только тогда чего-то достигнешь...»

Понять «сокровенный» смысл его слов, в общем-то, не так уж трудно, если только помнить, что конкретно означают для него «работа», «напористость», «инициатива». Великолепным образчиком этой «работы», а заодно и примером «напористости» вместе с «инициативой» является возведение бутафорских лесов вокруг собора, превращенного в склад комбикормов. Есть в романе один замечательный эпизод, как нельзя лучше характеризующий «инициативность» Лободы,— когда он созерцает красоту днепровских плавней и его вдруг осеняет очередная «гениальная» идея: «Затопить или, напротив, осушить?» Вы заметьте: он еще толком не знает, затоплять ему эти самые злополучные плавни или осушать, он не задумывается даже, зачем это нужно делать (объяснение можно придумать и позже), но он спинным мозгом чувствует: нужна «инициатива», «почин», не важно какой — осушить или затопить, повернуть реки или прорыть каналы, создать искусственные моря или построить атомные станции возле миллионных городов, скрестить кокосовый орех с тыквой или воспеть перестройку, вырыть самый глубокий котлован в мире или, объявив встречный план, кого-нибудь перегнать и что-нибудь перевыполнить. Одним словом, поставить строительные леса, нисколько не задумываясь, что с ними делать дальше.

И вот тут-то пора, наверно, назвать обнаруженную в «Соборе» общественную болезнь ее настоящим именем, тем более что в нашей жизни такой диагноз наконец-то поставлен и первые терапевтические меры уже применяются (свидетельство чего, в частности, и сам факт переиздания романа О. Гончара «Собор»). А обнаружены были в «Соборе», мне кажется, не искорененная и после XX съезда социальная демагогия, разрыв между словом и делом, двойная, так сказать, идеологическая «бухгалтерия».

И студент Микола, возмущенно говоривший о тех, «которые днем нас морали учат, а ночью— отучают», схватывал суть дела, пожалуй, довольно точно.

Каких же защитных фильтров и клапанов недостает общественному механизму для пресечения «здоровой карьеры» таких вот «выдвиженцев»?

В романе «Собор» мы, естественно, не найдем столь распространенных и обнадеживающих нас сегодня слов «гласность» и «демократизация». И все же ряд зпизодов в романе приводит нас, как мне кажется, именно к этим понятиям. Я имею в виду прежде всего борьбу за спасение собора и, в частности, энергию коллектива, проявляющуюся в этой борьбе, а еще более — ощущаемую в потенции. И хотя писатель пытается разрешить конфликт, в общем-то, типичным для прозы тех лет способом — вмешательством «положительного» вышестоящего начальства («сам секретарь обкома товарищ Дубровный заинтересовался» вопросом),— конфликт этим все-таки не исчерпывается. Как бы опережая возможные упреки критиков, писатель их высказывает устами одного из своих героев. «Отрадный факт, конечно, что на свете есть такие положительные секретари...— рассуждает Ромчик Орлянченко.— Но меня интересует эта ситуация в несколько ином плане: почему, например, судьба того же собора, народного архитектурного памятника, должна зависеть от настроения, от субъективной воли одного человека, пусть даже и вполне положительного?» На этот вопрос писатель предлагает лишь полушутливый ответ одного из героев: «Плохих секретарей не бывает, заруби себе это на носу, парень. Заруби и больше не болтай на эту тему, если хочешь в туристские (заграпоездки.— *М. Р.*) ездить».

А ведь пока нет подлинного ответа, остается обреченным на гибель Микола Баглай, в одиночку бросающийся против бесчинствующих в соборе хулиганов, и остается «обреченным» на процветание временно проигравший, но не отступивший Лобода.

Судьба собора как своего рода главного положительного героя романа, как символа стойкости народного духа и его неистребимости, символа исторической памяти и величия народа, его способности преодолевать любые трудности и созидать по законам красоты — вопреки силам разрушения — остается и сегодня открытой.

Возвратим ли мы окружающим его строительным лесам их подлинный, созидательный смысл или оставим их в роли привычной показушной бутафории — этот вопрос выходит далеко за пределы романа «Собор», написанного в 1967 году.

Микола РЯБЧУК.

Киев.

★

ТАЕЖНЫЙ ПЕЙЗАЖ С МЕДВЕДЕМ

Сергей Алексеев. Рой. Роман. «Наш современник», 1986, № 9—11

Встречая уже в начальных главах романа специальную лексику пчеловодов, приложенную к людским делам, проявим выдержку. Не станем спешить с выводом, будто автор намерен искушать нас аллегориями, призывая к равнению на тружениц пчел.

Вовсе без аллегоричности тут, правда, не обошлось, и к этому еще предстоит вернуться, но удельный ее вес невелик. Басенная эстетика, вырвись она на простор, сковала бы свободу авторской мысли. А у той — непочатый край работы. Среди прочего и с пчелами-труженицами не так просто разобраться. Пчелы ведут себя нервозно, норовят покинуть пасеку, зажить по дикому обычаю, и пасечник тщетно пытается вернуть рой из тайги.

Кому-то из персонажей даже приходит в голову догадка, что пчелы принялись чудить следом за людьми, по-своему отзываясь на разлад и непокой в людских душах. А брожением и смутой охвачены души людей крепкой крестьянской закалки, жителей деревни Стремянка, поставленной на берегу сибирской реки вятскими переселенцами.

Многое мешает согласию сельского мира. А среди прочего — бурный подъем пчелиного промысла и, как следствие, расселение жителей по таежным пасекам.

Автор, однако, не накладывает социологических схем на сложные нравственные процессы. Насильно не подтягивает психологию к социологии. Он создает многоплановый роман о движении Времени, о не рвущихся скрытых связях между годами минувшими и днем нынешним. О потаенной жизни тайги...

А тайга эта бедствует. И лишь отчасти по вине местного леспромхоза, уже, впрочем, откочевавшего на другие угодья. Если бы автор списал таежные недуги на безответственность хозяйственников и культ отчетной цифры, получилось бы, возможно, еще одно хлесткое обличение общественного зла. Но скорее всего в ущерб эпическому строю повествования. С. Алексеев делает упор на другое.

Каким это образом, к примеру, в глухом таежном крае вдруг пошло в гору пасечное хозяйство, да так круто, что самые расторопные пчеловоды лопатой деньги гребут, двухэтажные хоромы возводят, новенькие «Волги» гробят на здешних колдобинах? Не было бы счастья, да несчастье помогло: напал на тайгу шелкопряд, начисто обглодал листву и хвою на сотнях гектаров; затем высохший, мертвый лес стал добычей огня, образовались черные пустоши, гари, а по гарям, поощренный дружной весной, вымахал кипрей — пчелиное лакомство. Пашни были заброшены, деревня расползлась по хуторам, зато округа заблагоухала медом.

Местный авторитет учитель Вежин даже выдвинул перед властями план учреждения на таежных гарях «пчелиной республики». Однако главный герой романа Василий Тимофеевич Заварзин, тоже, как и многие, пасечник, пчеловодческого романтизма не разделяет. Вот его мысли на этот счет. «Пройдет еще лет пятьдесят,— думал он,— и вся эта истерзанная бедами земля зарастет, погниет валежник, упадет последний сухостой, и сроду не подумаешь, что здесь сохатые ноги ломали... И пасеки исчезнут, потому что не станет кипрея».

Как-то Василий Тимофеевич копал яму под омшаник и на глубине около метра наткнулся на слой слежавшегося угля. Значит, рассуждает он, в давности тоже одна полоса шла за другой: тайга сохла, горела, снова возрождалась... Отчего же нам пасечную удачу почитать бессрочной, позабыв из-за нее крестьянский труд на пашне? О таких мыслях героя сказано: «старые, как дорога, но хорошие».

Мишель Монтень однажды заметил, что природа озабочена «в большей мере тем, чтобы мы были деятельны, чем чтобы владели истиной». Если следовать этой логике, сельский учитель, охваченный пчеловодческим энтузиазмом, намного угодней матушке Природе, чем стихийный философ, который со своими хорошими мыслями забегает на полвека вперед. Но автору ближе именно те, кто упорно ищет истину (да и природа в наш век вынуждена просить у них защиты).

И литературе, научившейся ценить предание и традицию, ближе такие персонажи. Примем теперь в расчет творческие склонности и самостоятельный опыт автора. Опыт

этот пока не очень велик: Сергей Алексеев — писатель молодой, но уже успевший немало напечатать. Среди прочего — роман «Слово» («Наш современник», 1985, № 2—4), где сближены разноудаленные от дня сегодняшнего времена, где к горячим, актуальным для нас вопросам прислушивается глубокое русское средневековье.

Повествование это, однако, построено мозаично, разновременные пласты сюжетно и стилистически сцеплены слабо. И главные заботы о поддержании порядка в романной постройке доверены теме. Это тема бережности к духовному опыту поколений, закрепленному в слове. Печатном ли, начертанном на пергаменте — особой роли не играет. Важно не дать слову исчезнуть. Сохранить его в фондах культуры.

Прослеживая приключения старопечатных книг и манускриптов на крутых поворотах отечественной истории, молодой автор учился улавливать ритмы большого Времени.

Поступательный ход повествования и в романе «Рой» многократно прерывается картинами далекого и не столь далекого прошлого, включая время столыпинских реформ, гражданской войны, сельских коммун, коллективизации.

И всякий раз на крутом историческом повороте или на развилке, где надо поспешать с выбором, масса стремянских жителей выталкивала вперед «заводного» мужичка-непоседу, а сама за ним если и двигалась, то не спеша. В коммуну ли шли, на прииски, на раскорчевку тайги, в партизаны против Колчака, на веревочный промысел или на лесосплав — оглядывались на пашню: как она ни скудна, в ней главный залог хозяйственной и душевной устойчивости земледельца.

А пашня словно решила испытать крепость крестьянской привязанности: родит плохо да и на себя мало похожа, когда взбуровлена во всех направлениях трелевочной и прочей техникой, а порой она и вовсе скрывается от глаз под слоем сплавной древесины, оставленной половодьем; кроме того, мокнет и заболачивается, когда за нее берутся временщики из нефтяного ведомства, решившие заняться подсобным земледелием.

Круговертью сезонных новшеств многих стремянцев срывает с обжитых мест, несет куда-то («...по всей округе людей мело по земле, как снежную колючую поземку»,— замечает автор), но зов родной деревни слышен и тем, кто откололся, не позволяет им расстаться с мыслью о возвращении.

Даже когда Стремянка, угодив в число «неперспективных» деревень, осталась без электричества, магазина, клуба, все равно большинство жителей не побросало дома, не порушило последних основ общности, удивив тем самым районные власти, которые вдобавок ко всему отняли у Стремянки звание с е л о и нарекли ее кордоном.

Шквальные ветры проносятся над Стремянкой, а та не уступает их напору. Держится за свою старину и заветы землячества. Только в нарушение литературных канонов здешние патриархи стары годами, но опытом не старше других.

Один из местных патриархов — дед Алешка, бессменный энтузиаст, торопыга, враг всяческих сомнений. В заключительных главах романа он, правда, помрачнел, смущает земляков странной манерой по-диогеновски расхаживать днем с огнем и предвещать убывание света: «Темнеет в Стремянке!.. В потемках где же разобраться?»

Пророчества деда выслушивают без особого интереса, жалея его снисходительной жалостью: сама жизнь старика, который попеременно хмелел от различных новаторских начинаний, никому не кажется завидным примером. По-иному ценится опыт еще не старого Василия Тимофеевича Заварзина, участника войны, депутата райсовета.

На картинного лидера этот человек мало похож. И вообще необычен. Столкнулся он, к примеру, с безобразием. Не просто столкнулся, был унижен, избит пацанами-старшеклассниками из «трудового десанта»... Тут надо пояснить, что и откуда взялось. Всему началом была неувязка, весьма характерная для той исторической полосы, которую принято нынче именовать двадцатилетием застоя. «Застой» сплошь и рядом складывался из бурных инициатив, которые взаимно нейтрализовали одна другую.

Еще в бытность Заварзина председателем сельсовета решено было вырастить на гарях сосновые боры. Выращивали ударно. Всем миром. Время шло. Бор поднимался вплоть до той поры, пока в конторах не созрело новое решение: молодые посадки свести на нет, землю распахать. Тогда-то и явился из города «трудовой десант» с топорами, пилами и стереофонической аппаратурой для обеспечения культурного досуга.

Как раз культурному досугу десантников, темпераментно отплясывавших возле подожженной ими избы, помешал здешний старожил Заварзин, непривычный к подобному. Отсюда острый конфликт с прискорбными для главного героя и пустяковыми для его обидчиков последствиями. Главный герой не стал, однако, ни расплачиваться за обиду, ни лелеять ее в своем сердце. Что с них, неоперившихся, взыщешь или с учителя-нерадивца, который полуоправдывает своих воспитанников: мол, охмелели малолетки от

раздолья, на природе одичали... «Они не на природе одичали, раньше еще»,— возражает Заварзин, уже как бы переступая через неостывшую обиду и возвращаясь к давним раздумьям.

С. Алексееву интересен персонаж, которого не слепит обида и которому за остроконфликтным происшествием видны сцепления причин и следствий. Сосредоточенность этого крестьянина-сибиряка с семилеткой за плечами на связи явлений обеспечивает ему центральное положение среди односельчан. А также и в сюжетном строении романа.

Что же до случая с лихим «десантом», то по нынешним временам, когда литература усвоила манеру покрикивать на жизнь, бросать ей в лицо резкость за резкостью (критика уже отметила рождение таких жанров, как «роман-ссора», «роман-скандал»), эта история освещена несколько необычно. Читатель, конечно, удручен разгулом веселья возле пожара, сознает важность эпизода в романной организации, но не обнаруживает признаков авторского гнева.

Да, от нашего внимания не ускользнуло, что обреченные огню избы строились «с размахом, с расчетом на крепкое хозяйство и большую семью. Венцы чуть ли не в два обхвата... Восемь—десять венцов — и изба», что молодой сосняк на подходе к деревне вырублен варварски, будто айтматовские манкурты потрудились на делянке...

Но ведь не набег дикого племени живописует автор: даже в самый разгар схватки возле горящей избы на юнцов-«десантников» нападала оторопь, ибо «происходящее уже не походило на игру-забаву... исход такой игры виделся им страшным», а позднее, когда дошло до ответа, с юнцов мигом слетел прежний гонор и они гурьбой явились каяться к потерпевшему.

Какой уж по счету пожар заполыхал на страницах журнальной прозы последних полутора-двух лет! Впору сбиться. Но у С. Алексеева нет ни «архаровцев», шустро промышляющих под гул пламени, ни растяп хозяйственников, ни добровольцев, спасающих ценности от огня. Есть обезлюдевшая деревня, беззащитная перед стихией. Наше возмущенное (видом пламени, воплями рок- или поп-музыки) чувство мечется, не находя персонально виноватого ни у очага происшествия, ни в сторонке. Не на юнцов же в самом деле валить всю вину. Они, кстати, готовы ее искупить примерным трудом по дальнейшему истреблению лесопосадок.

Значит, ударно, с песнями насаждали, пропалывали, потом приступили к ударной вырубке! Но отчего «десантники» столь бездумно, залихватски исполнительны? Отчего на юных лицах ни тени сомнения: доброе ли дело затеяно?.. Пожар отполыхал, дым развеялся. Вопросы, тревожные и для нас и для автора, остались.

И пострадавший от младого племени Заварзин зла на сердце не держит, ибо ни злом, ни местью вопросов не снимешь, а человек он вопрошающий. И озабоченный многими неясностями.

В недавнем романе С. Алексеева «Слово» с пламенем все было ясно. Оно пожирало книги, древнее письмо. Ценнейший опыт обращался в прах. Теперь пламя не просто знак беды. Оно высвечивает связь между бездумным разрушительством юных «десантников» и каруселью сезонных кампаний по освоению природных богатств: в конце концов разве подобная карусель не поощрительница бездумности?..

А природа у С. Алексеева между тем пробует как-то выдюжить, не сбиться с ритмов под напором цивилизации и по-своему отзывается на ее широкие шаги... Удивительно ли, что в романе, где стоит густой медовый запах, нашлось место четвероногому «персонажу» — топтыгину? Во всех эпизодах он верен своему звериному естеству и не машет нам призывно лапой: мол, заходите в тайгу поглядеть, до чего доведена флора и фауна.

Впрочем, живется мишке не сладко: в него палят и дробью и картечью, его спугивают с зимней лежки лязгом и вонью техники, травят собаками, преследуют по гарям на бульдозере, наконец, ослепляют выстрелом в упор. А он словно бы неистребим, и в самом финале судьба ему послала «поводыря» — датского дога-красавца, который променял сытую праздность при людях на осмысленную жизнь среди тайги. Повторю: алексеевский медведь не очередной зверь-жалобщик, ревущий из глубины природы об истощении ее сил. Он — некое контрольное око, непредвзятый наблюдатель, дивящийся из зарослей на людской мир.

«Медведь по-своему умел анализировать поступки людей,— сказано в романе,— видя в них в конечном итоге таких же животных, как он». Существа эти за последнее время все больше озадачивали зверя. Он понимал: «с людьми что-то п р о и с х о д и л о, что-то менялось в их поведении». Однажды медведь набрел на людское становище, где человек вел себя странно: все припасы держал на виду и сам не берегся. Зверь мог бы задрать лежащих вповал людей, но от них так разило перегаром, что он попятился. И от них разило, и от пса, растянувшегося подле,— тоже.

Тут, если хотите, запечатлено соотноше-

ние: неизменное в своих повадках древнее существо — медведь и люди-мутанты. А набрел зверь на бивак пришлых, «неукорененных», от которых местные люди добра не ждут. Даже вскользь упоминая в беседах о вербованных, наезжавших сюда большими партиями, они темнеют лицами.

Пришлые тут наделены конкистадорскими замашками, и автор к ним неизменно суров. Особенно к подданным «нефтяных королей», которые хозяйничают в окрестностях Стремянки как хотят и дело нефтедобычи начинают со строительства «базы отдыха» для нефтяников, а по сути — уютного гнездышка для должностных лиц, желающих расслабиться на лоне природы.

С «нефтяными королями» и штатом их прислужников в роман проникает стилистика судебного очерка, где обстоятельства намного важнее лиц, а позиция автора — как на ладони. Злая сила, претендующая на полную бесконтрольность, тут анонимна. Действует из укрытия, опознается по многочисленным следам-уликам. Вот «база» с коттеджами, саунами, прогулочными лодками, запасом осетрины, икры, лосятины, охраняемая дюжими мужиками, которые по документам значатся прачками; вот подозрительные «отдыхающие», раскинувшие бивак на бережку как раз напротив осетровых «ям»; вот факты таинственного исчезновения протоколов, составленных при задержании браконьеров...

Многие следы ведут к безымянным «нефтяным королям», сумевшим наладить централизованное браконьерство, подмяв под себя местную администрацию с ее «комплексом» зависимости от всемогущих технократов.

В общем-то, автору неплохо служит многострадальный мишка, обнюхивающий новых «хозяев тайги», брошенных наземь Бахусом, улепетывающий от их бульдозеров, мишка, который курсирует от одного участка сюжетного действия к другому, налаживая связи между ними...

В романе С. Алексеева отлично написана тайга. Прореженная гарями и проплешинами, стонущая под натиском мощной техники, она тем не менее — долгожительница, перемогает, залечивает нанесенные ей раны, подчас увечья и собирается стоять долго. Коренные стремянцы привыкли оглядываться на минувшее, прислушиваться к ходу большого Времени. Резкий сдвиг экономики края в сторону нефтедобычи для них не начало нового летосчисления, а полоса, которая в свой срок минет (нефтяники еще не вполне развернулись на просторах края, а главный герой уже прикидывает, «надолго ли?»).

Здешние старожилы умеют думать несуетно, не позволяя уму вертеться волчком в тесноте ближайшей задачи. Такое умение далось персонажам нашей послевоенной литературы не раньше того, как искусству открылась актуальность Прошлого.

Качество чуткости к ритмам большого Времени еще молодо в текущей прозе и вступает в прихотливые сочетания с ее очерковой оперативностью. У С. Алексеева, например, очерковость и хроникальность порой глубоко вторгаются во владения эпоса. Особенно на тех страницах, где задета тема «браконьер — закон».

Возникает ряд почти детективных осложнений: здесь и дознания по горячим следам, и кропотливый сбор улик, и нераскрытое двойное убийство: убиты Заварзин-младший и его жена.

В рассказе о неравной борьбе инспектора со свитой «нефтяных королей» есть публицистичность, заостренная против социального зла, но авторское слово тут скорее информативно, чем пластично.

На глазах меняется фактура прозы. Исчезает поэтическая недосказанность. Повествование скатывается на узкую колею фабулы. Причем загадочны обстоятельства убийства, но весь на виду и абсолютно ясен Заварзин-младший — герой прямого динамичного действия. Жизнь его души вплетена в сеть ближайших обстоятельств, ограничена рамками доверенных ему «ролей» — служебных и семейных.

Свои «роли» достались и старшим братьям Тимофея — Ионе и Сергею, покинувшим отчий кров, ставшим горожанами. Кряжистые парни из таежной глубинки встречаются с городской средой. Приживутся ли? Станут ли твердой ногой на асфальт? Уже более четверти века наша литература задается подобными вопросами и перебирает варианты решений. Но С. Алексеев не намерен идти пробитым путем. У него свой поворот темы.

Оказывается, именно таких парней, как братья Заварзины, не слишком отесанных, но крепкого крестьянского корня, с нетерпением ждали в разных уголках городского мира, где с корнями стало слабовато. Для обоих открыты вакансии. Сергею досталось место з я т я в очень влиятельном семейном клане, который, ловко маневрируя, умеет диктовать свою волю и руководителям аспирантов и ученым советам. Иону же продвигают в администраторы, поясняя ему, каковы приметы должностного лица новой формации: «костюм с иголочки, такт, уважение к человеку. И чтобы в сейфе коньячок, с лимончиком».

Окружению вот что важно: тот и другой будут выигрышно смотреться со стороны, сообщая всякому начинанию успокоительно-простонародный колорит.

Если в истории младшего Тимофея, не отступавшего от дела природоохраны, все заранее предрешено и характер взят в тиски фабулой, то в рассказе о старших, «отроившихся» братьях такой предопределенности нет.

Кажется, и сам автор заинтригован перипетиями их судьбы, их колебаниями на дорожных развилках. Однако если автор и заинтригован, то больше как социолог, которому известно, к каким решениям обычно склоняются сельские выходцы, отведав городских деликатесов, каковы тут варианты выбора. Внутренний уклад каждого из братьев обрисован бегло, гораздо подробнее — ситуация, которая может разрешиться и так и этак: то ли братья сделаются оседлыми горожанами, то ли запросятся назад.

В подобной избирательности авторского интереса нет, разумеется, ничего худого, только и на сей раз проза С. Алексеева смещается к границам социологического очерка, утрачивая многозначность.

С. Алексееву есть что сказать и как эпику, и как нравописателю, и как очеркисту. Но проснувшиеся в нем нравописатель и очеркист нетерпеливы, любят перебивать эпика, выглядывая из-за его плеча и вручая читателю собственные свидетельства.

Таежному шуму в таких случаях приходится приумолкнуть, большому Времени погасить ритмы, отступив перед авторитетом ближайшей минуты... А что с пчелами? Пасеки, ульи, поведение маток, весь многосложный уклад пчелиных семей — постоянный предмет поэтического внимания С. Алексеева, как и жизнь тайги и похождения коренного ее обитателя—мишки, не согласного раньше срока расставаться со своей шкурой.

Однако если тот же медведь нигде не выглядит дрессированным, послушным воле сочинителя, то пчелы, можно сказать, вовлечены и в дело наглядной агитации — за укрепление сельских семей. А впрочем, и пчелам свойственно ошибаться. Иногда их прельщает легкая пожива — так называемый падевый мед, тот, что выпадает с росой. Об этой пчелиной отраве в романе говорится не однажды, притом с наставительной целью: мол, и многих людей нынче тянет на дармовщинку, а за нее рано или поздно с каждого взыщется.

Ради подобных внушений и прогнозов, быть может, и не стоило тревожить труженицу пчел. Но по поводу ряда людских несовершенств автор готов высказаться без обиняков, разбавляя аллегорией свою поэтическую речь.

Читая «Рой», убеждаешься, как не просто нынче эпической музе сохранять строгость осанки и не сбиваться на поспешный шаг.

Сейчас на самом виду проза, окрыленная публицистическими задачами, где заветное слово автора адресуется читателю как депеша, как острый сигнал — об истощении природных ресурсов, кризисе современной семьи... К открытому мыслеизъявлению (на те же темы), как мы видели, тяготеет и С. Алексеев, не ломая, таким образом, уже окрепшей традиции. Вписываясь в нее. Но в отличие от литературы тревожных предостережений, которая нередко берет апокалипсические ноты, у автора «Роя» преобладает интонация «еще не вечер, и свет не померк». Не скрыта ли тут полемика с «соседями» по литературе, старшими мастерами?..

Но пусть даже прямой полемики нет. Когда повествовательное искусство очень дружно берет, а взяв, форсирует тревожную ноту, неизбежно накапливается некий избыток предостережений и возникает нужда в иной, более уравновешенной тональности. Уже по этой причине роман «Рой» с его эпическим ладом появился в срок. Затребован движением литературы, которая избегает резких кренов и перекосов.

Даже зарева пожаров у С. Алексеева не столь зловещи.

С. Алексееву важно пробиться к незаглохшему чувству общности таежных жителей. Тут-то и пришелся к месту чрезвычайный случай: вокруг Стремянки заполыхали пожары. С огнем боролись яростно, до судорог от мускульного перенапряжения. И всем миром одолели стихию. Писателю особенно дорого, что всем миром. И один из сыновей Василия Заварзина, вспоминая эти авральные минуты, испытывает «восторженный прилив гордости» за земляков.

Огненная стихия здесь никак не похожа на геенну огненную и даже помогает романисту подать нам весть о силе сплоченности крестьян-сибиряков. А крестьяне эти, жители «неперспективной» Стремянки, до самого конца романа не устают удивлять читателя.

В финале случилось непредвиденное: за какие-нибудь считанные дни рухнула экономическая опора стремянцев — пасечное хозяйство. На одной из пасек обнаружен пчелиный клещ, потом на другой, третьей. Раз так, эпидемиологам приходится ввести строгий карантин.

Тут следует отлично написанный и по-своему многозначительный эпизод: часть пчеловодов, естественно, подавлена, готова то ли паниковать, то ли бунтовать против каран-

тина. Но только часть. На других пострадавших нахлынула волна удалой бесшабашности (где наша не пропадала!); у микроавтобуса, куда забралось ответственное лицо, зачитавшее приговор пасекам,— группа хохочущих мужиков; кто-то, напрягшись, удерживает на весу задний бампер машины, чтоб колеса не схватили дорогу, кто-то затевает танцы. Все возбуждены. А скрытая причина возбуждения, как мы догадываемся, в том, что нынешняя утрата сулит завтрашнее обретение — возврат односельчан, засидевшихся по хуторам-пасекам, к былой общности.

История выморочной, сброшенной со всех счетов и балансов Стремянки до определенного этапа напоминает судьбу распутинской Матёры. Причем совсем не исключено, что такое впечатление у нас сложилось с ведома автора «Роя», оглянувшегося на хрестоматийный образец. Но в очень важном пункте аналогия дает сбой: от Матёры все отступились, кроме ветхих стариков, и этот островок крестьянской жизни уходит под воду. Стремянка же, напротив, «всплывает» посреди всей зыбкости, вопреки накатам и откатам административных решений, пересмотров и недосмотров, поддержанная силой привязанности ее жителей к родному гнезду. Или — улью, если следовать принятым в романе сопоставлениям.

Радость возвращения под отчий кров предвкушают и старшие сыновья Василия Заварзина, не нашедшие себя на стороне.

С. Алексеев сумел перевести в стилистику повествования настойчивый призыв Стремянки к здешним и коренным — сойтись в совещательный круг, не дать распасться общности.

Похоже, что призыв услышан. А дальше? Дальнейшее гадательно. Во всяком случае от социологических прогнозов или деловых рекомендаций романист воздерживается.

Для него особенно важно, что посреди таежных гарей, брошенных деревень есть некий оплот надежности — непотопляемый «остров», где крепки заветы землячества, не позабыт природный закон и ценится неспешная рассудительность. Именно такой Стремянке роман больше всего обязан своим эпическим ладом. Ее жизнестойкость — главный залог авторской уверенности, что ход согласной жизни, течение Времени не прервутся.

В. КАМЯНОВ.

★

ДУША, НЕ ЗНАЮЩАЯ МЕРЫ

Анна Саакянц. Марина Цветаева. Страницы жизни и творчества. 1910—1922. М. «Советский писатель». 1986. 351 стр.

Ирония судьбы: книга о Цветаевой — певце «невстреч» и «разминовений» более чем на полстолетия «разминулась» со своим историческим сроком. Что и говорить, поводов для печали тут предостаточно. Да и печаль, увы, не светла: оказывается, значительная часть цветаевского архива (ЦГАЛИ) до начала XXI века для исследователей вообще закрыта — такова воля дочери поэта Ариадны Сергеевны Эфрон. Значит, впереди у Марины Цветаевой чреда новых литературоведческих «невстреч». Это крайне огорчительно; тем очевидней наша признательность Анне Саакянц, не дрогнувшей перед фактографическим дефицитом, старательно и душевно сомкнувшей в книжную композицию решительно все доступные ей рукописные, машинописные, архивные, мемуарные и прочие материалы и, таким образом, восполнившей один из множества пробелов в отечественном цветаевоведении. После интересной (хотя и не бесспорной) вступительной статьи Вл. Орлова к «Избранным произведениям» Цветаевой (1965) это, на мой взгляд, лучшая работа о нашем выдающемся поэте. Читатель найдет здесь малоизвестные, а то и вовсе неизвестные документы — например, отрывок из дневника Р. М Хин-Гольдовской, фрагменты воспоминаний Е. П. Кривошапкиной, интереснейшие письма А. С. Эфрон; обратит внимание на детали, уточняющие наше представление о муже Марины Цветаевой («...самый родной на всю жизнь»), его литературных опытах, а также выпавших ему психологических трудностях: в присутствии гения — постоянное чувство своей третьестепенности. Частью открыты, частью прояснены в книге некоторые важные аспекты взаимоотношений Цветаевой с современниками — Ахматовой, Брюсовым, Волошиным, Маяковским, Мандельштамом, Розановым, Эренбургом Интересно и неожиданно сближены разноименные поэтические тексты (цветаевский и хлебниковский, например). Написана книга без концептуального нажима, без деспотизма авторской мысли о «предмете» и с этой точки зрения может показаться несколько даже старомодной;

она рождена любовью, поддержанной исследовательским чутьем, вкусом и редчайшим усердием.

Интерес к великому поэту обычно эволюционирует от *хождения* вокруг имени его — к нелегкому *вхождению* в жизненную и художественную его сферу, а затем и *восхождению* к его духовным безднам. А. Саакянц трудится на средней ступени этого эволюционного ряда: цель ее — приблизить Цветаеву к просвещенному читателю, возделать почву, на которой в дальнейшем — будем верить! — произрастут оригинальные историко-литературные и философско-эстетические концепции. В кратком предисловии она и сама уточняет жанровый профиль книги: не биографический очерк и тем более не литературоведческая монография, а «страницы жизни и творчества». Разница принципиальная. Хронологические пределы исследования (годы 1910—1922) не случайны: выход в свет «Вечернего альбома» (поэтического первенца) и мучительно-тяжкий, по сути вынужденный шаг (выезд за границу к мужу) — несомненно, события для Цветаевой этапные. И в строго биографическом и в литературно-творческом смысле.

При хронологической организации исследования, естественно, особая забота — о скрепах; тут ведь важно не проглядеть, не упустить «всю Цветаеву»; сами собой, автоматически части в целое не сомкнутся. И Саакянц избирает путь, в этой ситуации спасительный: ее аналитические усилия как бы удвоены — они устремлены и от частей к целому и от целого к частям. Внутренняя структура книги гораздо сложней ее наружной компоновки: из будущего навстречу хронологии и словно бы поверх нее движутся сквозные цветаевские мотивы, образы, темы, аллегорические формулы, коллизии... Здесь и «два пламенных крыла» — парящий над поэтом, а затем и пылающий в нем Гений вдохновенья; гармония, но и бездна, разделяющая Психею (душу) и Еву (тело),— игра на краю бездны; глухота ко всему, что «вне сердца»; обаяние нелюбви; «созвучие смыслов» — краеугольный камень поэтики; идея универсальной неподсудности художника и др. Неслышно переворачивая страницы, А. Саакянц только сопутствует, не более,— такова жанровая установка. В позиции ее — жар соучастия, порою трогательное интонационное усилие переложить на свои плечи хотя бы толику бремени, выпавшего в удел Цветаевой: особенно ощутимо это в рассказе о горе и утратах: голодном умирании в приюте младшей дочери, Ирины, грозных недугах, сваливших в те же черные дни старшую, Алю, и трагическом (в высочайшем, античном смысле!), ей, матери, Цветаевой, назначенном — выборе между двумя безмерно дорогими этими жизнями...

Казалось бы, эпистолярная малость, штрих: в письме В. В. Розанову Цветаева вспоминает себя шестнадцатилетнюю: «...одна в своей маленькой комнатке, в своем огромном мире». Между тем в этой малости уловлено фундаментальное противоречие внутренней цветаевской ситуации: коллизия бытия и быта. А. Саакянц показывает: в различных контекстах бытие и быт трансформируются то в «небо» и «землю», то в Психею и Еву, эфирную любовь и плотское вожделение, «минучее» и вечное. Высшая творческая трансформация этой антиномии — противоречие между действительным фактом и его поэтической версией, здесь уже резко проступает контур эстетической программы и художественного метода Цветаевой: поэзия для нее еще более реальна, чем жизнь, потому что представляет вещи в их бытийной завершенности, такими, какими они *могли и должны были стать* (перефразировка полюбившейся Цветаевой сентенции В. К. Тредиаковского). Здесь — духовная почва цветаевского мифотворчества: отлет от реального факта как способ поэтического вхождения в него. Покидая конкретику (быт), Цветаева все же в каком-то высочайшем смысле возвращается к ней (бытие) и судит о вещах не столько на основании того, что *видит*, сколько полагаясь на то, что творчески о них *знает*. Воображение подхватывает какую-нибудь бытовую, жизненно достоверную подробность и затем *завершает* ее — реконструирует подлинную, более чем реальную ее полноту — в ином, уже небытовом контексте. Реальный факт провоцирует обвал поэтических ассоциаций, становится завязью легенды и именно в ней обретает высшее свое оправдание и завершенность. Не без резонов усматривает А. Саакянц исток этой цветаевской методологии в поэме «Чародей», собственно, мифе об Эллисе — Льве Львовиче Кобылинском, старшем друге юных сестер Цветаевых, легко и артистично преображенном во всесильного, мирами повелевающего волшебника. И вот что важно подчеркнуть: мифологизация у Цветаевой не литературный прием (в манере Маркеса, Апдайка или Мештерхази), но суть и плоть художественного сознания; здесь неуместна дешифровка, рассекречивание реального плана; вымышленный ход бытия совершается

самосильно, источник движения — в нем самом, и логика, направляющая фантастический этот ход,— гиперлогика, система высших, горних, поэтических причин и следствий. В границах этой системы факты сопрягаются по законам субъективной эстетики и личной психологии. Молва, приписывающая Александру Блоку отцовство, для Цветаевой и не молва вовсе, а возвещенная светлая истина, ибо ее легенда о Блоке нуждалась в сыне,— вот в этом все дело. И рядом с Блоком (опять-таки по тем же субъективным законам) должна была возникнуть-проступить высоким очерком — из небытия — его Подруга; цветаевское «знаю» поэтически более компетентно, чем «вижу». Здесь угадывается традиция — столь полюбившаяся, например, Пикассо да и вообще авангардизму стилистика древнеиндийской живописи: художник схватывает то, что видит, и видит то, что ему известно. Так, у того же Пикассо: над женской головой в профиль — второй, и впрямь потусторонний, глаз. Невероятно? Но таков «устав монастыря». О высшем, надбытовом своем знании Цветаева сообщает на языке мифа, вероятно, потому, что иным, открытым способом извлечь это знание из собственных духовных недр ей не под силу — оно ведь не пребывает, но «сквозит и тайно светит» (Тютчев).

О муза плача, прекраснейшая из муз!
О ты, шальное исчадие ночи белой!
Ты черную насылаешь метель на Русь,
И вопли твои вонзаются в нас, как стрелы.

Таково цветаевское восприятие феномена Анны Ахматовой. Тут, разумеется, впечатление от Ахматовой, а не объективный ее портрет; это слишком Ахматова — образ по-своему более реальный, чем прототип. Восторг и страх, черное и белое, хищный крик и нежнейшая мелодия благоговения — в колдовском синтезе, на глубине которого бродят и роятся интимнейшие тайны. Ибо в самом художественном совершенстве одического монолога Цветаевой, в изобразительной мощи, с какою представлено благоговение: высоком, молитвенном наклоне головы, ее гордом абрисе и пластическом великолепии,— таится энергия уже не только пиетета, но еще и соперничества с кумиром, полемика, вызов. Да и могло ли быть иначе? Ведь перед гением склонялся — гений. Поэтические цветаевские мифологемы как раз и несут в себе эту закадровую психологию,— это темное дионисийское знание; наши суждения о нем, как правило, гипотетичны. Вполне понятно, что в обращении с таким вот темным местом от исследователя требуется величайшая осторожность. Перед нами «темнота» как поэтический образ смутных внутренних жестов, непроизвольно вторгшийся в авторское сообщение о жизни, тень, опередившая свой предмет, усилие «сказаться душой», «без слова». Такая «темнота» не для дешифровки, а для непосредственного эстетического отклика; это не темнота изображения, но изображение «темноты». Тут важно, что называется, не давать волю рукам, не вламываться в художественную структуру со своими комментариями, но как раз у входа в нее чутко замедлить аналитический шаг и прислушаться к прорастающим «оттуда» смыслам. Именно так поступает Анна Саакянц, перечитывая одно из «темных» цветаевских стихотворений — оно написано 2 марта 1917 года, в день отречения царя, в грозовой атмосфере необратимо нараставшего российского социального катаклизма:

Над церковкой — голубые облака,
Крик вороний...
И проходят — цвета пепла и песка —
Революционные войска.
Ох ты барская, ты царская моя тоска!

Нету лиц у них и нет имен,—
Песен нету!
Заблудился ты, кремлевский звон,
В этом ветреном лесу знамен.
Помолись, Москва, ложись, Москва,
на вечный сон!

А. Саакянц не распускает эту стиховую пряжу, не дешифрует вплетенные в нее мифологемы, но в самой поэтической этой «невнятице» пытается непосредственно усмотреть некий смутный образ цветаевской «растревоженной души» — «незавершенность отношения» к наружной, внеличной революционной реальности. О трагическом своем непонимании этой реальности, растерянности и смятенности перед разрушительным — казалось, только разрушительным — ходом ее и «проговаривалась» Цветаева «темнотою». Политическая близорукость, а то и слепота; абстрактно-гуманистические иллюзии (в 1920 году оплакивала и красных и белых); по-детски наивное, доверчивое, хотя и исполненное трагических предчувствий восприятие «добровольческой» одиссеи мужа (впоследствии он радикально пересмотрит свое отношение к Советской России и вернется на родину); переобремененность собою («...уйди в себя, как прадеды в феоды» — позднейшая формула поэтического самосознания); ориентация на личный жизненный круг как высшую творческую

ценность — все это и, вероятно, еще многое другое замутняло цветаевский взгляд на революцию, в конечном счете отталкивало от нее. Однако революция — и это хорошо показано в книге Анны Саакянц — овладевала творческим сознанием Цветаевой даже и не спросясь; энергия великого исторического катаклизма трансформировалась в гулкий, ритмический напор, крутизну стихового жеста, захлебывающийся синтаксис, лавиноподобные смысловые ряды, дрожжевую эмоциональную атмосферу, в поэтику «сжатия», небывалой концентрации интеллекта, страсти и воли. И уже в этом контексте, не говоря о врожденной цветаевской антибуржуазности, неистребимом презрении к сытости и хватательным инстинктам,— так вот, уже в этом контексте решительному пересмотру подлежит тезис о «контрреволюционности» Цветаевой; к чести Анны Саакянц, она делает это бескомпромиссно. Собственно, ей-то и карты в руки: возвратить великому художнику политический кредит в глазах многомиллионной читательской аудитории может только профессионально проницательный и гражданственно беспокойный специалист, предельно внимательный и чуткий к духовному миру великого художника. Эта благородная исследовательская миссия как нельзя более созвучна гуманистическому идеалу самой Цветаевой: «рожденное состояние поэта», высшее его предназначение — з а щ и т а. Дело победителей нравится богам, дело побежденных — Катону. Марине Цветаевой нравилось дело побежденных. «Прав, раз обижен» — такова практическая ее философия. Конечно, цветаевский мир необычайно противоречив и сложен. И сложность эта не разовая, не ребусная (по мере расшифровки «предмета» утрата интереса к нему), а духовная, нескончаемая. В поисках последнего смысла читателю приходится промерять бездну: глубина преодоленная всякий раз оказывается тесным входом в глубину дальнюю, неизреченную. Эта внутренняя неокончательность художественной мысли предопределена субъективной, авторской диалектикой — противоречивым укладом личности и натуры поэта. В любом своем проявлении Цветаева — м о м е н т п е р е х о д а; ее стихия — становление. «О Сереже думаю всечасно, любила многих, никого не любила» (из письма Волошину). Истина о любви сотворяется вот здесь и сейчас — это миг самопознания, самоуяснения,— ни до, ни после фразы, а в ней самой, в ее сиюминутном парадоксальном движении. Это именно чувство в момент перехода. Попутно. В 1914 году двадцатидвухлетняя Цветаева любовно, «вся» (ее собственное — исповедальное — слово) потянулась к умирающему Петру Эфрону, брату мужа. Душило сострадание, жгла жажда жертвенного соучастия. А. Саакянц цитирует стихи, сочиненные Цветаевой накануне письма Эфрону, затем письмо и замечает: «...письмо совсем иное», ибо стихи — о невозможности любви, оно же сплошь любовная исповедь. Это очевидная неточность (к сожалению, работа А. Саакянц от неточностей не свободна, что справедливо отмечено сестрой поэтессы в «Размышлениях над книгой А. Саакянц „Марина Цветаева"»,— «Звезда», 1987, № 8). Нельзя ли предположить, что письмо и стихи — в духе цветаевской «переходности» — полярные моменты одного противоречивого чувства? Или: «Я могу любить только человека, который в весенний день предпочтет мне березу» (из письма П. Юркевичу). И здесь не констатация «чуда любви», но момент сотворения ее из нелюбви, «существа» из «вещества». Не случайно цветаевское пристрастие к канунам — к субботе, а не воскресенью, не случайна тяга ее к пограничным состояниям — между жизнью и смертью, самоотверженная жалость к слабым и несчастным, обреченным на трагическое «убывание»; высочайшее натяжение нравственного чувства совпало с «переходностью» духовного уклада. В книге Анны Саакянц читатель найдет обширный материал, проливающий свет на эту цветаевскую «переходность». «Одинокий дух», каким она постоянно ощущала себя,— это только с одной стороны. С другой же — азарт и жар общения, неутомимая тяга к людям. Эти полярные состояния синтезируются в высшую, всеобъемлющую, творческую «переходность» — художественную самореализацию: именно в искусстве «одинокий дух» становится также и д у х о м о б щ е н и я — интимность странным образом жаждет публичности. Для Цветаевой искусство не место пребывания (даже формально: «моя жизнь в искусстве» — эта фраза прозвучала бы в ее устах пошло), а способ творческого горения в мире, ее «всё». И это значит: в любом духовном своем проявлении она художник, творец, мастер. «Вся моя жизнь — роман с собственной душой, с городом, где живу, с деревом на краю дороги, с воздухом». Трудно уберечься от впечатления, что даже к первенцу своему — трехмесячной Але — она приглядывалась, профессионально прищурив глаз, словно к только что перебеленному тексту; в художественном материнском восприятии девочка появлялась на свет вторично. Да

и собственное лицо, тело, походку ощущала Цветаева как материал, как сферу приложения творческих усилий. В духовном ее кругозоре, несомненно, хранились высочайшие образцы «пластической» писательской самокритики: на ступени нравственного переворота облачается в холщовую блузу Лев Толстой, а задолго до него — в аналогичной ситуации — демонстративно отказывается от галстука, тонкого белья и серебряных пряжек на башмаках другой великий правдолюбец — Жан Жак Руссо. Толстой и Руссо приводили свой наружный облик в соответствие со своим учением; Марина Цветаева пересоздавала его по иному образцу — своему литературному стилю. В ее восприятии собственная внешность — скорее текст, черновик, подлежащий эстетической обработке. «Моя душа чудовищно ревнива: она бы не вынесла меня красавицей» (из тетрадных записей) — это голос художника, озабоченного гармонизацией формы и содержания образа. Оказывается, Цветаева возделывала свою наружность, следуя тонко взвешенному эстетическому замыслу: от юношеской округлости — к «углу», четкой и упругой линии. Справедливости ради: в границах личного ее опыта проекция законов искусства на реальную действительность не всегда бывала однозначной. И в самом деле, не исключено ведь, что, скажем, художественная потребность в отдалении от предмета определенным образом «подогревала» в ней «страсть разлуки» — например, с мужем — в случаях, не обусловленных извинительными обстоятельствами.

Итак, первые 350 страниц жизни и творчества Марины Цветаевой прочитаны. Они состоялись. Впереди — встреча с Цветаевой еще более сложной и трудной (годы 1923—1941). Несомненно, у Анны Саакянц достанет мужества, исследовательской зоркости и душевного жара для восхождения и на эту высокую, трагическую ступень.

С. ВАЙМАН.

★

Политика и наука

ОБНОВЛЕННАЯ УТОПИЯ

Э. Фромм. Иметь или быть? Перевод с английского. М. «Прогресс». 1986. 238 стр.

Мир, который предлагает нам Эрих Фромм, по-своему заманчив, хотя и знаком давно. Краеугольный камень учения Фромма — человек, свободный от денег. Что же тут нового, справедливо спросит читатель, не об этом ли мечтали все великие утописты прошлого?

Сам ученый называет среди своих предшественников Христа, Будду, Маркса, Фрейда, Майстера Экхарта — довольно странное сочетание имен. Что же их объединяет? По мнению Фромма, «великие Учители жизни отводили альтернативе „обладание или бытие" центральное место в своих системах. Как учит Будда, для того чтобы достичь наивысшей ступени человеческого развития, мы не должны стремиться обладать имуществом. Иисус учит: „Ибо, кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее; а кто потеряет душу свою ради Меня, тот сбережет ее"». Далее Фромм замечает: «По Марксу, роскошь — такой же порок, как и нищета; цель человека б ы т ь многим, а не о б л а д а т ь многим».

Современный мир автор называет цивилизацией обладания. Все можно приобрести за деньги. Любовь, красоту, здоровье, счастье. Даже в языке заметно, что модус обладания господствует над модусом существования. Человек говорит «я приобрел грипп» вместо «я болею гриппом». На самом деле нельзя ничего иметь в этом мире, но можно быть всем, говорит Фромм. Нельзя приобрести здоровье, купить любовь или заполучить жизнь в вечное обладание, но можно быть солнцем, птицей, цветком и, самое главное, другим человеком.

Вот пример альтернативности бытия и обладания из «Лекций по дзэн-буддизму» Д. Т. Судзуки. Великий японский поэт XVII века Басё видит цветок:

Внимательно вглядись!
Цветы «пастушьей сумки»
Увидишь под плетнем!

Он не стремится сорвать цветок, принести его в дом, придать ему, говоря языком Фромма, модус обладания. Иначе видит

цветок английский поэт XIX века Теннисон:

Возросший средь руин цветок,
Тебя из трещин древних извлекаю,
Ты предо мною весь — вот корень, стебелек,
здесь, на моей ладони.

«Отношение Теннисона к цветку является выражением принципа обладания, или владения, но обладания не чем-то материальным, а знанием,— пишет автор.— Отношение же Басё... к цветку выражает принцип бытия. Под бытием я понимаю такой способ существования, при котором человек и не имеет ничего, и не жаждет иметь что-либо, но счастлив, продуктивно использует свои способности, пребывает в единении со всем миром».

Наслаждение вовсе не делает человека счастливым. Фромм обстоятельно исследует течение гедонизма от античности до наших дней. В конечном итоге он приходит к тому же выводу, что и Будда в VI веке до нашей эры: стремление к наслаждению делает человека несчастным.

Что же нового в учении самого Фромма?

Сегодня теория гедонизма впервые подверглась социальной проверке в широком историческом плане. По словам автора, «наше время — время величайшего социального эксперимента, который когда-либо был осуществлен, чтобы решить вопрос, может ли достижение наслаждения. . быть удовлетворительным ответом на проблемы человеческого существования». В послевоенные годы в капиталистических странах был провозглашен идеал общества всеобщего благоденствия. Под благоденствием подразумевался высокий уровень материального потребления. Несмотря на явное неравенство и социальные перепады, многие люди получили сегодня все, о чем мечтали: телефон, машину, дачу, множество развлечений. Но они не стали счастливее — вот первое открытие Фромма. Великие учители древности и современности оказались правы: богатство не приносит радости, а погоня за наслаждением делает человека несчастным и одиноким.

В 60-х годах Фромм — один из вождей молодежной революции, потрясшей Европу. Париж ощетинился баррикадами Всеобщая забастовка охватила Францию. Студенты скандировали манифесты Маркузе, Фромма, Сартра, Роже Гароди. Сейчас, спустя двадцать лет, мы можем наконец услышать голоса вождей этого движения Что вдохновляло молодежь Франции, от чего она хотела освободиться? Это был бунт против общества потребления. И хотя сейчас былые участники сражений спокойно влились в структуру буржуазного мира, их идеалы и ценности не исчезли вместе с баррикадами 60-х годов.

Тогда, в 60-х, казалось, что речь идет лишь о язвах, присущих капитализму. Сегодня мы убеждаемся воочию, что потребительское отношение к жизни в равной мере разрушительно для человека и в социалистическом обществе. При социализме также существует проблема выбора между ценностями подлинными и мнимыми.

Горячее стремление Фромма убедить людей в необходимости иного подхода к жизни вызывает нечто большее, чем сочувствие. К этому же призывал человечество и Лев Толстой. Мы привыкли критиковать толстовство за «травоядность». Между тем время показало, сколь существенными были и остаются многие предостережения великого писателя и учителя жизни. То, что сегодня называется проблемой загрязнения окружающей среды, в начале века обозначалось другими словами. Толстой призывал нас любить все живое, и в этом было гораздо больше человеческого, нежели в нынешнем производственно-ведомственном подходе к проблеме загрязнения. Нельзя любить «окружающую среду», нельзя смотреть на мир как на источник доходов, залежей, природных ресурсов.

Мы не стремимся жить в унисон с природой, как призывали Руссо, Толстой, Швейцер, а ныне призывают Фромм и другие гуманисты. Мы стремимся обладать природой, приобретать, осваивать, охранять, а где приобретение, там и утрата, где охрана, там и хищение.

Есть нечто трогательное в самой манере изложения Фромма. Его книга рассчитана на читателя, основательно оторванного от первоистоков всякой духовности. Он почти по-детски объясняет вещи, казалось бы, общеизвестные, которые, однако, со временем перестают восприниматься людьми, уходят в культуру. Надо отдать Фромму должное, он нашел простой язык для выражения сложных истин.

В книге есть маленькие, но очень важные для понимания главы «Любовь», «Чтение», «Память». Даже читая, современный человек приобретает. Он стремится ничего не упустить. В результате — уйма прочитанного и минимум подлинного знания. Если же отнестись к книге бескорыстно, откликаться лишь на созвучное, что-то перелистнуть, что-то перечитать, отложить на потом и при случае перелистать снова — книга станет любимой, останется с тобой навсегда.

Наивный приобретатель знаний стремится все запомнить. Отсюда страх все забыть. Он тщательно конспектирует, планирует, а потом скучно пересказывает прочитанное. Такова память приобретателя. Но есть иная память, когда человек запоминает то, что само запало в душу, говорит не по плану, а по вдохновению, повинуясь интуитивному зову. Конечно, в жизни все сложнее, но здесь уже намечена черта между творчеством и начетничеством.

Даже смерть не так ужасна для человека, который не смотрит на жизнь как на собственность. Время отнимает все, кроме бескорыстного соучастия в великом таинстве жизни.

Таков подход Фромма к личностным ценностям, и здесь с автором трудно спорить. Он прав примерно так же, как врач, прописывающий Крым больному чахоткой, живущему в сыром петербургском подвале. Где взять этот духовный Крым, не приобретаемый ни за какие деньги? Лев Толстой не убедил человечество, не убедил его и Фромм. В чем же причина неэффективности их рецептов?

Фромм прекрасно понимает, что люди не готовы сегодня даже к минимальной жертвенности. Ни один богач не откажется от машины последней марки, если у соседа есть новейшая модель. Как ученик психоаналитика Зигмунда Фрейда Фромм видит в современной машиномании своеобразную реализацию комплекса неполноценности.

Фромму кажется, что главное препятствие на пути к совершенству человека — существующие ныне экономические отношения. По мнению философа, традиция платы за труд сложилась на основе устоявшихся заблуждений буржуазии. С точки зрения хозяина-собственника, человек работает лишь за плату, его естественное состояние — безделье. Фромм подвергает сомнению этот догмат. Потребность в труде и творчестве для человека так же естественна, как дыхание. Отвращение к деятельности связано с подневольным или экономически обязательным характером труда в нашей жизни.

Как же раскрепостить труд, сделать его свободным и нужным для человека? Утопический план Фромма прост до чрезвычайности. Он предлагает выплачивать всем людям на земле обязательный прожиточный минимум независимо от их труда. Средства для этого найдутся, если обложить богачей большим налогом, а еще лучше — заставить их отказаться от избыточной роскоши. Отличие от социальной утопии Льва Толстого здесь в том, что Фромм не требует полного отказа от индустриального пути развития и не связывает свою этику с какой-либо религиозной доктриной. Он рационалист и не нуждается в метафизике.

Раскритиковать план Фромма легко. Экономически он явно не выполним. Опыт насильственной уравниловки достаточно дискредитирован в социальной практике XX века. Он стоил человечеству многих миллионов жизней. Но за практической стороной вопроса кроется этическая, а она у Фромма весьма и весьма привлекательна. Безграничное потребление, безусловно, должно приостановиться, ибо оно истощает ресурсы планеты, губит жизнь на земле, наконец, разлагает душу. Прав Фромм и в своей неприязни к нынешним несовершенным системам оценки деятельности человека в рублях и долларах. Ясно, что человек трудится не только ради денег. Современный философ-гуманист напоминает нам об истинной цене жизни, не измеряемой никакими деньгами, о предназначении человека быть самим собой.

С этикой Фромма спорить трудно да и не нужно. Ученый отстаивает общечеловеческие ценности, без которых нам очень сложно живется. Даже относительное материальное благополучие в развитых странах порождает массу проблем, главная из которых — бездуховность. Не само собой приходит к человеку осознание своего призвания быть милосердным, радостным, бескорыстным творцом. Раньше мы думали, что бездуховность свойственна только капитализму, но время выявило изощренные формы дегуманизации, общие для государств любой формации.

Можно запретить срывать полевые цветы для букетов и венков, но как уничтожить саму потребность в присвоении прекрасного только для себя? Как убедить людей, что цветок, которым в поле любуются все, в тысячу раз прекраснее цветка, огороженного забором или воровато спрятанного за пазуху? Фромм считает, что жажда присвоения — аномалия в естественном развитии человека. Как психоаналитик он находит причину этой болезни в социальном несовершенстве мира Он один из тех деятелей культуры, которых принято называть учителями жизни. Тут дело не в масштабе личности, а в направленности таланта. Пробуждать в человеке человеческое — вот истинная цель книги Эриха Фромма.

Константин КЕДРОВ.

★

В ОБЪЯТИЯХ ЛЕВИАФАНА

Бруно Травен. Корабль мертвых. Перевод с немецкого. Калининград. Калининградское книжное издательство. 1986. 367 стр.

Эта полузабытая книга (она издавалась у нас в 1929 году) сейчас, может быть, как никогда своевременна. При всем своем жанровом своеобразии сочинение Травена прежде всего дает пример отличной публицистики. Бруно Травен от первого лица рассказывает о «маленьком человеке», заброшенном в послевоенный мир, где «война получила свободу, а люди ее потеряли». Его герой — американский моряк, по воле судьбы отставший от своего судна и скитающийся по городам Европы. Внешняя, так сказать, фабульная трагедия этого человека в том, что у него нет с собой документов — они остались на судне. Несложная завязка дает начало очень серьезному разговору об отчуждении от человека всех институтов цивилизованного мира, изначально призванных вроде бы ему служить, но на деле превратившихся в труднопостигаемые механизмы, работающие на себя. Олицетворяет их государство — «великая, славная идея, поселяющая раздор и бесчинства и превращающая людей в номера».

Полицейские во всех странах задают герою один и тот же вопрос, который, по его мнению, выдумали «в Пруссии или в России, потому что все, что связано с вмешательством в частную жизнь человека, выходит из этих стран. Там люди необычайно терпеливы и позволяют делать с собой все, что угодно, снимая шапку перед блестящей кокардой». Спрашивают паспорт. Человек, у которого нет паспорта, как бы лишается права на существование. Он становится помехой ходу отлаженного бюрократического механизма. Для всякого представителя власти было бы лучше, если бы такой человек пропал, сгинул. С точки зрения функционера куда естественнее убить человека, чем поверить его словам и выдать новую бумагу. «...есть целый ряд стран, где бездомность и бедность считаются преступлением; и случайно или нет, но это именно те страны, в которых самые невероятные хищения, оставшиеся необнаруженными, не считаются преступлением, а, наоборот, являются первой ступенью карьеры почтенного гражданина».

Стараясь найти выход из неурядиц жизни, люди обычно охотно и много говорят об ответственности человека перед обществом, государством. Даже заведя речь о правах, они торопятся перейти на связанные с ними обязанности (как тут не вспомнить Салтыкова-Щедрина: «...разве может быть какое-нибудь сомнение относительно права, коль скоро обязанность несомненна?»). И только революционные эпохи ставят очень важный вопрос об ответственности государства перед человеком. Старые государственные машины, перестающие служить людям и работающие против них, идут на слом. Государство предстает у Травена как злая мистификация, а его законы — нечто вроде дешевой лепнины на плохо сложенных, грозящих обвалиться стенах. Чем помпезнее эта лепнина, тем опаснее находиться внутри здания. «Только слабый человек должен почитать закон. Государство не обязано исполнять его. Оно всемогуще. Человек должен соблюдать мораль, государство же не знает никакой морали. Оно убивает, если считает это нужным для себя, оно ворует, грабит детей у матерей и порывает браки».

Думаю, читателю нет нужды доказывать, насколько эти рассуждения отвечают нынешним попыткам гуманизировать все сферы общественной жизни (включая политику), обратить их к непосредственным нуждам человека. От успеха этого дела зависит само существование человечества. Но в более узком смысле книга Б. Травена для нас — это еще и аргумент в дискуссии, зашедшей в тупик. Дело в том, что гуманизация жизни требует прежде всего гуманизации сознания. Для новых политических отношений нужны, скажем, иные представления о гражданстве и патриотизме, а это уже вопрос культуры. Серьезно озабоченные культурным состоянием общества, девальвацией главнейших моральных ценностей, многие наши писатели, философы, историки предлагают разнообразные, порой взаимоисключающие рецепты. Доходит до курьезов: уважаемый кабинетный ученый, например, советует начать культурное возрождение с того, чтобы уступать женщинам место в метро...

В своем ироничном по форме, но суровом по сути анализе Травен будто специально для таких оторванных от жизни теоретиков показывает, как дурно устроенное общество силой изымает нравственного по природе человека из сферы культуры и лишает его всех духовных связей с жизнью. «Где моя родина? — в отчаянии восклицает гонимый отовсюду герой книги, скитаясь по ночлежкам и тюрьмам.— Там, где я нахожусь и где мне никто не мешает, где никто не знает, кто я и что я делаю, откуда

я пришел и куда уйду,— да, только там моя настоящая родина, мое настоящее отечество».

Есть такой предел физических страданий, такая стадия реального разрушения, убеждает нас автор, за которыми всякий разговор о духовных ценностях просто лишен смысла. Можно ли хранить верность дому, которого нет, семье, которая разбросана по свету, стране, которая от тебя отрекается? Можно ли народу-скитальцу, скученному на грязных вокзалах, предписывать правила хорошего тона? Ведь именно нищета, бесприютность, отсутствие быта (необходимого условия культуры) морально опускают человека до уровня наемника, которому безразлично, какую память о себе оставит он в том или ином чуждом ему месте. «Грязь и пот уродуют человека внутри еще больше, чем снаружи»,— пишет Травен. Претерпев муки, которые, кажется, выходят за границы любых человеческих возможностей, его герой идет в своем отрицании до конца: «В ту ночь я поднялся над богами. Мне больше не страшен ад. Я свободен и могу, не задумываясь, позволить себе все, что хочу. Я могу проклинать богов, могу проклясть самого себя, могу действовать так, как мне угодно. Никакой человеческий закон, никакая божья заповедь уже не способны повлиять на мои поступки, потому что я уже не могу быть осужден».

Книга Травена подобна мольбе, которую можно обратить разве что к небу. Мы, люди, не хотим грешить! Мы не жаждем вседозволенности, не тоскуем по войне, больше всего на свете обожаем мы мирный труд и очаг, но...

Что касается надежды, она, по мнению Травена, дана человеку скорее не богом, а дьяволом, ибо усугубляет его несчастья. Не будь разного рода усыпляющих утопий, человек, пожалуй, легче разобрался бы в причинах своей несвободы и попытался бы получше устроить свою жизнь сегодня, сейчас, а не в отдаленном будущем. «Я видел ослов, которых жестоко истязали их хозяева; эти ослы переставали принимать пищу и умирали. Даже маис не мог поколебать их решение. Но человек? Царь творения? Он любит быть рабом, он гордится быть солдатом и умереть под картечью, он торжествует, когда его бьют и пытают. Почему? Потому, что он может думать. Потому, что он выдумывает себе надежду. Потому, что надеется на лучшее. Это его проклятье, а не благословение». Со свойственным ему гротеском Травен повествует о том, как прост и доступен земной рай — достаточно с человеком обращаться по-человечески. На пароходе, где капитан заботился всего лишь о добротной пище для подчиненных, последние угольщики вели себя «так, что их можно было пригласить на бал в любое посольство».

Что такое «корабль мертвых»? Застрахованное старое судно, обреченное владельцем на гибель, поскольку оно уже не приносит дохода. Команда на таком судне — заложники: они знают, что рано или поздно должны пойти ко дну, знают и то, что владельцу выгодно оставить в живых как можно меньше моряков, чтобы авария судна не выглядела преднамеренной. Оттого даже спасательные средства на таких судах заранее выведены из строя. По мысли Травена, все люди — заложники государства, которое не желает брать на себя за них никакой ответственности, все они обречены. Впрочем, автор сознает, что «правду нельзя засолить, как солонину в бочке, и ждать, что через сто лет она все еще будет правдой». Вывод, сделанный в 20-х годах, заставляет удвоить усилия в последней, может быть, попытке покончить с безличными отношениями в человеческом обществе, с нуждой, обманом и насилием.

Сергей ЯКОВЛЕВ.

★

ТЕОРЕТИК, ПУБЛИЦИСТ, ИЗДАТЕЛЬ

В. Викторов, В. Куманев. Скворцов-Степанов. М. «Молодая гвардия». 1986. 272 стр.

Книги, подобные этой, лишний раз убеждают нас, сколь интересными, по-настоящему значительными были судьбы людей, стоявших у истоков культурного строительства молодой Советской республики.

Иван Иванович Скворцов-Степанов был уже закаленным в борьбе партийцем с два-

двадцатипятилетним стажем, когда произошла революция. Его, незаурядно образованного человека, талантливого организатора, 26 октября (8 ноября) 1917 года II Всероссийский съезд Советов избрал членом первого Советского правительства и по предложению Ленина назначил народным комиссаром финансов. Скворцов-Степанов отказался от этого поста: будучи переводчиком «Капитала» Маркса и теоретиком финансового дела, он не счел себя достаточно хорошим практиком. После революции он продолжал служить партии как теоретик, литератор-публицист, издатель.

Доктор исторических наук В. Викторов и профессор В. Куманев впервые столь подробно знакомят нашего читателя с жизнью и деятельностью Скворцова-Степанова. Они собрали и прокомментировали большое количество документов, свидетельства очевидцев, воспоминания современников. Авторам книги удалось показать, как много успел сделать Иван Иванович за последние одиннадцать лет жизни, прожитые им при советской власти.

В то время опытные и энергичные ленинцы нередко исполняли одновременно несколько серьезных обязанностей. Не был исключением и Скворцов-Степанов: работал в Московской партийной организации и ЦК, руководил органом Советского правительства — газетой «Известия», Государственным издательством РСФСР, стоял во главе Института В. И. Ленина, занимался научной деятельностью в Социалистической (с 1924 года — Коммунистической) академии, преподавал в Московском университете и Университете имени Свердлова...

«По мере того как мы дальше отходим от того времени, когда сам Ленин руководил партией, мы все глубже чувствуем... громадность того наследия, которое он оставил после себя,— писал Иван Иванович в статье «Два года без Ленина».— Поистине неисчерпаемым представляется нам в настоящее время идейное богатство, оставленное Лениным. На нем еще долго будут воспитываться тысячи и миллионы борцов и строителей не только в нашем Союзе, но и во всем мире... Сохранить партию единой... это один из величайших заветов Ленина». Особое значение придавал Скворцов-Степанов поискам рукописей и переписки Владимира Ильича, научной классификации и хранению ленинских документов, их публикации Он принимал участие в подготовке к изданию первого и второго Собраний сочинений Ленина, Ленинских сборников. Организованная им в 20-е годы работа по изучению ленинской биографии воплотилась в завершенной в 1982 году двенадцатитомной Биографической хронике основателя первого социалистического государства.

Скворцов-Степанов смело привлекал к работе в «Известиях» молодых литераторов, и вскоре вокруг газеты сложился коллектив талантливых публицистов: М. Шагинян, Л. Рейснер, В. Лидин, Д. Заславский, П. Павленко. Лучшие журналисты выступали в специальной рубрике, созданной в газете после XIV съезда партии. Уже по заголовкам можно судить, что темы этих выступлений по сей день не утратили своей остроты: «Местные парторганизации и режим экономии», «Отвечает потребитель или заготовитель?», «Лишние учреждения и штаты». Столь же актуальны сегодня предупреждения Скворцова-Степанова об опасных последствиях варварского истребления лесов, о необходимости интенсивного, а не экстенсивного развития народного хозяйства и многое другое, что разыскали авторы книги в старых публикациях. «Помните, что «Известия» — это своего рода часть территории Советского Союза со всеми его замечательными новыми обычаями и законами... Выслушайте посетителя, как бы вы ни были заняты! В редакции всегда дел по горло... Но, воля ваша, мы — слуги народа»,— наставлял Иван Иванович сотрудников. Для проверки читательских сигналов и защиты интересов трудящихся в «Известиях» появился отдел писем.

И. И. Скворцов-Степанов много сделал для организации при издательстве «Известия» в 1925 году выпуска журнала «Новый мир». Скворцов-Степанов вместе с А. В. Луначарским и Ю. М. Стекловым были первыми редакторами этого журнала. В 1926 году, когда ответственным редактором журнала по предложению Скворцова-Степанова был назначен В. П. Полонский, Иван Иванович продолжал сотрудничать в «Новом мире» как член редколлегии. Дружеские и деловые контакты Полонского и Скворцова-Степанова отражены в документах, с которыми знакомит нас книга. На групповых фотографиях известинцев они всегда рядом. О смелости Скворцова-Степанова как редактора в отношении сложных, спорных произведений можно судить хотя бы по истории публикации в «Новом мире» романа А. Толстого «Восемнадцатый год». Первые главы его, полученные редакцией весной 1927 года, вызывали у Полонского некоторые сомнения. Толстой неохотно шел на уступки, и судьбу публикации решил Скворцов-Степанов: летом юбилейного года

журнал начал печатать вторую часть трилогии «Хождение по мукам». Кстати, в книге ошибочно утверждается, что вся трилогия была опубликована «Новым миром».

Скворцов-Степанов не уставал напоминать работавшим рядом с ним журналистам и редакторам, что нельзя «неряшливо одевать свои мысли», что в работе со словом недопустима небрежность. К сожалению, авторы книги не всегда следуют этому совету. На ее страницах можно встретить такие, например, выражения, как «рельефный классовый характер религии», «сильно выделялся... непередаваемой внимательностью» к людям. «Непередаваемая» невнимательность к тексту (редактор В. Калугин) привела к тому, что немецкий историк и этнограф Генрих Кунов превращен здесь в русского, искажено название романа С. Клычкова «Чертухинский балакирь». Читателю сообщается, что Скворцов-Степанов находил много созвучного своим идеям «у Фрица Платтена, который с 1932 года переехал в СССР... Беседовать с Платтеном для Ивана Ивановича было одно удовольствие». Казалось бы, нет никаких сомнений, что Скворцов-Степанов и Платтен общались в 30-е годы, но дело в том, что в 1928 году Иван Иванович умер...

И. И. Скворцов-Степанов похоронен на Красной площади. В Москве на Пушкинской площади находится типография его имени, где печатаются возглавлявшиеся им когда-то «Известия» и «Новый мир». Можно добавить, что все, кто направляется в редакцию журнала «Новый мир», идут по переулку Скворцова-Степанова.

М. ВАШКЕВИЧ.

КОРОТКО О КНИГАХ

★

ЮРИЙ ПОМПЕЕВ. Февральский вихрь. Эти великие полгода. Дилогия о революционных событиях 1917 года. Л. «Советский писатель». 1987. 688 стр.

Обратившись к периоду между двумя русскими революциями 1917 года, Ю. Помпеев поставил перед собой задачу возвратить живое многоголосие этим историческим дням. Его книга построена почти целиком на документах. (В издательской аннотации она так и представлена — документальный роман-хроника.) Основа ее — ленинские работы, написанные весной и летом семнадцатого года. Автор как бы заставляет нас внимательно перечитать их, заново вслушаться в интонации ленинской речи. Они — ариаднина нить в хитросплетениях разбуженной Февралем общественно-политической мысли Петрограда. А рядом звучат другие голоса: Гучков, Чхеидзе, Церетели, Терещенко, Шульгин — все богатство многопартийной послефевральской палитры. На страницах дилогии они отстаивают свою версию исторической целесообразности, свои взгляды на революцию, свои мечты о будущем России. Потерпев поражение, многие из них напишут воспоминания. Как и все свидетельства из первых рук, эти документы бесценны.

Автор дает слово и еще одной группе политических деятелей. Это — Троцкий, Каменев, Зиновьев, Бухарин.

Если дилогия Ю. Помпеева и снимает исторические заклятья, то, к сожалению, и сама она не вполне свободна от инерции прошлого мышления. Проявляется эта несвобода по-разному. Например, в инерции агиографического канона: фигуры, чья «положительность» бесспорна, положительны во всех отношениях. Те же, чья «благонадежность» под сомнением, и прочие «не наши» живописуются с робостью, но и с преобладанием черного карикатурного штриха.

Вряд ли к удачам автора можно отнести и первые главы дилогии. Призванные воссоздать политическую и нравственную атмосферу предреволюционных месяцев, они содержат излишне подробное, на мой взгляд, и потому несколько смещающее историческую перспективу изложение отношений Гришки Распутина с императорской семьей...

Впрочем, эти и иные недочеты объяснимы и простительны. Тема необъятна, как необъятны нагромождения вокруг нее исторических предрассудков и просто лжи. Исправить все ошибки, расставить наново все акценты — задача не одной книги и не одного писателя. Историческая наука к ней еще лишь подступается.

Борис Багаряцкий.

★

МИХАИЛ ЯСНОВ. В ритме прибоя. Стихи. Л. «Советский писатель». 1986. 118 стр.

Первая книга стихов вышла у Михаила Яснова, когда он уже несколько лет являлся членом Союза писателей. А что же до нее? Тоненькие книжки для детей, отмеченные изяществом, наблюдательностью. Публикации переводов. И была репутация довольно известного детского поэта. Однако «взрослым» поэтом Яснов был изначально: просто выхода в свет сборника «В ритме прибоя» он ждал... почти десять лет! И все эти годы представал в литературе как бы не в основном своем качестве. А жаль, ибо автору есть о чем говорить с читателем.

Книжку интересно читать. Она «зацепляет». К ней возвращаешься, отыскивая запавшую в память строфу, строчку, неожиданное, часто парадоксальное, сравнение. «Малиновые гранаты» на рыночном прилавке у Яснова «лоснятся, как дядьки в бане»; прибрежный песок под ногами, «как первопуток, хрустит ракушечным ледком»; грибной нарост на березе — словно «сургуч на свитке». Такие примеры можно было бы продолжить. Все это увидено зорко, предметно. Но подобные детали отнюдь не самое главное в книге. Важнее, что у поэта, человека послевоенного поколения («шестидесятника», как он сам себя определяет), есть своя творческая, философская концепция. Сформулировать эту концепцию, как и любое поэтическое кредо, непросто. Однако найдем в книге Яснова стихотворение, которое дает к ней ключ.

Названо оно подчеркнуто буднично: «Транспортная хроника». А начинается так:

В связи с ремонтом эскалатора
толпа к трамваю привыкала.

Прервем цитирование. Вспомним, сколько раз читали мы на фанерных щитах, клочках бумаги, наспех прилепленных к дверным косякам, похожие тексты: «В связи с прокладкой водопровода проезд временно закрыт». Привычные неурядицы? Повседневность? Да, конечно. Но вот эти привычные бытовые формулы вошли в стихи поэта: «Проспект был огорожен досками в связи с прокладкой теплотрассы». И вдруг происходит чудо — слова обретают новый смысл! Включенные в сферу поэтического зрения, они становятся теми нитями, которые связывают нас с окружающим миром, со всеми заботами дня, нашего, сегодняшнего времени. Мир, утверждает М. Яснов, поминутно тормошит нас, беспокоит, тревожит, раздражает, но в то же время, быть может, и выручает и спасает. А порой дарит и самое настоящее счастье:

Так очутился у подъезда я,
так на тебя взглянул украдкой,
так я тебя назвал невестою
в связи с починкой и прокладкой,

в связи с твоей улыбкой кроткою,
в связи с моей внезапной смелостью,
в связи с весеннею разводкою
мостов —
меж юностью и зрелостью.

Разумеется, здесь присутствует ирония. Но она лишь оттеняет серьезность разговора. Вообще серьезность, углубленная иронией, юмором,— отличительная черта этого автора. Наиболее ярко она выражена, к примеру, в микропоэме «Грузчик». Сколько здесь точно увиденного, сколько веселой игры слов! Но произведение не было бы поэтическим событием, если бы не вывод-рефрен:

Подгибались колени, руки и ноги ломило,
но город я взваливал на спину так, что
звенела кровь,
и надрывался от тяжести, и мне непонятно
было,
что эту тяжесть на самом деле зовут —
любовь.

На современность в поэзии нынче принято ворчать: она-де и прагматична, и суетна, и с природой в разладе. А с другой стороны — кто мы? что мы значим без времени, в котором живем? Графичная четкость ленинградского пейзажа отзывается у Яснова щемящей нотой:

Черный гранит. Мост. Барельеф.
Взгляд наугад.
Бронзовый конь. Мраморный лев.
Медный закат.

Камень на камне. Бетон. Провода.
Отчий мой кров.
Город, в котором уже никогда
деревья не будут выше домов.

И все-таки, подчеркивает автор, это родной мир. Именно «отчий кров», заслуживающий и любви, и сыновней заботы, и признательности. Михаил Яснов смело и открыто глядит в лицо нашей сегодняшней жизни, видит ее беды и боли, но обретает в ней радость, постоянно ищет ее неповторимую гармонию.

Добавим напоследок, что стих у М. Яснова достаточно профессиональный, порой изощренный: разнообразные ритмы, строфика (а не привычная вереница перекрестно зарифмованных четверостиший), интересно найденные рифмы. С классической просодией у него прекрасно уживается энергичный, насыщенный образами верлибр. Думается, что сборник ленинградского поэта (употребим-таки для очистки совести традиционную формулу «несмотря на отдельные шероховатости») найдет своего благодарного читателя. А точнее, уже нашел: книжки на прилавках нет.

Э. Ефремова.

★

ИЛЬЯ ИЛЬФ, ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВ. Двенадцать стульев. Золотой теленок. М. «Художественная литература». 1986. 495 стр.

Не верится, что Ильфу было бы сейчас девяносто лет, а Петрову — почти восемьдесят четыре,— так свежа, так молода их проза. В юбилеи часто вспоминают забытое, но «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок» — это прежде всего день сегодняшний. Впрочем, Бендер, Воробьянинов, Балаганов, Паниковский, Козлевич уже давно стали почти фольклорными персонажами.

Ильф и Петров — это целая эпоха, ренессанс смеха в русской литературе. Выйдя из фельетонно-газетной повседневности, очистившись от суеты, их муза обрела истинно гоголевское достоинство. Без «Двенадцати стульев» и «Золотого теленка» Ильфа и Петрова не было бы «Мастера и Маргариты» Булгакова, а это значит, что и прошлое и будущее нашей литературы так или иначе соприкасается с высоким смехом двух удивительных писателей.

По жанру «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок» — типичные плутовские романы XX века. Кстати, у Остапа Бендера есть собратья — Хулио Хуренито Ильи Эренбурга и бравый солдат Швейк Ярослава Гашека.

«Грустно в стране непуганых идиотов» — этот афоризм Ильфа стал поговоркой. Фольклором стал знаменитый научный диспут из тех же «Записных книжек»: « — Бога нет! — А сыр есть? — грустно спросил учитель». И уже совсем хрестоматийный случай: «У нее была последняя мечта. Где-то на свете есть неслыханный разврат. Но эту мечту рассеяли».

Юмор Ильфа какой-то «неземной», хотя возникает из самой глубины быта. Здесь в каждой фразе крылья, уносящие за пределы назидательной притчи или фельетона. «Дал бы я вам, Киса, по морде, да Заратустра не велит». Почему Заратустра, при чем тут Заратустра? В том-то все и дело, что ни при чем. Уловить

юмор Ильфа и Петрова в сети рассудка не так-то просто. Видимо, к этому и не надо стремиться.

В «Золотом теленке» прекрасно неуловимое. Есть золотой телец, служить ему грешно. А вот теленок — это нечто другое: боднет, взбрыкнет и убежит, растает в небе «бриллиантовым дымом».

Прекрасен в финале романа Остап Бендер, сеющий вокруг себя град из ювелирных изделий. С каким наслаждением Ильф и Петров расправляются с драгоценностями, превращают их в ничто, в повод для улыбки и смеха. Едут по пустыне два миллионера — Остап и Корейко, погоняя верблюда мешком с миллионом. До чего смешон Корейко, достающий миллион из чемодана под кроватью, напоминая шахтера в забое! Для Бендера миллион — мечта, для Корейко — повседневная реальность. Бендеру весело, Корейко скучно. Уже напрашивается мораль, но ее-то, к счастью, в романе нет.

Есть, увы, бессмертный «Геркулес» — царство бюрократов-разбойников. Есть такой же неистребимо резиновый Полыхаев с его резолюциями: «И кроватей не дам, и умывальников».

Здесь Ильф и Петров оказались пророками поневоле. Они вовсе не хотели, чтобы «Геркулес» существовал вплоть до наших дней, им казалось, что это нечто преходящее, временное, что-то вроде болезни роста. Гроб с надписью «Смерть бюрократизму!», который работники «Геркулеса» носили на демонстрациях, все еще пуст, а бюрократизм оказался живучим и воскресающим.

Перечитывая Ильфа и Петрова, я все пытаюсь понять, что же устарело в их едкой сатире 20—30-х годов. Почти ничего! Читаешь стихи, поэмы на страницах нашей периодики — все та же бессмертная «Гаврилиада»: «Служил Гаврила хлебопеком, Гаврила булки выпекал...» И пусть кто-нибудь скажет мне, что наши многоэтажные главки и тресты не похожи на полыхаевский «Геркулес». Что же до литературного процесса, то здесь Ильф и Петров опять же все угадали вперед на полвека. «Инда взопрели озимые... Понюхал старик Ромуальдыч свою портянку и аж заколдобился» — слишком это похоже на некоторые подделки под деревенскую прозу.

Наша торжественная поэтическая риторика с ее ходульной «гражданственностью» уходит корнями все в тот же «потный вал вдохновения»: «Железный конь несет вперед историю скок взметать, семью трудящихся несет ошибки выявлять».

Житель Колоколамска видит страшный сон: семь партийных поклонились в ноги ему, беспартийному. Разгневанные жители прогнали гордеца из своего города — «как бы чего не вышло». Такие же «колоколамцы» запрещали романы Ильфа и Петрова, изымали их из библиотек в 40-е годы. После XX съезда Ильф и Петров вернулись к нам навсегда, и все же это возвращение нельзя считать полным. Почему-то не переиздаются «Записные книжки» Ильфа, не видно в печати романа «Светлая личность», ни в чем, на мой взгляд, не уступающего «Золотому теленку». Будем надеяться, что перестройка всколыхнет рутину издательств и многие произведения Ильфа и Петрова вернутся к сегодняшнему читателю, даря ему смех и волшебство.

К. Константинов.

★

НИНА БУДЕННАЯ. Старые истории. Рассказы. Повесть. М. «Московский рабочий». 1986. 222 стр.

Легендарного маршала Семена Михайловича Буденного мне посчастливилось увидеть, как говорится, в его родной стихии — на плацу и на манеже, среди конников и лошадей. Было ясно, что рядом — явление поразительное, уникальное и, увы, уходящее. Явление историческое, о котором когда-то будут писать и читать точно так же, как мы теперь читаем и с трудом верим в существование римских легионеров, средневековых рыцарей или конкистадоров эпохи Возрождения.

Раньше я уже читал очерк Нины Буденной об отце, по-моему, в «Комсомольской правде». Очерк был хорош точно найденной позицией, выдержанной дистанцией, а главное — маршал выглядел в нем живым, достоверным. Таким же предстает он и в книге. Искать в рассказах дочери Буденного мотивов «по Бабелю» или «по Алексею Толстому» было бы некорректно: если лишний раз повторять классиков, то и писать бы не следовало. Нет, Нина Буденная рассказывает о своем и по-своему, не обходя при этом и такой проблемы, как Буденный и Бабель.

«Интересное было время! Новое переплеталось со старым...» — таков лейтмотив рассказов. Лейтмотив, конечно, не новый, и было бы даже странно, если бы оказалось иначе. Зато по знакомой, известной канве «расшиты», расположены новые и выразительные эпизоды.

«...Николай Алтухов, преданный революции до нечеловеческого предела. Ведь он же отца своего родного убил, сошедшись с ним в бою! Как же он упрашивал его сдаться, как молил сложить оружие!

Но тот бросился на сына с обнаженным клинком:

— Не сомневайся, собака, я тебя первым зарублю!»

О подобном мы читали у Шолохова. И у Шекспира!

О том и речь: к нам обращается наш современник, в домашнем кругу которого хранились предания, достойные по глубине и масштабам великих эпопей и великих трагедий.

«С сегодняшнего дня смотреть, сколько же глупостей мы тогда понаделали!» Это еще один сквозной мотив буденновских рассказов. Буденновских — в смысле принадлежащих самому Буденному, дочерью воссозданных. Не записанных. Это не стенограмма и не дневник, а рассказы о рас-

сказах легендарного маршала. И «глупости» эти тоже героические, принадлежат тому времени, нам о них следует только знать — не судить.

Помимо рассказов в книгу Нины Буденной вошла небольшая повесть, создающая бытовой, семейный фон тем же рассказам. Мне кажется, к повести автор еще вернется и введет в нее больше житейского материала: пока материал этот не остыл, не кристаллизовался в той же степени, как предания, слышанные ею из уст отца.

«Красный Мюрат» — такое определение Буденного приходилось слышать от военных историков; введено оно и в книгу, введено умно и тактично. Чтение «Старых историй» невольно вызывает все ту же мысль: вот ведь совсем рядом действовала удивительнейшая фигура — воин-кавалерист, полководец, сын народа, из тех, что бывали, казалось бы, лишь давным-давно. Впервые мысль эта пришла мне в тот праздник 23 февраля на хамовническом манеже ЦСК, где в последний раз я увидел Буденного, и тогда она вызвала горький вопрос: неужели среди нас, окруживших легендарную фигуру, не найдется человека, способного остановить историческое мгновение на бумаге? Оказывается, был такой человек рядом с маршалом — книга о С. М. Буденном перед нами.

Д. Урнов.

★

КИРИЛЛ РАЗЛОГОВ. Конвейер грез и психологическая война. Кино и общественно-политическая борьба на Западе. 70—80-е годы. М. Политиздат. 1986. 238 стр.

Книга эта написана на «переломе времен». Она содержит черты нашей уходящей в прошлое контрпропагандистской литературы: однозначное деление на своих и чужих, хороших и плохих; выводы и оценки, порой напоминающие протоколы судебного заседания; исполненная какой-то скучной добродетельности и непогрешимости поучающая интонация; обезличенные языковые стереотипы и т. д. При всем при том книга (прежде всего самим подбором используемого материала) заставляет задуматься о многом из того, что нам важно осмыслить безотлагательно — еще на первом этапе перестройки, чтобы потом не жалеть о новых ошибках и упущениях. Ведь ошибки в сфере культуры и идеологии, как мы сейчас видим, исправляются ничуть не быстрее, чем в экономике (при кажущейся легкости и дешевизне «смены галсов» в ее движении).

От каких же конкретно ошибок способна предостеречь нас книга К. Разлогова? «Новое мышление», которым мы овладеваем в ходе перестройки, предполагает бо́льшую открытость, терпимость к чужим точкам зрения. Это не просто необходимо — это прекрасно. Но на этом прекрасном пути есть опасность незаметно перейти черту, о которой так хорошо сказал В. Распутин в своем «Пожаре»,— черту между добром и злом, нравственным и безнравственным, допустимым и недопустимым.

В нашем неприятии всего западного было много сектантства, ханжества, косности. А поучиться у Запада есть чему, есть что перенять. В том числе и в киноискусстве. Автор показывает, как много создано там кинофильмов, прогрессивных по духу, демократичных, даже революционных. Увы, мы не всегда брали такое искусство в союзники. И в то же время весьма терпимы были к развлекательным и, казалось бы, безобидным поделкам. Право слово, нам следует серьезней отнестись к опыту многих прогрессивных критиков и журналистов Запада, бескомпромиссно развенчивающих продукцию «фабрики грез», встревоженных не только ее художественной низкопробностью, но и тлетворностью идеологической позиции. Неангажированность массового развлекательного кино Запада — кажущаяся; у него своя идеологическая функция: насаждение «искейпизма» — ухода от действительности, ее противоречий и социальных противоборств в «грезы наяву», в мир мечты о легкой и красивой жизни.

И надо отдать должное западным кинобизнесменам — они преуспели в своем ремесле. Эксплуатируя тягу массовой аудитории к развлечениям, они очень гибко приспосабливаются к зрителю, напористо клишируют оправдавшие себя на практике сюжеты и жанры, те же «фильмы ужасов», «фильмы катастроф», не жалеют денег на боевики, авантюрные сериалы и т. д. Упаси нас бог, развивая широту взглядов и терпимость, стать более терпимыми к буржуазной системе ценностей, к моральной всеядности, потребительству, индивидуализму... Тем паче что нами наконец-то вроде бы осознано: источники буржуазности и пошлой массовой культуры можно найти не только на зарубежных территориях. Некоторые собственные наши киносценаристы и режиссеры вполне способны потягаться в этом отношении с кем угодно.

Книга К. Разлогова показывает, что старомодно-сентиментальное благодушие по отношению к западному кино более чем неуместно. Кино не просто искусство! Это мощная индустрия, это (если иметь в виду именно западное кино) целая всемирная империя, в которой сплавились в противоречивый, но уже неразрывный, во многом саморегулирующийся конгломерат идеология и экономика, этика и эстетика, психология и техника, политика и реклама.

Думается, в раскрытии противоречиво взаимодействующих структур этой империи и заключается главная ценность рецензируемой книги. Содержание искусства у нас свое, но организации кинодела, умению чутко и дифференцированно учитывать запросы зрителя нам не грех поучиться и у западных кинопредпринимателей. И умению гибко сочетать экономический интерес с идеологическим. В условиях демократизации всех сфер нашей жизни, в условиях перехода от административной

системы управления к экономической подобное умение обретает особую ценность.

Галина Голубкова.

★

А. ЧЕРНОБАЕВ. В вихре века. М. «Московский рабочий». 1987. 207 стр.

Александр Яковлевич Аросев — человек, о котором рассказывает эта книга,— принадлежит к третьему поколению семьи революционеров. Дед его по материнской линии был сослан в Пермь за принадлежность к «Народной воле». Мать сочувствовала и помогала сыну и его товарищам в подпольной работе, после Октября немало сделала как член городского Совета (в городе Спасске, что под Казанью) и была расстреляна белогвардейцами.

Эмоциональный и импульсивный по характеру, Александр в четырнадцать лет пытался бежать в Порт-Артур воевать с японцами. В октябре 1905 года он участвует в демонстрации казанской учащейся молодежи, стреляет по казакам и жандармам из пистолета, подаренного дедом, разоружает полицейских. Затем — тюрьма, исключение из реального училища. В семнадцатилетнем возрасте становится членом партии большевиков. Уже в советское время, заполняя одну из анкет, Александр Яковлевич на вопрос: «Привлекался ли к суду за революционную деятельность?» — отвечал: «В 1909 г. сослан в Вологодскую губернию. Бежал. В 1911 г. сослан туда же. Бежал. В 1913 г. сослан в Архангельскую губернию. Бежал. В том же году сослан в Пермскую губернию, где и оставался».

После первого побега из ссылки Аросев некоторое время жил за границей. В Париже впервые встретился с В. И. Лениным. В статье «Из памятной книжки о Ленине», опубликованной в журнале «Прожектор» в 1924 году, Аросев писал, что незадолго до возвращения в Россию его привели на квартиру Ленина на улице Мари-Роз. Владимир Ильич подробно расспросил Аросева, знает ли он, кому и как следует передать транспорт с нелегальной литературой, где и с кем предстоит работать. Провожая гостей, хозяин сказал что-то шутливое. «Оглянувшись на него,— вспоминал Александр Яковлевич,— я немного споткнулся, а он поддержал меня за плечо, и я ощутил теплую и сильную руку. Весело расстались».

Главное внимание уделено в книге событиям 1917-го. Автор рассказывает об участии Аросева в работе VII (Апрельской) Всероссийской конференции РСДРП(б) (в последнем издании протоколов конференции этот факт почему-то не зафиксирован), о его деятельности в Твери, куда он был направлен после завершения учебы в 4-й Московской школе подготовки прапорщиков пехоты, об избрании «товарища Александра» делегатом VI съезда РСДРП(б). Принять участие в работе съезда Аросеву не пришлось: 22 июля он был арестован. Предъявленное ему обвинение в измене грозило смертной казнью, однако в начале сентября под давлением общественного мнения он был освобожден.

В полную силу организаторский и военный талант прапорщика Аросева раскрылся в октябрьские дни 1917 года. Он и начальник штаба московской Красной гвардии А. С. Ведерников возглавили Боевой штаб, созданный при Московском военно-революционном комитете. Известно, что среди руководителей московских большевиков не было единства в вопросах тактики борьбы. В. П. Ногин и группа его сторонников настаивали на установлении советской власти мирным путем. А. Я. Аросев, Г. А. Усиевич и Н. И. Муралов, назначенный после победы революции командующим Московским военным округом, считали, что необходим решительный удар по силам контрреволюции с целью быстрого прекращения кровопролитной борьбы. Напряженность и драматизм тех дней Аросев позднее выразил в короткой и динамичной фразе: «Люди физически дрались за социализм».

Начиная с 1918 года Аросев многократно видел Ленина, беседовал с ним, по свежим впечатлениям от этих встреч первым воплотил образ вождя в своих очерках и рассказах. Когда в Москве открыли Институт В. И. Ленина, Аросев стал заместителем директора. В короткий срок он составил каталог рукописей Владимира Ильича, собрал документы о его деятельности в Поволжье, которые легли в основу работ «По следам Ленина», «Материалы к биографии В. И. Ленина», «О Владимире Ильиче». Впоследствии Аросев внес немалый вклад в становление и развитие советской дипломатии, работая вместе с Л. Б. Красиным и М. М. Литвиновым.

Книга написана историком, и больше всего в ней рассказывается, естественно, о революционной деятельности Аросева. Но А. Я. Аросев был и талантливым литератором. Он начал писать еще до революции, в тяжелых условиях подполья, каждую свободную минуту отдавая литературе. В 1920 году вышел первый сборник его рассказов «Революционные наброски», позднее издаются автобиографический роман «Корни», пьеса «На перекрестке», очерки «Москва — Париж», «Беседы и встречи с нашими друзьями в Европе». К концу 20-х годов вышел двухтомник сочинений Аросева, который привлек внимание читателей и критики. А. Воронский в статье «Из современных литературных настроений» ставил Аросева в один ряд с Вс. Ивановым, Б. Пильняком, Н. Тихоновым, К. Фединым... Незаслуженно забытое наследие писателя представляет и сегодня несомненный интерес.

В начале 1938 года, в самом расцвете творческих сил, Александр Яковлевич трагически погиб. После XX съезда КПСС его доброе имя было восстановлено. К счастью, мы сможем подробнее познакомиться с жизнью и деятельностью А. Я. Аросева благодаря книге его старшей дочери Н. А. Аросевой «След на земле», которая скоро выйдет в издательстве «Политическая литература». Наряду с этим читатель получит и сборник его произве-

дений, который готовится в издательстве «Современник».

Л. Пустильник.

★

П. ДЕНИСОВ. Никифор Охотников. Очерк жизни и творческой деятельности. Чебоксары. Чувашское книжное издательство. 1986. 127 стр.

Чуваш Никифор Охотников (1860—1892) известен прежде всего как ученик молодого В. И. Ленина-гимназиста, помогавшего ему подготовиться к экзаменам на аттестат зрелости в симбирской классической гимназии. Благодаря этому талантливый юноша, один из питомцев просветителя чувашского народа И. Я. Яковлева, по чьей личной просьбе Владимир Ильич и стал заниматься с ним, смог реализовать свою мечту и стал студентом физико-математического факультета Казанского университета. Никифор Охотников проявил себя как талантливый педагог, обнаружил незаурядное дарование в области естественных наук, стал автором ряда историко-этнографических исследований.

Книга историка П. В. Денисова является, по существу, первой работой, в которой достаточно полно использованы рукописное наследие Н. М. Охотникова, архивные материалы, а также мемуарно-документальные свидетельства о нем современников. Это позволило автору объективно оценить заслуги Охотникова в развитии дореволюционной чувашской культуры.

Охотников был одним из первых, наиболее одаренных выпускников симбирской чувашской школы. На становление его личности сильно повлияли идеи И. Я. Яковлева о просвещении народа путем обучения на родном языке, сохранении в учебно-воспитательной работе традиций чувашской народной педагогики, приобщении соотечественников к русской гуманистической культуре. Сочинение Охотникова «Записки чувашина о своем воспитании» можно считать своего рода памятником народной дидактики, в котором любовно показан процесс воспитания детей в чувашской деревне, ярко описаны крестьянский общественно-семейный быт, система религиозно-мифологических представлений народа и его обряды. «Записки...» свидетельствуют о мировоззренческом перевороте, происшедшем у автора под воздействием идей христианского просвещения. Вместе с другими работами Охотникова они являются не только основным источником его биографии и добросовестной сводкой материалов по чувашской этнографии. Значение их шире, потому что талантливый народный учитель на собственном примере пытается разрешить противоречия между установками традиционной чувашской культуры и новым мировоззрением, обсуждает идеи и принципы «инородческого просвещения», показывает, как прививались в среде образованных чувашей новые духовные ценности.

Кажется, что порой П. В. Денисов слишком упрощенно трактует процесс выработки нового сознания, сложную культурную ситуацию в целом. В книге мы встречаем упреки в адрес «религиозно-идеалистических взглядов» отдельных представителей чувашской интеллигенции, «христианской церкви с ее реакционной идеологией», «принудительной христианизации» и т. д. Тут будет нелишним заметить, что в конце XIX — начале XX века весь этот круг проблем нашел свое отражение в произведениях многих чувашских авторов, которые придерживались просветительских взглядов и в своем литературном творчестве опирались на так называемый метод просветительского реализма. А идеология просвещения в Среднем Поволжье выступала под знаменем христианства.

В книге П. В. Денисова уточняются даты тех или иных событий в жизни Н. М. Охотникова, подробно характеризуется среда, в которой происходило формирование его педагогических и историко-этнографических воззрений, дается оценка его научному и литературному наследию. Через всю книгу проходит мысль, что имена двух выдающихся деятелей чувашской дореволюционной культуры — И. Я. Яковлева и Н. М. Охотникова — навсегда вписаны в историю семьи Ульяновых и биографию молодого Ленина.

А. Хузангай.

Чебоксары.

★

ГАРРИ МАУРЕР. Без работы. Устная история безработных. Перевод с английского. М. «Прогресс». 1986. 318 стр.

Американский публицист Гарри Маурер проехал на автомобиле двенадцать тысяч миль и побеседовал с сотнями людей во всех концах Соединенных Штатов. Итогом поездки стала книга, «написанная» безработными Америки. Той самой страны, которая по праву гордится своими техническими и научными достижениями и высоким уровнем жизни. Наш читатель знаком с энергичным, целеустремленным, собранным и четким американским тружеником (хотя бы по отрывкам из книги Юрия Черниченко «Работающий американец», опубликованным недавно в журналах «Дружба народов» и «Простор»). Маурер представляет нам его антипода — неработающего американца.

Что побудило автора написать такую книгу? Отвечая на этот вопрос, Маурер выражает надежду, что читатели «найдут в ней отклик своим собственным мыслям, чувствам и переживаниям, сумеют по-новому взглянуть на свое положение и задуматься над тем, что еще они могут предпринять, чтобы жизнь без работы меньше походила на одиночное заключение». Автора возмущает, когда в безработных «видят не живых людей, а неодушевленные числа — некий более или менее огорчительный процент, скороговоркой оглашаемый диктором последних новостей». Вместо пусть страшной, но все же абстрактной

статистики он предлагает своим читателям рассказы-исповеди. Не претендуя на всесторонний и всеобъемлющий анализ проблемы, Маурер «разговорил» безработную Америку — многих из тех, кто испытал на себе утрату достатка, независимости, надежды на будущее.

«Ну что такое раньше была безработица для меня? — признается бывший полицейский Кларк Гувер.— Отвлеченное понятие, некий процент. «Да, это ужасно»,— мог я сказать, а через десять минут начисто о ней забыть. А вот когда сам оказался среди безработных, тут уж смотришь на все иными глазами...»

Так сбивается спесь и самоуверенность с американца, полагающего, что с ним никогда не может случиться ничего подобного. Даже самый квалифицированный, умелый, преуспевающий работник может оказаться в положении изгоя. Таков неумолимый закон общества свободного предпринимательства, где конкуренция захватывает не только предпринимателей, но и широкие массы трудящихся. «„Хорошие люди всегда получают работу". Сколько раз слышали вы эту сентенцию? Так вот враки это, чушь. Все не так»,— с горечью свидетельствует Грейс Китон, пятнадцать лет проработавшая в книжных издательствах. Эта женщина развеивает еще один американский миф, согласно которому безработные — это лентяи, неумехи, пьяницы или наркоманы. Подобный миф стал возможен благодаря перестановке причины и следствия. Именно потеря работы, ощущение своей никчемности заставляет людей курить «травку», прикладываться к бутылке, идти на преступления. «Раз люди лгут и это сходит им с рук, а тебя прижимают к ногтю, раз мир так устроен — пропади все пропадом! — говорит Рози Энджелс.— Я забросила мужа. Забросила детей. Вытворяла бог знает что».

Книга Маурера предостерегает против довольно распространенного сейчас мнения, что обществу выгоднее платить пособие неработающим, чем держать лишних работников. Да, в Соединенных Штатах есть пособие по безработице, есть и другой вид социальной помощи — пособие по бедности. Однако все собеседники автора единодушны: жизнь на пособие очень травмирует, выбивает из колеи, лишает человеческого достоинства. «Меня преследовала мысль,— говорит Грейс Китон,— каким же никудышным работником выглядела я в глазах компании, раз она решила меня уволить! А на самом деле я, может быть, еще хуже. Может, такая дрянь, что хуже и не бывает. Может, мне и родиться-то не надо было! Когда тебя увольняют, это не просто отнимает веру в себя. Это уничтожает тебя полностью». Высказывания, собранные в этой книге, убеждают, что никакое пособие не может компенсировать моральный ущерб, связанный с потерей работы, не приостанавливает деформацию, а порой и деградацию личности безработного.

Марк Григорьев.

★

Г. Г. ГРАНИК, С. М. БОНДАРЕНКО. Секреты пунктуации. М. «Просвещение». 1986. 128 стр.

Уныла наша школа, особенно для детей одаренных, с пытливым умом. Педагогов больше заботят дисциплина и средние показатели, нежели увлеченность детей. Да только без увлеченности, без игры ума средние показатели будут становиться все ниже и ниже.

Вот почему радует появление книги Г. Г. Граник и С. М. Бондаренко под интригующим названием «Секреты пунктуации». Можно было бы назвать ее учебником, но это, пожалуй, скорее самоучитель. Тот, кто читает эту книгу, учится и постоянно получает информацию о своих успехах или неуспехах. Продвигаясь по книге, школьник все время ощущает доброе беспокойство авторов. «Удалось ли вам избежать ошибок при подсчете? — обращаются они к читателям. — Не случилось ли принять одно предложение за два или два за одно? Не терялись ли предложения?»

Авторы дали своей книге подзаголовок «Книга для учащихся». Наверное, в смысле век живи — век учись. Ее с интересом прочтут и взрослые, которые знают, к а к пишется, но мало задумываются п о ч е м у. Из этой маленькой книжки можно узнать, какую огромную умственную и эмоциональную работу проделывает человек, расставляя знаки препинания. Они, эти знаки, здесь поистине воспеты (больше всего комплиментов досталось коварной и мудрейшей запятой) — с массой примеров из Пушкина, Лермонтова, Крылова, Маяковского, Твардовского, Маршака, Михалкова. В обычных учебниках тоже бывает много литературных примеров, но даже самые поэтические и мудрые строки, вырванные из контекста, теряют свою силу, вызывают скуку и пресыщение. Примеры в «Секретах пунктуации» — это либо тексты, либо, в крайнем случае, мини-тексты, которые передают поэтический настрой самой книжки, ощущаемый и в названиях глав и главок: «Мысли, чувства и знаки», «Знак, полный загадок», «Не нарушайте „границу"!», «„Предчувствие" знака препинания»...

В книге есть главки-ловушки. О них предупреждается заранее, и через три страницы ленивый умом может сразу найти ответы. Но мало кто туда заглянет: читателю интересна эта честная игра. В ней есть свои правила — правила хорошего пунктуационного поведения. Например: «Не проморгай синтаксического «карлика»!» Школьнику предоставляется редкая для него возможность самому распорядиться собой — иметь право выбора. В каком учебном пособии вы найдете такие строчки: «Если вы сделали все правильно, читайте текст дальше. Если у вас были ошибки и вам хочется потренироваться еще, мы предлагаем вам другое задание на расстановку знаков препинания»?

Авторам хочется, чтобы дети узнавали новое весело и с интересом. Не так уж просто ребенку понять, что такое, скажем, прогнозирование, блоки, действия по самоинструкции. Но книга говорит о трудном

доступно, а иногда и с юмором. Когда нужно, например, ввести одно из нелегких правил постановки знаков при «опасных» союзах (так авторы называют «и», «или», «да»), на помощь приходит «общий Иван Иванович»: «...сложное предложение не всегда делится на простые «без остатка». Например: «У Ивана Ивановича большие выразительные глаза табачного цвета и рот несколько похож на букву ижицу» (Н. В. Гоголь). Первое предложение: «У Ивана Ивановича большие выразительные глаза табачного цвета». Однако то, что останется, не может удовлетворить вас как полноценное второе предложение: «...и рот несколько похож на букву ижицу». У кого? Да у Ивана Ивановича, конечно. Дополнение «у Ивана Ивановича» относится ко второму предложению так же, как и к первому, — оно является для них общим. Поставив запятую перед «и», вы отделили бы Ивана Ивановича от его рта...»

Кажется, авторы специально позаботились о том, чтобы на лице у ребенка чаще появлялась улыбка. С ними заодно был и художник В. Н. Шварц, веселыми рисунками которого щедро украшена эта книга.

Г. Г. Граник и С. М. Бондаренко разговаривают (именно разговаривают, потому что книга написана в форме монолога с приглашением к диалогу) с читателем в меру серьезно и в меру парадоксально. Эта остроумная книга — не пособие для веселых и находчивых. Сама веселая и находчивая, она для тех, кто любит думать и хочет этому научиться.

А. Устинов.

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

ПОЛИТИЗДАТ

К. Маркс, Ф. Энгельс, В. И. Ленин. О коммунистической общественной формации. В 4-х тт. Т. 1. 479 стр. Цена 1 р. 10 к.

Д. Рид. Избранное. Кн. 2. Перевод с английского. 527 стр. Цена 1 р. 20 к.

И. Щеголихин. Дело, друзья, отзовется. Повесть об Анне Корвин-Коуковской. («Пламенные революционеры») 397 стр. Цена 1 р. 30 к.

Это есть наш последний и решительный бой! В 2-х книгах. Кн. 2. Июль — октябрь 1917. («История КПСС в воспоминаниях современников») 510 стр. Цена 1 р. 20 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Н. Кончаловская. Избранное. В 2-х тт. Т. 1. Стихотворения и поэмы Рассказы. 447 стр. Цена 2 р. 40 к.

А. Островский. Сочинения. В 3-х тт. Т. 1. Пьесы. 1850—1861. 527 стр. Цена 2 р. 80 к.

К. Рехо. Русская классика и японская литература. 352 стр. Цена 1 р.

К. Рылеев. Сочинения. Стихотворения. Поэмы. 413 стр. Цена 2 р.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

А. Бэлс. Тайник. Корни Романы. Перевод с латышского. 397 стр. Цена 1 р. 80 к.

В. Виленкин. В сто первом зеркале. Анна Ахматова. 318 стр. Цена 1 р. 40 к.

Р. Инанишвили. Предзимняя грусть. Рассказы, миниатюры. Перевод с грузинского. 399 стр. Цена 1 р. 40 к.

М. Слонимский. Завтра. Проза. Воспоминания. 560 стр. Цена 2 р. 30 к.

«РАДУГА»

А. Бландиана. Стихотворения. Рассказы. Эссе. Перевод с румынского. 207 стр. Цена 1 р. 10 к.

И. Галл. На крыльях пламени. Повесть. Рассказы. Перевод с венгерского. 303 стр. Цена 1 р. 70 к.

М. Дервиш. Птица изгнания. Избранные произведения. Перевод с арабского. 327 стр. Цена 1 р. 90 к.

Н. Хиллиард. Маорийская девушка. Роман. Повесть. Рассказы. Перевод с английского. 367 стр. Цена 2 р. 80 к.

ВОЕНИЗДАТ

Г. Зибе. Операция «Степной барашек». Роман. Перевод с немецкого. 279 стр. Цена 1 р. 80 к.

М. Колесникова. Венец жизни. Повести. 334 стр. Цена 1 р. 60 к.

Й. Крыстев. Зерна гранита. Рассказы, повести. Перевод с болгарского. 320 стр. Цена 2 р. 20 к.

Б. Лавренев. Черноморская легенда. Роман, повести, рассказы. 445 стр. Цена 2 р. 50 к.

«ИСКУССТВО»

«Горе от ума» на русской и советской сцене. Свидетельства современников. («Классика на русской и советской сцене») 406 стр. Цена 2 р. 70 к.

Лариса. Книга о Ларисе Шепитько. Составитель Э. Г. Климов. 289 стр. Цена 1 р. 80 к.

Г. Островский. Захарий Зограф. («Жизнь в искусстве») 192 стр. Цена 1 р. 80 к.

Эстетика немецких романтиков. Перевод с немецкого. («История эстетики в памятниках и документах») 734 стр. Цена 3 р. 50 к.

«НАУКА»

Ч. Валиханов. Избранные произведения. 414 стр. Цена 2 р. 40 к.

М. Добужинский. Воспоминания. («Литературные памятники») 477 стр. Цена 6 р.

Зимняя луна. Японские трехстишия и пятистишия. Перевод с японского В. Марковой. 319 стр. Цена 4 р.

Фольклор русских цыган. Перевод с цыганского 287 стр. Цена 1 р. 30 к.

МЕСТНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

В. Астафьев. Царь-рыба. Повествование в рассказах Минск. «Народная асвета». 368 стр. Цена 1 р. 60 к.

Книжные страсти. Сатирические произведения русских и советских писателей о книгах и книжниках. М. «Книга». 287 стр. Цена 90 к.

Русская слава. Русские поэты об Отечественной войне 1812 г. М. «Книга». 478 стр. Цена 7 р.

У. Шекспир. Сонеты. Перевод с английского С. Маршака. Хабаровск. Книжное издательство. 222 стр. Цена 70 к.

Во всех случаях полиграфического брака в экземплярах журнала обращаться в типографию «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова: Москва, 103798, Пушкинская пл., 5.

Всеми вопросами подписки и доставки журнала занимаются местные и областные отделения «Союзпечати».

Главный редактор **С. П. Залыгин**

Редакционная коллегия:

Ч. Айтматов, Ф. К. Видрашку (зам. главного редактора), **Р. Г. Гамзатов, Д. А. Гранин, И. А. Дедков, И. Я. Зиедонис, В. А. Костров** (зам. главного редактора), **В. Н. Крупин, Д. С. Лихачев, М. Д. Львов, Д. Мулдагалиев, П. А. Николаев, Б. И. Олейник, Г. И. Резниченко** (ответственный секретарь), **А. Е. Рекемчук, А. Я. Сахнин, О. Г. Чухонцев**

Адрес редакции: 103806, ГСП. Москва К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 200-08-29.

Сдано в набор 20.08.87 г. Подписано к печати 12.10.87 г. А 08999.
Формат бумаги 70×108 1/16. Высокая печать. Объем 17 п. л. (23,8 усл.-печ. л.) 27,12 уч.-изд. л.

Тираж 495 000 экз. (1-й завод 1 — 215 000 экз.). Зак. 3044.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР»
103798. Москва, К-6, Пушкинская пл., 5.

Ордена Трудового Красного Знамени типография «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл. 5.

Цена 1 р. 20 к.

70636

Новый мир, 1987, № 11, 1 — 272.